

Н. М. КАРАМЗИН

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ



Николай Михайлович Карамзин

**Том 2. Стихотворения.
Критика. Публицистика**
(Избранные сочинения в двух томах #1)

Во второй том избранных сочинений Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) вошли стихотворения разных лет, критические и публицистические статьи, главы из «Истории государства российского».

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Стихотворения	0008
Поэзия *	0008
«Я в бедности на свет родился...» *	0022
Выздоровление *	0023
Осень *	0025
Граф Гваринос *	0027
Веселый час *	0034
Раиса *	0035
Кладбище *	0039
К милости *	0042
К соловью *	0044
Смерть Орфеева *	0046
Послание к Дмитриеву *	0047
Послание к Александру Алексеевичу Плещееву *	0054
Илья Муромец *	0062
К самому себе *	0081
Выбор жениха *	0084
К бедному поэту *	0086
К неверной *	0091
К верной *	0099
Тацит *	0106
Меланхолия *	0107
Берег *	0110
Критика	0112

<О Шекспире и его трагедии «Юлий Цезарь»> *	0112
«Эмилия Галотти» *	0118
О сравнении древней, а особливо греческой, с немецкою и новейшею литературою * . . .	0132
Философа Рафаила Гитлоде странствования... *	0138
Гольдониевы записки, заключающие в себе историю его жизни и театра *	0145
«Генриада» *	0146
«Неистовый Роланд» *	0156
«Сид» *	0159
«Опыт нынешнего естественного, гражданского и политического состояния Швейцарии...» *	0169
Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов *	0174
От издателя к читателям *	0180
Жизнь Вениамина Франклина, им самим описанная для сына его *	0184
<О Стерне> *	0185
<О Калидасе и его драме «Саконтала»> *	0186
Драматические начертания древней северной мифологии *	0188
Заключение *	0189
Что нужно автору? *	0192
Нечто о науках, искусствах и просвещении * . . .	0195

<О богатстве языка> *	0229
<«Находить в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону»> *	0230
Несколько слов о русской литературе *	0235
Пантеон российских авторов *	0255
Письмо к издателю *	0284
О книжной торговле и любви ко чтению в России *	0289
Мысли об уединении *	0297
Отчего в России мало авторских талантов? * . . .	0303
Пантеон русских авторов *	0311
О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств * . . .	0312
О Богдановиче и его сочинениях *	0331
Известие о Марфе Посаднице, взятое из жития св. Зосимы *	0390
Записка о Н. И. Новикове *	0398
Речь, произнесенная на торжественном собрании императорской Российской академии 5 декабря 1818 года *	0402
Публицистика	0420
Мелодор к Филалету *	0420
Филалет к Мелодору *	0432
Статьи политические из «Вестника Европы» 1802 года	0446
Главы из «Истории государства Российского»	

0516

<Царствование Иоанна IV> *	.0516
<Царствование Феодора Иоанновича> *	.0734
<Царствование Бориса Годунова> *	.0817
Комментарии	.0940

**Николай Михайлович
Карамзин**

**Избранные сочинения в двух
томах**

**Том 2. Стихотворения.
Критика. Публицистика**

Стихотворения

Поэзия*

(сочинена в 1787 году)

*Die Lieder der göttlichen Harfenspieler
schallen mit Macht, wie beseelend.
Klopstock[1]*

*Едва был создан мир огромный,
велелепный,
Явился человек, прекраснейшая
тварь,
Предмет любви творца, любовью
рожденный;
Явился – весь сей мир приветству-
ет его,
В восторге и любви, единою улыб-
кой.
Узрев собор красот и чувствуя се-
бя,
Сей гордый мира царь почувство-
вал и бога,
Причину бытия – толь живо ощу-
тил
Величие творца, его премудрость,
благость,*

Что сердце у него в гимн нежный
излилось,
Стремясь лететь к отцу... Поэ-
зия святая!
Се ты в устах его, в источнике
своем,
В высокой простоте! Поэзия свя-
тая!
Благословляю я рождение твое!

Когда ты, человек, в невинности
сердечной,
Как роза цвел в раю, Поэзия тебе
Утехой была. Ты пел свое бла-
женство,
Ты пел творца его. Сам бог тебе
внимал,
Внимал, благословлял твои свя-
тые гимны:
Гармония была душою гимнов сих
—
И часто ангелы в небесных мело-
диях,
На лирах золотых, хвалили песнь
твою.

Ты пал, о человек! Поэзия упала;
Но дочь небес еще сияла лепо-

той,
Когда несчастный, вдруг раскаяся
в грехе,
Молитвы воспевал – сидя на бе-
режку
Журчащего ручья и слезы проли-
вая,
В унынии, в тоске тебя воспоми-
нал,
Тебя, эдемский сад¹! Почасту муд-
рый старец,
Среди сынов своих, внимающих
ему,
Согласно, важно пел таинствен-
ные песни
И юных научал преданиям отцов.
Бывало иногда, что ангел ниспус-
кался –
На землю, как эфир, и смертных
наставлял
В Поэзии святой, небесною рукою
Настроив лиры им –

Живее чувства выражались,
Звучнее песни раздавались,
Быстрее мчались к творцу.

Столетия текли и в вечность по-

гружались –
Поэзия всегда отрадою была
Невинных, чистых душ. Число их
уменьшалось;
Но гимн царю царей вовек не
умолкал –
И в самый страшный день, когда
пылало небо
И бурные моря кипели на земли,
Среди пучин и бездн, с невинней-
шим семейством
(Когда погибло все)² Поэзия спас-
лась.
Святой язык небес нередко уни-
жался,
И смертные, забыв великого от-
ца,
Хвалили вещество бездушных
планеты!
Но был избранный род, который в
чистоте
Поэзию хранил и ею просвещался.
Так славный, мудрый бард, древ-
нейший из певцов,
Со всею красотой священной сей
науки
Воспел, как мир истек из воли бо-
жества.

Так онъй мужъ святой, в грядущее
проникший,
Пелъ миру часть его. Такъ цар-
ственный поэтъ,³
Родившись пастухомъ, но в духе
просвещенный,
Игралъ хвалы творцу и песню сво-
ей
Народы восхищал. Такъ в храме Со-
ломона
Гремела богу песнь!

Во всехъ, во всехъ странахъ Поэзия
святая
Наставницею людей, ихъ счастьемъ
была;
Везде она сердца любовью согрева-
ла.
Мудрецъ, Натуру знавъ, познавъ ее
творца
И слыша гласъ его и в громахъ и в зе-
фирахъ,
В лесахъ и на водахъ, на арфе подра-
жалъ
Аккордамъ божества, и гласъ сего
поэта
Всегда былъ божий гласъ!

Орфей, фракийский муж, которого
вся древность
Едва не богом чтит, Поэзией
смягчил
Сердца лесных людей, воздвигнул
богу храмы
И диких научил всесильному слу-
жить.
Он пел им красоту Натуры, миро-
зданья;
Он пел им тот закон, который в
естестве
Разумным оком зрим; он пел им
человека,
Достоинство его и важный сан;
он пел,

И звери дикие сбегались,
И птицы стаями слетались
Внимать гармонии его;
И реки с шумом устремлялись,
И ветры быстро обращались
Туда, где мчался глас его.

Омир в стихах своих описывал ге-
роев –
И пылкий юный грек, вникая в
песнь его,

*В восторге восклицал: «Я буду
Ахиллесом!
Я кровь свою пролью, за Грецию
умру!»
Дивиться ли теперь героизму
Александра?
Омира он читал, Омира он лю-
бил. –
Софокл и Эврипид учили на теат-
ре,
Как душу возвышать и полубогом
быть.
Бион, и Теокрит, и Мосхос воспева-
ли
Приятность сельских сцен, и слу-
шатели их
Пленялись красотой природы без
искусства,
Приятностью села. Когда Омир
поет,
Всяк воин, всяк герой, внимая Тео-
криту,
Оружие кладут – герой теперь
пастух!
Поэзии сердца, все чувства – все
подвластно.*

Как Сириус блещит светлее про-

чих звезд,
Так Августов поэт, так пастырь
Мантуанский⁴
Сиял в тебе, о Рим! среди твоих
певцов.
Он пел, и всякий мнил, что слы-
шит глас Омира;
Он пел, и всякий мнил, что сель-
ский Теокрит
Еще не умирал или воскрес в сем
барде.
Овидий воспевал начало всех ве-
щей,
Златый блаженный век, серебря-
ный и медный,
Железный, наконец, несчастный,
страшный век,
Когда гиганты, род надменный и
безумный⁵,
Собрав громады гор, хотели воз-
нестись
К престолу божества; но тот,
кто громом правит,
Погреб их в сих горах[2].

Британия есть мать поэтов ве-
личайших.
Древнейший бард ее, Фингалов

мрачный сын,
Оплакивал друзей, героев, в битве
падших,
И тени их к себе из гроба вызывал.
Как шум морских валов, носяся по
пустыням
Далеко от берегов, уныние в серд-
цах
Внимающих родит, – так песни
Оссиана,
Нежнейшую тоску вливая в том-
ный дух,
Настраивают нас к печальным
представленьям;
Но скорбь сия мила и сладостна
душе.
Велик ты, Оссиан, велик, неподра-
жаем!

Шекспир, Натуры друг! кто луч-
ше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с
таким искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ ко всем великим
тайнам рока
И светом своего бессмертного
ума,

Как солнцем, озарил пути ночные
в жизни!
«Все башни, коих верх скрывается
от глаз
В тумане облаков; огромные чер-
тоги
И всякий гордый храм исчезнут,
как мечта, –
В течение веков и места их не сы-
щем», –
Но ты, великий муж, пребудешь
незабвен![3]

Мильтон, высокий дух, в гремя-
щих страшных песнях
Описывает нам бунт, гибель Са-
таны;
Он душу веселит, когда поет Ада-
ма,
Живущего в раю; но, голос ниспу-
стив,
Вдруг слезы из очей ручьями из-
влекает,
Когда поет его, подпадного греху.

О Йонг, несчастных друг,
несчастных утешитель!
Ты бальзам в сердце льешь, су-

ишишь источник слез,
И, с смертью друга, дружишь ты
нас и с жизнью!
Природу возлюбив, природу рас-
смотришь
И вникнув в круг времен, в тон-
чайшие их тени,
Нам Томсон возгласил природы
красоту,
Приятности времен. Натуры сын
любезный,
О Томсон! ввек тебя я буду про-
славлять!
Ты выучил меня природой насла-
ждаться
И в мрачности лесов хвалить
творца ее!

Альпийский Теокрит, сладчайший
песнопевец!
Еще друзья твои в печали слезы
льют –
Еще зеленый мох не виден на мо-
гиле,
Скрывающей твой прах! В востор-
ге пел ты нам
Невинность, простоту, пастуше-
ские нравы

И нежные сердца свирелью восхищал.

Сию слезу мою, текущую толь быстро,

Я в жертву приношу тебе, Астрейн друг⁶!

Сердечную слезу и вздох и песнь поэта,

Любившего тебя, прими, благослови,

О дух, блаженный дух, здесь, в Геснере, блиставший![4]

Несяся на крылах превыспренних орлов,

Которые певцов божественныя славы

Мчат в вышние миры, да тему почерпнут

Для гимна своего, певец избранный Клопшток

Вознесся выше всех, и там, на небесах,

Был тайнам научен, и той великой тайне,

Как бог стал человек. Потом воспел он нам

Начало и конец Мессиных стра-

даний,
Спасение людей. Он богом вдохно-
вен –
Кто сердцем всем еще привязан к
плоти, к миру,
Того язык немей, и песней толь
святых
Не оскверняй хвалой; но вы, свя-
тые мужи,
В которых уже глас земных стра-
стей умолк,
В которых мрака нет! вы чув-
ствуете цену
Того, что Клопшток пел, и може-
те одни,
Во глубине сердец, хвалить сего
поэта!
Так старец, отходя в блаженней-
шую жизнь,
В восторге произнес: «О Клоп-
шток несравненный!»[5]
Еще великий муж собою красит
мир –
Еще великий дух земли сей не
оставил.
Но нет! он в небесах уже давно
живет –
Здесь тень мы зрим сего священ-

ного поэта.

О россы! век грядет, в который и у
вас

Поэзия начнет сиять, как солнце
в полдень.

Исчезла нощи мгла – уже Авроры
свет

В *** блестит, и скоро все народы

На север притекут светильник
возжигать,

Как в баснях Прометей тек к ог-
ненному Фебу⁷,

Чтоб хладный темный мир со-
греть и осветить.

Доколе мир стоит, доколе челове-
ки

Жить будут на земле, дотолле
дщерь небес,

Поэзия, для душ чистейших бла-
гом будет.

Доколе я дышу, дотолле буду петь,
Поэзию хвалить и ею утешаться.

Когда ж умру, засну и снова пробую-
жусь, –

Тогда, в восторгах погружаясь
И вечно, вечно наслаждаясь,

Я буду гимны петь творцу,

*Тебе, мой бог, господь всесильный,
Тебе, любви источник дивный,
Узрев там все лицом к лицу!*

1⁷⁸⁷

«Я в бедности на свет родился...»*

*Я в бедности на свет родился
И в бедности воспитан был;
Отца в младенчестве лишился
И в свете сиротою жил.*

*Но бог, искусный в песнопеньи,
Меня, сиротку, полюбил;
Явился мне во сновиденьи
И арфу с ласкою вручил;
Открыл за тайну, как стру-
ною
С сердцами можно говорить
И томной, жалкою игрою
Всех добрых в жалость приво-
дить.*

*Я арфу взял – ударил в струны;
Смотрю – и в сердце горя нет!..
Тому не надобно Фортуны,
Кто с Фебом в дружестве живет!*

Выздоровление*

*Нежная мать Природа!
Слава тебе!
Снова твой сын оживает!
Слава тебе!*

*Сумрачны дни мои были.
Каждая ночь
Медленным годом казалась
Бедному мне.*

*Желчию облито было
Все для меня;
Скука, уныние, горестъ
Жили в душе.*

*Черная кровь возмущала
Ночи мои
Грозными, страшными снами,
Адской мечтой.*

*Томное сердце вздыхало
Ночью и днем.
Тронули мать Природу
Вздохи мои.*

*Перст ее, к сердцу коснувшись,
Кровь разжидил;
Взор ее светлый рассеял
Мрачность души.*

*Все для меня обновилось;
Всем веселюсь:
Солнцем, зарею, звездами,
Ясной луной.*

*Сон мой приятен и кроток;
Солнечный луч
Снова меня призывает
К радостям дня.*

13 декабря 1789

Осень*

Веют осенние ветры
В мрачной дубраве;
С шумом на землю валятся
Желтые листья.

Поле и сад опустели;
Сетуют холмы;
Пение в рощах умолкло –
Скрылися птички.

Поздние гуси станицей
К югу стремятся,
Плавным полетом несяся
В горних пределах.

Вьются седые туманы
В тихой долине;
С дымом в деревне мешаясь,
К небу восходят.

Странник, стоящий на холме,
Взором унылым
Смотрит на бледную осень,
Томно вздыхая.

*Странник печальный, утешься:
Вянет природа
Только на малое время;
Все оживится,*

*Все обновится весной;
С гордой улыбкой
Снова природа восстанет
В брачной одежде.*

*Смертный, ах! Вянет навеки!
Старец весной
Чувствует хладную зиму
Ветхия жизни.*

Граф Гваринос*

Древняя гишпанская историческая песня

*Худо, худо, ах, французы,
В Ронцевале было вам!
Карл Великий там лишился
Лучших рыцарей своих.*

*И Гваринос был поиман
Многим множеством врагов;
Адмирала вдруг пленили
Семь арабских королей.*

*Семь раз жеребей бросают
О Гвариносе цари;
Семь раз сряду достается
Марлотесу он на часть.*

*Марлотесу он дорожке
Всей Аравии большой.
«Ты послушай, что я молвлю, –
О Гваринос! – он сказал. –*

*Ради Аллы, храбрый воин,
Нашу веру прими!
Все возьми, чего захочешь,*

Что приглянется тебе.

*Дочерей моих обеих
Я Гвариносу отдам;
На любой из них женися,
А другую так возьми,*

*Чтоб Гвариносу служила,
Мыла, шила на него.
Всю Аравию приданым
Я за дочерью отдам».*

*Тут Гваринос слово молвил;
Марлотесу он сказал:
«Сохрани господь небесный
И Мария, мать его,*

*Чтоб Гваринос, христианин,
Магомету послужил!
Ах! во Франции невеста
Дорогая ждет меня!»*

*Марлотес, пришедши в ярость,
Грозным голосом сказал:
«Вмиг Гвариноса окуйте,
Нечестивого раба;*

И в темницу преисподню

Засадите вы его.
Пусть гниет там понемногу
И умрет, как бедный червь!

Цепи тяжки, в семь сот фунтов,
Возложите на него,
От плеча до самой шпоры –
Страшен в гневе Марлотес!

А когда настанет праздник –
Пасха, святки, духов день, –
В кровь его тогда секите
Пред глазами всех людей».

Дни проходят, дни проходят,
И настал Иванов день;
Христиане и арабы
Вместе празднуют его.

Христиане сыплют галгант[6];
Мирты мечет всякий мавр[7].
В почесть празднику заводит
Разны игры Марлотес.

Он высоко цель поставил,
Чтоб попасть в нее копьем.
Все свои бросают копья,
Все арабы метят в цель.

Ах, напрасно! нет удачи!
Цель для слабых высока.
Марлотес велел во гневе
Через герольда объявить:

«Детям груди не сосати,
А большим не пить, не есть,
Если цели сей на землю
Кто из мавров не сшибет!»

И Гваринос шум услышал
В той темнице, где сидел.
«Мать святая, чиста дева!
Что за день такой пришел?»

Не король ли нынче вздумал
Выдать замуж дочь свою?
Не меня ли сечь жестоко
Час презлой теперь настал?»

Страж темничный то подслу-
шал.
«О Гваринос! свадьбы нет;
Ныне сечь тебя не будут;
Трубный звук не то гласит...

Ныне праздник Иоаннов;
Все арабы в торжестве.

*Всем арабам на забаву
Марлотес поставил цель.*

*Все арабы копыя мечут,
Но не могут в цель попастьъ;
Почему король во гневе
Через герольда объявил:*

*„Пить и есть никто не может,
Буде цели не сшибут"». –
Тут Гваринос встрепенулся;
Слово молвил он сие:*

*«Дайте мне коня и сбрую,
С коей Карлу я служил;
Дайте мне копые булатно,
Коим я врагов разил.*

*Цель тотчас сшибу на землю,
Сколь она ни высока.
Если ж я сказал неправду,
Жизнь моя у вас в руках».*

*«Как! – на то тюремщик молвил,
Ты семь лет в тюрьме сидел,
Где другие больше года
Не могли никак прожить;*

И еще ты думать можешь,
Что сшибешь на землю цель?
Я пойду сказать инфанту,
Что теперь ты говорил».

Скоро, скоро поспешает
Страж темничный к королю;
Приближается к инфанту
И приносит весть ему:

«Знай: Гваринос-христианин,
Что в тюрьме семь лет сидит,
Хочет цель сшибить на землю,
Если дашь ему коня».

Марлотес, сие услышав,
За Гвариносом послал;
Царь не думал, чтоб Гваринос
Мог еще конем владеть.

Он велел принести всю сбрую
И коня его сыскать.
Сбруя ржавчиной покрыта,
Конь возил семь лет песок.

«Ну, ступай! – сказал с насмешкой
Марлотес, арабский царь, –
Покажи нам, храбрый воин,

Как сильна рука твоя!»

*Так, как буря разъяренна,
К цели мчится сей герой;
Мечет он копьё булатно –
На земле вдруг цель лежит.*

*Все арабы взволновались,
Мечут копья все в него;
Но Гваринос, воин смелый,
Храбро их мечом сечет.*

*Солнца свет почти затмился
От великого числа
Тех, которые стремились
На Гвариноса все вдруг.*

*Но Гваринос их рассеял
И до Франции достиг,
Где все рыцари и дамы
С честью приняли его.*

Веселый час*

*Братья, рюмки наливайте!
Лейся через край, вино!
Все до капли выпивайте!
Осушайте в рюмках дно!*

*Мы живем в печальном мире;
Всякий горе испытал,
В бедном рубище, в порфире, –
Но и радость бог нам дал.*

*Он вино нам дал на радость,
Говорит святой мудрец:
Старец в нем находит младость,
Бедный – горестям конец.*

*Кто все плачет, все вздыхает,
Вечно смотрят сентябрем, –
Тот науки жить не знает
И не видит света днем.*

*Все печальное забудем,
Что смущало в жизни нас;
Петь и радоваться будем
В сей приятный, сладкий час!*

*Да светлеет сердце наше,
Да сияет в нем покой,
Как вино сияет в чаше,
Осребряемо луной!*

1⁷⁹¹

Раиса*

Древняя баллада

*Во тьме ночной ярилась буря;
Сверкал на небе грозный луч;
Гремели громы в черных тучах,
И сильный дождь в лесу шумел.*

*Нигде не видно было жизни;
Сокрылось все под верный кров.
Раиса, бедная Раиса,
Скиталась в темноте одна.*

*Нося отчаяние в сердце,
Она не чувствует грозы,
И бури страшный вой не может
Ее стенаний заглушить.*

*Она бледна, как лист увядший,
Как мертвый цвет уста ее;
Глаза покрыты томным мраком,*

Но сильно бьется сердце в ней.

*С ее открытой белой груди,
Язвимою ветвями дерев,
Текут ручьи кипящей крови
На зелень влажных земли.*

*Над морем гордо возвышался
Хребет гранитных горы;
Между стремнин, по камням
острым
Раиса всходит на него.*

*(Тут бездна яростно кипела
При блеске огненных лучей;
Громады волн неслися с ревом,
Грозя всю землю потопить.)*

*Она взирает, умолкает;
Но скоро жалкий стон ея
Смешался вновь с шумящей бурей:
«Увы! увы! погибла я!*

*Кронид, Кронид, жестокий, милый!
Куда ушел ты от меня?
Почто Раису оставляешь
Одну среди ужасной тьмы?*

*Кронид! поди ко мне! Забуду,
Забуду все, прощу тебя!
Но ты неидешь к Раисе бедной!..
Почто тебя узнала я?*

*Отец и мать меня любили,
И я любила нежно их;
В невинных радостях, в забавах
Часы и дни мои текли.*

*Когда ж явился ты, как ангел,
И с нежным вздохом мне сказал:
«Люблю, люблю тебя, Раиса!» –
Забыла я отца и мать.*

*В восторге, с трепетом сердеч-
ным
И с пламенной слезой любви
В твои объятия упала
И сердце отдала тебе.*

*Душа моя в твою вселилась,
В тебе жила, дышала я;
В твоих глазах свет солнца зрела;
Ты был мне образ божества.*

*Почто я жизни не лишилась
В объятиях твоей любви?*

Не зрела б я твоей измены,
И счастлив был бы мой конец.

Но рок судил, чтоб ты другую
Раисе верной предпочел;
Чтоб ты меня навек оставил,
Когда сном крепким я спала,

Когда мечтала о Крониде
И мнила обнимать его!
Увы! я воздух обнимала...
Уже далеко был Кронид!

Мечта исчезла, я проснулась;
Звала тебя, но ты молчал;
Искала взором, но не зрела
Тебя нигде перед собой.

На холм высокий я спешила...
Несчастливая!.. Кронид вдали
Бежал от глаз моих с Людмилой!
Без чувств тогда упала я.

С сея ужасныя минуты
Крушусь, тоскую день и ночь;
Ищу везде, зову Кронида, –
Но ты не хочешь мне внимать.

*Теперь злосчастная Раиса
Звала тебя в последний раз...
Душа моя покоя жаждет...
Прости!.. Будь счастлив без меня!»*

*Сказав сии слова, Раиса
Низверглась в море. Грянул гром:
Сим небо возвестило гибель
Тому, кто погубил ее.*

1⁷⁹¹

Кладбище*

Один голос

*Страшно в могиле, хладной и
темной!
Ветры здесь воют, гробы трясут-
ся,
Белые кости стучат.*

Другой голос

*Тихо в могиле, мягкой, покойной.
Ветры здесь веют; спящим про-
хладно;
Травки, цветочки растут.*

Первой

Червь кровоглавый точит умер-
ших,
В черепах желтых жабы гнездят-
ся,
Змии в крапиве шипят.

Второй

Крепок сон мертвых, сладостен,
кроток;
В гробе нет бури; нежные птички
Песнь на могиле поют.

Первый

Там обитают черные вороны,
Алчные птицы; хищные звери
С ревом копают в земле.

Второй

Маленький кролик в травке зеле-
ной
С милой подружкой там отдыха-
ет;
Голубь на веточке спит.

Первый

Сырость со мглою, густо меша-
ясь,
Плавают тамо в воздухе душном;

Древо без листьев стоит.

Второй

*Тамо струится в воздухе светлом
Пар благовонный синих фиалок,
Белых ясминов, лилей.*

Первый

*Странник боится мертвой юдо-
ли;
Ужас и трепет чувствуя в сердце,
Мимо кладбища спешит.*

Второй

*Странник усталый видит оби-
тель
Вечного мира – посох бросая,
Там остается навек.*

(1792)

К милости*

Писано в царствование Екатерины.

*Что может быть тебя святее,
О Милость, дочь благих небес?
Что краше в мире, что милее?
Кто может без сердечных слез,
Без радости и восхищенья,
Без сладкого в крови волненья
Взирать на прелести твои?*

*Какая ночь не озарится
От солнечных твоих очей?
Какой мятеж не укротится
Одной улыбкою твоей?
Речешь – и громы немеют;
Где ступишь, там цветы алеют
И с неба льется благодать.*

*Любовь твои стопы лобзает
И нежной матерью зовет;
Любовь тебя на трон венчает
И скиптр в десницу подает.
Текут, текут земные роды,
Как с гор высоких быстры воды,
Под сень державы твоея.*

Блажен, блажен народ, живущий
В пространной области твоей!
Блажен певец, тебя поющий
В жару, в огне души своей!
Доколе Милостию будешь,
Доколе права не забудешь,
С которым человек рожден;

Доколе гражданин довольный
Без страха может засыпать
И дети-подданные вольны
По мыслям жизнь располагать,
Везде природой наслаждаться,
Везде наукой украшаться
И славить прелести твои;

Доколе злоба, дочь Тифона¹,
Пребудет в мрак удалена
От светло-золотого трона;
Доколе правда не страшна
И чистый сердцем не боится
В своих желаниях открыться
Тебе, владычице души;

Доколе всем даешь свободу
И света не темнишь в умах;
Пока доверенность к народу
Видна во всех твоих делах, –

Дотолє будєшь свято чтима,
От подданных боготворима
И славима из рода в род.

Спокойствия твоей державы
Ничто не может возмутить;
Для чад твоих нет большей сла-
вы,
Как верность к матери хранить.
Там трон вовек не потрясется,
Где он любовью брежется
И где на троне – ты сидишь.

1⁷⁹²

К соловью*

Пой во мраке тихой рощи,
Нежный, кроткий соловей!
Пой при свете лунной ночи!
Глас твой мил душе моей.
Но почто ж рекой катятся
Слезы из моих очей,
Чувства ноют и томятся
От гармонии твоей?
Ах! я вспомнил незабвенных,
В недрах хладных земли
Хищной смертью заключенных;
Их могилы заросли

Все высокою травюю.
Я остался сиротою¹...
Тосковать и слезы лить!..
С кем теперь мне наслаждаться
Нежной песнию твоей?
С кем природой утешаться?
Все печально без друзей!
С ними дух наш умирает,
Радость жизни отлетает;
Сердцу скучно одному –
Свет пустыня, мрак ему.

Скоро ль песнию своюю,
О любезный соловей,
Над могилую мою
Будешь ты пленять людей?

Смерть Орфеева*

Писано в царствование Екатерины. Нимфы, плачьте! Нет Орфея!..

*Ветр унылый, тихо вея,
Нам вещает: «Нет его!»
Ярость фурий иступленных,
Гнусной страстью воспаленных,
Прекратила жизнь¹ того,
Кто пленял своей игрою
Кровожаждущих зверей,
Гармонической струною
Трогал сердце лютых грей
И для нежной Эвридики
В Тартар мрачный нисходил.
Ах, стенайте! – берег дикий
Прах его в себя вместил.
Сиротеющая лира
От дыхания зефира
Звук печальный издает:
«Нет певца! Орфея нет!»
Эхо повторяет: нет!
Над могилою священной,
Мягким дерном покровенной,
Филомела² слезы льет.*

Послание к Дмитриеву*

**в ответ на его стихи, в которых он
жалуется на скоротечность счастли-
вой молодости**

*Конечно, так – ты прав, мой друг!
Цвет счастья скоро увядает,
И юность наша есть тот луг,
Где сей красавец расцветает.
Тогда в эфире мы живем
И нектар сладостный пьем
Из полной олимпийской чаши¹;
Но жизни алая весна
Есть миг – увы! пройдет она,
И с нею мысли, чувства наши
Лишатся свежести своей,
Что прежде душу веселило,
К себе с улыбкою манило,
Не мило, скучно будет ей.
Надежды и мечты златые,
Как птички, быстро улетят,
И тени хладные, густые
Над нами солнце затемнят, –
Тогда, подобно Иксиону,
Не милую свою Юнону,
Но дым увидим пред собой! [8]*

И я, о друг мой, наслаждался
Своею красною весной;
И я мечтами обольщался –
Любил с горячностью людей,
Как нежных братьий и друзей;
Желал добра им всей душою;
Готов был кровию моею
Пожертвовать для счастья их
И в самых горестях своих
Надеждой сладкой веселился
Небесполезно жить для них –
Мой дух сей мыслию гордился!
Источник радостей и благ
Открыть в чувствительных ду-
шах;
Пленить их истиной святою,
Ее нетленной красотою;
Орудием небесным быть
И в памяти потомства жить
Казалось мне всего славнее,
Всего прекраснее, милее!
Я жребий свой благословлял,
Любуясь прелестью награды, –
И тихий свет моей лампы
С звездою утра угасал.
Златое дневное светило
Примером, образцом мне было...
Почто, почто, мой друг, не век

Обманом счастлив человек?

*Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет, –
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном
Сердце жестоких не смягчить.
Ах! зло под солнцем бесконечно,
И люди будут – люди вечно.
Когда несчастных Данаид[9]
Сосуд наполнится водою,
Тогда, чудесною судьбою,
Наш шар примет лучший вид:
Сатурн на землю возвратится
И тигра с агнцем помирит;²
Богатый с бедным подружится
И слабый сильного простит.
Дотоле истина опасна,
Одним скучна, другим ужасна;
Никто не хочет ей внимать,
И часто яд тому есть плата,
Кто гласом мудрого Сократа
Дерзает буйству угрожать.
Гордец не любит наставленья,
Глупец не терпит просвещенья –*

*Итак, лампаду угасим,
Желаю доброй ночи им.*

*Но что же нам, о друг любезный,
Осталось делать в жизни сей,
Когда не можем быть полезны,
Не можем пременить людей?
Оплакать бедных смертных долю
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и рока: пусть они,
Сим миром правя искони,
И впредь творят что им угодно!
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б без страха и надежды
Мы в мире жить с собой могли,
Гнушаться издали пороком
И ясным, терпеливым оком
Взирать на тучи, вихрь сует,
От грома, бури укрываясь
И в чистом сердце наслаждаясь
Мерцанием вечерних лет,
Остатком теплых дней осенних.
Хотя уж нет цветов весенних
У нас на лицах, на устах*

И юный огонь погас в глазах;
Хотя красавицы престали
Меня любезным называть
(Зефиры с нами отыграли!),
Но мы не должны унывать:
Живем по общему закону!..
Отелло в старости своей
Пленил младую Дездемону[10]
И вкрался тихо в сердце к ней
Любезных муз прелестным да-
ром.
Он с нежным, трогательным жа-
ром
В картинах ей изображал,
Как случай в жизни им играл;
Как он за дальними морями,
Необозримыми степями,
Между ревущих, пенных рек,
Среди лесов густых, дремучих,
Песков горящих и сыпучих,
Где люди не бывали век,
Бесстрашно в юности скитался,
Со львами, тиграми сражался,
Терпел жестокий зной и хлад,
Терпел усталость, жажду, глад.
Она внимала, удивлялась;
Брала участие во всем;
В опасность вместе с ним вдова-

лась
И в нежном пламени своем,
С блестящею в очах слезою,
Сказала: «Я люблю тебя!»
И мы, любезный друг, с тобою
Найдем подругу для себя,
Подругу с милою душою,
Она приятностью своею
Украсит запад наших дней.
Беседа опытных людей,
Их басни, повести и были
(Нас лета сказкам научили!)
Ее внимание займут,
Ее любовь приобретут.
Любовь и дружба – вот чем мож-
но
Себя под солнцем утешать!
Искать блаженства нам не
должно,
Но должно – менее страдать;
И кто любил, кто был любимым,
Был другом нежным, другом чти-
мым,
Тот в мире сем недаром жил,
Недаром землю бременил.

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,

Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.
Мы слабых здесь не угнетали
И всем ума, добра желали:
У нас не черные сердца!
И так без трепета и страха
Нам можно ожидать конца
И лечь во гроб, жилище праха.
Завеса вечности страшна
Убийцам, кровью обагренным,
Слезами бедных орошенным.
В ком дух и совесть без пятна,
Тот с тихим чувствием встреча-
ет
Златую Фебову стрелу[11],
И ангел мира освещает
Пред ним густую смерти мглу.
Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном,
Он зрит... но мы еще не зрим.

Послание к Александру Алексеевичу Плещееву*

*Мой друг! вступая в шумный свет
С любезной, искренней душою,
В весеннем цвете юных лет,
Ты хочешь с музою моею
В свободный час поговорить
О том, чего все ищут в свете;
Что вечно у людей в предмете;
О чем позволено судить
Ученым, мудрым и невежде,
Богатым в золотой одежде
И бедным в рубище худом,
На тронах, славой окруженных,
И в сельских хижинах смиренных;
Что в каждом климате земном
Надежду смертных составляет,
Сердца всечасно обольщает,
Но, ах!.. не зримо ни в одном!*

*О счастья слово. Удалимся
Под ветви сих зеленых ив;
Прохладой чувства освежив,
Мы там беседой насладимся
В любезной музам тишине[12].*

Мой друг! поверишь ли ты мне,
Чтоб десять тысяч было мнений,
Ученых философских прений,
В архивах древности седой[13]
О средствах жить счастливо в
свете,
О средствах обрести покой?
Но точно так, мой друг; в сем
счете
Ошибки нет. Фалес, Хилон,
Питтак, Эпименид, Критон,
Бионы, Симмии, Сильпоны,
Эсины, Эммии, Зеноны,
В лицее, в храмах и садах,
На бочках, темных чердаках
О благе вышнем говорили
И смертных к счастью манили
Своею... нищенской клюкой,
Клянясь священной бородой,
Что плод земного совершенства
В саду их мудрости растет;
Что в нем нетленный цвет бла-
женства,
Как роза пышная, цветет.
Слова казались прекрасны,
Но только были несогласны.
Один кричал: ступай туда!
Другой: нет, нет, поди сюда!

Что ж греки делали? Смеялись;
Ученой распрей забавлялись,
А счастье... называли сном!

И в наши времена о том
Бывает много шуму, спору.
Немало новых гордецов,
Которым часто без разбору
Дают названье мудрецов;
Они нам также обещают
Открыть прямой ко счастью
след;
В глаза же счастья не знают;
Живут, как все, под игом бед;
Живут, и горькими слезами
Судьбе тихонько платят сами
За право умниками слыть,
О счастье в книгах говорить!

Престанем льстить себя меч-
тою,
Искать блаженства под луною!
Скорее, друг мой, ты найдешь
Чудесный философский камень,
Чем век без горя проживешь.
Япетов сын¹ эфирный пламень
Похитил для людей с небес,
Но счастья к ним он не принес;

Оно в удел нам не досталось
И там, с Юпитером, осталось.
Вздыхай, тужи; но пользы нет!
Судьбы рекли: «Да будет свет
Жилищем призраков, сует,
Немногих благ и многих бед!»
Рекли – и суеты спустились
На землю шумною толпой:
Герои в латы нарядились,
Плняся Славы красотой;
Мечом махнули, полетели
В забаву умерщвлять людей;
Одни престолов захотели,
Другие самых олтарей;
Одни шумящими рулями
Рассекли пену дальних вод;
Другие мощными руками
Отверзли в землю темный ход,
Чтоб взять пригоршни светлой
пыли!..
Мечты всем головы вскружили,
А горесть врезалась в сердца.
Народов сильных победитель
И стран бесчисленных власти-
тель
Под блеском светлого венца
В душевном мраке унывает
И часто сам того не знает,

На что величия желал
И кровью лавры омочал!
Смельчак, Америку открывший,²
Пути ко счастью не открыл;²
Индейцев в цепи заключивший²
Цепями сам окован был,²
Провел и кончил жизнь в страда-
нье, –
А сей вздыхающий скелет,
Который богом чтит стяжанье,
Среди богатств в тоске живет!..
Но кто, мой друг, в морской пучи-
не
Глазами волны перечтет?
И кто представит нам в картине
Ничтожность всех земных сует?

Что ж делать нам? Ужель со-
крыться
В пустыню Муромских лесов,
В какой-нибудь безвестный кров,
И с миром навсегда проститься,
Когда, к несчастью, мир таков?
Увы, Анахорет не будет
В пустыне счастливее нас!
Хотя земное и забудет;
Хотя умолкнет страсти глас
В его душе уединенной,

Безмолвным мраком огражден-
ной,
Но сердце станет унывать,
В груди холодной тосковать,
Не зная, чем ему заняться.
Тогда пустынноiku явятся
Химеры, адские мечты,
Плоды душевной пустоты!
Чудовищ грозных миллионы,
Змеи летучие, драконы
Над ним крылами зашумят
И страхом ум его затмят...[14]
В тоске он жизнь свою скончает!

Каков ни есть подлунный свет,
Хотя блаженства в оном нет,
Хотя в нем горесть обитает, –
Но мы для света рождены,
Душой, умом одарены
И должны в нем, мой друг,
остаться.
Чем можно будем наслаждаться,
Как можно менее тужить,
Как можно лучше, тише жить,
Без всяких суетных желаний,
Пустых, блестящих ожиданий;
Но что приятное найдем,
То с радостью себе возьмем.

В лесах унылых и дремучих
Бывает краше анемон,
Когда украдкой выдет он
Один среди песков сыпучих;
Во тьме густой, в печальной мгле
Сверкнет луч солнца веселее:
Добра не много на земле,
Но есть оно – и тем милее
Ему быть должно для сердец.
Кто малым может быть дово-
лен,
Не скован в чувствах, духом во-
лен,
Не есть чинов, богатства льстец;
Душою так же прям, как станом;
Не ищет благ за океаном
И с моря кораблей не ждет,
Шумящих ветров не робеет,
Под солнцем домик свой имеет,
В сей день для дня сего живет
И мысли в даль не простирает;
Кто смотрит прямо всем в гла-
за;
Кому несчастного слеза
Отравы в пищу не вливает;
Кому работа не трудна,
Прогулка в поле не скучна
И отдых в знойный час любезен;

Кто ближним иногда полезен
Рукой своей или умом;
Кто может быть приятным дру-
гом,
Любимым, счастливым супругом
И добрым милых чад отцом;
Кто муз от скуки призывает
И нежных граций, спутниц их;
Стихами, прозой забавляет
Себя, домашних и чужих;
От сердца чистого смеется
(Смеяться, право, не грешно!)
Над всем, что кажется смешно, –
Тот в мире с миром уживется
И дней своих не прекратит
Железом острым или ядом;
Тому сей мир не будет адом;
Тот путь свой розой осветит
Среди колючих жизни терний,
Отраду в горестях найдет,
С улыбкой встретит час вечерний
И в полночь тихим сном заснет.

Илья Муромец*

Богатырская сказка[15]

*Le monde est vieux, dit-on: je le crois;
cependant
Il le faut amuser encore comme un enfant.
La Fontaine[16]*

Часть первая

*Не хочу с поэтом Греции
звучным гласом Каллиопиным
петь вражды Агамемноновой
с храбрым правнуком Юпитера;¹
или, следуя Виргилию,
плыть от Трои разоренный
с хитрым сыном Афродитиным
к злачным берегам Италии.²
Не желаю в мифологии
черпать дивных, странных вы-
мыслов.*

*Мы не греки и не римляне;
мы не верим их преданиям;
мы не верим, чтобы бог Сатурн
мог любезного родителя
превратить в уродо жалкого;³
чтобы Леды были – курицы⁴
и несли весною яйца;*

чтобы Поллуксы с Еленами
родились от белых лебедей.
Нам другие сказки надобны;
мы другие сказки слышали
от своих покойных мамушек.
Я намерен слогом древности
рассказать теперь одну из них
вам, любезные читатели,
если вы в часы свободные
удовольствие находите
в русских баснях, в русских пове-
стях,
в смеси былей с небылицами,
в сих игрушках мирной праздни-
сти,
в сих мечтах воображения.
Ах! не все нам горькой истиной
мучить томные сердца свои!
ах! не все нам реки слезные
лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
в чародействе красных вымыслов!

Не хочу я на Парнас идти;
нет! Парнас гора высокая,
и дорога к ней не гладкая.
Я видал, как наши витязи,
наши стихо-рифмоделители,

упиваясь одопением,
лезут на вершину Пиндову⁵,
обступаются и вниз летят,
не с венцами и не с лаврами,
но с ушами (ах!) ослиными,
для позорища насмешникам!
Нет, любезные читатели!
я прошу вас не туда с собой.
Близ моей смиренной хижиньки,
на берегу реки прозрачная
роща древняя, дубовая
нас укроет от лучей дневных.
Там мой дедушка на старости
в жаркий полдень отдыхал всегда
на коленях милой бабушки;
там висит его пернатый шлем;
там висит его булатный меч,
коим он врагов отечества
за гордыню их наказывал
(кровь турецкая и шведская
и теперь еще видна на нем).
Там я сяду на берегу реки
и под тенью древ развесистых
буду повесть вам рассказывать.
Там вы можете тихохонько,
если скучно вам покажется,
раз два зевнув, сомкнуть глаза.

Ты, которая в подсолнечной
всюду видима и слышима;
ты, которая, как бог Протей⁶,
всякий образ на себя берешь,
всяким голосом умеешь петь,
удивляешь, забавляешь нас, –
все вещаешь, кроме... истины;
объявляешь с газетирами
сокровенности политики;
сочиняешь с стихотворцами
знатным похвалы прекрасные;
величаешь Пантомороса[17]
славным, беспримерным авто-
ром;
с алхимистом открываешь нам
тайну камня философского;
изъясняешь с систематиком
связь души с телесной сущностью
и свободы человеческой
с непременными законами;
ты, которая с Людмилою
нежным и дрожащим голосом
мне сказала: я люблю тебя!
о богиня света белого –
Ложь, Неправда, призрак истины!
будь теперь моей богинею
и цветами луга русского
убери героя древности,

величайшего из витязей,
чудоддея Илью Муромца!
Я об нем хочу беседовать,
об его бессмертных подвигах.
Ложь! с тобою не учиться мне
небылицы выдавать за быль.

Солнце красное явилось
на лазури неба чистого
и лучами злата яркого
осветило рошу тихую,
холм зеленый и цветущий дол.
Улыбнулось все творение;
воды с блеском заструилися;
травки, ночью освеженные,
и цветочки благовонные
растворили воздух утренний
сладким духом, ароматами.
Все кусточки оживились,
и пернатые малюточки,
конопляночка с малиновкой,
в нежных песнях славить начали
день, беспечность и спокойствие.
Никогда в Российской области
не бывало утро летнее
веселее и прекраснее,

Кто ж сим утром наслаждает-

ся?

Кто на статном соловом коне,
черный щит держа в одной руке,
а в другой копьё булатное,
едет по лугу, как грозный царь?
На главе его пернатый шлем
с золотою, светлой бляхою;
на бедре его тяжелый меч;
латы, солнцем освещенные,
сыплют искры и огнем горят.
Кто сей витязь, богатырь мла-
дой?

Он подобен маю красному:
розы алые с лилеями
расцветают на лице его.

Он подобен мирту нежному:
тонок, прям и величав собой.
Взор его быстрее орлиного
и светлее ясна месяца.

Кто сей рыцарь? – Илья Муромец,
Он проехал дикий темный лес,
и глазам его является
поле гладкое, обширное,
где природою рассыпаны
в изобилии дары земли.
Витязь Геснера не читывал;
но, имея сердце нежное,
любовался красотою дня;

тихим шагом ехал по лугу
и в душе своей чувствительной
жертву утреннюю, чистую
приносил царю небесному.
«Ты, который украшаешь все,
русский бог и бог вселенная!
Ты, который наделяешь нас
всеми благами щедрот своих!
будь всегда моим помощником!
Я клянуся вечно следовать
богатырским предписаниям
и уставам добродетели,
быть защитником невинности,
бедных, сирых и несчастных вдов
и наказывать мечом своим
злых тиранов и волшебников,
устрашающих сердца людей!»
Так герой наш размышлял в себе
и, повсюду обращая взор,
за кустами впереди себя,
над струями речки быстрыя,
видит светло-голубой шатер,
видит ставку богатырскую
с золотою круглой маковкой.
Он к кусточкам приближается
и стучит копьем в железный
щит;

Но ответу богатырского

Нет на стук его оружия.
Белый конь гуляет по лугу,
неоседланный, невзнузданный,
щиплет травку ароматную
и следы подков серебряных
оставляет на росе цветов.
Не выходит витязь к витязю
поклониться, ознакомиться.
Удивляется наш Муромец;
смотрит на небо и думает:
«Солнце выше гор лазоревых,
а российский богатырь в шатре
неужель еще покоится?»
Он пускает на зеленый луг
своего коня надежного
и вступает смелой поступью
в ставку с золотою маковкой.

Для чего природа дивная
не дала мне дара чудного
нежной кистию прельщать глаза
и писать живыми красками
с Тицианом и Корреджием?
Ах! тогда бы я представил вам,
что увидел витязь Муромец
в ставке с золотою маковкой.
Вы бы вместе с ним увидели –
беспримерную красавицу,

всех любезностей собрание,
редкость милых женских преле-
стей;
вы бы вместе с ним увидели,
как она приятным, тихим сном
наслаждалась в голубом шатре,
разметавшись на цветной траве;
как ее густые волосы,
светло-русые, волнистые,
осеяли белизну лица,
шеи, груди алебастровой
и, свиваясь, развиваясь,
упадали на колена к ней;
как ее рука лилейная,
где все жилки васильковые
были с нежностью означены,
ее голову покоила;
как одежда снего-белая,
полотняная, тончайшая
от дыханья груди полная
трепетала тихим трепетом.
Но не можно в сказке выразить
и не можно написать пером,
чем глаза героя нашего
услаждались на ее челе,
на ее устах малиновых,
на ее бровях возвышенных
и на всем лице красавицы.

Латы с золотой насечкою,
шлем с пером заморской жар-пти-
цы,
меч с топазной рукояткою,
копье с булатным острием,
щит из стали вороненья
и седло с блестящей осыпью
на траве лежали вокруг ее.

Сердце твердое, геройское
твердо в битвах и сражениях
со врагами добродетели –
твердо в бедствиях, опасностях;
но нетвердо против женских
стрел,
мягче воску белоярого
против нежных, милых преле-
стей.

Витязь знал красавиц множество
в беспредельной Русской области,
но такой еще не видывал.
Взор его не отвращается
от румяного лица ее.
Он боится разбудить ее;
он досадует, что сердце в нем
бьется с частым, сильным трепе-
том;
он дыхание в груди своей

останавливать старается,
чтобы долее красавицу
беспрепятственно рассматри-
вать.

Но ему опять желается,
чтоб красавица очнулась вдруг;
ему хочется глаза ее –
верно, светлые, любезные –
видеть под бровями черными;
ему хочется внимать ее
гласу тихому, приятному;
ему хочется узнать ее
любопытную историю,
и откуда, и куда она,
и зачем, девица красная
(витязь думал и угадывал,
что она была девицею),
ездит по свету геройствовать,
подвергается опасностям
жизни трудной, жизни рыцар-
ской,
не щадя весенних прелестей,
не бояся жара, холода.

«Руки слабой, тленной женщины
могут шить серебром и золотом
в красном и покойном тереме, –
не мечом и не копьем владеть;
могут друга, сердцу милого,

жать с любовью к сердцу нежно-
му, –
не гигантов на полях разить.
Если кто из злых волшебников
в плен возьмет девицу юную,
ах! чего злодей бесчувственный,
с нею в ярости не сделает?» –
Так Илья с собой беседует
и взирает на прекрасную.

Время быстрого стрелой летит;
час проходит за минутами,
и за утром полдень следует –
незнакомка спит глубоким сном.

Солнце к западу склоняется,
и с эфирною прохладой
вечер сходит с неба ясного
на луга и поле чистое –
незнакомка спит глубоким сном.
Ночь на облаке спускается
и густыя тьмы покровами
одевают землю тихую;
слышно ручейков журчание,
слышно эхо отдаленное,
и в кусточках соловей поет –
незнакомка спит глубоким сном.

Тщетно витязь дожидается,
чтобы грудь ее высокая
вздохом нежным всколебалася;
чтоб она рукою белою
хотя раз тихонько тронулась
и открыла очи ясные!
Незнакомка спит по-прежнему.

Он садится в голубом шатре
и, взирая на прекрасную,
видит в самой темноте ночной
красоту ее небесную,
видит – в тронутой душе своей
и в своем воображении;
чувствует ее дыхание
и не мыслит успокоиться
в час глубокия полуночи.

Ночь проходит, наступает день;
день проходит, наступает ночь –
незнакомка спит по-прежнему.

Рыцарь наш сидит как вкопан-
ный;
забывает пищу, нужный сон.
Всякий час, минуту каждую
он находит нечто новое
в милых прелестях красавицы;

и – недели целой нет в году!

Здесь, любезные читатели,
должно будет изъясниться нам,
уничтожить возражения
строгих, бледнолицых критиков:
«Как Илья, хотя и Муромец,
хоть и витязь Руси древняя,
мог сидеть неделю целую,
не вставая, на одном месте;
мог ни маковые росинки
в рот не брать, дремы не чувствовать?»

Вы слыхали, как монах святой,
наслаждаясь дивным пением
райской пестрой конопляночки,
мог без пищи и без сна пробыть
не неделю, но столетие.
Разве прелести красавицы
не имеют чародейства
райской пестрой конопляночки?
О друзья мои любезные!
если б знали вы, что женщины
могут делать с нами, бедными!..
Ах! спросите стариков седых;
Ах! спросите самого меня...
и, краснея, вам признаюсь,
что волшебный вид прелестницы,

—
не хочу теперь назвать ее! —
был мне пищею небесною,
олимпийскою амврозией;
что я рад был целый век не
спать,
лишь бы видеть мог жестокую!..
Но боюсь говорить об ней
и к герою возвращаюся.

«Что за чудо! — рыцарь думает. —
Я слышал о богатырском сне;
иногда он продолжается
три дня с часом, но не более;
а красавица любезная...»
Тут он видит муху черную
на устах ее малиновых;
забывает рассуждения
и рукою богатырскою
гонит злого насекомого;
машет пальцем указательным
(где сиял большой золотой пер-
стень
с талисманом Велеславиным) —
машет, тихо прикасается
к алым розам белолицья —
и красавица любезная
растворяет очи ясные!

Кто опишет милый взор ее,
кто улыбку пробуждения,
ту любезность несказанную,
с коей, встав, она приветствует
незнакомого ей рыцаря?
«Долго б спать мне непрерывным
сном,
юный рыцарь! (говорит она)
если б ты не разбудил меня.
Сон мой был очарованием
злого, хитрого волшебника,
Черномора-ненавистника.
Вижу перстень на руке твоей,
перстень добрая волшебницы,
Велеславы благодетельной:
он своею тайной силою,
прикоснувшись к моему лицу,
уничтожил заклинание
Черномора-ненавистника».
Витязь снял с себя пернатый
шлем:
чернобархатные волосы
по плечам его рассыпались.
Как заря алеет на небе,
разливаясь в море розовом
пред восходом солнца красного,
так румянец на щеках его
разливался в алом пламени.

Как роса сияет на поле,
серебряная светилом дня,
так сердечная чувствительность
в масле глаз его светила.
Стоя с видом милой скромности
пред любезной незнакомкою,
тихим и дрожащим голосом
он красавице отвечает:
«Дар волшебницы любезныя
мил и дорог моему сердцу;
я ему обязан счастьем
видеть ясный свет очей твоих».
Взором нежным, выразительным
он сказал гораздо более.

Тут красавица заметила,
что одежда полотняная
не темница для красот ее;
что любезный рыцарь-юноша
догадаться мог легохонько,
где под нею что таилось...
Так седой туман, волнуясь
над долиною зеленою,
не совсем скрывает холмики,
посреди ее цветущие;
глаз внимательного странника
сквозь волнение туманное
видит их вершинки круглые.

Незнакомка взор потупила –
закраснелась, как маков цвет,
и взялась рукою белую
за доспехи богатырские.

Рыцарь понял, что красавице
без свидетелей желается
нарядиться юным витязем.
Он из ставки вышел бережно,
посмотрел на небо синее,
прислонился к вязу гибкому,
бросил шлем пернатый на землю
и рукою подпер голову.

Что он думал, мы не скажем
вдруг;
но в глазах его задумчивость
точно так изображалась,
как в ручье густое облако;
томный вздох из сердца вылетел.
Конь его, товарищ, верный друг,
видя рыцаря, бежит к нему;
ржет и прыгает вокруг Ильи,
поднимая гриву белую,
извивая хвост изгибистый.
Но герой наш нечувствителен
к ласкам, к радости товарища,
своего коня надежного;
он стоит, молчит и думает.
Долго ль, долго ль думать Му-

ромцу?

Нет, недолго: раскрываются
полы светло-голубой ставки,
и глазам его является
незнакомка в виде рыцаря.
Шлем пернатый развеивается
над ее челом возвышенным.
Героиня подпирается
копьем с булатным острием;
меч блистает на бедре ее.
В ту минуту солнце красное
воссияло ярче прежнего,
и лучи его с любовью
пролилися на красавицу.

С кроткой, нежною улыбкою
смотрит милая на витязя
и движеньем глаз лазоревых
говорит ему: «Мы можем сесть
на траве благоухающей,
под сенистыми кусточками».
Рыцарь скоро приближается
и садится с героинею
на траве благоухающей,
под сенистыми кусточками.
Две минуты продолжается
их глубокое молчание;
в третью чудо совершается...

К самому себе*

Прости, надежда!.. и навек!
 Исчезло все, что сердцу льстило,
 Душе моей казалось мило;
 Исчезло! Слабый человек!
 Что хочешь делать? обливаться
 Рекою горьких, тщетных слез?
 Стенать во прахе и терзаться?..
 Что пользы? Рока и небес
 Не тронешь ты своей тоскою
 И будешь жалок лишь себе!
 Нет, лучше докажи судьбе,
 Что можешь быть велик душою,
 Спокоен вопреки всему.
 Чего робеть? ты сам с собою!
 Прибегни к сердцу своему:
 Оно твой друг, твоя отрада,
 За все несчастья награда –
 Еще ты в свете не один!
 Еще ты мира гражданин!..
 Смотри, как солнце над тобою
 Сияет славой, красотой;
 Как ясен, чист небесный свод;
 Как мирно, тихо все в природе!

Зефир струит зеркало вод,
И птички в радостной свободе
Поют: «Будь весел, улыбнись!»
Поют тебе согласным хором.
А ты стоишь с унылым взором,
С душою мрачной?.. Ободришь
И вспомни, что бывал ты прежде,
Как мудрым в чувствах подра-
жал,
Сократа сердцем обожал,
С Катонем смерть любил, в на-
дежде
Носить бессмертия венец.
Житейских радостей конец
Да будет для тебя началом
Геройской твердости в душе!
Язвимый лютых бедствий жа-
лом,
Забвенный в темном шалаше
Всею светом, ложными друзья-
ми,
Умей спокойными очами
На мир обманчивый взирать,
Несчастье с счастьем презирать!

Я столько лет мечтой пленялся,
Хотел блаженства, восхищался!..
В минуту все покрылось тьмой,

И я остался лишь с тоской!

*Так некий зодчий, созидая
Огромный, велелепный храм
На диво будущим векам,
Гордился духом, помышляя
О славе дела своего;
Но вдруг огромный храм трясет-
ся,
Падет... упал... и нет его!..
Что ж бедный зодчий? Он кля-
нется
Не строить впредь, беспечно
жить...
А я клянуса... не любить!*

Выбор жениха*

*Лиза в городе жила,
Но невинною была;
Лиза, ангел красотою,
Ангел нравом и душою.
Время ей пришло любить...
Всем любиться в свете должно,
И в семнадцать лет не можно
Сердцу без другого жить.*

*Что же делать? где искать?
И кому люблю сказать?
Разве в свете появиться,
Всех пленить, одним плениться?
Так и сделала она.
Лизу люди окружили,
Лизе все одно твердили:
«Ты прельщать нас рождена!»*

*«Будь супругою моей! –
Говорит богатый ей, –
Всякий день тебе готовы
Драгоценные обнови;
Станешь в золоте ходить;
Ожерельями, серьгами,
Разноцветными парчами*

Буду милую дарить».

Что ж красавица в ответ?
Что сказала? да иль нет?
Лиза только улыбнулась;
Прочь пошла, не оглянулась.
Гордый барин ей сказал:
«Будь супругою моею;
Будешь знатной госпожею:
Знай, я полный генерал!»

Что ж красавица в ответ?
Что сказала? да иль нет?
Генералу поклонилась,
Только чином не пленилась.
Лиза... далее идет;
Ищет, долго не находит...
«Так она и век проходит!..»
Ошибаетесь – найдет!

Лизе суженый сказал:
«Чином я не генерал
И богатства не имею,
Но любить тебя умею.
Лиза! будь навек моя!» –
Тут прекрасная вздохнула,
На любезного взглянула
И сказала: «Я твоя!»

К бедному поэту*

*Престань, мой друг, поэт унылый,
Роптать на скудный жребий свой
И знай, что бедность и покой
Еще быть могут сердцу милы.
Фортуна-мачеха тебя,
За что-то очень невлюбя,
Пустой сумою наградила
И в мир с клюкою отпустила;
Но истинно родная мать,
Природа, любит награждать
Несчастливых пасынков Фортуны:
Дает им ум, сердечный жар,
Искусство петь, чудесный дар
Вливать огонь в золотые струны,
Сердца гармонией пленять.
Ты сей бесценный дар имеешь;
Стихами чистыми умеешь
Любовь и дружбу прославлять;
Как птичка, в белом свете волен,
Не знаешь клетки, ни оков –
Чего же больше? будь доволен;
Вздыхать, роптать есть
страсть глупцов.*

Взгляни на солнце, свод небесный,
На свежий луг, для глаз прелест-
ный;

Смотри на быструю реку,
Летящую с сребристой пеной
По светло-желтому песку;
Смотри на лес густой, зеленый
И слушай песни соловья:

Поэт! Натура вся твоя.

В ее любезном сердцу лоне

Ты царь на велелепном троне.

Оставь другим носить венец:

Гордися, нежных чувств певец,

Венком, из нежных роз сплетен-
ным,

Тобой от граций полученным!

Тебе никто не хочет льстить:

Что нужды? кто в душе спокоен,

Кто истинной хвалы достоин,

Тому не скучно век прожить

Без шума, без льстецов коварных.

Не можешь ты чинов давать,

Но можешь зернами питать

Семейство птичек благодарных;

Они хвалу тебе споют

Гораздо лучше стиходеев,

Тиранов слуха, лже-Орфеев,

Которых музы в одах лгут

Нескладно-пышными словами.
Мой друг! сущность бедна:
Играй в душе своей мечтами,
Иначе будет жизнь скучна.
Не Крез с мешками, сундуками
Здесь может веселее жить,
Но тот, кто в бедности умеет
Себя богатством веселить;
Кто дар воображать имеет
В кармане тысячу рублей,
Копейки в доме не имея.
Поэт есть хитрый чародей:
Его живая мысль, как фея,
Творит красавиц из цветка;
На сосне розы производит,
В крапиве нежный мирт находит
И строит замки из песка.
Лукуллы в неге утонченной
Напрасно вкус свой притупленный
Хотят чем новым усладить.
Сатрап с Лаисою зевает;
Платок ей бросив, засыпает;
Их жребий: дни считать, не
жить;
Душа их в роскоши истлела,
Подобно камню онемела
Для чувства радостей земных.
Избыток благ и наслажденья

Есть хладный гроб воображенья;
В мечтах, в желаньях своих
Мы только счастливы бываем;
Надежда – золото для нас,
Призрак любезнейший для глаз,
В котором счастье лобызаем,

Не сытому хвалить обед,
За коим нимфы, Ганимед¹
Гостям амврозию разносят,
И не в объятиях Лизет
Певцы красавиц превозносят;
Все лучше кажется вдали.
Сухими фигами питаюсь,
Но в мыслях царски наслаждаясь
Дарами моря и земли,
Зови к себе в стихах игривых
Друзей любезных и счастливых
На сладкий и роскошный пир;
Сбери красоток несравненных,
Веселым чувством оживленных;
Вели им с нежным звуком лир
Петь в громком и приятном хоре,
Летать, подобно Терпсихоре,
При плеске радостных гостей
И милой ласкою своей,
Умильным, сладострастным взором,

Немым, но внятным разговором
Сердца к тому приготовлять,
Чего... в стихах нельзя сказать.
Или, подобно Дон-Кишоту,
Имея к рыцарству охоту,
В шишак и панцирь нарядись,
На борзого коня садись,
Ищи опасных приключений,
Волшебных замков и сражений,
Чтоб добрым принцам помогать
Принцесс от уз освободятъ.
Или, Платонов воскрешая
И с ними ум свой изошряя,
Закон республикам давай
И землю в небо превращай.
Или... но как все то исчислить,
Что может стихотворец мыс-
лить
В укромной хижинке своей?

Мудрец, который знал людей,
Сказал, что мир стоит обманом;
Мы все, мой друг, лжецы:
Простые люди, мудрецы;
Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять прият-
но,

Стихами, прозой, – в добрый час!
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? искусный лжец:
Ему и слава и венец!

1⁷⁹⁶

К неверной*

Рассудок говорит: «Все в мире
есть мечта!»
Увы! несчастлив тот, кому и
сердце скажет:
«Все в мире есть мечта!»
Кому жестокий рок то опытом
докажет.
Тогда увянет жизни цвет;
Тогда несносен свет;
Тогда наш взор унылый
На горестной земле не ищет ни-
чего:
Он ищет лишь... могилы!..
Я слышал страшный глас, глас
сердца моего,
И с прелестью души, с надеждою
простился;
Надежда умерла: и так могу ли
жить?

Когда любви твоей я, милая, ли-
шился,
Могу ли что-нибудь, могу ль себя
любить?

Кто в жизни испытал всю сла-
дость нежной страсти
И нравился тебе... тот жил, и
долго жил;

Мне должно умереть: так рок
определил.

Ах! если б было в нашей власти
Вовеки пламенно любить,
Вовеки в милом сердце жить,
Никто б не захотел расстаться с
здешним светом;

Тогда бы человек был зависти
предметом

Для жителей небес. – Упреками
тебе

Скучать я не хочу: упреки беспо-
лезны;

Насильно никогда не можем
быть любезны.

Любви покорно все, любовь... од-
ной судьбе.

Когда от сердца сердце удалится,
Напрасно звать его: оно не возвра-

тится.

Но странник в горестных местах,
В пустыне мертвой, на песках,
Приятности лугов, долин вообра-
жает,

Чрез кои некогда он шел:

«Там пели соловьи, там мирт ду-
шистый цвел!»

Сей мыслию себя страдалец лишь
терзает,

Но все несчастные о счастье гово-
рят.

Им участь... вспоминать, счаст-
ливцу... наслаждаться:

Я также вспомню рай, питая в
сердце ад.

Ах! было время мне мечтать и
заблуждаться:

Я прожил тридцать лет; с цве-
точка на цветок

С зефирами летал. Киприда¹ свой
венюк

Мне часто подавала;

Как резвый ветерок, рука моя иг-
рала

Со флером на груди прелестней-
ших цирцей²;

Армиды Тассовы, Лаисы наших
дней

Улыбкою любви меня к себе мани-
ли

И сердце юноши быть ветреным
учили;

Но я влюблялся, не любя.

Когда ж узнал тебя,

Когда, дрожащими руками

Обняв друг друга, все забыв,

Двумя горящими сердцами

Союз священный заключив,

Мы небо на земле вкусили

И вечность в миг один вместили,

—

Тогда, тогда любовь я в первый
раз узнал;

Ее восторгом изнуренный,

Лишился мыслей, чувств и смер-
ти ожидал,

Прелестнейшей, блаженной!..

Но рок хотел меня для горя со-
хранить;

За счастье должно нам несчастии-
ем платить.

Какая смертная как ты была лю-
бима,

Как ты боготворима?
Какая смертная была
И столь любезна, столь мила?
Любовь к тебе пылала,
И подле сердца моего
Любовь, любовь в твоём так силь-
но трепетала!
С небесной сладостью дыханья
твоего
Она лилась мне в грудь. Что сло-
во, то блаженство;
Что взор, то новый дар. Я целый
свет забыл,
Природу и друзей: природы совер-
шенство,
Друзей, себя, творца в тебе одной
любил.
Единый час разлуки
Был сердцу моему несносным го-
дом муки;
Прощаясь с тобой,
Прощался я с самим собой...
И с чувством обновленным
К тебе в объятия спешил;
В душевной радости рекою слезы
лил;
В блаженстве трепетал... не
смертным, богом был!..

И прах у ног твоих казался мне
священным!
Я землю целовал,
На кою ты ступала;
Как нектар воздух пил, которым
ты дышала...
Увы! от счастья здесь никто не
умирал,
Когда не умер я!.. Оставить мир
холодный,
Который враг чувствительным
душам;
Обнявшись перейти в другой, где
мы свободны
Жить с тем, что мило нам;
Где царствует любовь без всех
предрассуждений,
Без всех несчастных заблуждений;
Где бог улыбкой встретит нас...
Ах! сколько, сколько раз
О том в восторге мы мечтали
И вместе слезы проливали!..
Я был, я был любим тобой!

Жестокая!.. увы! могло ли подо-
зренье
Мне душу омрачить? Ужасною
виной

Почел бы я тогда малейшее сомнение;
Оплакал бы его. Тебе неверной быть!
Скорее нас творец забудет,
Скорее изверг здесь покоен духом будет,
Чем милая души мне может изменить!
Так думал я... и что ж? На розе уст небесных,
На тайной красоте грудей твоих прелестных
Еще горел, пылал мой страстный поцелуй,
Когда сказала ты другому: «Торжествуй –
Люблю тебя!..» Еще ты рук не опускала,
Которыми меня, лаская, обнимала,
Другой, другой уж был в объятиях твоих...
Иль в сердце... все одно! Без тучи гром ужасный
Ударил надо мной. В волненьи чувств моих
Я верить не хотел глазам своим,

несчастный!
И думал наяву, что вижу все во
сне;
Сомнение тогда блаженством
было мне –
Но ты, жестокая, холодной ру-
кою
Завесу с истины сняла!..
Ни вздохом, ни одной слезою
Последней дани мне в любви не
принесла!..

Как можно разлюбить, что нам
казалось мило,
Кем мы дышали здесь, кем наше
сердце жило?
Однажды чувства истощив,
Где новых взять для новой стра-
сти?
Тобой оставлен я; но, ах! в моей
ли власти
Неверную забыть? Однажды по-
любив,
Я должен ввек любить; исчезну
обожая.
Тебе судьба иная;
Иное сердце у тебя –
Блаженствуй! Самый гроб меня

не утешает;
И в вечности я зрю пустыню для
себя:
Я буду там один! Душа не умира-
ет;
Душа моя и там все будет тоско-
вать
И тени милья искать!

1⁷⁹⁶

К верной*

Ты мне верна!.. тебя я снова обни-
маю!..
И сердце милое твое
Опять, опять мое!
К твоим ногам в восторге упа-
даю...
Целую их!.. Ты плачешь, милый
друг!..
Сладчайшие слова: «души моей
супруг»,
Опять из уст твоих я в сердце
принимаю!..
Ах! как благодарить творца!..
Все горе, всю тоску навек позабы-
ваю!..

.....

Ты бледность своего лица
Показываешь мне – прощаешь! Не
дерзаю
Оправдывать себя:
Заставив мучиться тебя,
Преступником я был. Но мне ка-
залось ясно
Несчастье мое. И ты сама... про-
сти...
Воспоминание души моей ужас-
но!..
К сей тайне я тогда не мог ключа
найти[18].
Теперь, теперь стыжусь и впредь
клянусь не верить
Ни слуху, ни глазам;
Не верить и твоим словам,
Когда бы ты сама хотела разуве-
рить
Меня в любви своей. На сердце ука-
жу,
Взгляну с улыбкою и с твердо-
стью скажу:
«Оно, мой друг, спокойно;
Оно тебя достойно
Надежностью своей.
Испытывай меня!» Пусть преле-
стью твоей

Другие также заразятся!
Для них надежды цвет, а мне – надежды плод!

Из них пусть каждый счастья ждет:

Я буду счастьем наслаждаться.

Их жребий: милую любить;

Мой жребий: милой милым быть!

Хотя при людях нам нельзя еще словами

Люблю друг другу говорить;

Но страстными сердцами

Мы будем всякий миг «люблю, люблю» твердить

(Другим язык сей непонятен;

Но голос сердца сердцу внятен),

И взор умильный то ж украдкой подтвердит.

Снесу жестокость принужденья
(Что делать? так судьба велит),

Снесу в блаженстве уверенья,

Что ты моя в душе своей.

Ах! истинная страсть питается собою;

Восторги чувств не нужны ей.

Я знаю, что меня с тобою

Жестокий рок готов надолго разлучить;

Скажу тебе... «прости!» и должен
буду скрыть
Тоску в груди моей!.. Обильными
слезами
Ее не облегчу в присутствии дру-
гих;
И ангела души дрожащими уста-
ми
Не буду целовать в объятиях сво-
их!..
Расстаться тяжело с сердечной
половиной;
Но... я любим тобой: сей мыслию
единой
Унылый мрак душевных чувств
моих
Как солнцем озарится.
Разлука – опыт нам:
Кто опыта страшится,
Тот, верно, нелюбим, тот мало
любит сам;
Прямую страсть всегда разлука
умножает –
Так буря слабый огонь в минуту
погашает,
Но больше сил огню сильнейшему
дает.
Когда душа единственный пред-

мет
У нас перед глазами,
Мы знаем то одно, что весело лю-
бить;
Но чтоб узнать всю власть его
над нами –
Узнать, что без него душе не
можно жить...
Расстанься с ним!.. Любовь пита-
ется слезами,
От горести растет;
И чувство, что нельзя преодо-
леть нам страсти,
Еще ей более дает
Над сердцем сладкой власти.

Когда-нибудь, о милый друг,
Судьбы жестокие смягчатся:
Два сердца, две руки навек соеди-
нятся;
Любовник... будет твой супруг.
Ах! станем жить: с надеждой
жизнь прекрасна;
Не нам, тому она ужасна,
Кто любит лишь один, не будучи
любим.
Исчезнут для меня с отбытием
твоим

Сущность и мир: в одном
воображены
Я буду находить утехи для себя;
Далеко от людей, в лесу, в уедине-
нии,
Построю[19] домик для тебя,
Для нас двоих, над тихою рекою
Забвения всего, но только не люб-
ви;
Скажу тебе: «В сем домике живи
С любовью, счастьем и со мною:
Для прочего умрем. Прельщаяся
тобою,
Я прелести ни в чем ином не нахо-
жу.
Тебе все чувства посвящаю:
Взгляну ль на что, когда на ми-
лую гляжу?
Услышу ль что-нибудь, когда те-
бе внимаю?
Душа моя полна: я в ней тебя вме-
щаю!
Пусть бог вселенную в пустыню
превратит;
Пусть будем в ней мы только
двое!
Любовь ее для нас украсит, ожи-
вит.

Что сердцу надобно? найти, лю-
бить другое;
А я нашел, хочу с ним вечность
провести
И свету говорю: «прости!»

Прелестный домик сей вдали нас
ожидает;
Теперь его судьба завесой покрыва-
ет,
Но он явится нам: в нем буду
жить с тобой
Или мечту сию... возьму я в гроб с
собой.

Тацит*

*Тацит велик; но Рим, описанный
Тацитом,*

Достоин ли пера его?

*В сем Риме, некогда геройством
знаменитом,*

*Кроме убийц и жертв не вижу ни-
чего.*

Жалеть об нем не долж-

но:

*Он стоил лютых бед несчастья
своего,*

*Терпя, чего терпеть без подлости
не можно!*

Меланхолия*

Подражание Делилю

*Страсть нежных, кротких душ,
судьбою угнетенных,
Несчастливых счастье и сладость
огорченных!*

*О Меланхолия! ты им милее всех
Искусственных забав и ветреных
утех.*

*Сравнится ль что-нибудь с твоею
красотою,*

*С твоей улыбкою и с тихою сле-
зою?*

*Ты первый скорби врач, ты первый
сердца друг:*

*Тебе оно свои печали поверяет;
Но, утешаясь, их еще не забывает.*

*Когда, освобождаясь от ига тяжелых
мук,*

*Несчастный отдохнет в душе сво-
ей унылой,*

*С любовью ему ты руку подаешь
И лучше радости, для горестных
немилый,*

*Ласкаешься к нему и в грудь отра-
ду льешь*

С печальной кротостью и с видом
умиления.

О Меланхолия! нежнейший пере-
лив

От скорби и тоски к утехам на-
слаждения!

Веселья нет еще, и нет уже муче-
нья;

Отчаянье прошло... Но, слезы осу-
шив,

Ты радостно на свет взглянуть
еще не смеешь

И матери своей, Печали, вид име-
ешь.

Бежишь, скрываешься от блеска и
людей,

И сумерки тебе милее ясных дней.
Безмолвие любя, ты слушаешь

унылый

Шум листьев, горных вод, шум
ветров и морей.

Тебе приятен лес, тебе пустыни
милы;

В уединении ты более с собой.

Природа мрачная твой нежный
взор пленяет:

Она как будто бы печалится с
тобой.

Когда светило дня на небе угасает,
В задумчивости ты взираешь на него.
Не шумные весны любезная веселость,
Не лета пышного роскошный блеск и зрелость
Для грусти твоя приятнее всего,
Но осень бледная, когда, изнемогая
И томною рукой венок свой обрывая,
Она кончины ждет. Пусть веселится свет
И счастье грубое в рассеянии новом
Старается найти: тебе в нем нужды нет;
Ты счастлива мечтой, одною мыслью – словом!
Там музыка гремит, в огнях пылает дом;
Блестают красотой, алмазами, умом, –
Там пиршество... но ты не видишь, не внимаешь
И голову свою на руку опускаешь;

*Веселие твое – задумавшись, мол-
чать
И на прошедшее взор нежный об-
ращать.*

1⁸⁰⁰

Берег*

*После бури и волнения,
Всех опасностей пути,
Мореходцам нет сомненья
В пристань мирную войти.*

*Пусть она и неизвестна!
Пусть ее на карте нет!
Мысль, надежда им прелестна
Там избавиться от бед.*

*Если ж взором открывают
На берегу друзей, родных,
«О блаженство!» – восклицают
И летят в объятия их.*

*Жизнь! ты море и волнение!
Смерть! ты пристань и покой!
Будет там соединенье
Разлученных здесь волной.*

*Вижу, вижу... вы маните
Нас к таинственным берегам!..
Тени милые! храните
Место подле вас друзьям!*

<1802>

Критика

<О Шекспире и его трагедии «Юлий Цезарь»>*

При издании сего Шекеспирова творения почитаю почти за необходимость писать предисловие. До сего времени еще ни одно из сочинений знаменитого сего автора не было переведено на язык наш; следственно, и ни один из соотчичей моих, не читавший Шекеспира на других языках, не мог иметь достаточного о нем понятия. Вообще сказать можно, что мы весьма незнакомы с английскою литературою. Говорить о причине сего почитаю здесь некстати. Доволен буду, если внимание читателей моих не отяготится и тем, что стану говорить собственно о Шекеспире и его творениях.

Автор сей жил в Англии во времена королевы Елисаветы и был из тех великих духов, коими славятся веки. Сочинения его суть сочинения драматические. Время, сей могущественный истребитель всего того, что под

солнцем находится, не могло еще доселе затмить изящности и величия Шекеспировых творений. Вся почти Англия согласна в хвале, приписываемой мужу сему. Пусть спросят упражнявшегося в чтении англичанина: «Кого Шекеспир?» – Без всякого сомнения, будет он отвечать: «Шекеспир велик! Шекеспир неподражаем!» Все лучшие английские писатели, после Шекеспира жившие, с великим тщанием вникали в красоты его произведений. Милтон, Юнг, Томсон и прочие прославившиеся творцы пользовались многими его мыслями, различно их украшая. Немногие из писателей столь глубоко проникли в человеческое естество, как Шекеспир; немногие столь хорошо знали все тайнейшие человека пружины, сокровеннейшие его побуждения, отличительность каждой страсти, каждого темперамента и каждого рода жизни, как удивительный сей живописец. Все великолепные картины его непосредственно натуре подражают; все оттенки картин сих в изумление приводят внимательного рассматривателя. Каждая степень людей, каждый возраст, каждая страсть, каждый характер говорит у

него собственным своим языком. Для каждой мысли находит он образ, для каждого ощущения – выражение, для каждого движения души – наилучший оборот. Живописание его сильно и краски его блистательны, когда хочет он явить сияние добродетели; кисть его весьма льстива, когда изображает он кроткое волнение нежнейших страстей; но самая же сия кисть гигантскою представляется, когда описывает жестокое волнование души.

Но и сей великий муж, подобно многим, не освобожден от колких укоризн некоторых худых критиков своих. Знаменитый софист, Волтер, силился доказать, что Шекеспир был весьма средственный автор¹, исполненный многих и великих недостатков. Он говорил: «Шекеспир писал без правил; творения его суть и трагедии и комедии вместе, или траги-коми-лирико-пастушьи фарсы без плана, без связи в сценах, без единств; неприятная смесь высокого и низкого, трогательного и смешного, истинной и ложной остроты, забавного и бессмысленного; они исполнены таких мыслей, которые достойны мудреца, и притом такого вздора, который только шута

достоин; они исполнены таких картин, которые принесли бы честь самому Гомеру, и таких карикатур, которых бы и сам Скаррон устыдился». — Излишним почитаю теперь опровергать пространно мнения сии, уменьшение славы Шекеспировой в предмете имевшие. Скажу только, что все те, которые старались унижить достоинства его, не могли против воли своей не сказать, что в нем много и превосходного. Человек самолюбив; он страшится хвалить других людей, дабы, по мнению его, самому сим не унизиться. Волтер лучшими местами в трагедиях своих обязан Шекеспиру; но, невзирая на сие, сравнивал его с шутком и поставлял ниже Скаррона. Из сего бы можно было вывести весьма оскорбительное для памяти Волтеровой следствие; но я удерживаюсь от сего, вспомя, что человека сего нет уже в мире нашем.

Что Шекеспир не держался правил театральных, правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его воображение, не могшее покориться никаким предписаниям. Дух его парил, яко орел, и не мог парения своего измерять тою мерою, которою измеряют по-

лет свой воробьи. Не хотел он соблюдать так называемых единств, которых нынешние наши драматические авторы так крепко придерживаются; не хотел он полагать тесных пределов воображению своему: он смотрел только на натуру, не заботясь, впрочем, ни о чем. Известно было ему, что мысль человеческая мгновенно может перелетать от запада к востоку, от конца области Моголовой к пределам Англии. Гений его, подобно гению природы, обнимал взором своим и солнце и атомы. С равным искусством изображал он и героя и шута, умного и безумца, Брута и башмачника. Драмы его, подобно неизмеримому театру природы, исполнены многообразия: все же вместе составляет совершенное целое, не требующее исправления от нынешних театральных писателей.

Трагедия, мною переведенная, есть одно из превосходных его творений. Некоторые недовольны тем, что Шекеспир, назвав трагедию сию «Юлием Цезарем», после смерти его продолжает еще два действия; но недовольствие сие окажется ложным, если с основательностью будет все рассмотрено. Цезарь

умерщвлен в начале третьего действия, но дух его жив еще; он одушевляет Октавия и Антония, гонит убийц Цезаревых и после всех их погубляет. Умерщвление Цезаря есть содержание трагедии; на умерщвлении сем основаны все действия.

Характеры, в сей трагедии изображенные, заслуживают внимания читателей. Характер Брутов есть наилучший. Французские переводчики Шекеспировых трагедий[20] говорят об оном так: «Брут есть самый редкий, самый важный и самый занимательный моральный характер. Антоний сказал о Бруте: вот муж! а Шекеспир, изображавший его нам, сказать мог: вот характер! ибо он есть действительно изящнейший из всех характеров, когда-либо в драматических сочинениях изображенных».

Что касается до перевода моего, то я наиболее старался перевести верно, стараясь при том избежать и противных нашему языку выражений. Впрочем, пусть рассуждают о сем могущие рассуждать о сем справедливо. Мыслей автора моего нигде не переменял я, почитая сие для переводчика непозволенным.

Если чтение перевода доставит российским любителям литературы достаточное понятие о Шекеспире; если оно принесет им удовольствие, то переводчик будет награжден за труд его. Впрочем, он приготовился и к противоположному. Но одно не будет ли ему приятнее другого? – Может быть.

Октябрь 15, 1786

«Эмилия Галотти»*

Трагедия в пяти действиях, сочиненная г. Лессингом; перевод с немецкого¹

Сия трагедия есть одна из тех, которых почтенная московская публика удостоивает особенного своего благоволения. Уже несколько лет играет она на здешнем театре, и всегда при рукоплесканиях зрителей. – Первый перевод ее напечатан в Петербурге, а второй, по которому она представляется, здесь, в Москве.

Не много найдется драм, которые составляли бы такое гармоническое целое, как сия трагедия, – в которых бы все приключения так хорошо связаны и все характеры так ис-

кусно изображены были, как в «Эмилии Галотти». Главное действие возмутительно, но не менее того естественно. Римская история представляет нам пример такого ужасного дела. Одоардо был в таких же обстоятельствах, как и несчастный римлянин; имел такой же великий дух, гордую чувствительность и высокое понятие о чести. Рассмотрим только поближе его положение, чувства и мысли, которые занимали душу его перед свершением убийства.

Умертвили жениха его дочери, столько любезного ему и ей, – умертвили для того, что принцу угодно было избрать невесту в предмет сладострастных своих желаний; обманом привели дочь его к принцу и не хотели отдать отцу под предлогом, будто бы надлежало ее допросить в суде, не знает ли она убийцы жениха своего. Сей вымысл, достойный ада и камергера Маринелли, – вымысл, который был еще злобнее вымысла римского децемвира, – должен был привести в бешенство пламенного Одоардо. В первом движении праведного гнева своего хотел было он заколоть и сладострастного принца и злобного помощ-

ника его; но мысль: «Мне ли убивать, как бандиты убивают?» – остановила его руку. Надлежало на что-нибудь решиться, и на что-нибудь великое, достойное такого мужа, каким представлен нам Одоардо. Неужели он так покорится обстоятельствам, так вдруг унижится в чувствах, чтобы отдать Эмилию в наложницы принцу, – тот, кто почитал себя выше всех обстоятельств, кто страх почитал за низость? Одоарду быть отцом обещанной женщины? Одоарду снести, чтобы на него указывали пальцем и говорили с злобною усмешкою: «Вот тот, кто никогда не хотел унижаться перед нашим принцем, кто почитал себя выше всех обид со стороны его, но кто с низким поклоном отдал ему дочь свою и принес покорнейшую благодарность за то, что ему или его помощнику угодно было отправить на тот свет жениха нежной Эмилии»? Какие же средства оставались ему спасти ее? К законам ли прибегнуть там, где законы говорили устами того, на кого бы ему просить надлежало? Увезти ли ее силою оттуда, где гвардия хранила вход и выход? – Обратим теперь глаза на Одоарда.

Он утихает и задумывается. Наконец, как от сна пробудившись, говорит: «Хорошо! Дайте мне только видеться, один раз видеться с моею дочерью!» Тут, будучи оставлен самому себе, сражается он с ужасною для него мыслию: «Если она сама с ним согласилась? Если она недостойна того, что я для нее сделать хочу?» Итак, он уже решился; но на что, зритель еще не знает. «Что же хочу я для нее сделать? – продолжает Одоардо. – Осмелюсь ли сказать самому себе? Ужасная мысль!» – Здесь зритель готовится уже к чему-нибудь страшному. – «Нет, нет! Не буду ее дожидаться! (Смотря на небо.) Кто безвинно ввергнул ее в эту бездну, пусть тот и спасает ее! На что ему рука моя?» – Вот черта, которая показывает, сколь хорошо знал автор сердце человеческое! Когда человек в крайности решится на что-нибудь ужасное, решение его, пока еще не приступил он к исполнению, бывает всегда, так сказать, *неполное*. Все еще ищет он кротчайших средств – не находит, но все ищет, как будто бы не веря глазам или рассудку своему. Обратимся к Одоарду. В самую ту минуту, как он воображает себе всю ужас-

ность своего намерения и содрогаются, предстаёт душе его мысль о провидении, которому он верил в жизни своей. «Как! Неужели оно попустит торжествовать пороку? Неужели оно не спасет невинности? Почему знать, какими средствами?» С сею мыслию хочет он идти; но тут является Эмилия. «Поздно!» – восклицает он – и мысль, что провидение посылает к нему дочь его с тем, чтобы он решил судьбу ее, как молния пронизывает его душу. Такие скорые перемены в намерениях мятущейся души весьма естественны. Она бывает внимательна к самому ветерку и слушает, не шепчет ли ей какой глас с неба. Эмилия представляется глазам его в самое то время, как он хочет от нее удалиться, – это значило для него: *не удаляйся*.

Теперь остается ему только увериться в добродетели своей Эмилии – и уверяется – и находит в дочери своей героиню, которая языком Катона говорит о свободе души. «Где тот человек, – восклицает она, – который другого человека к чему-нибудь приневолить может? Я боюсь не принуждения, а соблазна; я женщина». Тут в душе Одоардовой должны

были возбуждаться все прежние ужасные для него мысли о дочери обещанной. Тут Эмилия требует кинжала, почитая в фанатизме своем такое самоубийство за дело святое. «Для избежания соблазна, – говорит она, – тысячи бросались в воду и становились святыми». Одоардо, желая увериться в ее решимости, дает ей кинжал – она хочет заколоться, но он вырывает его, сказав: «Это не для твоей руки...» При сих словах он должен был думать: «У тебя есть отец; так или иначе, но ему надлежит спасти тебя». Эмилия, срывая у себя с головы розу, хочет его еще более тронуть. «Ты не должна украшать волосы такой женщины, какую отец мой хочет меня видеть!» Одоардо отвечает только повторением ее имени – произносил ли он его когда-нибудь в жизни своей таким голосом и с таким чувством! Душа его обнаружилась перед пронзительною Эмилией. «О! Если угадываю ваши мысли! – говорит она, пристально смотря ему в глаза. – Но нет, вы и этого не хотите. Для чего же бы медлить? *(Печальным голосом, разрывая розу.)* Некогда был такой отец, который, избавляя дочь свою от стыда, пронзил

кинжалом грудь ее, и – вторично даровал ей жизнь. А ныне нет уже таких дел! Нет уже таких отцов!» Мне кажется, что я в сию минуту вижу всю душу Одоардову. «Итак, дочь моя думает сама, что я могу умертвить ее, – что я не имею иного способа избавить ее от бесчестия и потому должен умертвить ее? Итак, был пример дочеубийства? Был дочеубийца, которому удивляется потомство? И могли ли обстоятельства его быть ужаснее моих? Кажется, что я уже слышу тирана, идущего похитить у меня дочь мою. Нет, нет! Он не похитит, не обесчестит ее! *Есть еще другой Виргинии в свете², дочь моя, есть!*» – И хладное железо пронзает Эмилиину грудь, и Эмилия издыхает в объятиях убийцы, отца своего, и зритель чувствует, что Одоардо мог заколоть Эмилию так, как Виргинии заколол Виргинию, и «Эмилия Галотти» пребудет венцом Лессинговых драматических творений.

И сколь естественно было Одоарду заколоть дочь свою, столь же естественно было ему и раскаяться в первый миг по свершении дела и, видя падающую Эмилию, воскликнуть: «Боже! Что я сделал!» Он почувствовал

себя отцом, убившим дочь свою. — Все, что несчастный говорит потом принцу, раздирает душу чувствительного зрителя. Не хочет он убить себя. «Вот окровавленный знак моего преступления! — говорит он, бросая кинжал. — Я сам пойду в темницу». — Гордость замерла в сердце его; *чувство своего дела* заглушает в нем все иные чувства. —

Что принадлежит до характеров, то не знаю, в каком наиболее удивляться искусству автору. Гордый, благородный Одоардо; чувствительная, пылкая Эмилия; сладострастный, слабый, но притом добродушный принц, могущий согласиться на великое злодеяние, когда то способствует удовлетворению его страсти, но всегда достойный нашего сожаления; Маринелли, злодей по воспитанию и привычке; Орсина, от ревности с ума сошедшая, но умная в самом своем сумасшествии; Клавдия, слабая женщина, но нежная мать; граф Аппиани, которого зритель любит еще прежде, нежели он на сцену выходит, и который обнаруживает в себе столько чувствительности и любви в разговоре с Эмилией и столько благородства в ссоре с Маринелли;

советник Камилло Рота, который, сказав только несколько слов, заставляет нас почитать в себе мужа редкой добродетели; ученый живописец с своею пластическою натурою и с Рафаэлем без рук; честный разбойник и убийца и, наконец, всякий слуга, который выходит на сцену, – все, все показывает, что автор наблюдал человечество не два дни, и наблюдал так, как не многие наблюдать удобны; что натура дала ему живое чувство истины, которое и автора и человека делает великим.

Сколько прекрасных сцен! Там, где живописец приносит принцу портреты, где Маринелли рассказывает ему о помолвке Эмилииною, где Аппиани является с своею меланхолиею, где Маринелли старается раздражить страсть принцеву, представляя ему опасность лишиться Эмилии, где Клавдия, как отчаянная мать, клянет Маринелли и, наконец, все сцены четвертого и пятого акта одна другой интереснее.

Разговор же всегда так пристроен к месту и к лицам, что актер и зритель может забыть – один, что он на театре, а другой, что он в теат-

ре.

Если надобно сказать несколько слов об игре актеров, то нельзя прежде всего не пожалеть о том, что театр московский лишился гжи Ульяны Синявской[21], которая так прекрасно играла роль Эмилии – которая с таким чувством говорила нам об опасности соблазна в седьмой сцене последнего акта. Кто ее заменит?

Господин Померанцев, наш Гаррик, наш Моле, наш Экгоф, ни в какой роле столько не удивляет нас своими дарованиями, как в роле Одоарда. Сам Экгоф, которого игрою восхищался Лессинг, едва ли мог лучше представить его. Какая величавость, какая мужественность в его поступи, в его телодвижениях, когда он выходит на сцену! В спокойном разговоре видно искусство его так же, как и в жарком. Пусть покажут нам актера, который превзошел бы Померанцева в игре глаз, в скорых переменах лица и голоса! Например, когда он входит в шестой сцене четвертого акта, лицо его показывает все, что сердцу его чувствовать надлежало, – беспокойство, нетерпение в вышней степени. Каким трогательным

голосом говорит он: «Какая связь между мщением порока и оскорбленную добродетелию? Ее только мне спасти должно. А за тебя, мой сын, я никогда не умел плакать, – за тебя другой вступится». – Как пылают глаза его, как гремит его голос, когда он произносит свое заклинание: «Пусть каждое сновидение являет ему окровавленного жениха, ведущего к ложу его невесту свою, и когда он еще прострет к ней сладострастные свои объятия, то да услышит вдруг посмеяние ада и пробудится». Тон, которым он отвечает Маринелли в третьем явлении пятого действия, есть самый выразительный и мастерской. Один критик сказал: «Да у него во всех представлениях один тон!» Такому критику можно отвечать, что истинный или лучший тон есть один; когда актер нашел его, то переменять не должно. – Коротко сказать, вся игра г. Померанцева в сей трагедии прекрасна. Только бы мог он еще с сильнейшим движением и страшнейшим голосом произносить: «Есть еще дочь моя, есть!» Лучше бы также было, если бы он, окончив свою роль, не становился на колени подле лежащей Эмилии, с которою он уже

простился, обращаясь к принцу. Ему бы надлежало, кажется, остаться в глубокой задумчивости, с потупленным взором, между тем как говорит принц. – Однажды, по окончании трагедии, почтенная московская публика встретила г. Померанцева с громким рукоплесканием, когда он показался в партер. Сии минуты были минутами, торжества талантов. Все к нему теснились – со всех сторон окружали его и приветствовали плеском. Один из зрителей бросил ему при сем случае следующие стихи:

*Кого с плесканием партер теперь
встречает?*

*Кого в восторге он приятно
окружает?*

*Того, кто чувства несчастного
отца*

*Искусством мог влиять всем зри-
телям в сердца;*

*Кто сильною игрой и важными
словами,*

*На сцене быв, владел всех зрите-
лей душами;*

*Кто всех сердца привлечь к невин-
ности возмог*

*И ненависть во всех к пороку кто
возжег;
Кто Мельпоменою бессмертье
получает,
Того с плесканием партер теперь
встречает.*

Г-жа Померанцева очень хорошо представляет нам Клавдию, а особливо в жаркой сцене с Маринелли.

Зная таланты г-на Лапина, уверен я, чтобы он мог еще лучше играть ролью принца, которая, конечно, достойна всякого хорошего актера и в которой всякий хороший актер может показать таланты свои. Игра его теряла много и от того, что он почти никогда не знал твердо своей роли – небрежение, весьма неприятное для публики! Но в заключении пьесы всегда отменно трогательно произнес он: «Боже, боже мой!», и проч.

Графиню Орсину представляет г-жа Марья Синявская с великим искусством, и я уверен, что сам автор был бы доволен ее игрою. Только бы желал я, чтобы восторг ее в конце седьмой сцены четвертого акта более похож был на исступление – чтобы изображалось в гла-

зах ее более дикой, свирепой радости. Пьеса потеряла бы весьма много, если бы ролю сию играла не такая искусная актриса.

Господин Зальшкин, конечно, имеет способности, но не для роли камергера Маринелли, которая заключает в себе великие тонкости. Автор весьма много оставил в ней для глаз и тона; а это все, к сожалению, пропадает. В Шекспировой трагедии «Отелло» роля злодея Яго едва ли труднее сей; а ее часто играл Гаррик.

Роля живописца имеет свои трудности. Акттеру надобно иметь идею об ученых италийских живописцах и о тоне, каким говорят они с принцами. Господин Сахаров играет ее не так, как должно; но он имеет способности, по которым можно ожидать от него весьма хорошего актера.

Господин Украсов изрядно играет ролю графа Аппиани; только бы надобно было по более нежности в голосе, когда он говорит с Эмилиею.

Господин Ожогин также изрядно представляет бандита. – О роле советника и слуг говорить нечего.

«Эмилия Галотти», конечно, не сойдет с московского театра, пока не сойдут с него г. Померанцев и г-жа Марья Синявская.

О сравнении древней, а особливо греческой, с немецкою и новейшею литературою*

Сочинение Гроддека, доктора философии [22]

Немецкое ученое общество в Мангейме предложило вопрос: «Дошли ли немцы в некоторых родах поэзии и красноречия до римлян и греков или не превзошли ли их в чем-нибудь?» Сочинитель, известный уже ученому свету по другому своему сочинению – «De Hymnorum Homericorum. reliquiis» [23], исследывает сей вопрос, не думая о награждении. Подлинно ли можно решить его? Можно ли так точно сравнивать древнюю литературу с новою? А если должно, то какие будут главные пункты сего сравнения? – Вопрос: *поравнялись ли мы с древними и не превзошли ли их?* – в самом деле, весьма труден;

но если бы и легко можно было решить сей вопрос, то все к чему бы нам было меряться с древними? Разве для того, чтобы оставить их и, таким образом, избавиться от трудных изъяснений? Или для того, чтобы, поравнявшись с остроумнейшим народом на земном шаре, заснуть на лаврах своих с приятною мыслию: *я с ним ровен?* Или, может быть, для того, чтобы увидеть еще недостающее нам к совершенству? Но здесь рождаются новые вопросы. Точно ли творения древних в словесных науках могут быть для поэта и оратора такими верными образцами, как правила Поликлета для художника? Не есть ли красота и совершенство нечто весьма относительное или, лучше сказать, нечто такое, чего во всей чистоте не найдешь ни у какого народа и ни в каком сочинении? Только в сравнении копии с оригиналом могу я точно определить, чего недостает в первой для совершенного сходства с последним. Но разве сочинения наши суть не что иное, как копии древних? И разве древние без всякого исключения могут быть для нас оригиналами? – Сочинитель хотел дать почувствовать некоторые из сих затруд-

нений, имеющих влияние на решение вышеупомянутого вопроса. Совершенство в творениях древних, говорит он, или то, что в них нравится, не есть *одно*. Оно различно, по разным временам, в которые цвела поэзия у древних. Вкус подвержен был многим переменам. Певец природы поет не так, как просвещенный поэт, а просвещенный не так, как ученый. Какой род изящности надобно избрать мерилом? К тому же мы не имеем еще достоятельного числа примеров, чтобы о достоинстве греческой литературы сказать нечто решительное. Некоторые из лучших греческих писателей (например, Менандер и все поэты новой комедии) пропали; обо многих же греческих творениях в словесных науках имеем мы только историческое сведение. Но какое же есть главное различие между древнею и новою поэзию, различие, столь затрудняющее всякое сравнение между ими? Яснее всего увидим его, когда сравним обстоятельства, в которых образовалась поэзия древних и наша поэзия. У греков происходит и образуется она во время *детства и юности нации*. Гомер беспримерен и неподражаем для того, что он

писал или пел в сих обстоятельствах. Некоторые из оных не переменялись еще долгое время. Язык Гомеров остался языком эпических поэтов, и содержание песней их было отчасти то же. Долго были поэмы вместилищем полезных знаний, и более всего из них учились. Грек возрастал среди идей и образов древнейшего времени и живо чувствовал красоты того искусства, которому надлежало прославлять всякое народное торжество. Сколь же, напротив того, отменны обстоятельства поэзии в нашем отечестве! Песни древних бардов едва ли стоят того, чтобы жалеть о потере их. Песни так называемых *любовных певцов* [24] для нас то же, что потеряны; потому что язык наш совсем переменялся – и в самые те времена, как они сочиняемы были, действовали они более на высшие состояния, нежели на народ. *Цеховые стихотворцы* [25] совсем унизили поэзию. Даже и теперь, когда превосходные поэты извлекли ее из всеобщего презрения, сколь еще отлично то участие, которое берет в ней народ, от того, которое брали греки в своей поэзии! Национальный дух, который их оживлял и заставлял знать историю

своего отечества, нам совсем неизвестен. Мы духом своим живем более в других народах, нежели в собственном своем; а грек образовался среди греков и творения свои брал из самого себя. Язык наш есть язык богатый и философский, но для поэзии время его почти прошло.

Второе главное различие древней и новой поэзии состоит в различности цели их. Образование и просвещение диких людей было целью древних, а у нас только удовольствие и забава. Различность содержания поэм есть необходимое сего следствие; от чего, с другой стороны, произошло такое же великое различие и в характерах древних и новых творений. Благородная, трогательная простота есть характер древних; а новых украшение и искусство.

Изю всего же сказанного следует то, что великость древних происходит не от большой силы духа их, но от обстоятельств внешних. Немцам остается по крайней мере та слава, что они в обстоятельствах, гораздо не столь благоприятных, достигли до высокой степени изящности; и весьма бы несправедливо было

определять достоинство последних по неприличному сравнению с первыми. – Сочинитель сравнивает потом разные роды поэзии, которые дошли до нас от древних, например басню, драму, идиллию, и показывает великое различие, которое должна была произвести в них различность времени. Потом обращается он еще к поэзии римлян, которая уже гораздо ближе к нашей. Римляне учились у греков так, как мы учимся у греков и римлян. И у них процвела поэзия уже во время просвещения: но она была подобна однодневному растению, которое скоро увяло на сей плоской земле. Не научение, а удовольствие было целью римских поэтов. Однако ж они имели перед нами то преимущество, что в их гражданские учреждения и религию вошло много греческого, и потому были они к образцам своим ближе нашего.

Автор, кажется, нашел точно ту сторону, с которой должно смотреть на древнюю и новую поэзию. Не во многом можно подражать древним; но весьма многому можно у них, или, лучше сказать, посредством их, выучиться. Кто без творческого духа хочет быть по-

этом или скоро обработать дарования свои по хорошим образцам, тот может кратчайшим путем достигнуть до того через прилежное чтение новейших поэтов – италиянцев, французов и англичан. Но точно потому, что расстояние между сими и нами столь мало, а между греками и нами столь велико, сии последние гораздо удобнее к образованию великого духа и вкуса. Для кого будет сие загадкою, тот попроси объяснения у наших модных критиков и однодневных поэтов.

Философа Рафаила Гитлоде странствования...*

ФИЛОСОФА РАФАИЛА ГИТЛОДЕ СТРАНСТВОВАНИЯ В НОВОМ СВЕТЕ И ОПИСАНИЕ ЛЮБОпытства ДОСТОЙНЫХ ПРИМЕЧАНИЙ (!!) И БЛАГОРАЗУМНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ ЖИЗНИ МИРОЛЮБИВОГО НАРОДА ОСТРОВА УТОПИИ

Перевод с английского языка. Сочинение Томаса (Моруса) В Санкт-Петербурге у Шнора, 1790 года. Часть I

Томас Морус, великий канцлер Англии во время правления Генриха VIII, был один из

величайших политиков и ученейших людей своего века, правда не науками, не просвещением славного. Известен трагический конец сего мужа. Когда король отстал от римской церкви и требовал, чтобы подданные клятвенно признали его главою англиканского исповедания, то Морус ни за что не хотел дать сей клятвы; просьбы друзей и супруги не могли поколебать его, и он лучше хотел умереть на эшафоте, нежели изменить папе. «Утопия» есть одно из его сочинений, опубликованных в шестом и седьмом-надесять веке на латинском языке. Сия книга содержит описание идеальной, или мысленной, республики, подобной республике Платоновой; но только слог англичанина не есть слог греческого философа. Сверх того, многие идеи его одна другой противоречат и вообще никогда не могут быть произведены в действо. Краткое извлечение из книги может быть не противно читателю.

Морус, быв в Анверсе, познакомился с одним философом, который проехал весь свет из конца в конец и везде наблюдал нравы, обычаи и политические учреждения народов.

Морус, удивляясь его опытной мудрости, желает, чтобы философ взял на себя какую-нибудь гражданскую должность и чрез то был бы полезен обществу не только своими рассуждениями, но и делами. Философ не хочет о том и слышать. «Я буду совершенно бесполезен, – говорит он, – я могу только советовать; но, конечно, никто не примет моих советов, потому что люди уже привыкли к старому и боятся всякой новизны». Тут рассказывает он, каким образом в доме архиепископа Мортонна в Англии хотел он доказать одному законнику, что за воровство надобно людей не вешать, а отдавать в работу, через которую могут они еще быть полезны государству. Он исследывает причины воровства и утверждает, что пока не истребятся сии причины, до того и воровство не истребитися, несмотря на всю жестокость наказания. Потом говорит он с Морусом о ложной политике министров и проч. и проч.; что все в шестом-надесять веке могло быть ново. Тут доходит дело до Платона и до общественности гражданского имения, которой возможность и полезность старается он доказывать всеми силами. «Я видел такую

землю, – говорит он, – где люди живут, как им жить должно». Сия земля есть остров Утопия в Новом Свете. Морус просит его описать ему такую любопытную землю. Философ охотно исполняет его просьбу.

Сия республика состоит из 54 городов, из которых один есть главный и лежит в равном расстоянии от всех прочих. Города управляются судьями, избираемыми всем гражданством; они имеют попечение о потребностях общества. В главный город ежегодно съезжаются депутаты, из каждого города по три человека, и рассуждают о делах республики. Некоторые из граждан живут в деревнях, обрабатывают землю и снабжают города хлебом; однако ж они переменяются, и другие из города на место их приезжают. Каждое семейство имеет свой дом; но через десять лет все граждане меняются домами по жеребью. У них есть общие залы, в которых они обедают и ужинают вместе, и за обедом обыкновенно едят мало, чтобы после быть способными ко всяким упражнением. Во время обеда гремит восхитительная музыка и курятся благоговения.

За столом старики говорят, а молодые слушают. Есть у них игры в часы отдохновения, игры, полезные для души или тела. Женатые и замужние ходят в платья, отличном от платья холостых и девушек. Любовь есть душа браков их. Нет там ни замков, ни ключей, для того что нет воров. Бывают судные дела, которые решатся всегда справедливо. Судьи, рассуждая о деле, по закону должны всегда откладывать решение до другого дня, чтобы иметь время подумать. У них есть прекрасные больницы, в которых наилучшим образом ходят за больными. Докторов много, и доктора все искусные. Кроме медицины, знают они и другие науки, преимущественно полезные человеку: физику, астрономию и проч.; но в метафизике не сильны. Религия их состоит в поклонении творцу всяческих, под именем Митры, и в надежде на жизнь вечную, блаженную для добрых. Самоубийство у них позволено в случае нестерпимой и неизлечимой болезни; и если страждущий не может сам на себя поднять руки, то друг его оказывает ему сию услугу. Они смеются над европейскою пышностию, над дворянскими гене-

алогиями, над азартными играми, над псовой охотой и проч. Лишний хлеб и скот продают соседям и часто весьма долго не требуют с них платежа; однако ж у них много денег в общественной их казнохранительнице. Если какой-нибудь народ вздумает напасть на них, они наймут многочисленную армию для его отражения или подкупят неприятельских полководцев на собственное их истребление. Всякие тяжелые работы отправляют у них рабы, купленные ими у соседственных народов; иные же добровольно приходят к ним работать. Философ наш, долгое время живший на сем острове, начал проповедывать жителям христианский закон, который многие и приняли. Впрочем, они не спорят о религии, и всякий может думать, как хочет, сообразно с своею совестью.

Вот что можно было извлечь из сего политического романа, весьма темного в русском переводе¹. Читатель может судить о сем по следующим местам: «Все предметы, встречающиеся глазам сих рабов, *одумавших самих себя*, имеют такое *над ними участие*, что отворачивают их от вины», и проч. – «Боже нас со-

храни! – вскричал законник, кусая пальцы и делая какой-то необычайный вид, – видеть когда-нибудь входяща и исполняющаяся в Англии сей странный обычай». – «Совокупившийся его гнев изъясняется нечаянным прерыванием». – «Увы! Если бы государь столь отчудил сердца своих подданных!» – Итак, «чрезмерные крайности неимущества», «жестокое уничтожения, испытываемые человеком», и проч. И на всякой почти странице можно найти нечто подобное. Многие галлицизмы в слогe доказывают, что книга сия переведена не с английского, а с французского языка. *Магистраты* идут у г. переводчика вместо судей, *случайные* игры вместо азартных и проч. и проч. Видно, что он еще во французском языке не очень силен; да и в русском тоже.

Гольдониевы записки, закрывающие в себе историю его жизни и театра*

Книга весьма занимательная. Самые малейшие обстоятельства умеет Гольдони описывать приятнейшим образом. Во всех повествованиях его видна некоторая беспристрастность и прямотуше, которое заставляет любить его. Хотя он, пользуясь долгое время благосклонностию своей нации, и должен был чувствовать свое достоинство; однако ж от сего чувства он не сделался эгоистом и рассказывает слабости и проступки свои с любезною откровенностию. Нельзя не удивляться его творческой плодовитости, скорости, с которою он сочинял, – правда, иногда и не так чтобы хорошо! – и трудным обязательствам, в которые он входил. Во время авторской жизни своей сочинил он двести театральных пьес!! Описание того, как он сочинял и что подало ему повод к сочинению пьес, может быть очень полезно для нового театрального автора. Частые переезды из города в город, а

особливо пребывание его в Париже, где он живет уже двадцать семь лет, приятным образом переменяют сцену действия и часто отводят читателя от героя повести и обращают его внимание на другие предметы. Жизнь его во Франции составляет содержание всего третьего тома. Слава комедии «Благодетельный грубиян», сочиненной им на французском языке, была ему приятнее всех похвал, которыми осыпали его дарования в Италии.

«Генриада»*

«ГЕНРИАДА», героическая поэма господина Вольтера, переведенная с французского языка стихами

«Генриада» есть одна из тех поэм, которых главное достоинство состоит не в великих новых мыслях, не в живых, с самой природы взятых образах, но в красоте стихов. Тем труднее переводить ее. Здесь надобно не только выразить мысли поэтов, но и выразить их с такою же точностию, с такою же чистотою и приятностию, как в подлиннике; иначе поэма потеряет почти всю свою цену. Но какие пре-

пятствия надобно преодолеть переводчику! Кроме некоторой негибкости нашего языка, мера и рифма составляют такую трудность, которую едва ли бы и сам Вольтер, переродясь в русского, преодолеть мог. Одним словом, легче (по моему мнению) сочинить на русском языке эпическую поэму в двадцать песней, нежели перевести хорошо десять песней «Генриады».

Второй перевод сей поэмы (так же, как и первый, вышедший за несколько лет перед сим¹ в Петербурге) нимало не опровергает моего мнения. Читатель позволит мне привести некоторые места из одного и сравнить их с подлинником. – Вольтер предлагает содержание своей поэмы в следующих шести стихах:

*Je chante ce Héros qui régna sur la
France
Et par droit de conquête, et par droit
de naissance;
Qui par de longs malheurs apprit à
gouverner,
Calma les factions, fut vaincre et
pardonner,
Confondit et Mayenne et la Ligue et
l'Ibère,*

*Et fut de ses sujets le vainqueur et le
père.*

В переводе:

*Пою героя, кто, разрушивши ко-
варство,
Оружием достал Французско го-
сударство;
Кто, долго странствуя меж со-
противных сил,
Наследие свое чрез храбрость по-
лучил,
Злых возмутителей испанцев был
гонитель,
Стал подданных своих отец и по-
кровитель.*

Число стихов то же; но есть ли в переводе гладкость, определенность, приятность, сила оригинала? – В первом полустииши вместо *кто* надлежало бы по грамматике употребить возносительное местоимение *который*. – Откуда зашло в первый стих *коварство*? В оригинале его нет. Да и можно ли *разрушить коварство*? – Второй стих таков, что иной не захочет уже и читать далее. *Достать Французско государство!* К тому же здесь не выраже-

но того, что французская корона принадлежала Генрику и по праву наследственности. – Под *сопротивными силами* нельзя разуместь ничего иного, кроме неприятельских войск; итак, Генрик долго странствовал между неприятельскими войсками? Но Вольтер и не думал сказать сего. *Несчастия*, говорит он, *научили его царствовать*. Сей стих прекрасен в оригинале, и читатель узнает из него, что Генрик был добрый царь. – В четвертом стихе г. переводчик вздумал выразить пропущенное им во втором, т. е. что Генрик был наследник французской короны; но для сего он должен был пропустить весь четвертый стих оригинала, где сказано в похвалу короля, что он умел *побеждать* и *прощать*. Confondit значит *постыдил*, а не *гнал*: с чего же в пятом стихе перевода назван Генрик гонителем, и притом гишпанцев? Сего не узнаешь и тогда, когда всю поэму прочитаешь. – В шестом стихе не выражено того, что король *победил* своих подданных и *потом* стал их отцом. *Покровитель* есть здесь не что иное, как *подставное* слово (или, как немцы говорят, Flickwort), не сообщающее никакой новой идеи после

отца.

Поэт обращается к истине в сих прекрасных стихах:

*Descends du haut des cieux, auguste
verité,
Répands sur mes écrits ta force et ta
clarté:
Que l'oreille des Rois s'accoutume à
t'entendre,
C'est à toi d'annoncer ce qu'ils
doivent apprendre;
C'est à toi de montrer aux yeux des
nations
Les coupables effets de leurs
divisions.
Di, comment la discorde a troublé
nos provinces;
Di les malheurs du peuple et les
fautes des Princes,
Vien, parle – et s'il est vrai que la
fable autrefois
Sut à tes fiers accens mêler sa douce
voix,
Si sa main délicate orna ta tête
altière
Si son ombre embellit les traits de ta
lumière,
Avec moi sur tes pas permets-lui de*

*marcher,
Pour orner tes attraits, et non pour
les cacher.*

Господин переводчик перевел их так:

*Незыблемой красой своих нелест-
ных слов
Возвысь, о истина! всю цену сих
стихов,
Чтоб слух и мысль царей вни-
мать тебя обывкли,
Тебя, злость, истреблять, в чем
столь они навывкли;
Тебя являть уму и представлять
пред взор
Повинны следствия раздоров их и
ссор!
Повеждь нам, как вражда народ
ввела в смятенье,
В страдание граждан, бояр в недо-
уменье.
Ах! приступи, вещай – и если
прежде баснь
Мешала в речь твою свой слог,
свою приязнь;
Когда ты с ней сердца взаимно
обольщала,
Коль тень ее твой свет лишь вя-*

ще освещала:

Позволь со мною ей пристать к
твоим стопам,
Чтоб свет твой просветить,
дать новый блеск лучам.

«То ли это?» – спрашиваю я у всех, знающих французский язык. Какая сила, какая красота в оригинале! И что же вышло в переводе?

Поэт начинает повествовать:

*Valois regnait encore, et ces mains
incertaines
De l'Etat ébraulé laissaient flotter les
rênes.*

Господин переводчик перевел:

*Еще жил Валуа, и слабые десницы
С трудом могли держать колеблющи
границы.*

Все твердят сей прекрасный Вольтеров стих:

*Tel brille au second rang, qui s'éclipse
au premier.*

Господин переводчик перевел его:

Дух у инова бодр, но неразумен
суд.

Вольтер предлагает систему мира и (сообразно с Невтоновым учением) описывает законы, по которым движутся тела небесные:

*Dans le centre éclatant de ces orbes
immenses,
Qui n'ont pu nous cacher leur marche
et leurs distances,
Luit cet astre du jour, par Dieu-même
allumé,
Qui tourne autour de soi sur son axe
enflammé.
De lui partent sans fin des torrens de
lumière;
Il donne en se montrant la vie à la
matière.
Et dispense les jours, les faisons et les
ans,
A des mondes divers autour de lui
flottans.
Ces astres asservis à la lois qui les
presse,
S'attirent dans leur course, et
s'évitent sans cesse,
Et servant l'un à l'autre et de règle et
d'appui,*

*Se prêtent les clartés qu'ils reçoivent
do lui.*

*Au-delà de leurs cours, et loin dans
cet espace,*

*Ou la matière nage, et que Dieu seul
embrasse,*

*Sont des soleils sans nombre et des
mondes sans fin.*

*Dans cet abime immense il leur ouvre
un chemin.*

*Par delà tous ces cieux le Dieu des
cieux réside.*

Господин переводчик перевел:

*Во средоточии сего обширна ми-
ра,*

*Где зрится без планет в безвест-
ности эфира,*

*Блестит светильник дня далече
вод росы,*

*Вертящийся своей вокруг пламен-
ной оси.*

*Он огненный ручей на землю изли-
вает,*

*Природу целую собою оживляет
И есть неложный знак дней, меся-
цев, годов,*

Путь продолжающих во глубине

миров.

*В пространстве воздуха сии те-
кут светилы*

*По притяжанию его великой си-
лы;*

*Своею ж силой мя отвлечься
прочь, как ветер,*

*Свершают круг большой, кому
есть солнце центр.*

*Вдали сих горних мест, за непро-
ходны бездны,*

*Где блещет Млечный Путь, круги
сияют звездны,*

*Несчетны солнцы суть; несмет-
ные страны*

*На удивление творцом сотворе-
ны.*

*За ними трон стоит бессмертно-
го владыки,*

*Кому со трепетом небесны слу-
жат лики.*

Конечно, во всякой песни сей русской «Генриады» можно найти несколько хороших стихов; но от переводчика такой поэмы, как «Генриада», требуется, чтобы он все перевел хорошо или по крайней мере почти все.

«Неистовый Роланд»*

«НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД», героическая поэма г. Ариоста

Только жаркий климат Италии мог произвести такого романиста, каков был Ариост. Читая его поэму, нельзя не удивляться неистощимости его воображения, которое героя за героем, приключение за приключением и чудо за чудом вымышляет: лабиринт, в котором дорожка пересекает дорожку и где гуляющий теряется и выходу не видит!

Не будем сравнивать Ариоста ни с Гомером, ни с Вергилием, ниже с Тассом. Довольно, что он нравится в праздные, спокойные часы – нравится, несмотря на безобразность и нелепость некоторых вымыслов (которые заставили кардинала Эстского, его покровителя, спросить у него: «Где набрал ты столько вздору, господин Людовик?» – «Dove diavolo, messer Ludovico, avete pigliate tante coglionerie?»). После прекраснейших фигур выходят у него на сцену престранные карикатуры; после печального явления следует

смешное; то видим нежную Олимпию, оставленную неверным супругом на пустом острове, сидящую на утесе и неподвижно смотрящую на волны, – то храброго Роланда, который лезет с канатами в рот к морскому чудовищу, утверждает там якорь и потом, бросаясь опять в воду и выплыв на берег, вытаскивает туда и огромного неприятеля своего. Ариост презирал правдоподобие в вымыслах, презирал единство действия; но за всем тем занимается и нравится, даже и тогда, когда читаешь его не в сладкогласных италиянских строфах, а в сухом прозаическом переводе.

Сия первая книга русского «Роланда» переведена не с нового французского перевода, вышедшего, если не ошибаюсь, года за три перед сим, а с того, который в 1741 году издал господин Мирабо, член Французской академии, под своим именем. Слог нашего переводчика можно назвать изрядным; он не надут славянщиною и довольно чист. Кто не может читать «Роланда» ни на каком другом языке, тому, конечно, сей Русский перевод будет приятен и тот, конечно, пожелает, чтобы г. переводчик выдал и следующие части¹; а

рецензент, с своей стороны, *желает* того, чтобы слог был в них еще правильнее и чище, нежели в первой, где по местам встречаются такие выражения: «Он клялся, что *не иной какой* шишак будет прикрывать его голову, как *не тот*, который Роланд некогда отнял»; и проч. «Граф был *не меньше* учтив и человеколюбив, *сколько* был храбр» и проч. – «Вследствие чего, дабы» и проч. (Это слишком поприказному и очень противно в устах такой женщины, которая, по описанию Ариостову, была прекраснее Венеры.) – «Она (т. е. Ариостова комедия) из числа самых вольных Аристофановых комедий». (Если пьеса Ариостова, то она не может быть из числа Аристофановых пьес. Надлежало бы сказать: «Она принадлежит к роду *таких-то* комедий» и проч.) Господин переводчик, конечно, не осердится на рецензента за сие *желание*.

«Сид»*

«Сид», трагедия в стихах; подражание французскому «Сиду», сочиненному П. Корнелем

Действие происходит в Севилле, во время царствования Фернанда, первого кастильского короля. Химена, дочь графа Гормаса, и Родриго, сын дон Диега, престарелого полководца, любят друг друга, король должен избрать гофмейстера кастильскому принцу. Гормас думает, что никто, кроме его, не имеет права на сие достоинство; но король избирает дон Диега. Граф, исполненный зависти и досады, оскорбляет сего последнего, называя его недостойным оказанной ему чести. Они ссорятся, обнажают мечи – Гормас обезоруживает Диега, повергает его перед собою и с презрением оставляет его. (У Корнеля он дает ему пощечину.) Диего, униженный и посрамленный в собственных своих глазах, закликает сына своего отмстить графу. Родриго, помышляя, что он отец Хименин, колеблется; но скоро должность торжествует – он вызывает графа

на поединок и убивает его. Вот завязка трагедии. Теперь следует одна из лучших сцен в пьесе.

С одной стороны, является перед троном Химена и требует от короля суда на убийцу отца своего, хотя сей убийца есть ее любовник; а с другой, дон Диего, оправдывающий своего сына. Король обещает суд. Дон Санхо, молодой рыцарь, влюбленный в Химену, вызывается быть ее мстителем. (Тут сочинитель русского «Сида» удаляется от французского оригинала; но мы последуем плану сего последнего и потом означим отмены в плане первого.) Химена не принимает его предложения, надеясь на правосудие, обещанное королем. Родриго приходит к ней и требует смерти от руки ее. Любовь с должностию сражаются в сердце Химены. Она признается в первой, однако ж хочет требовать Родриговой головы и умереть с ним вместе.

Между тем мавры нечаянно приближаются к городу. Все в смятении и в беспорядке. Печальный Родриго присоединяется к друзьям отца своего, которые собрались у него в доме; вместе с ними идет против мавров, на-

падает на них и, оказав удивительную храбрость, побеждает и с лаврами к королю возвращается. В самую ту минуту, когда король обнимает в нем спасителя своего и дает ему имя *Сид*, или *победителя*, приходит Химена требовать правосудия. Сид удаляется. Король, подозревая, что она все еще любит Род-рига, и желая в том увериться, сказывает ей, что судьба отмстила за нее и что Родриго убит в сражении. Она бледнеет. «Сид жив, – говорит король, – жив, любит тебя, и рука твоя должна быть ему наградою за славную победу». Но Химена, снова вооружась твердостью, обещает руку свою тому из рыцарей королевских, кто убьет Родрига. Дон Санхо выступает с мечом, и король соглашается на сей поединок. Но кто из них будет победителем, говорит он, тот должен быть супругом Химены. В начале пятого действия приходит Родриго к Химене проститься с нею навеки. Он решился умереть от руки того, кому она поручила свое мщение; хочет обнажить грудь свою перед мечом своего противника и пасть от удара его. Вся сила любви возбуждается в сердце Химены. «Когда ты презираешь жизнь и честь

свою, – говорит она, – то вспомни, что я некогда тебя любила и что рука моя должна быть наградой победителя, – вспомни и победи!» С этими словами она поспешно удаляется, и восхищенный Родриго чувствует в себе силу сразиться с тысячами и победить[26]. Сражаются – Сид обезоруживает своего противника и посылает его к Химене повергнуть меч свой к ее ногам и признаться побежденным. Химена, видя Санха входящего с мечом в руке, почитает его победителем и, не дав ему сказать ни слова, предается отчаянию и перед самим королем обнаруживает всё свое сердце, любви исполненное. Родриго является и падает к ногам ее. Король хочет соединить любовников; но, щадя честь Химены, отсрочивает брак их; посылает Сиду преследовать мавров и заключает трагедию сими стихами:

*Pour vaincre un point d'honneur qui
combat contre lui,
Laisse faire le temps, ta vaillance et
ton roi.[27]*

Сочинитель русской трагедии переменял порядок приключений. Его Сид выходит на поединок с дон Санхом прежде сражения с

маврами, и против сих последних идет он не добровольно с друзьями отца своего, но сам король посылает его и дон Санха, поручая им свое войско и обещая Химену тому, кто окажется более храбрости. Сид возвращается с победою, и король, признавая его достойным Химениной руки, оставляет времени совершить брак их (так же, как у французского автора).

Корнель, сочиняя своего «Сила», имел у себя перед глазами две гишпанские драмы[28] сего содержания, из которых, говорит Вольтер, взял он самые лучшие и трогательнейшие места своей трагедии, бывшей, так сказать, основанием его славы; ибо до того времени знала его французская публика только по «Клитандру» и «Медее», двум весьма несовершенным трагедиям. «Сид» долгое время был любимейшею пиесою парижской публики, и самые новейшие французские писатели почитают его если не лучшею, то по крайней мере трогательнейшею из всех Корнелевых трагедий. Впрочем, по признанию Французской академии, «Сид» имеет пороки, и великие пороки. Вероятно ли, например, то, чтобы

добродетельная девица, какую автор хотел представить Химену, могла *решиться* быть супругою убийцы отца своего *в самый тот день*, в который убийство совершилось? Вольтер берется оправдывать сию развязку трагедии, но в самом деле нимало ее не оправдывает. «Химена не выходит замуж за Сиду, – говорит он, – правда, но она дает чувствовать, что пойдет за него, – а это все одно. Вероятно ли даже и то, чтобы король, не будучи самым грубым и нечувствительным человеком, вздумал в тот день говорить ей о браке?» – Хотя Химена по истории в самом деле вышла за Родрига; однако ж, если она подлинно была так добронравна, как говорят об ней гишпанские историки и поэты, то, конечно, *не так скоро* по смерти отца своего вздумала она идти за него. Можно согласиться с Корнелем,

*Que le temps assez souvent a rendu
légitime,
Ce qui semblait d'abord ne se pouvoir
sans crime[29].*

К тому же есть такие приключения, которые хороши только для историка, а не для драматического поэта. Историк должен опи-

сывать все как было, не думая о впечатлении, которое сделает в читателе описываемое им приключение; но драматический поэт должен иметь у себя в предмете известное действие, то есть он должен производить в зрителе или радость, или горечь. Иногда в течение драмы может он манить его радостными видами, для того чтобы наконец заставить его тем сильнее чувствовать горечь. Так, например, в «Эмилии Галотти» Одоардо говорит о том счастье, которым дочь его в объятиях любви будет наслаждаться, а после пронзает ее кинжалом. Иногда поэт представляет героев своих на краю гибели – то есть производит в нас печальные чувства, – для того, чтобы после, спасши их, заставить нас тем больше радоваться. Так, например, в Расиновой «Ифигении» до последней сцены все печально; но наконец Ифигения спасена, и зритель вдруг развеселяется в душе своей. Коротко сказать, развязка драмы непременно должна быть или печальна, или радостна для зрителя и оставлять в нем чистые, несмешанные чувства. Теперь я спрашиваю, какого рода есть развязка Корнелева «Сида»? Ее нельзя на-

звать печальною, для того что зритель видит соединение любовников или уверен в том, что оно беспрепятственно последует. Но ее нельзя назвать и радостною, для того что он не может одобрить сего соединения и не может почитать его счастливым. Мысль, что Химена рано или поздно будет мучима совестью и, вспомня, как умер отец ее, может увидеть в супруге своем убийцу, обгаренного кровию; мысль, что в самых нежных объятиях любви может ей представиться укоряющий образ отца, – сия мысль мешает зрителю радоваться.

Но почему же «Сид» мог так нравиться французской публике? Потому, что в нем есть хорошие сцены и трогательные чувства; потому, что в нем много прекрасных стихов. – Послушаем, что вообще о французских трагедиях, а особливо о Корнелевых, говорит один из остроумнейших французов, д'Аламберт, в письме к другу своему Вольтеру, который прислал к нему свои примечания на Корнелева «Цинну» («Correspondance de Mr. de Voltaire», 89 том полных его сочинений): «Voulez-vous que je vous parle net, comme

misanthrope, et sur la pièce et vos remarques? Je vous avouerai d'abord que la pièce me paraît d'un bout à l'autre froide et sans intérêt; que c'est une conversation en cinq actes, et en style tantôt sublime, tantôt bourgeois, tantôt suranné; que cette froideur est le grand défaut, selon moi, de presque toutes nos pièces de théâtre, et qu'à l'exception de quelques scènes du «Cid», du cinquième acte de «Rodogune» et du quatrième d'«Heraclius», je ne vois rien (particulièrement dans Corneille) de cette *terreur* et de cette pitié qui fait l'âme de la tragédie. Si je suivais donc mon penchant, je dirais que presque toutes ces pièces sont meilleures à lire qu'à jouer; et cela est si vrai qu'il n'y a presque personne aux pièces de Corneille et médiocrement à celles de Racine»[30]

. – Сей ужас, сию жалость, которые д'Аламберт весьма справедливо называет душою трагедии, найдем мы в Шекспире и в некоторых немецких драматических сочинителях. Французские трагедии можно уподобить хорошему регулярному саду, где много прекрасных аллей, прекрасной зелени, прекрасных цветников, прекрасных беседок; с приятностию ходим мы по сему саду и хвалим его;

только все чего-то ищем и не находим, и душа наша холодною остается; выходим и всё забываем. Напротив того, Шекспировы произведения уподоблю я произведениям природы, которые прельщают нас в самой своей нерегулярности; которые с неописанною силою действуют на душу нашу и оставляют в ней незагладимое впечатление.

Обращаясь к русскому «Сиду», скажем, что сия трагедия, которою на нынешнее лето театр закрылся, была очень хорошо принята московскою публикою.

Многие прекрасные стихи были замечены, и громкие рукоплескания раздавались в партере и в ложах.

Г-жа Марья Синявская представляла Химену и во многих местах своей роли по справедливости заслуживала рукоплескание зрителей. Господин Лапин играл ролю Диега, г. Сахаров – Родрига, а г. Померанцев – Гормаса. Кажется, что первый мог бы лучше представлять гордого, пламенного Гормаса, а последний – старого и слабого Диега; по крайней мере так думали многие из зрителей.

«Опыт нынешнего естественного, гражданского и политического состояния Швейцарии...»*

Английское сочинение[31]. – Две части. – Москва, в Университетской типографии у В. Огорокова, 1791

Коксовы письма заслужили одобрение как английской, так и французской публики. С довольною подробностью описано в них все то, что в Швейцарии наиболее примечания достойно, а особливо род правления и политическое состояние разных кантонов. Только жаль, что русский переводчик перевел сие, конечно, и для нашей публики интересное сочинение не с последнего издания, исправленного и умноженного автором. Вот что говорит сам г. Кокс в предисловии оногo: «За десять лет перед сим издал я письма мои о Швейцарии. Публика приняла их благосклонно; а сие заставило меня в 1779 году предпринять другое путешествие в землю Гризонов, ту часть Швейцарии, которая донныне была не весьма

известна. В 1785 и 1787 году, будучи опять в описанных мною местах, захотел я пересмотреть свое сочинение и дополнить оное; сравнивал предметы, видимые мною в другой раз, с описанием, сообщенным мною об оных публике; читал со вниманием известия тех путешественников, которые писали после меня, и почти во всех главных городах просил я знающих людей сказать мне сделанные мною ошибки. Таким образом, из разных источников почерпнутые мною сведения, вместе с собственными моими наблюдениями и разысканиями, заставляют меня надеяться, что сочинение, которое предлагаю теперь публике и которое должно быть почитаемо совершенно новым, может заслужить внимание читателей». – После сего русские читатели могут некоторым образом досадовать на господина переводчика¹, что он не воспользовался сим новым изданием[32]. Ужели он не знал об оном? Но такое незнание едва ли можно простить человеку, хотящему упражняться в переводах. Не менее должно жалеть и о том, что он не перевел прекрасных примечаний французского переводчика[33], госпо-

дина Рамона. Сей любезный молодой человек, который по справедливости почитается одним из лучших нынешних французских писателей, исходил всю Швейцарию пешком и был в самых диких и, можно сказать, непроходимых местах. Имея живое чувство, плодотворное воображение и отменную способность выражать свои мысли и ощущения, описывает он с удивительною силою красоты величественной природы и с отменною приятностию простые нравы швейцарских пастухов, с которыми живал он по несколько недель как брат с братьями.

Русский перевод по местам хорош. В доказательство сего приведем следующее: «Нет ни одного простого наблюдателя, который бы не согласился, что различные страсти могут произвести известные на лице перемены или отличительные знаки. Итак, полагают вообще, что если рассмотреть со вниманием сии знаки, то удобно можно *обнаружить*[34] склонности того человека, которого желаешь узнать. Признаюсь, что такое положение подвержено многим исключениям, и никак не можно основать на оном всеобщей системы с

твердыми доводами. Но г. Лафатер, как истинный энтузиаст, простирает свое умозрение далее надлежащего» – и проч. Но, к сожалению, не все так чисто и ясно. Нельзя, например, похвалить следующих мест: «Сие уверение *сильно было другими отвергнуто. Я много силился узнать, правда ли сие. – Все части учености возделываются*[35] там с успехом. – Прогулки и забавы народа смешаны с полезными обращениями; *изрядство и чистота составляют предмет самых ученых рассуждений*». (Речь идет о Женеве. Я жил в сем городе около шести месяцев, а не понимаю, что хочет здесь сказать г. переводчик.) – «Мудрая политика сего правления, благосклонное его приятие чужестранцев и дозволение вступать им в мещанство тем большего примечания достойны, *чем совершеннее противны* большей части других швейцарских городов» – и проч., и проч., и проч. Еще заметил я некоторые странные ошибки. Например: «Сочинение, изданное Геснером о земледелии, доказывает обширность его знания». Геснер отроду не писывал о земледелии. Я тотчас справился с французским оригиналом; и на-

шел там: «sur le paysage»[36]. По какому несчастному случаю можно было принять сие слово (которое значит *ландшафт*) за земледелие, не знаю. – «Стихи Геснеровы славятся у иностранных народов». Но Геснер писал прозою. – «На другой день, приехавши в Женеву, обедал я с одним английским дворянином, по имени Жантудом, где надеялся я найти случай видеться с г. Боннетом». Жанту[37] есть не имя англичанина, а имя деревни, в трех верстах от Женевы, где Кокс обедал у своего единоплеменника и где живет г. Боннет.

Произношение многих собственных имен означено несправедливо. Например, должно писать по-русски не Кларенс, а Кларан; не Шамуни, а Шамони; не Нейшатель, а Ньюшатель, и проч.

Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов*

Сочиненная на английском языке Ричардсоном

Часть I. В граде св. Петра, 1791

Не одна английская нация поднесла венец Ричардсону как искусному живописцу моральной природы человека; не в одной Англии хвалили его сочинения на кафедрах и находили в них наилучшую философию жизни, предложенную наиприятнейшим образом. Руссо, Дидрот, Галлер, Геллерт с жаром превозносили достоинство английского творца и наиболее удивлялись ему в «Клариссе». Написать *интересный роман в восемь томов*, не прибегая ни к чудесам, которыми эпические поэты стараются возбуждать любопытство в читателях, ни к сладострастным картинам, которыми многие из новейших романистов прельщают наше воображение, и не описывая ничего, кроме самых обыкновенных сцен жизни, — для сего потребно, конечно, отменное искусство в описании подробностей и ха-

ракторов. Самое то, что может иному показаться излишнею пространностию в сем романе, вмещает в себе мастерские черты, для знатока драгоценные и служащие к совершенству целого. Что принадлежит собственно до характеров, то Кларисса, добронравная, нежная, благодетельная и несчастная Кларисса, которую мы столько любим и столь сердечно оплакиваем, и Ловелас, в котором видим такое чудное, однако ж естественное, смешение добрых и злых качеств, – Ловелас, иногда благородный и любезный, иногда чудовище – сии два характера, говорю я, будут удивлением всех читателей и всех времен и останутся вечными памятниками творческой силы Ричардсонова духа. У англичан много романов, превосходных в своем роде – более, нежели у других наций, для того что у них более оригинальности во нравах, более интересных характеров, – однако ж, говоря словами одного нового писателя, *Кларисса у них одна, так же как у французов одна Новая Элоиза.*

Всего труднее переводить романы, в которых слог составляет обыкновенно одно из

главных достоинств; но какая трудность устрасит русского! Он берется за чудотворное перо свое, и – первая часть Клариссы готова.

Сия первая часть переведена с французского¹ – я уверился в сем по первым строкам, – но г. переводчик не хотел нам сказать того, желая заставить нас, бедных читателей, думать, что он переводит с английского оригинала. Впрочем, какое нам дело до его желаний! Посмотрим только, каков перевод. Вот начало:

«Надеюсь, дражайшая моя приятельница и подруга, что ты нимало не сомневаешься в том, какое я принимаю участие в восставших в твоём семействе смятениях и беспокойствах. Знаю, колико для тебя чувствительно и прискорбно быть причиною всенародных разговоров; но невозможно никак, чтобы в столь известном происшествии все, касающееся до молодой девицы, отличившей себя отменными своими дарованиями и учинившейся предметом общего почтения, не возбуждало любопытства и внимания всего света. Желая нетерпеливо узнать от тебя самой все о том подробности, и каким образом по-

ступлено было с тобою по случаю такого происшествия, которому ты не могла воспрепятствовать и в котором по всем моим догадкам претерпел больше всех начинщик». –

«Нимало не сомневаешься в том, какое участие», и проч. сказано неправильно; какое не может отвечать *тому*. Надлежало бы сказать: «Ты, конечно, не сомневаешься в том, что я беру великое участие» – и проч. – Девушка Анна Гове, или Гоу, могла бы написать по-французски к своей приятельнице: «Les troubles qui viennent de s'élever dans votre famille»[38]; но по-русски (NB если бы она умела хорошо писать) не вздумалось бы ей сказать: «Беспокойства, восставшие в твоём семействе». Беспокойства ни *ложиться*, ни *восставать* не могут. – «*Колико для тебя чувствительно*», и проч. Девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме *колико*. Впрочем, г. переводчик хотел здесь последовать моде, введенной в русский слог «големыми претолковниками NN², иже отрывают всё, еже есть русское, и блещают блаженно сиянием славяномудрия». – «*Быть причиною всенародных разговоров*», и проч. Не

причиной, а предметом разговоров, – думал сказать г. переводчик (devenir le sujet des discours publics). И для чего всенародных, а не публичных разговоров? – «Отличившей себя отменными дарованиями», и проч. Отличить и отменить все одно. Если Кларисса отличила себя дарованиями, то они, конечно, были уже отменны. К тому же во французском подлиннике[39] говорится здесь не о дарованиях, а о свойствах или качествах (qualités). – «Учинившейся предметом общего почтения», и проч. L'objet du soin public есть более предмет общего внимания, нежели почтения. В простом слогe лучше сказать: сделаться предметом чего-нибудь, нежели учиниться. – «Узнать все о том подробности», и проч. Подробности чего-нибудь, а не в чем-нибудь. – «По всем моим догадкам», и проч. Речь идет о поединке, о котором рассказывали сочинительнице сего письма. Тут не было места догадкам. «Autant que j'ai pu m'en éclaircir», – говорит она, – то есть: «Сколько я узнать или разведать могла».

На третьей странице остановило меня следующее место: «Но оставим рассуждать лю-

дей как им угодно.

Весь свет о тебе сожалеет. Какое *твердое поведение* без всякой перемены! *Столько зависти*, как часто сама ты говаривала, *ошибаться во всю свою жизнь*, не бывши ни от кого примечаемой!» Я не буду уже говорить о *твердом поведении без всякой перемены*; но следующее, т. е. *столько зависти*, и проч., показалось мне совсем непонятным и заставило меня справиться с французским оригиналом, в котором нашел я: «*Tant d'envie, comme on vous l'a toujours entendu dire, de glisser jusqu'à la fin de ses jours sans être observée*». Такому человеку, который берется переводить книги с французского языка, можно ли не знать, что *envie* значит не только *зависть*, но и *хотение* или *желание*? «*Glisser jusqu'à la fin de ses jours sans être observée*» есть не *ошибаться во всю свою жизнь*, а *провести жизнь свою в тишине, не обращая на себя внимания людей*. Такие ошибки совсем непростительны; и кто так переводит, тот портит и безобразит книги и недостойн никакой пощады со стороны критики.

Признаюсь читателю, что я на сем месте

остановился и отослал книгу назад в лавку с желанием, чтобы следующие части совсем не выходили или гораздо, гораздо лучше переведены были.

От издателя к читателям*

Надеясь, что «Московский журнал» не наскучил еще почтенным моим читателям, решился я продолжать его и на будущий 1792 год.

Я издал уже одиннадцать книжек – пересматриваю их и нахожу много такого, что мне хотелось бы теперь уничтожить или переменить. Такова участь наша! Скорее Москва-река вверх пойдет, нежели человек сделает что-нибудь беспорочное – и горе тому, кто не чувствует своих ошибок и пороков!

Однако ж смело могу сказать, что издаваемый мною журнал имел бы менее недостатков, если бы 1791 год был для меня не столь мрачен; если бы дух мой... Но читателям, конечно, нет нужды до моего душевного расположения.

Надежда, кроткая подруга жизни нашей, обещает мне более спокойствия в будущем;

если исполнится ее обещание, то и «Московский журнал» может быть лучше. Между тем прошу читателей моих помнить, что его изда-ет *один человек*.

Если бы у нас могло составиться общество из *молодых*, деятельных людей, одаренных *истинными* способностями; если бы сии люди – с чувством своего достоинства, но без всякой надменности, свойственной только низким душам – совершенно посвятили себя литературе, соединили свои таланты и при олтаре благодетельных муз обещались ревностно распространять все изящное, не для собственной славы, но из благородной и бескорыстной любви к добру; если бы сия любезнейшая мечта моя когда-нибудь превратилась в существенность: то я с радостью, сердечною радостью удалился бы во мрак неизвестности, оставя сему почтенному обществу издавать журнал, достойнейший благоволения российской публики. В ожидании сего будем делать что можем.

И на тот год содержание «Московского журнала» будут составлять разные небольшие русские сочинения в стихах и в прозе,

«Письма русского путешественника», переводы из лучших иностранных авторов, анекдоты всякого рода, известия о славнейших новых иностранных книгах, о пьесах, представляемых на парижских театрах, о новостях нашего московского театра, о русских книгах и проч. сверх того, будут сообщаемы извлечения из новых интересных путешествий и краткие биографии славнейших новых писателей, таких, которые известны уже российской публике по их сочинениям. Одним словом, я постараюсь, чтобы содержание журнала было как можно разнообразнее и занимательнее.

Если бы у меня было на сей год не 300 подписчиков, а 500: то я постарался бы на тот год сделать наружность журнала приятнее для глаз читателей; я мог бы выписать хорошие литеры из Петербурга или из Лейпцига; мог бы от времени до времени выдавать эстампы, рисованные и гравированные Липсом, моим знакомцем, который ныне столь известен в Германии по своей работе. Но как 300 подписчиков едва платят мне за напечатание двенадцати книжек, то на сей раз не

могу думать ни о выписке литер, ни об эстампах.

Подписка на 1792 год журнала принимается также здесь, в Москве, в Университетской книжной лавке на Тверской, а в других городах – в почтамтах. Цена та же – то есть в Москве пять рублей, а с пересылкою – семь. – Имена подписавшихся особ будут напечатаны.

При сем случае изъявляю благодарностью всем тем известным и неизвестным особам, которым угодно было присылать мне свои сочинения и переводы. И впредь буду принимать с благодарностию все хорошее. Некоторые из присланных мне пиес остались ненапечатанными, не для того, чтобы я почитал их худыми, но для того, что они *почему-нибудь* не входили в план «Московского журнала».

П. П. В предисловии к январю месяцу обещал я фронтиспис, но не выдал его затем, что он был вырезан очень неудачно.

Жизнь Вениамина Франклина, им самим описанная для сына его*

Французский издатель говорит, что она переведена с английского манускрипта, доставшегося ему в руки по особливому случаю. Всякий, читая сию примечания достойную книгу, будет удивляться чудесному сплетению судьбы человеческой. Франклин, который бродил в Филадельфии по улицам в худом кафтане, без денег, без знакомых, не зная ничего, кроме английского языка и бедного типографского ремесла¹, – сей Франклин через несколько лет сделался известен и почтен в двух частях света, смирил гордость британцев, даровал вольность почти всей Америке и великими открытиями обогатил науки!²

<О Стерне>*

Стерн несравненный! В каком ученом университете научился ты столь нежно чувствовать? Какая риторика открыла тебе тайну двумя словами потрясать тончайшие фибры сердец наших? Какой музыкант так искусно звуками струн повелевает, как ты повелеваешь нашими чувствами?

Сколько раз читал я «Лефевра»!¹ И сколько раз лились слезы мои на листы сей истории! Может быть, многие из читателей «Московского журнала» читали уже ее прежде на каком-нибудь из иностранных языков; но можно ли в который-нибудь раз читать «Лефевра» без нового сердечного удовольствия? Перевод не мой: я только сличал его с английским оригиналом. Может быть, некоторые красоты подлинника в нем пропадают; но читатель может поправить его в своем чувстве.

<О Калидасе и его драме «Саконтала»>*

Творческий дух обитает не в одной Европе; он есть гражданин вселенной. Человек везде человек; везде имеет он чувствительное сердце и в зеркале воображения своего вмещает небеса и землю. Везде натура есть его наставница и главный источник его удовольствий.

Я чувствовал сие весьма живо, читая «Саконталу», драму, сочиненную на индийском языке, за 1900 лет перед сим, азиатским поэтом Калидасом и недавно переведенную на английский Виллиамом Джонсом, бенгальским судьей (который и прежде того известен был в ученом свете по своим переводам с восточных языков), а на немецкий – профессором Георгом Форстером (который путешествовал с Куком в отдаленнейших пределах нашего мира). Почти на каждой странице сей драмы находил я высочайшие красоты поэзии, тончайшие чувства, кроткую, отменную, неизъяснимую нежность, подобную тихому майскому вечеру – чистейшую, неподражае-

мую натуру и величайшее искусство. Сверх того, ее можно назвать прекрасною картиною древней Индии, так, как Гомеровы поэмы суть картины древней Греции, – картины, в которых можно видеть характеры, обычаи и нравы ее жителей. Калидас для меня столь же велик, как и Гомер. Оба они получили кисть свою из рук природы и оба изображали – натуру.

Для собственного своего удовольствия перевел я некоторые сцены из «Саконталы» и потом решился напечатать их в «Московском журнале», надеясь, что сии благовонные цветы азиатской литературы будут приятны для многих читателей, имеющих тонкий вкус и любящих истинную поэзию.

Драматические начертания древней северной мифологии*

Давно уже британская муза не производила ничего примечания достойного. Казалось, что в Шекспире, Мильтоне, Попе, Гее и прочих давно умерших сочинителях истощился весь пиитический жар Альбиона. Писали, писали чисто – но духа и жизни нигде не было. Наконец является новый, истинный поэт, г. Сеерс, с своими драматическими начертаниями и доказывает, что отечественная муза его пробудилась и восстала в новой силе. В творениях его видим богатое воображение, естественную простоту, оссианскую живопись и цветы Греции – цветы, которые он на скалах севера возвращает. – Первая пьеса в сем собрании есть «Сошествие в ад Фрей», богини красоты, которая у Гелы, адской богини, испрашивает свободу любовнику своему, богу солнца, в ее власти находящемуся; вторая, «Мойна», трагедия в пяти актах, где молодая, прекрасная женщина приносится в жертву и где любовник ее бросается в море; а третья и последняя называется «Старно», трагедия в двух

действиях, где дочь британского полководца лишает себя жизни, узнав о смерти своего любовника. Все сии пиесы исполнены великих красот; но они справедливее могут быть названы лирическими, нежели драматическими. По крайней мере сочинитель всего более пленяет читателя прекрасными своими хорами. Может быть, некоторые из них будут переведены и напечатаны в «Московском журнале».

Заключение*

Сею книжкою (которая выходит довольно поздно, но зато состоит из одиннадцати листов) – «Московский журнал» заключается. Издатель, следуя похвальному обычаю старинных журналистов, должен выйти на сцену с эпилогом.

Вот мой эпилог: *благодарю всех тех, которые брали на себя труд читать «Московский журнал».*

В прошедшем году я два раза отлучался из Москвы, и сии отлучки были причиною того, что некоторые месяцы журнала выходили не в свое время. Строгие люди обвиняли меня,

снисходительные прощали. Теперь обязательство мое кончилось – я свободен.

Но сия свобода не будет и не должна быть праздностью. В тишине уединения я стану разбирать архивы древних литератур, которые (в чем признаюсь охотно) не так мне известны, как новые; буду учиться – буду пользоваться сокровищами древности, чтобы после приняться за такой труд, который мог бы остаться памятником души и сердца моего, если не для потомства (о чем и думать не смею и что было бы, конечно, самую смешную, ребяческую гордость), то по крайней мере для малочисленных друзей моих в приятелей.

Между тем у меня будут свободные часы, часы отдохновения; может быть, вздумается мне написать какую-нибудь безделку; может быть, приятели мои также что-нибудь напишут – сии отрывки или целые пиесы намерен я издавать в маленьких тетрадках, под именем... например, *Аглаи*, одной из любезных граций. Ни времени, ни числа листов не назначаю; не вхожу в обязательство и не хочу подписки; выйдет книжка, публикуется в га-

зетах – и кому угодно, тот купит ее.

Таким образом, «Аглая» заступит место «Московского журнала». Впрочем, она должна отличаться от сего последнего строжайшим выбором пьес и вообще чистейшим, то есть более *выработанным*, слогом; ибо я не принужден буду издавать ее в срок.

Может быть, с букетом первых весенних цветов положу я первую книжку «Аглаи» на олтарь граций; но примут ли сии прекрасные богини жертву мою или нет – не знаю.

«Письма русского путешественника», исправленные в слог, могут быть напечатаны особливо, в двух частях; первая заключится отъездом из Женевы, а вторая – возвращением в Россию.

Драма кончилась, и занавес опускается.

Что нужно автору?*

Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, пронизательный разум, живое воображение и проч. Справедливо: но этого не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей; если хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим; если хочет писать для вечности и собирать благословения народов. Творец всегда изображается в творении и часто – против воли своей. Тщетно думает лицемер обмануть читателей и под златую одежду пышных слов сокрыть железное сердце; тщетно говорит нам о милосердии, сострадании, добродетели! Все восклицания его холодны, без души, без жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется из его творений в нежную душу читателя.

Если бы небо наделило какого-нибудь изверга великими дарованиями славного Аруэта[40] то, вместо прекрасной «Заиры», написал бы он карикатуру «Заиры». Чистейший целебный нектар в нечистом сосуде делается

противным, ядовитым питием.

Когда ты хочешь писать портрет свой, то посмотришь прежде в верное зеркало: может ли быть лицо твое предметом искусства, которое должно заниматься одним *изящным*, изображать красоту, гармонию и распространять в *области чувствительного* приятные впечатления? Если творческая натура произвела тебя в час небрежения или в минуту раздора своего с красотой: то будь благоразумен, не безобразь художниковой кисти, – оставь свое намерение. Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: *каков я?* ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего.

Ужели думаете вы, что Геснер мог бы столь прелестно изображать невинность и добродушие пастухов и пастушек, если бы сии любезные черты были чужды собственному его сердцу?

Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода человеческого – и если сердце твое не обольется кровию, оставь перо, – или оно изобразит нам хладную мрачность души

твоей.

Но если всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему открыт путь во чувствительную грудь твою; если душа твоя может возвыситься до *страсти к добру*, может питать в себе святое, никакими сферами не ограниченное *желание всеобщего блага*: тогда смело призывай богинь парнасских – они пройдут мимо великолепных чертогов и посетят твою смиренную хижину – ты не будешь бесполезным писателем – и никто из добрых не взглянет сухими глазами на твою могилу.

Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения – все сие трогает и пленяет тогда, когда одушевляется чувством; если не оно разгорячает воображение писателя, то никогда слеза моя, никогда улыбка моя не будет его наградой.

Отчего Жан-Жак Руссо нравится нам со всеми своими слабостями и заблуждениями? Отчего любим мы читать его и тогда, когда он мечтает или запутывается в противоречиях? – Оттого, что в самых его заблуждениях сверкают искры страстного человеколюбия;

оттого, что самые слабости его показывают некоторое милое добродушие.

Напротив того, многие другие авторы, несмотря на свою ученость и знания, возмущают дух мой и тогда, когда говорят истину: ибо сия истина мертва в устах их; ибо сия истина изливается не из добродетельного сердца; ибо дыхание любви не согревает ее.

Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором.

Нечто о науках, искусствах и просвещении*

*Que les Muses, les arts et la philosophie
Passent d'un peuple à l'autre et consolent
la vie!*
St. Lambert[41]

БЫЛ человек – и человек великий, незабвенный в летописях философии, в истории людей, – был человек, который со всем блеском красноречия доказывал, что просвещение для нас вредно и что науки несовместны с добродетелию!

Я чту великие твои дарования, красноре-

чивый Руссо! Уважаю истины, открытые тобою современникам и потомству, – истины, отныне незагладимые на дсках нашего познания, – люблю тебя за доброе твое сердце, за любовь твою к человечеству; но признаю мечты твои мечтами, парадоксы – парадоксами.

Вообще рассуждение его о науках[42] есть, так сказать, логический хаос, в котором виден только обманчивый порядок или призрак порядка; в котором сияет только *ложное* солнце – как в хаосе творения, по описанию одного поэта, – и день с ночью непосредственно, то есть без утра и вечера, соединяются. Оно есть собрание противоречий и софизмов, предложенных – в чем надобно отдать справедливость автору – с немалым искусством.

«Но Жан-Жака нет уже на свете: на что беспокоить прах его?» – творца нет на свете, но творение существует; невежды читают его – самые те, которые ничего более не читают, – и под эгидою славного женевского гражданина злословят просвещение. Если бы небесный Юпитер отдал им на время гром свой, то великолепное здание наук в одну минуту пре-

вратилось бы в пепел.

Я осмеливаюсь предложить некоторые примечания, некоторые мысли свои о сем важном предмете. Они не суть плод глубокого размышления, но первые, так сказать, идеи, возбужденные чтением Руссова творения[43].

Со времен Аристотелевых твердят ученые, что надобно определять вещи, когда желаешь говорить об них и говорить основательно. Дефиниции, или определения, служат фаросом¹ в путях умствования – фаросом, который беспрестанно должен сиять пред глазами нашими, если мы не хотим с прямой черты совратиться. Руссо пишет о науках, об искусствах, не сказав, что суть науки, что искусства. Правда, если бы он определил их справедливо, то все главные идеи трактата его поднялись бы на воздух и рассеялись в дыме, как пустые фантомы и чада Химеры: то есть трактат его остался бы в туманной области небытия, – а Жан-Жаку непременно хотелось бранить ученость и просвещение. Для чего же? Может быть, для странности; для того, чтобы удивить людей и показать свое отменное остроумие: суетность, которая бывает слабостию

и самых великих умов!

Несмотря на разные классы наук, несмотря на разные имена их, они суть не что иное, как *познание природы и человека, или система сведений и умствований, относящихся к сим двум предметам*[44].

От чего произошли они? – От любопытства, которое есть одно из сильнейших побуждений души человеческой: любопытства, соединенного с разумом.

Добрый Руссо! Ты, который всегда хвалишь мудрость природы, называешь себя другом ее и сыном и хочешь обратить людей к ее простым, спасительным законам! Скажи, не сама ли природа вложила в нас сию живую склонность ко знаниям? Не она ли приводит ее в движение своими великолепными чудесами, столь изобильно вокруг нас рассеянными? Не она ли призывает нас к наукам? – Может ли человек быть бесчувствен тогда, когда грома природы гремят над его головою; когда страшные огни ее пылают на горизонте и рассекают небо; когда моря ее шумят и ревут в необозримых своих равнинах; когда она цветет перед ним в зеленой одежде

своей, или сияет в злате блестящих плодов, или, как будто бы утружденная великолепием своих феноменов, облекается в черную ризу осени и погружается в зимний сон под белым кровом снегов своих?

Обратимся во тьму прошедшего; углубимся в бездну минувших веков и вступим в те давно истлевшие леса, в которых человечество, по словам твоим, о Руссо! блаженствовало в физическом и душевном мерцании; устремим взор наш на юного сына природы, там живущего: мы увидим, что и он не только о физических потребностях думает; что и он имеет душу, которая требует себе не телесной нищи. Сей дикий взирает с удивлением на картину натуры; око его обращается от предмета к предмету – от заходящего солнца на восходящую луну, от грозной скалы, опеняемой валами, на прекрасный ландшафт, где ручейки журчат в серебряных нитях, где свежие цветы пестреют и благоухают. Он в тихом восхищении пленяется естественными красотами, иногда нежными и милыми, иногда страшными: впивает их, так сказать, в свое сердце всеми чувствами и наслаждается

без насыщения. Все для него привлекательно; все хочет он видеть и осязать в нервах своих; спешит к отдаленнейшему, ищет конца горизонту и не находит его – небо во все стороны над ним разливается – природа вокруг его необозрима и сим величественным образом беспредельности вещает ему: *нет пределов твоему любопытству и наслаждению!* – Таким образом, собирает он бесчисленные идеи или чувственные понятия, которые суть не что иное, как непосредственное отражение предметов, и которые носятся сначала в душе его без всякого порядка; но скоро пробуждается в ней та удивительная сила или способность, которую называем мы разумом и которая ждала только чувственных впечатлений, чтобы начать свои действия. Подобно лучезарному солнцу, освещает она хаос идей, разделяет и совокупляет их, находит между ими различия и сходства, отношения, частное и общее, и производит идеи особого рода, идеи отвлеченные, которые составляют *знание*[45], составляют уже *науку* – сперва науку природы, внешности, предметов; а потом, через разные отвлечения, достигает человек и

до понятия о самом себе, обращается от чувствований к чувствующему и, не будучи Декартом, говорит: «Cogito, ergo sum»[46] – *мышлю, следовательно существую; что ж я?..* Вся наша антропология есть не что иное, как ответ на сей вопрос.

И, таким образом, можно сказать, что науки были прежде университетов, академий, профессоров, магистров, бакалавров. Где натура, где человек, там учительница, там ученик – там наука.

Хотя первые понятия диких людей были весьма недостаточны, но они служили основанием тех великолепных знаний, которыми украшается век наш; они были первым шагом к великим открытиям Невтонов и Лейбницев – так источник, едва, едва журчащий под сению ветвистого дуба, мало-помалу расширяется, шумит и наконец образует величественную Волгу.

Кто же, описывая дикого или естественно-го человека, представляет его невнимательным, нелюбопытным, живущим всегда в одной сфере чувственных впечатлений, без всяких отвлеченных идей – думающим только об

утолении голода и жажды и проводящим большую часть времени во сне и бесчувствии, – одним словом, зверем: тот сочиняет роман и описывает человека, который совсем не есть человек. Ни в Африке, ни в Америке не найдем мы таких бессмысленных людей. Нет! И готтентоты любопытны; и кафры стараются умножать свои понятия; и караибы имеют отвлеченные идеи, ибо у них есть уже язык, следствие многих умствований и соображений[47]. – Или пусть младенец будет нам примером юного человечества, младенец, которого душа чиста еще от всех наростов, несвойственных ее натуре! Не примечаем ли в нем желанья знать все, что представляется глазам его? Всякий шум, всякий необыкновенный предмет не возбуждает ли его внимания? – В сих первых движениях души видит философ определение человека; видит, что мы сотворены для *знаний, для науки.*

Что суть искусства? – Подражание натуре. Густые, сросшиеся ветви были образцом первой хижины и основанием архитектуры; ветер, веявший в отверстие сломленной трости

или на струны лука, и поющие птички научили нас музыке – тень предметов – рисованью и живописи. Горлица, сетующая на ветви об умершем дружке своем, была наставницею первого элегического поэта[48]; подобно ей хотел он выражать горесть свою, лишась милой подруги, – и все песни младенческих народов начинаются сравнением с предметами или действиями природы.

Но что ж заставило нас подражать природе, то есть что произвело искусства? *Природное* человеку стремление к улучшению бытия своего, к умножению жизненных приятностей. От первого шалаша до Луврской колоннады, от первых звуков простой свирели до симфоний Гайдена, от первого начертания деревьев до картин Рафаэлевых, от первой песни дикого до поэмы Клопштоковой человек следовал сему стремлению. Он хочет жить *покойно*: рождаются так называемые *полезные искусства*; возносятся здания, которые защищают его от свирепости стихий. Он хочет жить *приятно*: являются так называемые *изящные искусства*, которые усыпают цветами жизненный путь его.

Итак, искусства и науки *необходимы*: ибо они суть плод природных склонностей и дарований человека и соединены с существом его, подобно как действия соединяются с причиною, то есть союзом неразрывным. Успехи их показывают, что духовная натура наша в течение времен, подобно как золото в горниле, очищается и достигает большего совершенства; показывают великое наше преимущество пред всеми иными животными, которые от начала мира живут в одном круге чувств и мыслей, между тем как люди беспрестанно его распространяют, обогащают, обновляют.

Я помню – и всегда буду помнить – что добрейший и любезнейший из наших философов, великий Боннет, сказал мне однажды на берегу Женевского озера, когда мы, взирая на заходящее солнце, на золотые струи Лемана, говорили об успехах человеческого разума. «Мой друг!.. – сим именем называет Боннет [49] всех тех, которые приходят к нему с любовью к истине... – Мой друг! Размышляющий человек может и должен надеяться, что впоследствии веков объяснится весь мрак в пу-

тях философии и заря наших смелейших предчувствий будет некогда солнцем уверения. Знания разливаются, как волны морские; необозримо их пространство; никакое острое зрение не может видеть отдаленного берега – но когда явится он утружденному взору мудрецов; когда мы узнаем все, что в странах подлунных знать можно: тогда – может быть – исчезнет мир сей, подобно волшебному замку, и человечество вступит в другую сферу жизни и блаженства». – Небесный свет сиял в сию минуту на лице женевского философа, и мне казалось, что я слышу глас пророка.

Так искусства и науки неразлучны с существом нашим – и если бы какой-нибудь дух тьмы мог теперь в одну минуту истребить все плоды ума человеческого, жатву всех прошедших веков: то потомки наши снова найдут потерянное, и снова воссияют искусства и науки, как лучезарное солнце на земном шаре. Драгоценное собрание знаний, по воле гнусного варвара, было жертвою пламени в Александрии; но мы знаем теперь то, чего ни греки, ни римляне не знали. Пусть новый Омар,

новый Амру факелом Тизифоны превратит в пепел все наши книгохранилища! В течение грядущих времен родятся новые Баконы, которые положат новое и, может быть, еще твердейшее основание храма наук; родятся новые Невтоны, которые откроют законы всемирного движения; новый Локк изъяснит человеку разум человека; новые Кондильяки, новые Боннеты силою ума своего оживят статуя[50], и новые поэты воспоют красоту природы, человека и славу божию: ибо все то, чему мы удивляемся в книгах, в музыке, на картинах, все то излилось из души нашей и есть луч божественного света ее, произведение великих ее способностей, которых никакой Омар, никакой Амру не может уничтожить. Перемените душу, вы, ненавистники просвещения! Или никогда, никогда не успеете в человеколюбивых своих предприятиях; и никогда Прометеев огонь на земле не угаснет!

Заклучим: ежели искусства и науки в самом деле зло, то они *необходимое* зло – зло, истекающее из самого естества нашего; зло, для которого природа сотворила нас. Но сия мысль не возмущает ли сердца? Согласна ли

она с благостию природы, с благостию творца нашего? Мог ли всевышний произвести человека с любопытною и разумною душою, когда плоды сего любопытства и сего разума должны были быть пагубны для его спокойствия и добродетели? Руссо! Я не верю твоей системе.

Науки портят нравы, говорит он: наш просвещенный век служит тому доказательством.

Правда, что осьмой-надесять век просвещеннее всех своих предшественников; правда и то, что многие пишут на него сатиры; многие, кстати и некстати, восклицают: «O tempora! O mores!» – «О времена! О нравы!» Многие жалуются на разврат, на губительные пороки наших времен – но много ли философов? Много ли размышляющих людей? Много ли таких, которые проникают взором своим во глубину нравственности и могут справедливо судить о феноменах ее? Когда нравы были лучше нынешних? Неужели в течение средних веков, тогда, когда грабеж, разбой и убийство почитались самым обыкновенным явлением? Пусть заглянут в старые летописи

и сличат их с историею наших времен! – Нам будут говорить о Сатурновом веке, счастливой Аркадии... Правда, сия вечно цветущая страна, под благим, светлым небом, населенная простыми, добродушными пастухами, которые любят друг друга, как нежные братья, не знают ни зависти, ни злобы, живут в благословенном согласии, повинуются одним движениям своего сердца и блаженствуют в объятиях любви и дружбы, есть нечто восхитительное для воображения чувствительных людей; но – будем искренны и признаемся, что сия счастливая страна есть не что иное, как приятный сон, как восхитительная мечта сего самого воображения. По крайней мере никто еще не доказал нам исторически, чтобы она когда-нибудь существовала. Аркадия Греции не есть та прекрасная Аркадия, которую древние и новые поэты прельщают наше сердце и душу.

*J'ouvre les fastes: sur cet âge
Partout je trouve des regrets;
Tous ceux qui m'en offrent l'image,
Se plaignent d'être nés après.[51]*

Самые отдаленнейшие времена, освещае-

мые факелом истории, – времена, в которые искусства и науки были еще, так сказать, в бессловесном младенчестве, – не представляют ли нам пороков и злодеяний? Сам ты, о Руссо! животворною своею кистью изобразил одно из сих страшных происшествий древности, которые возмущают всякое чувство[52] и показывают, что сердце человеческое осквернилось тогда самым гнуснейшим развратом.

Ты обвиняешь век наш утонченным лицемерием, притворством; но отчего же порок старается ныне скрывать себя под личиною добродетели более, нежели когда-нибудь? Не оттого ли, что в нынешние времена гнушаются им более, нежели прежде? Самое сие относится к чести наших нравов; и если мы обязаны тем просвещению, то оно благотворно и спасительно для нравов. Иначе можно будет доказать, что и добродетель развращает людей, заставляя порочного лицемерить: ибо никогда не имеет он такой нужды притворяться добрым, как в присутствии добрых. – Вообразим двух человек, которые оба злонаправны, но с тем различием, что один явно предается своим склонностям и, следовательно,

не стыдится их, а другой таит оные и, следовательно, сам чувствует, что они не похвальны: кто из них ближе к исправлению? Конечно, последний: ибо первый шаг к добродетели, как говорят древние и новые моралисты, есть познание гнусности порока.

Мысль, что во времена невежества не могло быть столько обманов, как ныне, для того, что люди не знали никаких тонких хитростей, есть совершенно ложная. Простые так же друг друга обманывают, как и хитрые: первые – грубым образом, а вторые – искусным, ибо мы не можем быть ни равно просты, ни равно хитры. Вспомним жрецов идолопоклонства: они были, конечно, не ученые, не мудрецы, но умели ослеплять людей, – и кровь человеческая лилась на жертвенниках.

Сия учтивость, сия приветливость, сия ласковость, которая свойственна нашему времени и которую новые Тимоны[53] называют сусальным золотом осьмого-надесять века, в глазах философа есть истинная добродетель общежития и следствие утонченного человеколюбия. Не спорю, что отереть слезы бедного, отвратить грозную бурю от своего брата

гораздо похвальнее и важнее, нежели приласкать человека добрым словом или улыбкою; но все то, чем мы можем доставить друг другу невинное удовольствие, есть должность наша – и кто хотя одну минуту жизни сделал для меня приятною, тот есть мой благодетель. Мудрая, любезная натура не только дает нам пищу; она производит еще и алую розу и белую лилию, которые не нужны для нашего физического существования – но они приятны для обоняния, для глаз наших, и натура производит их. Учтивость, приветливость есть цвет общежития.

«Спартанцы не знали ни наук, ни искусств, – говорит наш мизософ, – и были добродетельнее прочих греков, – и были непобедимы. Когда невежество царствовало в Риме, тогда римляне повелевали миром; но Рим просветился, и северные варвары наложили на него цепи рабства»[54].

Во-первых, спартанцы не были такими невеждами и грубыми людьми, какими хочет их описывать женевский гражданин. Они не занимались ни астрономиею, ни метафизи-

кою, ни геометриею: но у них были другие науки и самые изящные искусства. Они имели свое нравоучение, свою логику, свою риторику, хотя учились им не в академиях, а на площадях, – не от профессоров, а от своих эфоров.

Не священная ли поэзия приготовила сих республиканцев к Ликурговым уставам? Песнопевец Фалес[55] был предтечею сего законодателя; явился в Спарте с златострунною лирою, воспел счастье мудрых законов, благо согласия и восхитил сердца слушателей. Тогда пришел Ликург, спартанцы приняли его как друга богов и человеков, которого устами вещала истина и мудрость. Во время второй Мессенской войны повелевал лакедемонцами афинский поэт Тиртей; он пел, играл на арфе, и воины его, как яростные вихри, стремились на брань и смерть: доказательство, что сердца их отверзались *впечатлениям изящного*, чувствовали в истине красоту и в красоте истину! – У них были и собственные свои поэты, например Алкман, который «*всю жизнь свою посвящал любви и во всю жизнь свою воспевал любовь*»; были музыканты и живописцы – первые гармониею струн своих

возбуждали в них ревность героизма; кисть вторых изображала *красоту* и *силу*, в виде Аполлона и Марса, чтобы спартанки, обращая на них взоры свои, рождали Аполлонов и Марсов, – были и риторы, которые в собраниях народа или на печальных празднествах, учрежденных в память Павзанию и Леониду, убеждали и трогали сограждан своих, – например, самые афинцы удивлялись красноречию спартанца Бразиды и сравнивали его с лучшими из греческих ораторов. Законы лакедемонские не запрещали наслаждаться изящными искусствами, но не терпели их злоупотребления. Для сего-то эфоры не позволяли гражданам своим читать соблазнительных творений сатирика Архилоха; для сего-то велели они молчать лире одного музыканта, который нежною, томною игрою вливал яд сладострастия в души воинов; для сего-то выгнали они из Спарты того ритора, который хотел говорить о всех предметах с равным искусством и жаром. Истинное красноречие, одушевленное правдою, на правде основанное, было им любезно, ложное, софистическое – ненавистно. Их теория нравственности

поставлялась в пример ясной краткости, силы и убедительности, так что многие философы древности, например, Фалес, Питтак и другие, заимствовали от них методы своего учения.

Во-вторых – точно ли спартанцы были добродетельнее прочих греков? Не думаю. Там, где в забаву убивали бедных невольников, как диких зверей; где тирански умерщвляли слабых младенцев, для того что республика не могла надеяться на силу руки их, – там, следуя общему человеческому понятию, нельзя искать нравственного совершенства. Если древние говорили, что «самый спартанский воздух вселяет, кажется, *аретин*», то под сим словом разумели они не то, что мы разумеем ныне под именем *добродетели*, *vertu*, *Tugend*, а *мужество* или *храбрость*[56], которая только по своему употреблению бывает добродетелию. Спартанцы были всегда храбры, но не всегда добродетельны. Леонид и друзья его, которые принесли себя в жертву отечеству, суть мои герои, истинно великие мужи, полубоги; без слез не могу я думать о славной смерти их при Термопилах, – но когда питом-

цы Ликурговых законов лили кровь человеческую для того, чтобы умножить число своих невольников и поработить слабейшие греческие области: тогда храбрость их была злодейством – и я радуюсь, что великий Эпаминонд смирил гордость сих республиканцев и с надменного чела их сорвал лавр победы.

Просвещенные Афины, где, так сказать, возрастали все наши искусства и науки, – Афины производили также своих героев, которые в великодушии и храбрости не уступали лакедемонским. Фемистокл, Аристид, Фокион! Кто не удивляется вашему величию? Вы сияете в истории человечества, как благодетельные светила, – и вечно сиять будете! – Сам божественный Сократ, первый из мудрецов древности, был храбрый воин; от высочайших умозрений философии летел он на поле брани умирать за любезные Афины – и я не знаю, кто более имеет причин любить и защищать свое отечество – сын Софронисков³ или какой-нибудь абдерит⁴: первый наслаждается в нем всеми благами жизни, цветами природы, искусства, самим собою, своим человечеством, силами и способностями ду-

ши своей; а второй в благословенной Абдере – *живет*, и более ничего. Для кого страшнее узы варваров? Сократ, сражаясь за Афины, сражается за место своего счастья, своих удовольствий, которые вкушал он в садах философских, в беседе друзей и мудрецов, – абдерит и под игом персидским может быть абдеритом[57].

Что принадлежит до Рима, то науки не могли быть причиною его падения, когда Сципионы посвящали им все свободные часы свои и были Сципионами; когда Катон, умирая вместе с республикою, в последнюю ночь жизни своей читал Платона; когда Цицерон, ученейший римлянин своего времени, презирал опасность и гремел против Катилины. Сии герои были питомцы наук, и притом герои; более таких мужей – и Рим бессмертен в своем величии!

Я согласен, что чрезмерная роскошь, которая царствовала наконец в Риме, была пагубна для республики: но какую связь имеет роскошь с науками? Сия политическая и нравственная язва перешла в Рим из стран азиатских вместе с великим богатством, которое

бывает ее источником и пищею. Чем же обогатились потомки Ромуловы? Конечно, не науками, но завоеваниями – и таким образом причина славы их сделалась наконец причиною их гибели.

Успех самых *приятных искусств* нисколько не зависит от богатства. Поэт, живописец, музыкант имеют ли нужду в Моголовых сокровищах⁵ для того, чтобы сочинить бессмертную поэму, написать изящную картину, очаровать слух наш сладкими звуками? Потребны ли сокровища и для того, чтобы наслаждаться великими произведениями искусств? Для первого нужны таланты, для второго потребен вкус: и то и другое есть особый дар неба, который не в мрачных недрах земли хранится и не с золотым песком приобретается[58].

И кто имеет более алчности к богатству – просвещенный человек или невежда? Человек с дарованиями или глупец? Философ ценит умозрения свои дороже золота. Архимед не взял бы миллионов за ту минуту, в которую воскликнул он: «Эврика! Нашел! Нашел!» Камоэнс не думал о своем имени, когда то-

нул корабль его, но, бросившись в море, держал он в правой руке «Лузиаду». Сии отменные люди находят в самих себе источник живейших удовольствий – и по тому самому богатство не может быть их идолом.

Но сколько заблуждений в науках! Правда, для того, что они несовершенны; но предмет их есть истина. Заблуждения в науках суть, так сказать, чуждые наросты и рано или поздно исчезнут. Они подобны тем волнистым облакам, которые в час утра показываются на востоке и бывают предтечами златого солнца. Из темной сени невежества должно идти к светозарной истине сумрачным путем сомнения, чаяния и заблуждения; но мы придем к прелестной богине, придем, несмотря на все препоны, и в ее эфирных объятиях вкусим небесное блаженство. Высочайшая премудрость не хотела нас удалить от нее сими различными затруднениями, ибо мы можем преодолеть их и, сражаясь с оными, чувствуем некоторую радость во глубине сердец своих: верный знак того, что действуем согласно с нашим определением![59] Кажется, будто

натура, скрывая иногда истину – по словам философа Демокрита – на дне глубокого кладезя, хочет единственно того, чтобы мы долее наслаждались приятным исканием и тем живее чувствовали красоту ее. Так нежная Дафна бежит и скрывается от страстного Палемона, единственно для того, чтобы еще более воспалить жаркую любовь его!

«Науки с искусствами вредны и потому, – продолжает их славный антагонист, – что мы тратим на них драгоценное время»; но как же, уничтожив все науки и все искусства, будем употреблять его? На земледелие, на скотоводство? Правда, что земледелие и скотоводство всего нужнее для нашего существования; но можем ли занять ими все часы свои? Что станем мы делать в те мрачные дни, когда вся природа сетует и облакается в траур? Когда северные ветры обнажают рощи, пушистые снега усыпают железную землю и дыхание хлада замыкает двери жилищ наших; когда земледелец и пастух со вздохом оставляют поля и заключаются в своих хижинах? Тогда не будет уже книг, благословенных книг,

сих верных, милых друзей, которые доселе
услаждали для нас печальную осень и скуч-
ную зиму, то обогащая душу великими исти-
нами философии, то извлекая слезы чувстви-
тельности из глаз наших трогательными по-
вестованиями. Священная небесная мелан-
холия, мать всех бессмертных произведений
ума человеческого! Ты будешь чужда хладно-
му нашему сердцу; оно забудет тогда все бла-
городнейшие свои движения, и сие пламя
всемирной, любви, которое развевают в нем
творения истинных мудрецов и друзей чело-
вечества, подобно угасающей лампаде блес-
нет – и померкнет!.. Руссо! Руссо! Память твоя
теперь любезна человекам; ты умер, но дух
твой живет в «Эмиле», но сердце твое живет в
«Элоизе»⁶ – и ты восставал против наук, про-
тив словесности! И ты проповедывал счастье
невежества, славил бессмыслие, блаженство
зверской жизни! Ибо что иное, как не зверь,
есть тот человек, который живет только для
удовлетворения своим физическим потребно-
стям? Неужели скажут нам, что он, удовле-
творяя сим потребностям, спокоен и счаст-
лив? Ах нет! На златом диване и в темной хи-

жине он беден и злополучен; на златом диване и в темной хижине чувствует он вечный недостаток, вечную скуку. Один, чтобы наполнить сию мучительную пустоту сердца, выдумывает тысячу мнимых нужд, тысячу мнимых потребностей жизни[60]; другой, угнетаемый бременем мысленной силы своей, ищет облегчения в совершенном забвении самого себя или прибегает к ужасному распутству. – Так, конечно! Человек носит в груди свой пламень Этноы: живое побуждение деятельности, которое мучит праздного, – искусства же и науки суть благотворный источник, утоляющий сию душевную жажду.

«Но разве добродетель не может занять души твоей? – возражает Руссо. – Учись быть нежным сыном, супругом, отцом, полезным гражданином, человеком, и ты не будешь празден!» Что же есть мораль, из наук важнейшая, альфа и омега всех наук и всех искусств? Не она ли доказывает человеку, что он для собственного своего счастья должен быть добрым? Не она ли представляет ему необходимость и пользу гражданского порядка? Не она ли соглашает волю его с законами

и делает его свободным в самых узах? Не она ли сообщает ему те правила, которые разрешают его недоумения во всяком затруднительном случае, и верною стезею ведет его к добродетели? – Все животные, кроме человека, подвержены уставу необходимости: для них нет выбора, нет ни добра, ни зла; но мы не имеем сего, так сказать, *деспотического чувства*, сего естественного побуждения, управляющего ими; вместо его дан человеку разум, который должен *искать* истины и добра. Зверь видит и действует; мы видим и рассуждаем, то есть сравниваем, разбираем и потом уже действуем.

«Отчего же те люди, которые посвящают жизнь свою наукам, нередко имеют порочные нравы?» – Конечно, не оттого, что они в науках упражняются, но совсем от других причин: например, от худого воспитания, сего главного источника нравственных зол, и от худых навыков, глубоко вкоренившихся в их сердце. Любезные музы врачуют всегда душевные болезни. Хотя и бывают такие злые недуги, которых не могут они излечить *совер-*

шенно; но, во всяком случае, действия их благотворны – и человек, который, невзирая на нежный союз с ними, все еще предается порокам, во мраке невежества сделался бы, может быть, страшным чудовищем, извергом творения. Искусства и науки, показывая нам красоты величественной природы, возвышают душу; делают ее чувствительнее и нежнее, обогащают сердце наслаждениями и возбуждают в нем любовь к порядку, любовь к гармонии, к добру, следственно – ненависть к беспорядку, разгласию и порокам, которые расстраивают прекрасную связь общежития. Кто чрез мириады блестящих сфер, кружащихся в голубом небесном пространстве, умеет возноситься духом своим к престолу невидимого божества; кто внимает гласу его и в громах и в зефирах, в шуме морей и – собственном сердце своем; кто в атоме видит мир и в мире – атом беспредельного творения; кто в каждом цветочке, в каждом движении и действии природы чувствует дыхание вышней благодати и в алых небесных молниях лобызает край Саваофовой ризы: тот не может быть злодеем. На мраморных скрижалях истории,

между именами извергов, покажут ли нам имя Бакона, Декарта, Галлера, Томсона, Геснера?.. Наблюдатель человечества! Будь вторым Говардом и посети мрачные обители, где ожесточенные преступники ждут себе праведного наказания, – сии несчастные, долженствующие кровию своею примириться с раздраженными законами; спроси – если не онемеют уста твои в сем жилище страха и ужаса, – спроси, кто они? И ты узнаешь, что просвещение не было никогда их долею и что благодетельные лучи наук никогда не озаряли хладных и жестоких сердец их. Ах! Тогда поверишь, что ночь и тьма есть жилище грей, горгон⁷ и гарпий;⁷ что все изящное, все доброе любит свет и солнце.

Так! Просвещение есть палладий⁸ благонравия – и когда вы, вы, которым вышняя власть поручила судьбу человеков, желаете распространить на земле область добродетели, то любите науки и не думайте, чтобы они могли быть вредны; чтобы какое-нибудь состояние в гражданском обществе должно было пресмыкаться в грубом невежестве, – нет! Сие златое солнце сияет для всех

на голубом своде, и все живущее согревается его лучами; сей текущий кристалл утоляет жажду и властелина и невольника; сей столетний дуб обширную своею тению прохладает и пастуха и героя. Все люди имеют душу, имеют сердце: следовательно, все могут наслаждаться плодами искусства и науки, – и кто наслаждается ими, тот делается лучшим человеком и спокойнейшим гражданином – спокойнейшим, говорю: ибо, находя везде и во всем тысячу удовольствий и приятностей, не имеет он причины роптать на судьбу и жаловаться на свою участь. – Цветы граций украшают всякое состояние – и просвещенный земледелец, сидя после трудов и работы на мягкой зелени с нежною своею подругою, не позавидует счастью роскошнейшего сатрапа.

Просвещенный земледелец! – Я слышу тысячу возражений, но не слышу ни одного справедливого. Быть просвещенным есть быть здравомыслящим, не ученым, не полиглотом, не педантом. Можно судить справедливо и по правилам строжайшей логики, не читав никогда схоластических бредней о сей пауке; не

думая о том, кто лучше определяет ее: Томазий или Тширнгауз, Меланхтон или Рамус, Клерикус или Буддеус; не зная, что такое *энфинемата*, *барбара*, *целарент*, *ферио*⁹ и проч. Для сего, конечно, не достанет земледельцу времени, – ибо он должен обрабатывать поля свои; но для того, чтобы мыслить здраво, нужно только впечатлеть в душу некоторые правила, некоторые вечные истины, которые составляют основание и существо логики, – для сего же найдет он в жизни своей довольно свободных часов, равно как и для того, чтобы узнать премудрость, благость и красоту натуры, которая всегда пред глазами его, – узнать, любить ее и быть счастливее.

Я поставлю в пример многих швейцарских, английских и немецких поселян, которые пахут землю и собирают библиотеки; пахут землю и читают Гомера и живут так чисто, так хорошо, что музам и грациям не стыдно посещать их. Кто не слышал о славном цюрихском крестьянине Клейнийоке, у которого философы могли учиться философии, с которым Бодмер, Геснер, Лафатер любили говорить о красотах природы, о величестве

творца ее, о сане и должностях человека? – Недалеко от Мангейма живет и теперь такой поселянин, который читал всех лучших немецких и даже иностранных авторов и сам пишет прекрасные стихи[61]. Сии упражнения не мешают ему быть трудолюбивейшим работником в своей деревне и прославлять долю свою. «Всякий день, – говорит он[62], – благодарю я бога за то, что он определил мне быть поселянином, которого состояние есть самое ближайшее к натуре и, следовательно, самое счастливейшее».

Законодатель и друг человечества! Ты хочешь *общественного блага*: да будет же первым законом твоим – *просвещение!* Гласом одного благодетельного грома, который не умерщвляет живущего, а напояет землю и воздух питательными и плодотворными силами, вещай человекам: *созерцайте природу и наслаждайтесь ее красотами; познавайте свое сердце, свою душу; действуйте всеми силами, творческою рукою вам данными, – и вы будете любезнейшими чадами неба!*

Когда же свет учения, свет истины озарит всю землю и проникнет в самые темнейшие

пещеры невежества: тогда, может быть, исчезнут все нравственные гарпии, доселе осквернявшие человечество, – исчезнут, подобно как привидения ночи на рассвете дня исчезают; тогда, может быть, настанет золотой век поэтов, век благонаравия, – и там, где возвышаются теперь кровавые эшафоты¹⁰, там сядет добродетель на светлом троне. – Между тем вы составляете мое утешение, вы, нежные чада ума, чувства и воображения! С вами я богат без богатства, с вами я не один в уединении, с вами не знаю ни скуки, ни тяжелой праздности. Хотя живу на краю севера, в отечестве грозных аквилонов, но с вами, любезные музы! с вами везде долина Темпейская¹¹ – коснетесь рукою, и печальная сосна в лавр Аполлонов превращается;дохнете божественными устами, и на желтых хладных песках цветы олимпийские расцветают. Осыпанный вашими благами, дерзаю презирать блеск тщеславия и суетности. Вы и природа, природа и любовь добрых душ – вот мое счастье, моя отрада в горестях!.. Ах! Я иногда проливаю слезы и не стыжусь их!

Меня не будет – но память моя не совсем

охладеет в мире; любезный, нежно образованный юноша, читая некоторые мысли, некоторые чувства мои, скажет: *он имел душу, имел сердце!*

<О богатстве языка>*

Истинное богатство языка состоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых оным. Богатый язык тот, в котором вы найдете слова не только для означения главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенков, большей или меньшей силы, простоты и сложности. Иначе он беден; беден со всеми миллионами слов своих. Какая польза, что в арабском языке некоторые телесные вещи, например *меч* и *лев*, имеют пятьсот имен, когда он не выражает никаких тонких нравственных понятий и чувств?

В языке, обогащенном умными авторами, в языке выработанном не может быть *синонимов*; всегда имеют они между собою некоторое тонкое различие, известное тем писателям, которые владеют духом языка, сами размышляют, сами чувствуют, а не попугаями

других бывают.

<<Находить в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону>>^{*}

Первая книжка «Аонид» принята благо-
Псклонно (если не ошибаюсь) любителями
русского стихотворства; ровно через год вы-
ходит и вторая – участь ее зависит от публи-
ки.

«Для чего между многими хорошими сти-
хами помещаются в «Аонидах» и некоторые...
очень не совершенные, слабые... или как
угодно назвать их?»

Отчасти для ободрения незрелых талан-
тов, которые могут созреть и произвести со
временем нечто совершенное; отчасти для то-
го, чтобы справедливая критика публики за-
ставила нас писать с большим старанием;
чтобы читатели имели удовольствие видеть,
как молодые стихотворцы год от году очища-
ют свой вкус и слог; наконец и для того, что-
бы *не очень хорошее* тем более возвышало це-
ну *хорошего*. Одним словом, «Аониды» долж-
ны показать состояние нашей поэзии, красо-
ты и недостатки ее.

Не употребляя во зло доверенности моих любезных сотрудников, не употребляя во зло прав издателя, я осмелюсь только заметить два главные порока наших юных муз: излишнюю высокопарность, гром слов не у места и часто притворную слезливость [63].

Поэзия состоит не в надутым описании ужасных сцен природы, но в живости мыслей и чувств. Если стихотворец пишет не о том, что подлинно занимает его душу; если он не раб, а тиран своего воображения, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, не свойственными ему идеями; если он описывает не те предметы, которые к нему близки и собственно силою влекут к себе его воображение, если он принуждает себя или только подражает другому (что все одно), — то в произведениях его не будет никогда живости, истины или той сообразности в частях, которая составляет целое и без которой всякое стихотворение (несмотря даже на многие счастливые фразы) похоже на странное существо, описанное Горацием в начале¹ эпистолы к Пизонам¹. Молодому питомцу муз лучше изображать в стихах первые впечатления

любви, дружбы, нежных красот природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар натуры[64] и прочее в сем роде.

Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспалять стихотворца и служить доказательством дарований его: напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону: его дело наводить на все живые краски, ко всему привязывать остроумную мысль, нежное чувство или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением, показывать оттенки, которые укрываются от глаз других людей, находить неприметные аналогии, сходства, играть идеями и, подобно Юпитеру (как сказал об нем мудрец Эзоп), иногда *малое делать великим*, иногда *великое делать малым*. Один *бомбаст*², один гром слов только что оглушает нас и никогда до сердца не доходит; напротив того, нежная мысль, тонкая черта воображения или чувства непосредственно действуют на душу читателя; умный стих врезывается в память, громкий стих забывается.

Не надобно также беспрестанно говорить о

слезах, прибирая к ним разные эпитеты, называя их блестящими и бриллиантовыми, — сей способ *трогать* очень ненадежен: надобно описать разительно причину их; означить горесть не только *общими* чертами, которые, будучи слишком обыкновенны, не могут производить сильного действия в сердце читателя, — но *особенными*, имеющими отношение к характеру и обстоятельствам поэта. Сии-то черты, сии подробности и сия, так сказать, *личность* уверяют нас в истине описаний и часто обманывают; но такой обман есть торжество искусства.

Трудно, трудно быть совершенно хорошим писателем и в стихах и в прозе; зато много и чести победителю трудностей (ибо искусство писать есть, конечно, первое и славнейшее, требуя редкого совершенства в душевных способностях); зато нация гордится своими авторами; зато о превосходстве нации судят по успехам авторов ее. Отдавая справедливость вкусу и просвещению наших любезных соотечественников, почитаю за излишнее доказывать здесь пользу и важность литературы, которая, имея вообще влияние на прият-

ность жизни, светского обхождения и на совершенство языка (неразрывно связанного с умственным и моральным совершенством каждого народа), бывает всего полезнее, всего приятнее для тех, которые в ней упражняются: она занимает, утешает их в сельском уединении; она настроивает их душу к глубокому чувству красот природы и к тем нежным страстям нравственности, которые были и всегда будут главным источником земного блаженства; она доставляет им дружбу лучших людей или сама служит им вместо друга. Кто в наши времена может быть ее неприятелем? Никто... конечно. Но, говорит Вольтер, «*mais, s'il y a encore dans notre nation si polie quelques barbares et quelques mauvais plaisans, qui osent désapprouver des occupations si estimables; on peut assurer qu'ils en feraient autant, s'ils le pouvaient. Je suis très persuadé, que quand un homme ne cultive point un talent, c'est qu'il ne l'a pas, qu'il n'y a personne, qui ne fit des vers, s'il né poète, et de la musique, s'il était né musicien*»[65].

Несколько слов о русской литературе*

Письмо в «Зритель» о русской литературе

С удовольствием откликаюсь, милостивый государь, на любезное ваше приглашение и берусь за перо, чтобы начертать несколько слов о нашей литературе, каковую вы сочли достойной внимания ваших читателей. Да, сударь, в каждом климате встречаются дарования, и даже в России есть талантливые люди, которые достаточно скромны, чтобы не оспаривать пальму первенства у французских, немецких и прочих литераторов, но которые могут, читая их бессмертные творения, сказать про себя: «И мы тоже художники». Да, натура повсюду величественна и прекрасна; повсюду она трогает наше сердце, вызывает в нем чувствительное начало, живущее как в душе дикаря, так и в душе Ж.-Ж. Руссо; повсюду есть люди, наделенные им в высшей степени; более других эти люди внимательны к явлениям мира физическим и моральным, по-

лучают от него более живые и более глубокие впечатления и выражают их с большею энергией и с более тонкими оттенками. Вот источник всех талантов и в особенности – источник поэзии, которую русские создавали задолго до времен Петра Великого. Есть у нас песни и романсы, сложенные два-три века тому назад, где мы находим самое трогательное, самое простодушное выражение любви, дружбы и проч.¹ То пастушка оплакивает смерть своего возлюбленного, павшего в бою, его окровавленные одежды приносят ей, и она пытается смыть кровь своими слезами; то богатырь, странствующий рыцарь, скрепляет дружбу своею кровью и говорит брату по оружию: «Видишь ли ты сию гранитную скалу? Она выстояла против всех бурь. Столь же нерушимой будет моя дружба к тебе, ради тебя она выстоит против всех бурь житейских». То это юный пастух, который воспевает счастье своих овечек куда натуральнее, чем г-жа Дезульер, и тем скрашивает скуку своего одинокого существования; то несчастный изгнанник бежит общества, углубляется в темные леса, живет с дикими зверьми и находит,

что они менее жестокосердны, нежели люди. Во всех этих песнях такт очень размерен и очень разнообразен, все они проникнуты меланхолией и склонностью к нежной грусти, которые свойственны нашему народу и прекрасно выражены в очень простых, очень унылых, но очень трогательных напевах.

Есть у нас и старинные рыцарские романы (герои их обычно военачальники князя Владимира, нашего Карла Великого) и волшебные сказки – некоторые из них достойны называться поэмами. Но вот, милостивый государь, что поразит вас, быть может, более всего – года два назад в наших архивах обнаружили фрагмент поэмы, озаглавленной «Слово о полку Игореве»², которую можно поставить рядом с лучшими местами из Оссиана и которую сложил в двенадцатом веке безымянный певец. Энергический слог, возвышенно-героические чувства, волнующие картины ужасов, почерпнутые из природы, – вот что составляет достоинство этого отрывка, где поэт, набрасывая картину кровавого сражения, восклицает: «О, я чувствую, что моя кисть слаба и бессильна. У меня нет дара Бонна, этого соло-

вья прошедших времен...» Значит, и до него были на Руси великие певцы, чьи творения погребены в веках. В наших летописях сей Бонн не упомянут; мы не знаем, ни когда он жил, ни что он пел. Но дань уважения, воздаваемая его гению подобным поэтом, заставляет нас сокрушаться об утрате его созданий.

Когда Петр Великий сорвал завесу, скрывавшую от наших взоров жизнь цивилизованных народов Европы и успехи их искусств, тогда русский человек, униженный сознанием своей отсталости, но чувствующий, что он способен обучиться, захотел подражать иностранцам во всем – в образе жизни и в платье, в обычаях и искусствах; он переделал свой язык на манер и подобие немецкого и французского, и поэзия и словесность наши превратились в отзвук и отражение чужеземных поэзии и словесности.

С тех пор мы с успехом испробовали силы свои почти во всех жанрах литературы. Есть у нас эпические поэмы, обладающие красотами Гомера, Виргилия, Тасса; есть у нас трагедии, исторгающие слезы, комедии, вызывающие смех; романы, которые порою можно про-

честь без зевоты, остроумные сказки, написанные с выдумкой, и т. д. и т. д. У нас нет недостатка в чувствительности, воображении, наконец – в талантах; но храм вкуса, но святилище искусства редко открываются перед нашими авторами. Ибо пишем мы по внезапной прихоти; ибо слабое ободрение не побуждает нас к усидчивому труду; ибо, в силу тех же причин, справедливые критики редки на Руси; ибо в стране, где все определяется рангами, слава имеет мало притягательного. Вообще же у нас больше пишут в стихах, нежели в прозе; дело в том, что под прикрытием рифмы более допустима небрежность, что благозвучную песню можно прочесть в обществе хорошенькой женщине и что сочинение в прозе должно содержать больше зрелых мыслей. Вот уже несколько лет, как в Москве выходит календарь муз под названием «Аониды», с эпиграфом из Шамфора:

*Соперника в стихах восславим
торжество,
Кто победитель мой? Я обниму
его.*

Все наши поэты печатаются в этом альма-

нахе, – они воспевают восторги или мучения любви, улыбку весны или жестокости зимы, радости труда или очарование лени, величие наших монархов или прелесть наших пастушек; вслед за тем они замолкают на весь год.

Прилагаемый к сему отрывок из прозаического сочинения, стяжавшего в России некоторый успех, позволит вам судить о том, как мы видим вещи, как пишем и как изучаем создания словесности.

Письма русского путешественника, в пяти частях. Москва, 1797 год³

Своему успеху у русского читателя это сочинение отчасти обязано новизне предмета. Наши соотечественники[66] давно путешествуют по чужим странам, но до сих пор никто из них не делал этого с пером в руке. Автору сих писем первому явилась эта мысль⁴, и ему удалось привлечь интерес публики. Это молодой человек, стремящийся увидеть природу там, где она предстает более сияющей, более величественной, чем у нас, и он особо алчет увидеть великих писателей, чьи сочинения пробудили в нем первые движения души. Он вырывается из объятий друзей и от-

правляется в путь один на один со своим чувствительным сердцем. Все интересует его: достопримечательности городов, мельчайшие различия в образе жизни их обитателей, монументы, воскрешающие в его памяти различные знаменательные события; следы великих людей, которых уже нет на свете; приятные ландшафты, вид плодородных полей и безбрежного моря. То он посещает развалины заброшенного старинного замка, чтобы без помехи предаться там мечтам и блуждать мыслью во тьме прошедших веков; то он является в дом к знаменитым писателям – причем единственной рекомендацией служит ему его восторг перед их сочинениями; и почти всегда он бывает хорошо принят. Впрочем, ему случается и переносить некоторые унижения. Кант, Николаи, Рамлер, Мориц, Гердер принимают его сердечно и приветливо; он очарован их приемом и в таких случаях чувствует себя пронесенным в древние времена, когда философы отправлялись в самые дальние страны, дабы повидаться с себе подобными, и повсюду находили гостеприимных хозяев и искренних друзей. Но когда ав-

тор бессмертного «Агатона», будучи в дурном расположении духа, говорит ему: «Сударь, я вас не знаю», – он поражен, потрясен, он уже хочет уходить и хочет отказаться от своего увлечения такого рода визитами; но добрый Виланд смягчается, меняет тон, удерживает его и доверительно с ним беседует; и, проведя три часа в кабинете сего великого поэта, юный путешественник прощается с ним, полный признательности и со слезами умиления. О французской революции он услышал впервые во Франкфурте-на-Майне; известие это его чрезвычайно волнует, он въезжает в Эльзас – там кругом сплошное смятение, разговоры только о кражах, об убийствах; он спешит в Швейцарию, чтобы там вдохнуть воздух мирной свободы; он видит пленительные долины, где земледелец покойно вкушает плоды своего размеренного труда; он взбирается на самые высокие горы, покрытые вечным снегом, и там, на их величественных вершинах, преклоняет колена, чтобы восславить творца вселенной; он близко сходится с альпийскими пастухами, восхищается красотой пастушек и с сожалением возвращается

вниз, в долины. В Цюрихе он всякий день обе-
дает в обществе знаменитого Лафатера, любя
его за прямоту и добродушие, но сожалея о
его ошибочных взглядах. Ему нравится жить
в Берне, в Лозанне, в Веве; в Кларенсе он пере-
читывает самые страстные письма «Новой
Элоизы» и, наконец, останавливается в Жене-
ве. Он принят во всех серклях этого мирного
городка, в доме г-жи К., присутствует на ми-
стических сеансах одного графа-эмигранта,
знакомится со знаменитым г. Боннетом и
проводит восхитительные часы в Жанту, где,
по его словам, созерцает «созерцателя природы
на пороге отбытия в небесную отчизну, чи-
тая на его величественном челе тихое спо-
койствие, мирный сон души, кои наступают,
когда уже все силы истрачены на активную
деятельность и когда душе, достигшей выс-
шей степени духовного совершенства, нечего
больше делать на земле». Читатель с удоволь-
ствием остановится на всех подробностях, ка-
сающихся Боннета – нежного супруга, друга
человечества и благодетеля бедных.

Автор совершает поездки в Савойю, в
Швейцарию; ему кажется, что на острове св.

Петра он видит тень Ж.-Ж. Руссо, в экстагическом состоянии беседует с нею и возвращается в Женеву – читать продолжение «Исповеди», которое только что вышло в свет. Он неоднократно посещает Фернейский замок, откуда некогда лились лучи просвещения, рассеявшие в Европе тьму предрассудков, где загорелись лучи остроумия и чувства, заставлявшие то плакать, то смеяться всех современников.

Наконец автор прощается с прекрасным Женевским озером, прикрепляет к шляпе трехцветную кокарду, въезжает во Францию, некоторое время живет в Лионе, восхищается французской учтивостью и безуспешно разыскивает могилу Амандуса и Аманды[67], могилу Фальдони и Терезы; затем продолжает свое путешествие и, наконец, надолго останавливается в Париже. Вот здесь-то и ждет его читатель; письма становятся интереснее и разнообразнее. Сначала он ошеломлен видом самого большого и самого шумного города в мире. Он чувствует потребность собрать воедино разрозненные впечатления, и, чтобы лучше живописать Париж, он покидает его. В

прелестном Булонском лесу, сидя под сению
дерев, один среди оленей, которые бегают и
резвятся вокруг него, он описывает эту столи-
цу или, вернее, свои впечатления от нее.

«История Парижа, – пишет он, – это исто-
рия Франции и цивилизации». Он пробегает
ее кратко, но старается охватить все самые
характерные черты и кончает словами:
«Итак, французская нация прошла все стадии
цивилизации, чтобы достигнуть нынешнего
состояния. Сравнивая ее медлительное ше-
ствие со стремительным движением нашего
народа в направлении той же цели, начина-
ешь верить в чудеса; поражаешься мощи со-
зидательного гения, который вырвал русскую
нацию из летаргического сна, в какой-то она
была погружена, и с такой силой двинул ее
по пути просвещения, что через малое коли-
чество лет мы оказались в одном ряду с наро-
дами, начавшими движение за много веков
до нас. Но тут иные мысли, иные характеры
занимают мое воображение: достаточно ли
прочны эти здания, воздвигнутые с излиш-
ней поспешностью? Ведь в природе движе-
ние всегда размеренно и медлительно. Могут

ли устойчивыми и прочными быть блистательные исключения из правил? Из детей, которых в раннем детстве слишком многому обучают, получают ли великие люди?.. Я умолкаю».

Наш путешественник присутствует на бурных заседаниях в Народном собрании, восхищается талантами Мирабо, отдает должное красноречию его противника аббата Мори и сравнивает их с Ахиллесом и Гектором. – Он принят в некоторых кругах Парижа, заводит знакомство с любезными маркизами, милыми аббатами, с писательницами, он слушает их рассуждения об экспансивной чувствительности, их жалобы на то, что «хорошее общество» рассеялось по всем концам земли, – в этом они видят самое роковое следствие революции; он порядочно скучает в их кружках и бежит, чтобы отдохнуть, посещает зрелища, которые его чаруют. Академии, монументы искусства, Пале-Рояль, окрестности Парижа служат предлогом для многих изрядно длинных писем; особенно занято одно из них, которое содержит любопытные анекдоты, примечательные черточки, интересные характе-

ры.

Неужели путешественник, недавно побывавший у всех немецких писателей, пропустит случай представиться французским литераторам? Во время одного из посещений Академии изящной словесности он подходит с изъявлениями глубочайшего почтения к автору «Анахарсиса» и делает ему несколько комплиментов на скифский или, вернее, на русский манер; мудрый Бартеlemi слушает их с приветливым видом, столь характерным для афинской вежливости. Нашему путешественнику кажется, что он видит мудрого Платона, с доброотою принимающего юного Анахарсиса, и это сходство ему бесконечно льстит. — Он с возмущением восстает против немецкого романиста, который описывает Мармонтеля как невежу с грубой внешностью; русский путешественник находит как в лице его, так и в манерах ту же утонченность, то же мягкое выражение чувств, кои так пленяют его в «Назидательных сказках». То, что он пишет о Бальи и Лавуазье, пробуждает тягостные воспоминания об их трагическом конце.

И, наконец, автор собрался рассказать о революции... Можно было бы ждать пространного письма, но в нем всего несколько строчек; вот они: «Французская революция относится к таким явлениям, которые определяют судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха. Я это вижу, а Руссо предвидел. Прочтите одно замечание в «Эмиле», и книга выпадет у вас из рук.⁶ Я слышу пышные речи за и против; но я не собираюсь подражать этим крикунам. Признаюсь, мои взгляды на сей предмет недостаточно зрелы. Одно событие сменяется другим, как волны в бурном море; а люди уже хотят рассматривать революцию как завершённую. Нет. Нет. Мы ещё увидим множество поразительных явлений. Крайнее возбуждение умов говорит за то. Я опускаю занавес». Затем, говоря о французском характере, он пишет: «Назову воздух и огонь – и весь характер французов уже очерчен. Действительно, это самая остроумная, самая чувствительная и самая легкомысленная нация. Все общественные качества и все движения, порождаемые этими качествами, достигают у них высшей точки со-

вершенства. Здесь все улыбаются вам; эта улыбка вежливости, которой мы напрасно пытались бы подражать и которая у немцев и англичан превращается в неприятную аффектацию (чтобы не сказать «гримасу»), улыбка эта так естественна, так изящна у любезных французов. Я люблю свое отечество; но пусть мне будет дозволено любить также этот народ и его пленительные манеры, которые всегда будут привлекать иностранцев во Францию. Говорят, верных друзей следует искать не здесь. Друзей! Ах, они редки во всех странах, да и путешественнику ли искать их где бы то ни было? Ведь он подобен комете – появится и исчезнет. Дружба есть насущная потребность наша, и она нуждается в незыблемом предмете. Но все, чего может разумно требовать иностранец, прибывший издалека, чтобы познакомиться с народом, – французы предлагают вам это все в самой предупредительной форме. Та легкость, то непостоянство, в которых их справедливо обвиняют и которые можно смело отнести к недостаткам их характера, искупаются прекрасными качествами души, связанными с этими же недо-

статками. Француз непостоянен, но он зато и не злопамятен; его утомляет как восхищение, так и ненависть. Он взбалмошный и часто меняет одно благо на другое, сам первый смеется над своими ошибками и даже, если нужно, плачет над ними. Веселость и бездумье – приятные спутники его жизни; смешной каламбур радует его не меньше, чем скупого англичанина – открытие нового острова, ибо англичанин рассматривает весь свет и всех людей как объект спекуляции на лондонской бирже.

Чувствительный до крайности, француз становится пламенным любовником истины, славы, всего, что есть прекрасного и великого; но любовники ветрены. Увлечение, энтузиазм, порыв злобы могут увлечь его к ужасным крайностям: крайности революции служат тому свидетельством. Что и говорить, будет жаль, если сие великое событие должно будет изменить характер нации; боюсь, что, изменившись, она немало потеряет и перестанет быть тем, чем всегда была в моих глазах: самой любезной из всех наций.

Прожив четыре месяца в Париже (они по-

казались ему весьма короткими), наш путешественник укладывается, садится в дилижанс, и вот он уже в Кале срывает цветы на мнимой могиле отца Лоренцо[68]. Он отплывает в Дувр, бросает свою трехцветную кокарду в море, шлет Франции свое последнее прощание, пожелав ей счастья, сходит на землю. Первое, что поражает его в Англии, – красота английских женщин; нежная томность их взоров, выражение чувствительности на их лицах, которое, казалось бы, говорит: «Я умею любить».

Боюсь, чтобы этот отрывок не оказался слишком длинным, потому обхожу молчанием десять писем, в которых путешественник рассказывает о своем пребывании в Лондоне, о своем знакомстве и впечатлениях. Под конец он резюмирует: «Мне нравится Англия, но я не хотел бы провести здесь всю мою жизнь. Мне нравится вид ее великолепных городов и веселых деревень, ее парки и лужайки; но мне не нравится ее унылый климат, ее вечные туманы, заволакивающие солнце. Мне нравится твердый характер англичан и даже их странности, но мне не нра-

вится, что они угрюмы и флегматичны. Мне нравится их просвещенность и безукоризненная честность в делах; но мне не нравится ни их расчетливая скупость, желающая разорения всех других народов, ни их презрение к бедности, что возмущает мое сердце. Мне нравится, что они горды своей конституцией, но не нравится, что они торгуют местами в парламенте. Мне нравится крылатое красноречие Шеридана и Фокса, но не нравится ни их холодное действие, ни однообразная интонация их фраз. Мне нравятся трагедии Шекспира, но мне не нравится, как безвкусно их играют в Лондоне. Нравится мне также английская кухня, но вовсе не нравятся необычайно длинные трапезы, во время которых изрядно пьют и мало забавляются. И, наконец, я больше люблю англичанок, чем англичан, потому что они в большинстве своем хорошо воспитаны, романтичны и чувствительны, что вполне отвечает моему вкусу. Я и в другой раз приехал бы с удовольствием в Англию, но выеду из нее без сожаления».

Последнее письмо отправлено из Кронштадта.⁷ Им мы и закончим это описание:

«Берег! Берег! Приветствую тебя, о моя родина! Приветствую вас, о мои нежные друзья. Еще несколько дней, и я среди вас. Доволен ли я своим путешествием? Да, я доволен. Я испытал наслаждение, и этого достаточно. Я видел цветущие берега Рейна, великолепные Альпы, прекрасный Леман, благоухающие долины Франции, плодородные поля Англии, мне всегда будет радостно вспоминать все это. Я видел великих людей, и их священный для меня образ отпечатался в душе моей, склонной чтить все прекрасное в человеческой природе. Я видел первые нации Европы, их нравы, их обычаи и те оттенки характера, которые складываются под влиянием климата, степени цивилизации и, главное, государственного устройства; я видел все это, и я научился сдержанности в своих суждениях о достоинствах и недостатках разных народов. Наконец, я собрал множество предметов для размышлений, дабы занять душу, разум и воображение мои в сладостные часы досуга, который является предметом моих мечтаний. Пусть другие гонятся за фортуною, за чинами; я презираю роскошь и быстропреходящие

знаки отличия, ослепляющие чернь; но я хотел бы заслужить внимание отечества, но я хотел бы быть достойным уважения народа; и если себялюбие не обманывает меня, я могу этого уважения достичь, совершенствуясь в прекраснейшем из всех искусств, искусстве писать – источнике наслаждений для утонченных душ, столь хорошо заполняющем пустоту жизни. «Прекрасно только то, чего нет», – сказал Ж.-Ж. Руссо. Ну что ж. Если это прекрасное всегда ускользает от нас, как легкая тень, попытаемся уловить его нашим воображением; устремимся в заоблачные выси сладостных химер, начертаем прекрасный идеал, будем обманываться сами и обманывать тех, кто достоин быть обманутым. Ах! Если я не умею найти счастье в жизни, быть может я сумею его нарисовать, это все-таки значит быть каким-то образом счастливым; это все-таки кое-что. – Друзья мои. Приготовьте мне опрятную хижинку с маленьким садиком, где есть всего понемногу: весной – цветы, летом – тень, осенью – плоды. Пусть в моем кабинете будет камин для зимы и книги для всех времен года. Друзья разделят со

мною радости и печали. Что же до любви... о ней мы поговорим в наших стихах».

С тех пор автор написал много стихотворений.

NN

Пантеон российских авторов*

БОЯН

За несколько лет перед сим в одном монастырском архиве нашлось древнее русское сочинение¹, достойное Оссиана и названное «Словом о полку Игореве». Знатоки наших древностей утверждают², что оно должно быть произведением XII века. В нем живо описываются бедствия России и храбрость сынов ее, дикость нравов и сила героев. Автор неизвестен; но в начале своей песни он именует другого песнопевца, Бояна, славит его дарования и называет *Соловьем древних лет*. Мы не знаем, когда жил Боян и что было содержанием его сладких гимнов; но желание сохранить имя и память древнейшего русского поэта заставило нас изобразить его в начале сего издания. Он слушает поющего соловья и старается подражать ему на лире,

Может быть, жил Боян во времена героя Олега[69]; может быть, пел он славный поход сего аргонавта к Царю-граду, или несчастную смерть храброго Святослава, который с горстью своих погиб среди бесчисленных печенегов, или блестящую красоту Ольги, ее невинность в сельском уединении, ее славу на троне.

НЕСТОР

Монах Киевского Печерского монастыря, родился в 1056, умер около 1120 года.

Нестор жил во мраке первого-надесять века: итак, мог ли быть Тацитом? Все летописи тогдашних времен говорят о суеверных преданиях, единообразных войнах, нападениях, отражениях и молчат о том, что было бы для нас гораздо любопытнее: о нравах, обычаях народов, их понятиях, отличных людях, переменах в образе жизни и проч. Несмотря на то, Несторова летопись есть сокровище нашей истории как по своей древности, так и по некоторым характерным чертам, важным и, так сказать, лучезарным для прозорливого историка новых, счастливейших времен. Например, краткая речь князя Святослава к его

дружине перед битвою с греками не есть ли достаточное, славное изъявление древнего русского мужества и народной гордости? «Не посрадим земли русския, но ляжем костьми; мертвые бо срама не имеют. Станем крепко, иду пред вами». Что может быть сильнее и разительнее? Таких золотых мест довольно в Несторе. Будем ему благодарны. Старинные летописи других народов едва ли совершеннее наших.

НИКОН

Патриарх Московский, родился в 1613, умер в 1681 году.

Простой чернец Кожеозерского монастыря и через семь лет патриарх России, знаменитый не ученостию, но благочестием и деятельною ревностию к вере: чему служит доказательством исправление духовных книг и другие церковные учреждения его времени. Вдохновенный христианским смирением, Никон сложил с себя верховный сан и в тихом уединении Воскресенского монастыря, в тесной келье, осененной густыми деревьями, проводил дни свои, богу и душеспасительным трудам посвященные. Там, в часы отдохнове-

ния, собирал[70] он древние летописи России, известные ныне под его именем и служащие основанием нашей истории.

В сем прекрасном монастыре, окруженном богатствами природы, и доныне все еще напоминает Никона и строгое житие его. Когда цветет весна и громкие песни соловьев раздаются в долинах воскресенских, обитатели Москвы посещают Новый Иерусалим и с чувством благоговения входят в кельи смиренного патриарха.

МАТВЕЕВ АРТЕМОН СЕРГЕЕВИЧ

Ближний боярин, наместник разных городов, царския большая печати и государственных посольских дел оберегатель; приказов: Стрелецкого, Казанского и других, тако ж и Монетного двора главный судия. Родился в 1625, убит стрельцами во время бывшего московского мятежа в 1682 году.

Боярин Матвеев, наперсник и друг царя Алексея Михайловича, при юном царе Феодоре страдал семь лет в заточении по нелепому доносу извергов, обвинявших его в тайном сношении с злыми духами; возвратился наконец с честью и славою в Москву, чтобы чрез

несколько дней... умереть на копьях стрелецких! Жертва своих достоинств, зависти людей и злобы мятежников.

Историк народа российского когда-нибудь осенит гроб Матвеева пальмою славы: она и любовь чувствительных сердец остаются последнею надеждою добродетели в сем бурном мире.

Мы изображаем его здесь как автора: он сочинил историю князей и царей наших, поднесенную им царевичу Феодору[71].

Напомним читателю, что славный полководец России, тот, кто именем русских воинов заключил вечный союз с победою, – одним словом, Румянцов-Задунайский, был пра-внук Матвеева.

ЦАРЕВНА СОФИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Родилась в 1656, скончалась в 1704 году.

Здесь не место описывать характер Софии, которая есть одна из великих женщин, произведенных Россиєю. Скажем только, что она по уму и свойствам души своей достойна была называться сестрою *Петра Великого*; но, ослепленная властолюбием, хотела одна повелевать, одна царствовать и наложила на

историка печальный долг быть ее обвинителем.

София занималась и литературою: писала трагедии и сама играла их в кругу своих приближенных. Мы читали в рукописи одну из ее драм и думаем, что царевна могла бы сравняться с лучшими писательницами всех времен, если бы просвещенный вкус управлял ее воображением.

СИМЕОН ПЕТРОВСКИЙ СИТИАНО-ВИЧ ПОЛОЦКИЙ

Иеромонах, родился в 1628, умер в 1680 году.

Учитель Петра Великого, просвещеннейший муж своего времени, богослов и стихотворец, он переложил в стихи – или, лучше сказать, в рифмы: ибо греческий *метр* был тогда еще неизвестен – не только песни Давидовы, но и самый церковный месяцеслов; имел дар слова, который не есть дар красноречия; говорил и писал для современников, следовательно не для нас; но как древние философы, описывая творение мира, всегда начинали с темного, неустроенного хаоса, так и философический исследователь нашего язы-

ка должен начать любопытный труд свой с произведений Симеона Полоцкого.

Известно предсказание его о рождении Петра Великого. Стихотворцы часто бывают астрологами и не всегда обманываются.

ДИМИТРИЙ ТУПТАЛО

Святой митрополит и чудотворец Ростовский и Ярославский, родился около 1671 года, скончался в 1709 году.

Димитрий, митрополит Ростовский, не столько известен по своему авторству, сколько по святому житию и добродетелям своим; но он много писал и в разных родах: *поучительные слова* (в коих довольно риторических фигур), *о славянском народе, о всемирной истории, духовные комедии стихами и розыск*, которым хотел он обратить в истинную веру брынских раскольников и который писан с жаром благочестия. Петр Великий изъявил ему особенное свое благоволение за сию книгу. Но важнейшее из его творений есть собрание исторических известий о всех святых, изданное под именем «Минеи». Примечания достойно то, что Димитрий, посвящая всю жизнь христианской добродетели, находил

время и для чтения стихотворцев. Он любил Горация и знал наизусть многие стихи его[72]

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ

Архиепископ великого Новаграда и Великих Лук, святейшего правительствующего синода первенствующий член, родился в 1681, умер в 1736 году.

См. «Келейные письма» Димитрия.

Ученый богослов и природный оратор. В речах его, духовных и светских, рассеяно множество цветов красноречия, хотя слог их нечист и, можно сказать, неприятен. Мысль, что Петр Великий бывал часто его слушателем; искреннее, жаркое чувство, с которым он говорит о великих делах его, обращаясь лично или к нему самому, или к его знаменитым сподвижникам; означение славных эпох России и, наконец, счастливые, живые черты, вдохновение истинного гения: вот прелесть Феофановых речей, которая всегда будет действовать на русское сердце! Забывая негладкость языка, пленяемся их содержанием и льем радостные слезы, читая слово о незабвенном торжестве полтавском, о юном, но

уже славном флоте российском, о возвращении монарха из чужих земель к подданным и детям своим. Когда же оратор в кипении горести, в отчаянии сердца восклицает: «Что делаем? Петра Великого погребаем!..», и теперь, и теперь еще благодарные сыны отечества рыдают с ним! Предание говорит, что Феофан, сказав сие ужасное слово, не мог продолжать от собственных слез и всеобщего стенания.

Счастливейший век поэзии и витийства, когда предмет их столь велик и любезен!

В Феофане сияет уже заря российского красноречия; но, будучи предшественником Ломоносова, он не похитил у него славы быть нашим лучезарным Фебом.

Им сочинены многие богословские, нравоучительные книги и даже предисловие к морскому уставу. Как муж просвещенный, благоразумный политик и любимец Петра, он старался доказывать мудрость всех новых его учреждений; первый открыл талант молодого Кантемира; ободрял, наставлял его и вместе с ним писал стихи: два человека, с коими, по тогдашнему времени, никто не мог спорить в остроумии и в учености.

Феофан имел блестящие достоинства, следственно и неприятелей, которые обвиняли его ересью в умствованиях и в теологии; но в царствование ли Петра Великого могло быть опасно такое злословие?

КНЯЗЬ ХИЛКОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Ближний стольник и при шведском дворе резидент. Год рождения его и смерти нигде не показан; а известно только, что он умер в Швеции и что тело его привезено оттуда в Санкт-Петербург в 1718 году.

Был министром российским при дворе Карла XII. Петр Великий находил его достойным сей важной по тогдашним обстоятельствам должности: следственно, он заслуживает наше почтение.

Заключенный в Вестерасе при начале войны, князь Хилков в скуке невольного уединения искал способов заняться приятным образом и сочинил «Ядро Российской истории»⁴, которое лет 50 было жертвою бессмысленных копистов и наконец, по возможности исправленное, выдано г. Миллером. Предлагая извлечение из наших летописей, автор описы-

вает новейшие случаи по словесному преданию и запискам современников; иногда же сообщает свои догадки и мысли о разных политических предметах. Книга его полезна для всякого, кто желает иметь легкое сведение о российской истории, не требуя ни основательной критики, ни красивого слога.

КНЯЗЬ КАНТЕМИР АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ

Тайный советник, камергер и чрезвычайный при английском и французском дворе посол, родился в 1709, умер в 1744 году.

Наш Ювенал. Сатиры его были первым опытом русского остроумия и слога. Он писал довольно чистым языком и мог по справедливости служить образцом для современников, так что, разделяя слог наш на эпохи, *первую* должно начать с Кантемира, *вторую* – с Ломоносова, *третью* – с переводов славяно-русских господина Елагина и его многочисленных подражателей, а *четвертую* – с нашего времени, в которое образуется *приятность слога*.

В стихах Кантемировых нет еще истинной меры – долгие и короткие слоги смешаны без

разбора – но есть гармония. В прозе он лучше выражал свои, нежели чужие мысли; например, стиль в предисловии к Фонтенелевой книге «О множестве миров» несравненно глаже, нежели в самом переводе. Мы имели случай видеть его министерские донесения из Лондона и Парижа, писанные ясно и правильно. Между прочим, характеристическое изображение Роберта Вальполя, славного министра Англии, доказывает, что Кантемир имел острый взор для замечания тайных сгибов человеческого сердца и легкое перо для описания своих замечаний.

Самые просвещенные иноземцы чувствовали цену его ума и нравственных достоинств. Кантемир был другом известного аббата Гуаско и приятелем славного Монтескье [73]. Любовь к наукам и словесности, следствие нежного образования души, всегда бывает соединена с благородным влечением к дружбе, которая, питая чувствительность, дает уму еще более силы и парения.

ТАТИЩЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

Тайный советник и астраханский губернатор. Год рождения его неизвестен, а умер в

1750 году.

Ревностный любитель отечественной истории, употребивший тридцать лет на соби-
рание всего, что до нее касается; но сей трудо-
любивый муж, достойный нашего почтения,
вместо истории оставил нам только⁵ материа-
лы ее⁵ и прибавил к летописям свои замеча-
ния. В догадках его не всегда находим вероят-
ность, а в соображениях ту ясную простоту,
которую любят читатели для своего покоя. Он
заставляет нас еще работать умом и вместе с
ним теряться в хаосе противоречий. Историк
должен все обделать в голове своей; ему труд,
а нам плоды трудов его. Мы охотно идем за
ним во мрак давно прошедших веков, если
факел его светит перед нами ясно. Господин
Татищев издал, между прочим, весьма любо-
пытные отрывки летописи, сочиненной буд-
то бы еще прежде Нестора Новгородским
епископом Иоакимом; но знатоки наших
древностей не хотят, к сожалению, верить ис-
тине ее. Впрочем, он был редким человеком
(у нас в России) по деятельности ума своего и
страстной охоте к историческим наукам.

КЛИМОВСКИЙ СЕМЕН

Малороссийский казак. Жил около 1724 года.

Казак и стихотворец.⁶ В императорской библиотеке хранится его рукописное сочинение «О великодушии и правде», в котором много хороших чувств и даже хороших стихов (без определенного течения стоп). Сказывают, что Климовский не менее семи греческих мудрецов был славен и почтен между его братьями казаками; что он, как вдохновенная пифия, говаривал в беседах высокопарными стихами, давал приятелям благоразумные советы, твердил часто пословицу: «Нам добро и никому зло, то законное житье»; и любопытные приходили издалека слушать его. Малороссийская песня: «Не хочу я ничего, только тебя одного», которую поют наши любезные дамы, есть также, как уверяют, сочинение Климовского, ученика природы, к сожалению *не доученного* искусством.

Авторы России, здесь изображенные! Не стыдитесь видеть его в вашем обществе.

БУСЛАЕВ ПЕТР

Был диаконом московского Успенского собора и жил около 1734 года.

Автор большой поэмы, названной им: «Умозрительство душевное о преселении в вечную жизнь превосходительной баронессы Марьи Яковлевны Строгоновой» и напечатанной в 1734 году. Тредиаковский пленялся разными местами сей поэмы и восклицал: «Что выше сего выговорить возможно? Что сластнее и вымышленнее? Что глаже и плавнее?» Хотя вкус и свидетельство творца «Телемахиды» не очень надежны, однако ж на сей раз подпишем его судейское определение, с некоторым исключением, и скажем, что в стихотворении Буслаева подлинно есть и *вымысл* и *гладкость*. Например, в описании Христа многие стихи прекрасны.

ТРЕДИАКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ КИРИЛОВИЧ

Надворный советник и Санкт-Петербургской академии наук красноречия профессор. Родился в 1703, умер в 1769 году.

Если бы охота и принадлежность могли заменить дарование, кого бы не превзошел Тредиаковский в стихотворстве и красноречии?

Но упрямый Аполлон вечно скрывается за облаком для самозванцев-поэтов и сыплет лу-

чи свои единственно на тех, которые родились с его печатью.

Не только дарование, но и самый вкус не приобретается; и самый вкус есть дарование. Учение образует, но не производит автора.

Тредиаковский учился во Франции у славного Роллена; знал древние и новые языки; читал всех лучших авторов и написал множество томов в доказательство, что он... не имел способности писать.

Однако ж труды его были не совсем бесполезны. Он первый изъяснил на русском языке меру стихов и перевел «Древнюю историю», которую по сие время читают наши провинциальные дворяне.

Имя Тредиаковского будет известно самым отдаленным потомкам. Сохраним же образ его и почтим в нем... трудолюбие науки и несчастье природы.

П. П. Не многие, может быть, знают следующий анекдот. Екатерина II, любя успехи русского языка, желала, чтобы в избранном обществе «Эрмитажа» все говорили по-русски. Ее воля была законом. Но законодатель должен предвидеть и неисполнение: какое

же наказание определила монархия для преступников? За всякое иностранное слово, вмешенное в разговор, виновный осуждался прочесть сто стихов из «Телемахиды» Тредиаковского.

СИЛЬВЕСТР КУЛЯБКА

Архиепископ Санкт-Петербургский и Ревельский и архимандрит троицкого Александро-Невского монастыря. Родился около 1701, умер в 1761 году.

Сочинил много проповедей; некоторые из них напечатаны. Кажется, что он сам не думал быть оратором и хотел говорить только простым языком христианского учителя. Слог его весьма нечист и темен, ко вреду многих хороших мыслей, рассеянных в поучительных словах сего архиепископа.

КРАШЕНИННИКОВ СТЕПАН

Санкт-Петербургской императорской Академии наук профессор ботаники и натуральной истории. Родился в 1713, умер в 1755 году.

Он, жив четыре года в Камчатке, описал сию любопытную страну, где человек поселился вопреки натуре, среди глубоких снегов, влажных туманов и гор огнедышащих. В опи-

сании его нет той приятности, которою талант все украшает, не отходя от исторической истины; однако ж виден ум и хорошее расположение. Господин Крашенинников славился в свое время чистотою и правильностию слога. Его перевод Квинта Курция⁷ считался совершенным и классическим; он и теперь имеет цену свою, по крайней мере в сравнении с другими переводами латинских авторов. – Достойно замечания, что г. Крашенинников умер в самый тот день, как отпечатался последний лист «Описания Камчатки».

БАРКОВ ИВАН

Переводчик при императорской Академии наук. Когда родился, неизвестно, умер в 1768 году.

Перевел Горациевы сатиры и Федровы басни, но более прославился собственными замысловатыми и шуточными стихотворениями, которые хотя и никогда не были напечатаны, но редкому неизвестны. Он есть русский Скаррон и любил одни карикатуры. Рассказывают, что на вопрос Сумарокова: «Кто лучший поэт в России?» *студент* Барков имел смелость отвечать ему: «Первый – Ломо-

носов, а второй – я!» У всякого свой талант: Барков родился, конечно, с дарованием; но должно заметить, что сей род остроумия не ведет к той славе, которая бывает целию и наградою истинного поэта.

ГЕДЕОН

Епископ Псковский и Нарвский. Родился в 1728, умер в 1765 году.

Проповеди Гедеоновы славны и достойны того. Они исполнены христианского благочестия, умных рассуждений, нравственных истин и самых ораторских движений. Слог их неравен, однако ж ясен и вообще имеет довольно гармонии. Гедеон отменно любил брать примеры из истории и природы (видно, что он знал хорошо древних историков и Плиния); любил также приводить места из святых отцов и церковных учителей, всегда кстати и к истинному украшению своих проповедей; одним словом, был учен, имел великий природный разум и талант красноречия. Его справедливо называют вторым Феофаном. Он, может быть, не уступал ему в дарованиях; но талант Феофана был возвеличен чрезвычайными своими предметами. Гедеон

умел также пользоваться обстоятельствами времени: например, ужасное лиссабонское землетрясение послужило ему материею для одного из лучших слов его.

ДИМИТРИЙ СЕЧЕНОВ

Митрополит Новгородский. Родился в 1708, умер в 1767 году.

Мы изображаем здесь Димитрия как автора многих проповедей, коих достоинство состоит не в искусстве ораторском, но в чистом христианском учении и в смелом изображении мирских пороков. Он в присутствии двора громогласно укорял льстецов и знатных вельмож, для которых низкая и личная польза есть обожаемый идол. Добродетель жизни его давала ему право быть строгим на кафедре. Замечания достойнейшая проповедь Димитриева есть «Слово на день благовещения», где он изображает состояние религии и служителей ее в России перед восшествием на трон императрицы Елисаветы Петровны. Екатерина Великая оказывала отменное уважение к добродетелям Димитрия, который имел славу быть ее советником во всем, что касалось до нашего духовенства.

ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬЕ- ВИЧ

Статский советник, Санкт-Петербургской императорской Академии наук профессор, Стокгольмской и Болонской член. Родился в 1711, умер в 1765 году.

Рожденный под хладным небом Северной России, с пламенным воображением, сын бедного рыбака, сделался отцом российского красноречия и вдохновенного стихотворства.

Ломоносов был первым образователем нашего языка; первый открыл в нем изящность, силу и гармонию. Гений его советовался только сам с собою, угадывал, иногда ошибался, но во всех своих творениях оставил неизгладимую печать великих дарований.

Он вписал имя свое в книгу бессмертия, там, где сияют имена Пиндаров, Горацийев, Руссо.

Современники могли только удивляться ему; мы судим, различаем и тем живее чувствуем его достоинство.

Лирическое стихотворство было собственным дарованием Ломоносова. Для эпической поэзии нашего века не имел он, кажется, до-

статочной силы воображения, того богатства идей, того всеобъемлющего взора, искусства и вкуса, которые нужны для представления картины нравственного мира и возвышенных, иройских страстей. Трагедии писаны им единственно по воле монархини; но оды его будут всегда драгоценностию российской музыки. В них есть, конечно, слабые места, излишности, падения; но все недостатки заменяются разнообразными красотами и пиитическим совершенством многих стрóf. Никто из последователей Ломоносова в сем роде стихотворства не мог превзойти его, ниже сравняться с ним.

Проза Ломоносова вообще не может служить для нас образцом; длинные периоды его утомительны, расположение слов не всегда сообразно с течением мыслей, не всегда приятно для слуха; но талант великого оратора блистает в двух похвальных речах его, которые и теперь должно назвать одним из лучших произведений российского, собственно так называемого, красноречия.

Если гений и дарования ума имеют право на благодарность народов, то Россия должна

Ломоносову монументом.

СУМАРОКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Действительный статский советник и св. Анны кавалер, родился 1718, умер в 1777 году.

Имя Сумарокова было в свое время так же велико, как имя Ломоносова. Один славил Елисавету на лире и на кафедре академической; другой пленял ее чувствительность драматическими картинами на сцене.

Оба талантами своими украсили и прославили время ее царствования. Имя того и другого напоминает счастливое рождение нашего *нового* стихотворства.

Сумароков еще сильнее Ломоносова действовал на публику, избрав для себя сферу обширнейшую. Подобно Вольтеру, он хотел блистать во многих родах – и современники называли его нашим Расином, Мольером, Лафонтеном, Буало. Потомство не так думает; но, зная трудность первых опытов и невозможность достигнуть вдруг совершенства, оно с удовольствием находит многие красоты в творениях Сумарокова и не хочет быть строгим критиком его недостатков.

Уже фимиам не дымится перед кумиром; но не тронем мраморного подножия; оставим в целости и надпись: *Великий Сумароков!* Соорудим новые статуи, если надобно; не будем разрушать тех, которые воздвигнуты благородною ревностью отцов наших!

Но признавая (вместе со всеми) басни Сумарокова лучшим его творением, мы не сравниваем их с Лафонтеновыми, которые пленяют любезной простотою и живописными стихами. Русский басенник может нравиться только легкостию и резкою сатирою; Лафонтен также колет глаза пороку, но всегда с видом неизъяснимого добродушия: Сумароков язвит сильным стихом без пощады.

В трагедиях своих он старался более описывать чувства, нежели представлять характеры в их эстетической и нравственной истине; не искал чрезвычайных положений и великих предметов для трагической живописи, но, в надежде на приятную кисть свою, основывал драму всегда на самом обыкновенном и простом действии; любил так называемые *прощальные сцены*, для того что они извлекали слезы из глаз чувствительной Елисаветы;

и, называя героев своих именами древних князей русских, не думал соотносить свойства, дела и язык их с характером времени. Но многие стихи в его трагедиях нежны и милы; многие сильны и разительны. Довольно для вечной славы поэта, открывшего в России сцену Мельпомены!

ЭМИН ФЕДОР

Титулярный советник и кабинетный переводчик. Родился 1735, умер в 1770 году.

Самый любопытнейший из романов г. Эмина есть собственная жизнь его, как он рассказывал ее своим приятелям^[74], а самый неудачный – российская его история. Он родился в Польше, был воспитан иезуитом, странствовал с ним по Европе и Азии, неосторожно заглянул в гарем турецкий, для спасения жизни своей принял магометанскую веру, служил янычаром, тихонько уехал из Константинополя в Лондон, явился там к нашему министру, снова крестился, приехал в Петербург и сделался – русским автором. – Вот богатая материя для шести или семи томов! Сочинив «Мирамонда», «Фемистокла»⁸, «Эрнеста и Доравру», «Описание Турецкия империи»,

«Путь к спасению», он издавал журнал под именем «Адской почты» и, наконец, увенчал свои творения «Российскою историею», в которой ссылается на *Полибиевы известия о славянах*, на *Ксенофонову скифскую историю* и множество других книг, никому в мире не известных. Ученый и славный Шлецер всего более удивляется тому, что Академия напечатала ее в своей типографии. – Впрочем, г. Эмин неоспоримо имел остроумие и плодовитое воображение; знал, по его уверению, более десяти языков и хотя выучился по-русски уже в средних летах, однако ж в слоге его редко приметен иностранец.

МАЙКОВ ВАСИЛИЙ

Он хотел идти по следам Сумарокова: писал трагедии, басни, оды, эклоги, эпистолы, которые в свое время нравились публике, хотя и тогда не считались превосходными. Но истинное дарование его обнаружилось в двух комических поэмах: «Игрок Ломбера» и «Елисей, или Раздраженный Вакх». И в той и в другой находим воображение, то забавную важность, то шутовское остроумие. Многие карикатуры в «Елисее» живописны и точно рус-

ские; они никогда не потеряют цены своей. – Господин Майков не знал иностранных языков, и потому Дидерот, обедая с ним во дворце[75], сказал ему через переводчика: «Угадываю, как пишут господа Сумароков и Херасков, которые читают французских авторов; но я желал бы знать по-русски, чтобы видеть в стихах ваших поэта оригинального». Такое заключение несправедливо. Знание языков не мешает оригинальности, и всякий истинный, зрелый талант имеет свою физиономию. Можно также не знать иностранных языков и быть все еще подражателем, каким и был г. Майков во многих своих творениях, взяв себе за образец Сумарокова.

ПОПОВСКИЙ НИКОЛАЙ

Профессор. Родился около 1730 года, умер в 1760 году.

Он всего более известен переводом славного «Опыта о человеке» – «Essay on man». Ломоносов называл Поповского надеждою русского Парнаса и весьма усердно хвалил его. В самом деле, некоторые места «Опыта» переведены очень хорошо, хотя и не с подлинника, а с французского. Судьба сего творения на рус-

ском языке всем известна: цензура ослабила в нем многие стихи; но ум автора и талант переводчика сохранили печать свою. – Локко-во сочинение «О воспитании» и Горациева эпистола «О стихотворстве» переведены также г. Поповским. Стихи его лучше прозы, довольно ясной, но не довольно гладкой, хотя и в первых он не успел еще достигнуть до возможного совершенства: к сожалению, г. Поповский скончался на тридцатом году от рождения, будучи профессором красноречия при Московском университете; и за несколько дней до смерти сжег все свои рукописи, считая их недостойными напечатания: такая строгость вкуса бывает знаком необыкновенного дарования. – Если бы он пожил долее, то Россия, конечно, могла бы гордиться его изящными произведениями.

ПОПОВ МИХАЙЛО

Секретарь Комиссии сочинения законов.

Его сочинения, стихи и проза, изданы вместе под именем «Досугов»¹¹; а песни были несколько раз особливо напечатаны: следовательно, они нравились публике; многие из них замысловаты и нежны... Вообще стихи г.

Попова не *пусты мыслями*; в них есть и счастливые выражения, хотя слог не всегда чист и приятен.

Сей автор любил русские древности и сочинил описание славянского богослужения¹², которое Левек перевел и выдал за историческое, не зная, что оно не имеет никакой достоверности: ибо религия российских славян в самом деле нам неизвестна. Нестор не говорит об ней почти ни слова. В деревнях наших сохранились сказки о *леших* и *русалках*; в припеве старых песен слышим имена *Дидо*, *Ладо* – и более ничего не знаем. Так по крайней мере скажет историк, который умеет отличить истины от басен. –

Переводы г. Попова были в великом уважении: особливо Тассов «Освобожденный Иерусалим», о котором Екатерина Вторая упоминает с похвалою в одном из писем своих к Вольтеру.

Письмо к издателю*

Искренно скажу тебе, что я обрадовался намерению твоему издавать журнал для России в такое время¹, когда сердца наши, под кротким и благодетельным правлением юного монарха, покойны и веселы; когда вся Европа, наскучив беспорядками и кровопролитием, заключает мир, который, по всем вероятностям, будет тверд и продолжителен; когда науки и художества в быстрых успехах своих обещают себе еще более успехов; когда таланты в свободной тишине и на досуге могут заниматься всеми полезными и милыми для души предметами; когда литература, по настоящему расположению умов, более нежели когда-нибудь должна иметь влияние на нравы и счастье.

Уже прошли те блаженные и вечной памяти достойные времена, когда чтение книг было исключительным правом некоторых людей; уже деятельный разум во всех состояниях, во всех землях чувствует нужду в познаниях и требует новых, лучших идей. Уже все монархи в Европе считают за долг и славу

быть покровителями учения. Министры стараются слогом своим угождать вкусу просвещенных людей. Придворный хочет слыть любителем литературы; судья читает и стыдится прежнего непонятного языка Фемиды; молодой светский человек желает иметь знания, чтобы говорить с приятностию в обществе и даже при случае философствовать. Нежное сердце милых красавиц находит в книгах ту чувствительность, те пылкие страсти, которых напрасно ищет оно в обожателях; матери читают, чтобы исполнить тем лучше священный долг свой – и семейство провинциального дворянина сокращает для себя осенние вечера чтением какого-нибудь нового романа. Одним словом, если вкус к литературе может быть назван модою, то она теперь общая и главная в Европе.

Чтобы увериться в этой истине, надобно только счесть типографии и книжные лавки в Европе. Отечество наше не будет исключением. Спроси у московских книгопродавцев – и ты узнаешь, что с некоторого времени торговля их беспрестанно возрастает и что хорошее сочинение кажется им теперь золотом. Я

живу на границе Азии, за степями отдаленными, и почти всякий месяц угощаю у себя новых *rapсodов*, которые ездят по свету с драгоценностями русской литературы и продают множество книг сельским нашим дворянам. Доказательство, что и в России охота к чтению распространяется и что люди узнали эту новую потребность души, прежде неизвестную. Жаль только, что недостает таланта и вкуса в *артистах* нашей словесности, которых перо по большей части весьма незаманчиво и которые нередко во зло употребляют любопытство читателей! А в России литература может быть еще полезнее, нежели в других землях: чувство в нас новее и свежее; изящное тем сильнее действует на сердце и тем более плодов приносит. Сколь благородно, сколь утешительно помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский; развивать идеи, указывать новые красоты в жизни, питать душу моральными удовольствиями и сливать ее в сладких чувствах со благом других людей! Итак, я воображаю себе великий предмет для словесности, один достойный талантов.

Сколько раз, читая любопытные европейские журналы, в которых теперь, так сказать, все лучшие авторские умы *на сцене*, желал я внутренно, чтобы какой-нибудь русский писатель вздумал и мог *выбирать* приятнейшее из сих иностранных цветников и пересаживать на землю отечественную! *Сочинять* журнал одному трудно и невозможно; достоинство его состоит в разнообразии, которого один талант (не исключая даже и Вольтерова) никогда не имел. Но разнообразие приятно хорошим выбором; а хороший выбор иностранных сочинений требует еще хорошего перевода. Надобно, чтобы пересаженный цветок не лишился красоты и свежести своей.

Ты как будто бы угадал мое желание и как будто бы *нарочно для меня* взялся исполнить его. Следственно, я должен быть благодарен и не могу уже с циническою грубостию спросить: «Господин журналист! Можешь ли ты удовлетворить всем требованиям вкуса?» Но между тем благодарность не мешает мне подать тебе дружеский совет в рассуждении обещаемой тобою критики.

А именно: советую тебе быть не столько

осторожным, сколько человеколюбивым. Для истинной пользы искусства артист может презирать некоторые личные неприятности, которые бывают для него следствием искреннего суждения и оскорбленного самолюбия людей; но точно ли критика научает писать? Не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры? И не везде ли таланты предшествовали ученому, строгому суду? *La critique est aisée, et l'art est difficile!*[76] Пиши, кто умеет писать хорошо: вот самая лучшая критика на дурные книги! – С другой стороны, вообрази бедного автора, может быть добродушного и чувствительного, которого новый Фрерон убивает одним словом! Вообрази тоску его самолюбия, бессонные ночи, бледное лицо!.. Не знаю, как другие думают; а мне не хотелось бы огорчить человека даже и за «Милорда Георга»²[77], пять или шесть раз напечатанного. Глупая книга есть небольшое зло в свете. У нас же так мало авторов, что не стоит труда и пугать их. – Но если выйдет нечто изрядное, для чего не похвалить? Самая умеренная похвала бывает часто великим ободрением для юного таланта. – Таковы мои правила!

Поздравляю тебя с новым титулом *политика*; надеюсь только, что эта часть журнала, ко счастии Европы, будет не весьма богата и любопытна. Что для кисти Вернетовой буря, то для политика гибель и бедствие государств. Народ бежит слушать его, когда он, сидя на своем трезубце, описывает раздоры властей, движение войска, громы сражений и стон миллионов; но когда громы умолкнут, все помирятся и все затихнет; тогда народ, сказав: «*Finita è la commedia!*»[78], идет домой, и журналист остается один с листами своими!

О книжной торговле и любви ко чтению в России*

За 25 лет перед сим были в Москве две книжные лавки, которые не продавали в год ни на 10 тысяч рублей. Теперь их 20, и все вместе выручают они ежегодно около 200000 рублей. Сколько же в России прибавилось любителей чтения? Это приятно всякому, кто желает успехов разума и знает, что любовь ко чтению всего более им способствует.

Господин Новиков был в Москве главным распространителем книжной торговли.¹ Взяв

на откуп университетскую типографию, он умножил механические способы книгопечатания, отдавал переводить книги, завел лавки в других городах, всячески старался приохотить публику ко чтению, угадывал общий вкус и не забывал частного. Он торговал книгами, как богатый голландский или английский купец торгует произведениями всех земель: то есть с умом, с догадкою, с дальновидным соображением. Прежде расходилось московских газет не более 600 экземпляров; г. Новиков сделал их гораздо богаче содержанием, прибавил к политическим разные другие статьи и, наконец, выдавал при ведомостях безденежно «Детское чтение», которое новостью своего предмета и разнообразием материи, несмотря на ученический перевод многих пиес, нравилось публике. Число пренумерантов ежегодно умножалось и лет через десять дошло до 4000. С 1797 году газеты сделались важны для России высочайшими императорскими приказами и другими государственными известиями, в них вносимыми; и теперь расходится московских около 6000: без сомнения, еще мало, когда мы вообразим ве-

личие империи, но много в сравнении с прежним расходом; и едва ли в какой-нибудь земле число любопытных так скоро возросло, как в России. Правда, что еще многие дворяне и даже в хорошем состоянии не берут газет; но зато купцы, мещане любят уже читать их. Самые бедные люди подписываются, и самые безграмотные желают знать, *что пишут из чужих земель!* Одному моему знакомцу случилось видеть несколько пирожников, которые, окружив чтеца, с великим вниманием слушали описание сражения между австрийцами и французами. Он спросил и узнал, что пятеро из них складываются и берут московские газеты, хотя четверо не знают грамоте; но пятый разбирает буквы, а другие слушают.

Наша книжная торговля не может еще равняться с немецкою, французскою или английскою; но чего нельзя ожидать от времени, судя по ежегодным успехам ее? Уже почти во всех губернских городах есть книжные лавки; на всякую ярманку, вместе с другими товарами, привозят и богатства нашей литературы. Так, например, сельские дворянки на Макарьевской ярманке запасаются не только

чепцами, но и книгами. Прежде торгаши езжали по деревням с лентами и перстнями: ныне ездят они с ученым товаром, и хотя по большей части сами не умеют читать, но, желая прельстить охотников, рассказывают содержание романов и комедий, правда, по-своему и весьма забавно. Я знаю дворян, которые имеют ежегодного дохода не более 500 рублей, но собирают, по их словам, *библиотечки*, радуются ими и, между тем как мы бросаем куда попало богатые издания Вольтера, Бюффона, они не дадут упасть пылинке на самого «Мирамонда»; читают каждую книгу несколько раз и перечитывают с новым удовольствием.

Любопытный пожелает, может быть, знать, какого роду книги у нас более всего расходятся? Я спрашивал о том у многих книгопродавцев, и все, не задумавшись, отвечали: «Романы!» Не мудрено: сей род сочинений, без сомнения, пленителен для большей части публики, занимая сердце и воображение, представляя картину света и подобных нам людей в любопытных положениях, изображая сильнейшую и притом самую обыкно-

венную страсть в ее разнообразных действиях. Не всякий может философствовать или ставить себя на месте героев истории; но всякий любит, любил или хотел любить и находит в романическом герое самого себя. Читателю кажется, что автор говорит ему языком собственного его сердца; в одном романе питает надежду, в другом – приятное воспоминание. В сем роде у нас, как известно, гораздо более переводов, нежели сочинений, и, следовательно, иностранные авторы перебивают славу у русских. Теперь в страшной моде Коцебу – и как некогда парижские книгопродавцы требовали «Персидских писем» от всякого сочинителя, так наши книгопродавцы требуют от переводчиков и самых авторов Коцебу, одного Коцебу!! Роман, сказка, хорошее или дурное – все одно, если на титуле имя славного Коцебу!

Не знаю, как другие, а я радуюсь, лишь бы только читали! И романы, самые посредственные, – даже без всякого таланта писанные, способствуют некоторым образом просвещению. Кто пленяется «Никанором, злощастным дворянином»², тот на лестнице ум-

ственного образования стоит еще ниже его автора, и хорошо делает, что читает сей роман: ибо, без всякого сомнения, чему-нибудь научается в мыслях или в их выражении. Как скоро между автором и читателем велико расстояние, то первый не может сильно действовать на последнего, как бы он умен ни был. Надобно всякому что-нибудь поближе: одному Жан-Жака, другому «Никанора». Как вкус физический вообще уведомляет нас о согласии пищи с нашею потребностью, так вкус нравственный открывает человеку верную аналогию предмета с его душою; но сия душа может возвыситься постепенно – и кто начинает «Злосчастливым дворянином», нередко доходит до Грандисона.

Всякое приятное чтение имеет влияние на разум, без которого ни сердце не чувствует, ни воображение не представляет. В самых дурных романах есть уже некоторая логика и риторика: кто их читает, будет говорить лучше и связнее совершенного невежды, который в жизнь свою не раскрывал книги. К тому же нынешние романы богаты всякого рода познаниями. Автор, вздумав написать три

или четыре тома, прибегает ко всем способам занять их и даже ко всем наукам: то описывает какой-нибудь американский остров, истощая Бишинга; то изъясняет свойство тамошних растений, справляясь с Бомаром; таким образом, читатель узнает и географию и натуральную историю; и я уверен, что скоро в каком-нибудь немецком романе новая планета Пиацици будет описана еще обстоятельнее, нежели в «Петербургских ведомостях»!³

Напрасно думают, что романы могут быть вредны для сердца: все они представляют обыкновенно славу добродетели или нравоучительное следствие. Правда, что некоторые характеры в них бывают вместе и приманчивы и порочны; но чем же они приманчивы? некоторыми добрыми свойствами, которыми автор закрасил их черноту: следственно, добро и в самом зле торжествует. Нравственная природа наша такова, что не угодишь сердцу изображением дурных людей и не сделаешь их никогда его любимцами. Какие романы более всех нравятся? Обыкновенно чувствительные: слезы, проливаемые читателями, текут всегда от любви к добру и питают ее. Нет,

нет! Дурные люди и романов не читают. Жестокая душа их не принимает кротких впечатлений любви и не может заниматься судьбою нежности. Гнусный корыстолюбец, эгоист найдет ли себя в прелестном романическом герое? А что ему нужды до других? Неоспоримо то, что романы делают и сердце и воображение... *романическими*: какая беда? Тем лучше в некотором смысле для нас, жителей холодного и железного севера! Без сомнения, не романические сердца причиною того зла в свете, на которое везде слышим жалобы, но грубые и холодные, то есть совсем им противоположные! Романическое сердце огорчат себя более, нежели других; но зато оно любит свои огорчения и не отдаст их за самые удовольствия эгоистов.

Одним словом, хорошо, что наша публика и романы читает!

Мысли об уединении*

Некоторые слова имеют особенную красоту для чувствительного сердца, представляя ему идеи меланхолические и нежные. Имя уединения принадлежит к сим магическим словам. Назовите его – и чувствительный воображает любезную пустыню, густые сени деревьев, томное журчание светлого ручья, на берегу которого сидит глубокая задумчивость с своими горестными и сладкими воспоминаниями!

Но участь нежных сердец есть обманываться! Как в любви и в дружбе редко находят они исполнение надежд своих, так и самое уединение не отвечает их ожиданиям; цветы его благоухают в воображении и вянут в грубом элементе сущности.

Быть счастливым или довольным в *совершенном* уединении можно только с неистощимым богатством внутренних наслаждений и в отсутствии всех потребностей, которых удовлетворение вне нас; а человек от первой до последней минуты бытия есть существо зависимое. Сердце его образовано чувствовать с

другими и наслаждаться их наслаждением. Отделяясь от света, оно иссыхает, подобно растению, лишенному животворных влияний солнца.

Чувствительный воображает благоприятным для уединения то время, когда человек, сто раз обманутый в своих милых надеждах, перестает наконец желать и надеяться: тогда уединение кажется единственною его оградою, единственным верным пристанищем на океане беспокойной жизни; там, в тишине и мраке лесов, он будет жить и чувствовать с одною природою; там, с горестию вспоминая жестокою холодною людей, он утешится мыслию, что сердце его не подобно их сердцу; там, вдыхая в себя свежий воздух пустыни, добродушный мизантроп скажет: «Он не ядовит: в нем нет дыхания пороков!»

Сладкая меланхолическая мысль, поэзия воображения, и ничего более! Нет, оскорбленная чувствительность не найдет себе утешителя в пустыне. Жизнь сердца есть любовь, желание, надежда, которых предмет бывает только в свете. Природа нема для холодного равнодушия. Ее картины и феномены без от-

ношений к миру нравственному не имеют никакой живой прелести. Можем ли пленяться торжественным восходом солнца, или кротким светилом ночи, или песнию соловья, когда солнце не освещает для нас ничего милого; когда мы не питаем в себе нежности под нежным влиянием луны; когда в песнях Филомелы не слышим голоса любви?

Забвение света, о котором так часто говорят мизантропы, есть только одно слово без всякого истинного значения. Какая мысль останется в душе, если она забудет свет? А вспоминая его, скоро начнем жалеть об нем: ибо воспоминание есть самое льстивое зеркало: оно украшает предметы. Так все, что давно миновалось, от времени кажется нам любезнее. Случаи жизни в памяти нашей теряют примесь неудовольствий, подобно как металл теряет примесь нечистоты в горниле – и добродушный пустынный или возвратится в свет, или за упрямство будет наказан вечным сожалением.

Нет, нет! Человек не создан для всегдашнего уединения и не может переделать себя. Люди оскорбляют, люди должны и утешать его.

Яд в свете, антидот¹ там же. Один уязвляет ядовитую стрелу, другой вынимает ее из сердца и льет целительный бальзам на рану.

Но *временное* уединение бывает сладостно и даже необходимо для умов деятельных, образованных для глубокомысленных созерцаний. В сокровенных убежищах природы душа действует сильнее и величественнее; мысли возвышаются и текут быстрее; разум в отсутствие предметов лучше ценит их; и как живописец из отдаления смотрит на ландшафт, который должно ему изобразить кистию, так наблюдатель удаляется иногда от света, чтобы тем вернее и живее представить его в картине. Жан-Жак Руссо оставил город, чтобы в густых тенях парка размышлять об изменениях человека в гражданской жизни, и слог его в сем творении имеет свежесть природы.²

Временное уединение есть также необходимость для чувствительности. Как скупец в тишине ночи радуется своим золотом, так нежная душа, будучи одна с собою, пленяется созерцанием внутреннего своего богатства; углубляется в самое себя, оживляет прошедшее, соединяет его с настоящим и находит

способ украшать одно другим. – Какой любовник не спешил иногда от самой любовницы своей в уединение, чтобы, насладившись блаженством, в кротком покое души насладиться еще его воспоминанием и на свободе говорить с сердцем о той, которую оно обожает? По крайней мере чувствительные женщины должны иногда отсылать любовников в уединение, которое своими размышлениями и мечтами питает страсти.

Дидерот, всегда пылкий, но не всегда основательный, сказал, что один злой человек любит удаляться от людей, – сказал для того, что хотел оскорбить Жан-Жака. Нет, уединение есть худой товарищ для нечистой совести, и злые мысли никогда не произведут той сладостной задумчивости, которая есть прелесть уединения. Чтобы приятно беседовать с собою, надобно быть добрым; надобно иметь любезную ясность души, которая несовместна с ядовитою злобою.

Всем рожденным с некоторою особенною живостию воображения, всем *эпикурейцам чувствительности* советую иногда вдруг из шумного многолюдства переходить в глубо-

кую тишину уединения, которое производит тогда неизъяснимое в нас действие. Например, кто, оставляя великолепный бал, где, по словам Делиля, «блистают красотой, одеждою, умом», выезжает за город и входит один в ночной мрак леса, тот чувствует в себе какую-то новую, тайную силу души, никогда не возбуждаемую светом и его явлениями. Такие противоположности разительны и могут быть источником живых удовольствий. «Величественный шум дерев, качаемых ветром над моею головою (говорит один писатель), есть мистический язык природы, который бывает для меня священнее *после городского шума*».

Скажем наконец, что уединение подобно тем людям, с которыми хорошо и приятно видеться изредка, но с которыми жить всегда тягостно уму и сердцу!

Отчего в России мало авторских талантов?*

Если мы предложим сей вопрос иностранцу, особливо французу, то он, не задумавшись, будет отвечать: «От холодного климата». Со времен Монтескье все феномены умственного, политического и нравственного мира изъясняются климатом. «Ah, mon cher Monsieur, n'avez vous pas le nez gelé?»[79] – сказал Дидерот в Петербурге одному земляку своему, который жаловался, что в России не чувствуют великого ума его, и который в самом деле за несколько дней перед тем ознобил себе нос.

Но Москва не Камчатка, не Лапландия; здесь солнце так же лучезарно, как и в других землях; так же есть весна и лето, цветы и зелень. Правда, что у нас холод продолжительнее; но может ли действие его на человека, столь умеренное в России придуманными способами защиты, вредить дарованиям? И вопрос кажется смешным! Скорее жар, расслабляя нервы (сей непосредственный орган души), уменьшит ту силу мыслей и воображения, которая составляет талант. Давно извест-

но медикам-наблюдателям, что жители севера долговечнее жителей юга: климат, благоприятный для физического сложения, без сомнения, не гибелен и для действий души, которая в здешнем мире столь тесно соединена с телом. – Если бы жаркий климат производил таланты ума, то в Архипелаге всегда бы курился чистый фимиам музам, а в Италии пели Вергилии и Тассы; но в Архипелаге курят... табак, а в Италии поют... кастраты.

У нас, конечно, менее авторских талантов, нежели у других европейских народов; но мы имели, имеем их, и, следовательно, природа не осудила нас удивляться им только в чужих землях. Не в климате, но в обстоятельствах гражданской жизни россиян надобно искать ответа на вопрос: «Для чего у нас редки хорошие писатели?»

Хотя талант есть вдохновение природы, однако ж ему должно раскрыться ученьем и созреть в постоянных упражнениях. Автору надобно иметь не только собственно так называемое дарование, – то есть какую-то особенную деятельность душевных способностей, – но и многие исторические сведения,

ум, образованный логикою, тонкий вкус и знание света. Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего? Вольтер сказал справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному. Нам, русским, еще более труда, нежели другим. Француз, прочитав Монтаня, Паскаля, 5 или 6 авторов века Лудовика XIV, Вольтера, Руссо, Томаса, Мармонтеля[80], может совершенно узнать язык свой во всех формах; но мы, прочитав множество церковных и светских книг, соберем только материальное или словесное богатство языка, которое ожидает души и красот от художника. Истинных писателей было у нас еще так мало, что они не успели дать нам образцов во многих родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно выражать приятно некоторые, даже обыкновенные, мысли. Русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят

у нас более по-французски! Милые женщины, которых надлежало бы только подслушивать, чтобы украсить роман или комедию любезными, счастливыми выражениями, пленяют нас нерусскими фразами. Что ж остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения! Мудрено ли, что сочинители некоторых русских комедий и романов не победили сей великой трудности и что светские женщины не имеют терпения слушать или читать их, находя, что так не говорят люди со вкусом? Если спросите у них: как же говорить должно? то всякая из них отвечает: «Не знаю; но это грубо, несносно!» – Одним словом, французский язык весь в книгах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а русский только отчасти; французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом. Бюффон странным образом изъясняет свойство великого та-

ланта или гения, говоря, что он есть *терпение* в превосходной степени. Но если хорошенько подумаем, то едва ли не согласимся с ним; по крайней мере без редкого терпения гений не может воссиять во всей своей лучезарности. *Работа есть условие искусства*; охота и возможность преодолевать трудности есть характер таланта. Бюффон и Ж.-Ж. Руссо пленяют нас сильным и живописным слогом: мы знаем от них самих, чего им стоила пальма красноречия!

Теперь спрашиваю: кому у нас сражаться с великою трудностью быть хорошим автором, если и самое счастливейшее дарование имеет на себе жесткую кору, стираемую единственно постоянною работою? Кому у нас десять, двадцать лет рыться в книгах, быть наблюдателем, всегдашним учеником, писать и бросать в огонь написанное, чтобы из пепла родилось что-нибудь лучшее? В России более других учатся дворяне; но долго ли? До пятнадцати лет: тут время идти в службу, время искать чинов, сего вернейшего способа быть предметом уважения. Мы начинаем только любить чтение; имя хорошего автора еще не

имеет у нас такой цены, как в других землях; надобно при случае объявить другое право на улыбку вежливости и ласки, К тому же искание чинов не мешает балам, ужинам, праздникам; а жизнь авторская любит частое уединение. – Молодые люди среднего состояния, которые учатся, также *спешат* выдти из школы или университета, чтобы в гражданской или военной службе получить награду за их успехи в науках; а те немногие, которые остаются в ученом состоянии, редко имеют случай узнать свет – без чего трудно писателю образовать вкус свой, как бы он учен ни был. Все французские писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, *переправляли*, так сказать, школьную свою реторику в свете, наблюдая, что ему нравится и почему. Правда, что он, будучи школою для авторов, может быть и гробом дарования: дает вкус, но отнимает трудолюбие, необходимое для великих и надежных успехов. Счастлив, кто, слушая сирен, перенимает их волшебные мелодии, но может удалиться, когда захочет! Иначе мы останемся при одних куплетах и мадригалах. Надобно заглядывать в общество –

непременно, по крайней мере в некоторые лета, – но жить в кабинете.

Со временем будет, конечно, более хороших авторов в России – тогда, как увидим между светскими людьми более ученых или между учеными – более светских людей. Теперь талант образуется у нас случайно. Natura и характер противятся иногда силе обстоятельств и ставят человека на путь, которого бы не надлежало ему избирать по расчетам обыкновенной пользы или от которого судьба удаляла его: так, Ломоносов родился крестьянином и сделался славным поэтом. Склонность к литературе, к наукам, к искусствам – есть, без сомнения, природная, ибо всегда рано открывается, прежде, нежели ум может соединять с нею виды корысти. Сей младенец, который на всех стенах чертит углем головы, еще не думает о том, что живописное искусство доставляет человеку выгоды в жизни. Другой, услышав в первый раз стихи, бросает игрушку и хочет говорить рифмами. Какой хороший автор в детстве своем не сочинял уже сатир, песен, романов? Но обстоятельства не всегда уступают природе; ес-

ли они не благоприятствуют ей, то ее дарования по большей части гаснут. Чему быть трудно, то бывает редко – однако ж бывает, – и чувствительное сердце, живость мыслей, деятельность воображения, вопреки другим явнейшим или ближайшим выгодам, привязывают иногда человека к тихому кабинету и заставляют его находить неизъяснимую прелесть в трудах ума, в развитии понятий, в живописи чувств, в украшении языка. Он думает – желая дать цену своим упражнениям для самого себя, – думает, говорю, что труд его не бесполезен для отечества; что авторы помогают согражданам *лучше мыслить и говорить*; что все великие народы любили и любят таланты; что греки, римляне, французы, англичане, немцы не славились бы умом своим, если бы они не славились талантами; что достоинство народа оскорбляется бессмыслием и косноязычием худых писателей; что варварский вкус их есть сатира на вкус народа; что образцы благородного русского красноречия едва ли не полезнее самых классов латинской элоквенции, где толкуют Цицерона и Виргилия; что оно, избирая для себя патрио-

тические и нравственные предметы, может благотворить нравам и питать любовь к отечеству. – Другие могут думать иначе о литературе; мы не хотим теперь спорить с ними.

Пантеон русских авторов*

Под сим титулом г. Бекетов издает собрание их портретов (очень изрядно гравированных) с критическими замечаниями. Мы любим портреты и чужестранных писателей: свои должны быть для нас еще интереснее. В начале изображены Боян и Нестор: не нужно сказывать, что одно воображение могло представить черты их. Издатель хотел только напомнить любителям литературы, что у нас и в древности были сочинители. Но истинный *век авторский* начался в России со времен Петра Великого: ибо искусство писать есть действие просвещения. Феофан и Кантемир составляют сию первую эпоху; за нею следует эпоха Ломоносова и Сумарокова; третьего должно назвать время Екатерины Великой, уже богатое числом авторов; а четвертой... мы еще ожидаем...¹

О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств*

Письмо к господину NN

Мысль задавать художникам предметы из отечественной истории достойна вашего патриотизма¹ и есть лучший способ оживить для нас ее великие характеры и случаи, особливо пока мы еще не имеем красноречивых историков, которые могли бы поднять из гроба знаменитых предков наших и явить тени их в лучезарном венце славы. Таланту русскому всего ближе и любезнее прославлять русское в то счастливое время, когда монарх и самое провидение зовут нас к истинному народному величию. Должно приучить россиян к уважению собственного; должно показать, что оно может быть предметом вдохновений артиста и сильных действий искусства на сердце. Не только историк и поэт, но и живописец и ваятель бывают органами патриотизма. Если исторический характер изображен разительно на полотне или мраморе, то он

делается для нас и в самых летописях занимательнее: мы любопытствуем узнать источник, из которого художник взял свою идею, и с большим вниманием входим в описание дел человека, помня, какое живое впечатление произвел в нас его образ. Я не верю той любви к отечеству, которая презирает его летописи или не занимается ими: надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведение о прошедшем.

Вы говорите о трех исторических картинах, уже написанных в нашей Академии художеств: содержание их достойно похвалы. *Взятие Казани, избрание Михаила Феодоровича и Полтавское сражение* представляют нам важные эпохи российской истории. Разрушение Казанского царства запечатлело независимость России, славно освобожденной от ига татарского дедом царя Иоанна Васильевича, истинно великим князем Иоанном. С воцарением Романовых отечество наше, говоря простыми русскими словами, *увидело свет*: мятежи прекратились, и Россия начала возрастать в величии и славе с какою-то удивительно стройною постепенностью. А Полтавское сра-

жение утвердило или, лучше сказать, основало первенство России на севере. Я надеюсь, что художники, почтив таким образом сии три важные эпохи, удовлетворили и всем особенным требованиям искусства в изображении действия.

Зная совершенно историю нашу, имея вкус просвещенный и любовь к художествам, которая уже предполагает основательные сведения в их правилах и красотах, вы еще хотите советоваться с другими в рассуждении дальнейшего выбора предметов для живописцев и ваятелей. Мне остается быть благодарным за честь вашей доверенности – и без дальнейших оговорок пустой учтивости отдаю вам на суд некоторые мысли свои, не вмешиваясь в права художников, а говоря единственно как любитель отечественной истории, имеющий только самую легкую идею о красотах искусства.

Я желал бы видеть на картине самое начало российской истории, то есть призвание варажских князей в славянскую землю. Художник мог бы изобразить трех славных братьев с товарищами их на ловле, которая была лю-

бимым упражнением северных народов. Послы славян, чуди и кривичей окружают Рюрика; они уже сказали ему все то, что заставляет их говорить Нестор. Рюрик, опершись на лук свой, задумался. Синеус и Трувор советуются между собою. Некоторые из их товарищей занимаются ловлею; другие, узнав о прибытии славян, спешат к ним. Послы говорят друг с другом, удивляясь величественной красоте варяжских князей. Взоры их всего более обращаются на глубокомысленного Рюрика с желанием, чтобы он согласился повелевать землю славянскою, богатою, прекрасною, но смятенною внутренними раздорами. — Художник отличит лица славянские от варяжских: первые должны быть нынешние русские, а за образец последних надобно взять шведские, норвежские или датские. Варяги были норманцы: сим общим именем назывались, как известно, жители упомянутых трех земель.

Если бы Гостомысл был в самом деле историческим характером, то мы, конечно бы, захотели его изображения; но Нестор не говорит об нем ни слова. — *Вадим Храбрый* принадлежит также к баснословию нашей исто-

рии.

Олег, победитель греков, героическим характером своим может воспламенить воображение художника. Я хотел бы видеть его в ту минуту, как он прибывает щит свой к царградским воротам, в глазах греческих вельмож и храбрых его товарищей, которые смотрят на сей щит как на верную цель будущих своих подвигов. В эту минуту Олег мог спросить: «Кто более и славнее меня в свете?»

Сей же князь может быть предметом картины другого рода – *философической*, если угодно. Во всяких старинных летописях есть басни, освященные древностию и самым просвещенным историком уважаемые, особливо если они представляют *живые черты времени*, или заключают в себе нравоучение, или остроумны. Такова есть басня о смерти Олеговой². Волхвы предсказали ему, что он умрет от любимого коня своего. Геройство не спасало тогда людей от суеверия: Олег, поверив волхвам, удалил от себя любимого коня; вспомнил об нем через несколько лет – узнал, что он умер, – захотел видеть его кости – и, толкнув ногою череп, сказал: «Это ли для ме-

ня опасно?» Но змея скрывалась в черепае, ужалила Олега в ногу, и герой, победитель Греческой империи, умер от гадины! Впечатление сей картины должно быть нравоучительное: *помни тленность человеческой жизни!* Я изобразил бы Олега в то мгновение, как он с видом презрения отталкивает череп; змея выставляет голову, но еще не ужалила его: чувство боли и выражение ее неприятны в лице геройском. За ним стоят воины с греческими трофеями, в знак одержанных им побед. В некотором отдалении можно представить одного из волхвов, который смотрит на Олега с видом значительным.

Ольга есть героиня наших древних летописей, которые рассказывают чудеса об ее хитрости. Художнику должно воспользоваться сим знаменитым историческим характером: ему остается выбрать любое из десяти возможных *представлений*. Захочет ли он изобразить Ольгу в ту минуту, как она, пылая местию в сердце за убиение супруга и скрывая гнев свой под видом ласки, принимает у себя в тереме послов древлянских; или когда на могиле Игоревой отправляет тризну (что

подает художнику случай представить древние обряды язычества); или когда она среди торжественного великолепия греческой религии крестится в Цареграде. Но я знаю, что художники не любят старых женских лиц: а Ольга в это время была уже немолода. Итак, они могут изобразить ее стовор. Например: Олег подводит ее к молодому Игорю, который с восхищением радостного сердца смотрит на красавицу, невинную, стыдливую, воспитанную в простоте древних славянских нравов. За нею стоит мать ее, о которой нет хотя ни слова в летописях, но которая присутствием и благородным видом своим должна дать нам хорошую идею о нравственном образовании Ольги: ибо во всяком веке и состоянии одна нежная родительница может наилучшим образом воспитать дочь. Живописец изобразит приготовления к стовору по своей фантазии. Один почтенный россиянин думает, что славяне не имели жрецов: не смею противоречить ему и знаю, что Нестор об них не упоминает, говоря только о волхвах; однако ж артист мог бы представить на сей картине священных служителей Лада, чтобы обогатить

ее содержание.

Никто из древних князей российских не действует так сильно на мое воображение, как Святослав, не только храбрый витязь, не только ужас греков (которые стращали детей своих именем *Сфендосолава*: так они называли его), но и прямодушный рыцарь. Еще детскою рукою бросив копье в древлян, убийц его родителей, он не только всю жизнь свою провождал в поле, делил нужду и труды с верными товарищами, спал на сырой земле, под открытым небом; но, любя славу, любил и строгую воинскую честность. Нестор, скупой на слова, не забыл сей великой черты характера его: *Святослав никогда не хотел нападать нечаянно, но всегда наперед объявлял войну* (что, в тогдашние варварские времена, было беспримерно). Сей герой любезен нам и потому, что в жилах его текла уже кровь славянская и что он первый из русских князей назывался именем языка нашего. Рюрик, Олег, Игорь были иностранцы: Святослав родился от славянки. Художник, знакомый с мысленным образцом геройства и с духом времени, представит нам, как сей древний

Суворов России, привыкнув надеяться на судьбу, видит себя окруженного со всех сторон греками. Верная дружина его, изумленная их бесчисленным множеством, в первый раз уныла; победа казалась ей наконец невозможною. Святослав говорит речь, достойную спартанца или славянина: речь, которую все наши историки хотели украсить, но которая прекрасна только в Несторе и, без сомнения, не есть выдумка: ибо сей добрый старец не умел бы так хорошо выдумать. Князь, сказав: «Ляжем zde костьми; мертвые бо срама не имут», обнажает меч свой: вот минута для живописца! Святославовы витязи (которых он изобразит, сколько хочет) в быстром движении геройского вдохновения также извлекают мечи, машут копьями, гремят щитами и проч. Вдали можно представить греческий необозримый стан. – Думаю, что искусный артист найдет способ оживить сию картину.

Владимира хотел бы я видеть в то мгновение, как епископ Корсунский, возложив на него после крещения руку, возвращает ему зрение. Сею картиною ознаменовалась бы великая эпоха в нашей истории: введение хри-

стианской религии, и художник мог бы обнаружить весь свой талант в выражении лиц Владимира, царевны Анны и в счастливом расположении других фигур: греческих вельмож, духовных и Владимировых полководцев. В рассуждении царевны я заметил бы одно: лицо ее должно сиять только небесною, благочестивою радостью; она выходит за Владимира не по земной любви, а желая единственно обратить его в христианство.

Кто без жалостного чувства может вообразить прекрасную и несчастную Рогнеду, названную от великих горестей ее трогательным именем *Гориславы*? Владимир разорил отечество ее, умертвил родителей, братьев и женился на сей отчаянной пленнице[81]. Он мог бы еще верною любовью примирить с собою нежное сердце женщины; но, удовлетворив страсти, князь хочет удалить супругу. Тогда оскорбленная любовь возобновляет в памяти своей все злодеяния жестокого и неблагодарного Владимира, и Горислава, подкрепляемая учением языческой веры, которая ставила месть в число добродетелей, решится умертвить его. Он в последний раз приходит

к ней и засыпает в ее тереме: Рогнеда берет нож – медлит – и князь, просыпаясь, вырывает смертоносное оружие из дрожащих рук ее. Тут Горислава, в исступлении отчаяния, исчисляет все свои оскорбления и его жестокости... Я, кажется, вижу перед собою изумленного и наконец тронутого Владимира; вижу несчастную, вдохновенную сердцем Гориславу, в беспорядке ночной одежды, с растрепанными волосами... Комната освещена лампадою; видны только самые простые украшения и резный образ Перуна, стоящий в углу. Владимир приподнялся с ложа и держит в руке вырванный им нож; он слушает Рогнеду с таким вниманием, которое доказывает, что ее слова уже глубоко проникли к нему в душу. – Мне кажется, что сей предмет трогателен и живописен.

Бой славного в наших летописях отрока Переяслава с печенежским силачом достоин искусной кисти. Художник сам выберет *момент*: [82] изобразит ли их в усилиях борьбы, в напряжении всех мускулов, или в то мгновение, как русский ударил головою печенега и как сей падает? Эта победа была спаситель-

на для отечества: Владимир в честь отрока назвал его именем новый город Переяславль. Кажется, что надобно представить только двух свидетелей сего поединка: князей печенежского и русского, которые берут в нем живое участие. Художник мог бы показать великое искусство в выразительной игре их лица и движений. – В сем же роде можно написать еще две картины: борение Мстислава, князя Тмутараканского, с Касожским князем Редедю, великаном и богатырем (которого он, после многих тщетных усилий, наконец ударил об землю), и поединок – правда, баснословный – Владимира Мономаха с генуэзским (кафинским или феодосийским) воеводою, которого он махом копьа *из седла высадил* и, связав, привел вооруженного к своему войску [83].

Ярослав, сын Владимиров, хотел просветить Россию, учреждал школы, давал законы, велел перевести многие книги на славянский язык. Вот мысль для картины: Ярослав одною рукою разворачивает свиток законов, а в другой держит меч, готовый наказать преступника. Вельможи новгородские с видом смире-

ния приемлют их от князя и меча его. За Ярославом стоят монахи с переведенными книгами, в знак того, что он в них почерпнул некоторые идеи для своего законодательства. – Хорошо также изобразить Ярослава, молящегося в поле перед сражением с лютым Святополком, на восходе солнца и на самом том месте, где пролилась кровь святого Бориса, за которую Ярослав хотел быть мстителем.

Некоторые из критиков российской истории не хотят верить, чтобы Генрих I, король французский, был женат на Ярославовой дочери Анне, потому что летописи наши молчат о сем браке; что отдаленная Франция не имела тогда никакой связи с Россиею и что различие вер долженствовало быть препятствием для такого союза. На сию критику возражаем: 1) что наши летописи весьма неполны; 2) что все французские согласно называют супругу Генриха *русскою принцессою Анною*, дочерью Ярослава (имена, которые без сего случая едва ли могли бы им быть известны); 3) что еще гораздо прежде (в девятом веке, по летописям Вертинским) были уже в Германии послы русские; что войны и трак-

таты наших князей с Константинополем, с Польшею и Венгриєю распространяли их славу в Европе; 4) что политика могла заставить и Генриха и Ярослава войти в сей союз и что привязанность одного к восточной, а другого к западной церкви долженствовала уступить государственной пользе: ибо люди едва ли не всегда предпочитали земные выгоды небесным. Одним словом, замужство Анны Ярославны имеет всю историческую достоверность – и я хотел бы оживить на полотне сию любезную россиянку; хотел бы видеть, как она со слезами принимает благословение Ярослава, отдающего ее послам французским. Это занимательно для воображения и трогательно для сердца. Оставить навсегда отечество, семейство и милые навыки скромной девической жизни, чтобы ехать на край света с людьми чужими, которые говорили непонятным языком и молились (по тогдашнему образу мыслей) другому богу!.. Здесь чувствительность должна быть вдохновением артиста... Князь хочет казаться твердым; но горячность родительская в сию минуту превозмогает политику и честолюбие: слезы готовы из-

литься из глаз его... Несчастливая мать в обмороке.

После Владимира Мономаха видим уже менее великих людей на княжеских тронах России. Внутренние раздоры занимают воинскую и политическую деятельность владельцев. Но искусство найдет еще богатые для себя предметы в должно ознаменовать, например, важную эпоху начала Москвы. Сказка, что Олег основал ее, не достойна никакого внимания. Он шел из Новагорода к Киеву прямо через Смоленск и не мог без всякой нужды углубиться в левую сторону, где встретили бы его болота и пустыни, которые не представляли ему ни добычи, ни славы побед. Вообще надобно заметить, что сии древние завоеватели, пролагая себе пути к известной цели через места малоизвестные, старались всегда следовать за течением больших рек, для того чтобы не иметь нужды в воде, и что большие реки, вбирая в себя влажность окрестных мест, не дают образоваться непроходимым для войска болотам. Таким образом Днепр привел Олега от Смоленска к Киеву. В наше время историкам уже не позволено

быть романистами и выдумывать древнее происхождение для городов, чтобы возвысить их славу. Москва основана в половине второго-надесять века князем Юрием Долгоруким, храбрым, хитрым, властолюбивым, иногда жестоким, но до старости любителем красоты, подобно многим древним и новым героям. Любовь, которая разрушила Троию, построила нашу столицу – и я напомним вам сей анекдот русской истории или Татищева. Прекрасная жена дворянина Кучки, суздальского тысяцкого, пленила Юрия. Грубые тогдашние вельможи смеялись над мужем, который, пользуясь отсутствием князя, увез жену из Суздаля и заключился с нею в деревне своей, там, где Неглинная впадает в Москву-реку. Юрий, узнав о том, оставил армию и спешил освободить красавицу из заточения. Местоположение Кучкина села, украшенное любовью в глазах страстного князя, отменно полюбилось ему: он жил там несколько времени, веселился и начал строить город. – Мне хотелось бы представить начало Москвы *ландшафтом* – луг, реку, приятное зрелище строения: деревья падают, лес редее, открывая ви-

ды окрестностей – небольшое селение дворянина Кучки, с маленькою церковью и с кладбищем, – князя Юрия, который, говоря с князем Святославом, движением руки показывает, что тут будет великий город, – молодые вельможи занимаются ловлею зверей. Художник, наблюдая строгую нравственную пристойность, должен забыть прелестную хозяйку: но вдали, среди крестов кладбища, может изобразить человека в глубоких, печальных размышлениях. Мы угадали бы, кто он, – вспомнили бы трагический конец любовного романа, – и тень меланхолии не испортила бы действия картины.

Но я нечувствительно написал довольно страниц; на сей раз могу кончить, с живым удовольствием воображая себе целую картинную галерею отечественной истории и действие ее на сердце любителей искусства. Русский, показывая чужестранцу достойные образы наших древних героев, говорил бы ему о делах их, и чужестранец захотел бы читать наши летописи – хотя в Левеке.

Мы приблизились в исторических воспоминаниях своих к бедственным временам

России; и если живописец положит кисть, то ваятель возьмет резец свой, чтобы сохранить память русского геройства в несчастиях, которые более всего открывают силу в характере людей и народов. Тени предков наших, хотевших лучше погибнуть, нежели принять цепи от монгольских варваров, ожидают монументов нашей благодарности на месте, обогренном их кровию. Может ли искусство и мрамор найти для себя лучшее употребление? Пусть в разных местах России свидетельствуют они о величии древних сынов ее! Не в одних столицах заключен патриотизм; не одни столицы должны быть сферою благословенных действий художества. Во всех обширных странах российских надобно питать любовь к отечеству и *чувство народное*. Пусть в залах петербургской Академии художеств видим свою историю в картинах; но в Владимире и в Киеве хочу видеть памятники геройской жертвы, которою их жители прославили себя в XIII веке. В Нижнем Новгороде глаза мои ищут статуи Минина³, который, положив одну руку на сердце, указывает другою на Московскую дорогу. Мысль, что в русском отда-

ленном от столицы городе дети граждан будут собираться вокруг монумента славы, читать надписи и говорить о делах предков, радуется мое сердце. Мне кажется, что я вижу, как народная гордость и славолюбие возрастают в России с новыми поколениями!.. А те холодные люди, которые не верят сильному влиянию *изящного* на образование душ и смеются (как они говорят) над *романическим патриотизмом*, достойны ли ответа? Не от них отечество ожидает великого и славного; не они рождены сделать нам имя русское еще любезнее и дороже. – Повторим истину несомнительную: в девятом-надесять веке один тот народ может быть великим и почтенным, который благородными искусствами, литературою и науками способствует успехам человечества в его славном течении к цели нравственного и душевного совершенства!

О Богдановиче и его сочинениях*

О Богдановиче и его сочинениях[84]

Коллежский советник Ипполит Федорович Богданович родился в 1743 году, декабря 23, в счастливом климате Малороссии, в местечке Переволочном, где отец его был при должности; ему и нежной матери он единственно обязан первым своим образованием. — Таланты иногда долго зреют, но всегда рано открываются: уже в детстве Богданович страстно любил чтение, рисование, музыку и стихотворство.

В 1754 году отвезли его в Москву и определили в Юстиц-коллегию юнкером. Президент ее, г. Желябужский, заметил в нем особенную склонность к наукам и дозволил ему учиться в математической школе, бывшей тогда при сенатской конторе. Но математика не могла быть наукою человека, рожденного для поэзии; числа и линей не питают воображения. Богданович, утомленный арифметикою и геометриею, отдыхал за творениями Ломоносова, которого лира гремела и пленяла тогда россиян, еще не строгих судей в поэзии, но

уже чувствительных к великим красотам ее.

Драматическое искусство сильно действует на всякую нежную душу; разборчивость вкуса приходит только с летами и с тонким образованием душевных способностей: не мудрено, что пылкий молодой человек, увидев в первый раз драматические представления, сии живые картины страстей, так пленился ими, что готов был сделать безрассудность. Однажды является к директору Московского театра мальчик лет пятнадцати, скромный, даже застенчивый, и говорит ему, что он дворянин и желает быть – актером![85] Директор, разговаривая с ним, узнает его охоту к учению и стихотворству; доказывает ему неприличность актерского звания для благородного человека; записывает его в университет и берет жить к себе в дом. Сей мальчик был Ипполит[86] Богданович, а директор театра (что не менее достойно замечания) – Михайло Матвеевич Херасков. Итак, счастливая звезда привела молодого ученика муз к их знаменитому любимцу, который, имея сам великий талант, умел открывать его и в других. – Тогда Богданович узнал правила языка

и стихотворства, языки иностранные и приобрел другие сведения, необходимые для надежных успехов дарования; наука не дает таланта, но образует его. Творец «Россияды» был ему полезен наставлениями, советами и примером. Богданович учился в классах и писал стихи, которые печатались в журнале, выходившем при университете[87]. Они были еще далеки от совершенства, но показывали в авторе способность к нему приблизиться.

Кроме Михаила Матвеевича Хераскова (который был тогда членом университета), молодой стихотворец наш имел еще ревностного покровителя в князе Михайле Ивановиче Дашкове. Уважение, оказанное к юному таланту, достойно всегда признательного воспоминания добрых сердец: сей нежный цвет, от знаков холодности и невнимания, часто без всякого плода увядает. Но к чести русских заметим, что молодые люди с дарованием всегда находили и находят у нас деятельное покровительство, особливо если нравственный характер их возвышает цену ума, как в Ипполите Богдановиче, который отличал себя и тем и другим, – а всего более милым про-

стосердечием, свойственным любимцу Аполлонову...

*Сын Фебов не рожден быть тонким знатоком
Обычаев, условий света;
Невинность, простота видна в делах поэта.
Ему вселенная есть дом,
Где он живет с чужими
Как с братьями родными;
Свободу и покой любя,
Не мыслит принуждать себя.*

Некоторые поэты составляют исключение из сего правила; но таков был Лафонтен – и Богданович! Осьмнадцать лет он казался еще младенцем в свете; говорил что думал; делал что хотел; любил слушать умные разговоры и засыпал от скучных. К счастью, поэт жил у поэта, который требовал от него хороших стихов, а не рабского наблюдения светских обыкновений, и, забавляясь иногда его невинностью, любил в нем как дарование, так и редкое добродушие. Богданович от искренности своей казался иногда смелым; но если слово его оскорбляло человека, то он готов был пла-

кать от раскаяния; чувствовал нужду в осторожности и через десять минут следовая опять движению своей природной откровенности: слабость души нежной и прекрасной, которая иногда и самую долговременную опытность побеждает!.. Стихотворец наш, богатый единственно рифмами, не мог сыпать золота на бедных, но (как сказал любезный переводчик Греевой «Элегии»¹)

Дарил несчастных он чем только мог – слезою!

Приязнь находила в нем самую ревностную услужливость. Однажды ночью сделался пожар близ знакомого ему дома: он забыл крепкий сон молодого человека, дурную погоду, расстояние и в одном камзоле явился там предложить услуги свои. – Хозяин и хозяйка, столь любезные и почтенные, обходились с ним как с родным: он во всю жизнь сохранил к ним сердечную привязанность. – Но мы еще должны заметить одну черту характера его, едва ли не во всех поэтах явную и резкую, – чувствительность к любезности женской, которая всегда служила вдохновением для стихов приятных. Кто рожден быть поэтом гра-

ций, в том рано обнаруживается сия нежная симпатия с их подругами – но симпатия часто безмолвная. Молодой стихотворец видел, обожал, краснелся и вздыхал только в нежных мадригалах. Какая строгая женщина могла оскорбиться такими чувствами?

В 1761 году Богданович определен был в надзиратели над университетскими классами с чином офицера, а по восшествии на престол императрицы Екатерины II – в члены комиссии торжественных приготовлений и сочинял надписи для ворот триумфальных. В 1763 году, через покровительство княгини Екатерины Романовны Дашковой[88], он вступил переводчиком в штат графа Петра Ивановича Панина и в то же время издавал журнал [89]², в котором сия знаменитая любительница русской словесности участвовала собственными трудами своими. Уже дарование его с блеском обнаружилось тогда в переводе Вольтеровых стихотворений, а всего более – в поэме на разрушение Лиссабона, которую Богданович перевел так удачно, что многие стихи ее не уступают красоте и силе французских. Например:

*Бог держит цепь в руках, но ею он
не связан.*

.....
*Когда творец так благ, почто же
страждет тварь?*

.....
*Я жив, я чувствую, и сердце от
мученья
Взывает ко творцу и просит об-
легченья...
О дети бедные всемогущего отца!
На то ли вам даны чувствитель-
ны сердца?*

.....
*Кому, о боже мой! Твои судьбы из-
вестны?
Всесовершенный зла не может
произвесть.
Другого нет творца, а зло на све-
те есть.*

.....
*Один лишь может он дела свои
открыть,
Исправить немощных и мудрых
умудрить.*

.....
*Отвержен Эпикур, оставлен мной
Платон:*

Бель знает боле их – но можно ль
основаться?
Держа весы в руках, он учит – со-
мневаться!
И не приемля сам системы ника-
кой,
Все только опроверг, сражался – с
собой,
Подобно как Самсон, лишенный
глаз врагами,
Под зданьем пал, его разрушен-
ным руками!

.....
Калифа некогда, оканчивая век,
В последний час сию молитву к
богу рек:
«Я все то приношу тебе, о царь
вселенной!
Чего нет в благодати твоей всесо-
вершенной:
Грехи, неведение, болезни, слезы,
стон!»
Еще прибавить мог к тому на-
дежду он.

Такие стихи, написанные молодым чело-
веком двадцати лет, показывают редкий та-
лант для стихотворства; некоторые из них

может осудить только набожный, строгий христианин, а не критик; но и в первом случае должен отвечать Вольтер, а не Богданович. – Вместе с переводами напечатаны в сем журнале и многие его сочинения, из которых иные отличаются нежностью и хорошими мыслями; например, следующие стихи к Климене:

*Чтоб счастливым нам быть,
Я буду жить затем, чтоб мне те-
бя любить;
А ты люби меня затем, чтоб мог
я жить.*

В 1765 году Богданович, считаясь в иностранной коллегии переводчиком, издал маленькую поэму «Сугубое блаженство». Он разделил ее на три песни: в первой изображает картину золотого века, во второй – успехи гражданской жизни, наук и злоупотребление страстей, а в третьей – спасительное действие законов и царской власти. Сей важный предмет требовал зрелости дарований: еще стихотворец наш не имел ее; однако ж многие стихи умны и приятны. Поэт складно и хорошо описывает наслаждения человека в его

НЕВИННОСТИ:

*В тот час, как он свое увидел со-
вершенство,
Природою одной и сердцем на-
учен;
Как всякий взор ему казал его бла-
женство
И всяким новым был предметом
восхищен:
Пять чувств ему вещей познание
открыли,
Которое его ко счастью вело,
И чувства лишь к его доволь-
ствию служили;
Не знал[90] он их тогда употреб-
лять во зло.
Невинности его не развращали
страсти;
Желаний дале нужд своих не про-
стирал;
Желал того, что он всегда имел
во власти,
И, следственно, имел он все, чего
желал.*

Хорошо также описаны в пиитическом ви-
дении различные славы царей...

Бесчисленные зрю там скипетры,

*державы
И разные венцы для кротких или
злых.
Одни получатся народною любо-
вью,
Предзнаменуя мир, спокойство,
тишину;
Другие купятся злодействами и
кровью:
Им будет ненависть покорство-
вать в плену.[91]
Пребудут первые спокойны, без-
опасны,
И слава возгласит по свету имя
их;
Но будут наконец последние
несчастливы,
Собою делая несчастными других.*

Сия поэма, приписанная³ тогда его высочест-
ству, августейшему наследнику трона, заклю-
чается следующими прекрасными стихами:

*Учись, великий князь, числом при-
меров сих,
Великим быть царем, великим че-
ловеком,
Ко счастью твоему и подданных
твоих.*

Она, сколько нам известно, не сделала сильного впечатления в публике. Лавровый венок уже сплетался для автора, но еще невидимо.

В 1766 году, определенный в должность секретаря посольства к саксонскому двору, Богданович отправился в Дрезден с министром, князем Андреем Михайловичем Белосельским. Любезность сего посланника, блестящие собрания в его доме, хорошие знакомства, живописные окрестности города и драгоценности искусств, в нем соединенные, сделали тамошнюю жизнь весьма приятною для Богдановича, так что он всегда любил вспоминать об ней: она, без сомнения, имела счастливое влияние и на самый пиитический талант его. Но, гуляя по цветущим берегам Эльбы и мечтая о нимфах, которых они достойны; пленяясь одушевленною кистию Корреджио, Рубенса, Веронеза[92] и собирая в их картинах милые черты для своей «Душеньки», которая уже занимала его воображение, он в то же время описывал конституцию Германии и соглашал удовольствия человека светского, любителя искусств, поэта с долж-

ностию ученого дипломата.

В 1768 году, возвратясь из Дрездена, он совершенно посвятил себя литературе и стихотворству; перевел разные статьи из «Энциклопедии», Вертотову «Историю бывших перемен в Риме», мысли аббата Сен-Пьера о вечном мире, песнь «Екатерине» Микеля-Анджело Джиганетти (за которую имел счастье быть представлен сей великой государыне), издавал 16 месяцев журнал под титулом «Петербургского вестника»⁴ и, наконец, в 1775 году положил на олтарь граций свою «Душеньку». Богданович с удовольствием говаривал после о времени ее сочинения. Он жил тогда на Васильевском острове, в тихом, уединенном домике, занимаясь музыкою и стихами, в счастливой беспечности и свободе; имел приятные знакомства; любил иногда выезжать, но еще более возвращаться домой, где муза ожидала его с новыми идеями и цветами... Мирные, неизъяснимые удовольствия творческого дарования, может быть самые вернейшие в жизни! Нередко призраки суетности и других страстей отвлекают нас от сих любезных упражнений; но какой человек с талантом,

вкусив их сладость и после вверженный в шумную, деятельную праздность света, среди всех блестящих забав его не жалел о пленительных минутах вдохновения? Сильный, хороший стих, счастливое слово, искусный переход от одной мысли к другой радуют поэта, как младенца, и нередко на целый день делают веселым, особенно если он может сообщать свое удовольствие другу любезному, снисходительному к его авторской слабости! Оно живо и невинно; самый труд, которым его приобретаем, есть наслаждение; а впереди ожидает писателя благоволение добрых сердец.

Говорят о зависти: но ее жалкие усилия нередко еще более способствуют торжеству дарований и всегда, как легкие волны, отражаются твердым подножием, на котором талант возвышается, в честь отечеству, ко славе разума и в память века...

Басня Психеи есть одна из прекраснейших мифологии и включает в себе остроумную аллегорию, которую стихотворцы затмили наконец своими вымыслами. Древняя басня состояла единственно в сказании, что бог

любви сочетался с Психеею (душою), *земною* красавицею, и что от сего брака родилась *богиня наслаждения*. Мысль аллегории есть та, что душа наслаждается в любви божественным удовольствием. Апулей, славный остроумец и колдун, по мнению народа римского, сочинил из нее любопытную и даже трогательную сказку, совсем не в духе греческой мифологии, но похожую на волшебные сказки новейших времен. Лафонтен пленился ею, украсил вымысл вымыслами и написал складную повесть, смешав трогательное с забавным и стихи с прозою. Она служила образцом для русской «Душеньки»; но Богданович, не выпуская из глаз Лафонтена, идет *своим* путем и рвет на лугах цветы, которые укрылись от французского поэта. Скажем без аллегории, что Лафонтеново творение полнее и совершеннее в эстетическом смысле, а «Душенька» во многих местах приятнее и живее и вообще превосходнее тем, что писана стихами: ибо хорошие стихи всегда лучше хорошей прозы; что труднее, то имеет и более цены в искусствах. Надобно также заметить, что некоторые изображения и предметы

необходимо требуют стихов для большего удовольствия читателей и что никакая гармоническая, цветная проза не заменит их. Все чудесное, явно несбыточное принадлежит к сему роду (следственно, и басня «Душеньки»). Случаи неестественные должны быть описаны и языком необыкновенным; должны быть украшены всеми хитростями искусства, чтобы занимать нас повестью, в которой нет и тени истины или вероятности. Стихотворство есть приятная игра ума и богаче обыкновенного языка разнообразными оборотами, изменениями тона, особливо в вольных стихах, какими писана «Душенька» и которые, подобно английскому саду, более всякого правильного единства обнаруживают ум и вкус артиста. Лафонтен сам это чувствовал и для того нередко оставляет прозу; но он сделал бы гораздо лучше, если бы совсем оставил ее и написал поэму свою от начала до конца в стихах. Богданович писал ими, и мы все читали его; Лафонтен – прозою, и роман его едва ли известен одному из пяти французов, охотников до чтения. Правда, что есть люди, которые не любят стихов, – так же как другие не

любят музыки и прекрасных женщин; но такая антипатия есть чрезвычайность, и мы из учтивости – ничего не скажем о сих людях!

Желая украсить гроб сего любезного поэта собственными его цветами, напомним здесь любителям русского стихотворства лучшие места «Душеньки». Она не есть поэма героическая; мы не можем, следуя правилам Аристотеля, с важностию рассматривать ее басню, нравы, характеры и выражение их; не можем, к счастью, быть в сем случае педантами, которых боятся грации и любимцы их. «Душенька» есть легкая игра воображения, основанная на одних правилах нежного вкуса; а для них нет Аристотеля. В таком сочинении все правильно, что забавно и весело, остроумно выдуманно, хорошо сказано. Это, кажется, очень легко – и в самом деле, не трудно, – но только для людей с талантом. Пойдем же, без всякого ученого масштаба, вслед за стихотворцем; и чтобы лучше ценить его дарование, будем сравнивать «Душеньку» с Лафонтеновым творением.

Мы уже говорили о том, что Богданович не рабски подражал образцу своему. Например,

В самом начале он весьма забавно описывает
доброего царя, отца героини,

*Который свету был полезен,
Богам любезен;
Достоинo награждал,
Достоинo осуждал;
И если находил в подсудных злые
души,
Таким ослиные приклеивал он
уши;
Завистникам велел, чтоб сча-
стие других
Скучало взорам их
И не могли б они покоем насла-
ждаться;
Скупым определил у золота си-
деть,
На золото глядеть
И золотом прельщаться,
Но им не насыщаться;
Спесивым предписал с людьми не
сообщаться,
И их потомкам в казнь давалась
та же спесь,
Какая видима осталась и поднесь.*

У Лафонтена нет о том ни слова. И как все
приятно сказано! Как перемена стихов у ме-

ста и счастлива! – Любезное имя, которым Богданович назвал свою героиню, представляет ему счастливую игру мыслей, которой Лафонтен мог бы позавидовать:

*Звалась она Душа по толку мудрецов;
А после, в повестях старинных знатоков,
У русских Душенькой она именовалась,
И пишут, что тогда
Изыскано не без труда
К ее названию приличнейшее слово,
Которое еще для слуха было ново.
Во славу Душеньке у нас от тех времен
Поставлено оно народом в лексиконе
Между приятнейших имен,
И утвердила то любовь в своем законе.*

Это одно гораздо лучше всякого подробного описания Душенькиных прелестей, которого нет ни у Богдановича, ни у Лафонтена: ибо они не хотели говорить слишком обыкновен-

ного. – Жалобы Венеры в русской поэме лучше, нежели во французской сказке, где она также в стихах. Читатели могут судить:

*Амур, Амур! Вступишь за честь
мою и славу;
Яви свой суд, яви управу.
Ты знаешь Душеньку иль мог о ней
слыхать:
Простая смертная, ругаяся бога-
ми,
Не ставит ни во что твою бес-
смертну мать;
Уже и нашими слугами
Осмелилась повелевать
И в областях моих над мной тор-
жествовать.
Могу ли я сносить и видеть равно-
душно,
Что Душеньке одной везде и все
послушно?
За ней гоняся, от нас отходят
прочь
Поклонники, друзья, Амуры и Зе-
фирьы.
.....
Юпитер сам по ней вздыхает день
и ночь,
И слышно, что берет себе ее в су-*

пруги:

*Гречанку наглуу, едва ли царску
дочь,
Забыв Юнонины и верность и
услуги!*

*Какой ты будешь бог, и где твой
будет трон,*

*Когда от них другой родится Ку-
пидон,*

*Который у тебя отнимет лук и
стрелы*

*И нагло покорит подвластны
нам пределы?*

*Ты знаешь, как сыны Юпитеровы
смелы:*

По воле ходят в небеса

И всякие творят на свете чудеса.

*И можно ли терпеть, что Ду-
шенька собою,*

*Без помощи твоей, во всех вселя-
ет страсть,*

*Какую возжигать один имел ты
власть?*

*Она давно уже смеется над то-
бою*

*И ставит в торжество себе мою
напасть.*

За честь свою, за честь Венеры

Яви ты строгости примеры;
Соделай Душеньку постылою на-
век
И столь худою,
И столь дурною,
Чтоб всякий от нее чуждался че-
ловек;
Иль дай ты ей в мужья, кто б
всех сыскался хуже;
Чтобы нашла она себе тирана в
муже
И мучила себя,
Жестокого любя;
Чтобы ее краса увяла
И я покойна стала.

Лафонтенова Венера, сказав, что из Пафоса бежали к Душеньке все игры и смехи, продолжает:

*L'un de ces jours je lui vois pour
éroux
Le plus beau, le mieux fait de tout
l'humain lignage,
Sans le tenir de vos traits ni de vous;
Sans vous en rendre aucun
hommage.
Il naîtra de leur mariage
Un autre Cupidon qui d'un de ces*

regards
Fera plus mille fois que vous avec son
dards.
Prenez y gard; il vous y fait songer.
Rendez la malheureuse, et que cette
cadette
Malgré les siens épouse un étranger,
Qui ne sache où trouver retraite;
Qui soit laid, et qui la maltraite,
La fasse consumer en regrets
superflus,
Tant que ni vous ni moi nous ne la
craignons plus[93].

Для чести русского таланта мы не побоялись длинной выписки. Богданович и мыслями и выражениями побеждает опасного со-
вестника. Он гораздо приличнее заставляет
сказать Венеру, что *сам Юпитер* может же-
ниться на *Душеньке*, а не лучший из смертных
красавцев, от которого нельзя было родиться
второму Купидону. Стихи: «Ты знаешь, как
сыны Юпитеровы смелы» – «И столь худою, и
столь дурною» – «И мучила себя, жестокого
любя», – живы и прекрасны; Лафонтеновы
только изрядны, кроме: «*Sans le tenir de vos
traits, ni de vous*»[94], где одно сказано два раза

для наполнения стиха. – Венерино шествие у Лафонтена эскиз, у Богдановича картина. Первый сказал: «l'un (Тритон) lui tient un miroir fait de cristal de roche»[95], а второй:

*Несет отломок гор кристалльных
На место зеркала пред ней.
Сей вид приятность объявляет
И радость на ее челе.
«О, если б вид сей, – он вещает, –
Остался вечно в хрустале!»
Но тщетно он того желает!
Исчезнет сей призрак, как сон;
Останется один лишь камень – и
проч.*

Лафонтен говорит: «Thétis lui fait ouïr un concert de Sirènes»[96]. Богданович:

*Сирены, сладкие певицы,
Меж тем поют стихи ей в честь,
Мешают с былью небылицы,
Ее стараясь превознести.*

.....
*Сама Фетида их послала
Для малых и больших услуг
И только для себя желала,
Чтоб дома был ее супруг!*

Последняя черта забавна. Фетида рада веселить Венеру, но с тем условием, чтобы влюбчивый бог морей не выезжал к ней навстречу трезубцем своим! – Лафонтен:

*Tous les vents attentifs retiennent
leur haleines;
Le seul Zéphir est libre, et d'un souffle
amoureux
Il caresse Venus, se joue à ses
cheveux;
Contre ses vêtements par fois il se
courrouce.
L'onde pour la toucher à longs flots
s'entrepousse
Et d'une égale ardeur chaque flot à
son tour
S'en vient baiser les pieds de la mère
d'Amour[97].*

Французские стихи хороши, но русские еще игривее и живее:

*Летят обратно беглецы,
Зефиры, древни наглецы.
Иной власы ее взвеваает;
Но вдруг, открыв прелестную
грудь,
Перестает на время дуть,*

*Власы с досадой опускает
И, с ними спутавшись, летит.
Гонясь за нею, волны там
Толкают в ревности друг друга,
Чтоб, вырвавшись скорей из круга,
Смиренно пасть к ее ногам.*

Так стихотворцы с талантом подражают. Богданович не думал о словах Лафонтеновых, а видел перед собою шествие Венеры и писал картину с натуры.

Что француз остроумно говорит прозой, то русский не менее остроумно, и еще милее, сказал в стихах. Все любовники оставляют красавицу. Народ приходит в ужас от небывалого чуда, и Венера грозит государству еще новыми бедствиями, если не принесут ей в жертву самой Душеньки...

*Но царь и вся родня
Любили Душеньку без меры;
Без ней приятного не проводили
дня:
Могли ль предать ее на мщенье
Венеры?
И все в единый глас,
Богине на отказ,
Ответствовали смело,*

Что то несбыточное дело.
Иные подняли на смех ее олтарь;
Другие стали горько плакать;
Другие ж, не дослушав, такать,
Когда лишь слово скажет царь;
Иные Душеньке в утеху говорили,
Что толь особая вина
Для ней похвальна и славна,
Когда, к стыду богинь, ее боготво-
рили;
И что Венеры к ней и ненависть и
месть
Ее умножат честь.
Царевне ж те слова хотя и лест-
ны были,
Но были бы милей,
Когда бы их сказал какой любов-
ник ей.
От гордости она скрывала
Печаль свою при всех глазах;
Но втайне часто унывала,
Себя несчастной называла
И часто в горестных слезах
К Амуру так взывала:
«Амур, Амур, веселий бог!
За что ко мне суров и строг?
Давно ли все меня ласкали?
В победах я вела часы;

*Могла пленять, любить по воле:
За что ж теперь в несчастной доле?
К чему полезны мне красы?
Беднейшая в полях пастушка
Себе находит пастуха;
А я одна — —,
Не быв дурна, не быв лиха!»*

Сия жалоба Душеньки отменно любезна своею простотою. Но в доказательство нашего беспристрастия согласимся, что темный ответ оракула лучше выражен во французских стихах. Отчаяние красавицы и то, что она говорит своему отцу, желая предаться в волю таинственной судьбы, также совершеннее и трогательнее в Лафонтене, Он рассказывает прозою: одно легче другого. Зато некоторые места лучше в стихах Богдановича. Лафонтенова Псиша говорит: «Qu'on me mette sur un chariot, sans cocher ni guide; et qu'on laisse aller les chevaux à leur fantaisie: le sort le guidera infailliblement au lieu ordonné»[98].

Стоит ли эта бездушная проза следующих стихов? Душенька

Сказала всей родне своей,

*Чтоб только в путь ее как долж-
но снарядили
И в колесницу посадили,
Пусть на волю лошадей,
Без кучера и без возжей.
«Судьба, – сказала, – будет пра-
вить;
Судьба покажет верный след
К жилищу радостей иль бед,
Где должно вам меня оставить».*

Вот славное преимущество языка поэзии! Если стихотворец умеет побеждать трудности и ставить каждое слово в своем месте, то самые простые выражения отменно нравятся и прозаист далеко назад остается.

Ужасы Душенькина путешествия изображены во французской сказке как действительные ужасы, а в русской – с приятною шутливостью:

*Там все при каждом шаге
Встречали новый страх:
Ужасные пещеры,
И кверху крутизны
И к бездне глубины.
Иным являлись там мегеры;
Иным летучи дромадеры,*

Иным драконы и церберы

.....

Царевнина кровать

В руках несущих сокрушилась,

И многие от страха тут

Немало шапок пороняли,

*Которы на подхват драконы по-
жирали.*

Иные по кустам одежды изодрали

И, наготы имея вид,

*Едва могли прикрыть от глаз
сторонних стыд.*

*Осталось наконец лишь несколь-
ко булавок*

*И несколько стихов Оракула для
справок.*

Надобно быть в весьма дурном расположении, чтобы не засмеяться от двух последних стихов. Мы не жалеем, что стихотворец наш предпочел здесь важному описанию карикатуру: она хороша.

Как ни складно, ни красно описывает Лафонтен Купидонов дворец, сады, услужливость нимф, но проза его не делает мне такого удовольствия, как следующие стихи Богдановича:

Явился перед ней
Прекрасный вид аллея
И рощей и полей.
Высокие балконы
Открыли царство там и Флоры и
Помоны,
Каскады и пруды
И чудные сады.
Оттуда сорок нимф вели ее в чер-
тоги,
Какие созидать удобны только
боги;
И тамо Душеньку, к прохладе от
дороги,
В готовую для ней купальню при-
вели.
Амуры ей росы чистойшей принес-
ли,
Котору вместо вод повсюду соби-
рали.
Зефиры воздух там дыханьем со-
гревали,
Из разных аромат вздували пузы-
ри
И составляли мыла,
Какими моются восточные цари
И коих ведома жительная сила.
Царевна со стыдом,

*Со спором и трудом,
Как водится при том,
Взирая на обновы,
Какие были там на выбор ей го-
товы,
Дозволила сложить с красот сво-
их покровы.
Полки различных слуг, пред тем
отдав поклон,
Без горя не могли оттуда выдти
вон
И даже за дверьми, не будучи в
услуге,
Охотно след ее лобзали на досуге.
Зефиры лишь одни, имея вход вез-
де,
Зефиры хищные, затем что ро-
стом мелки,
Нашли в дверях и окнах щелки,
Прокрались между нимф и спря-
тались в воде,
Где Душенька купалась.*

Богданович, угощая и веселя музыкою ге-
роиню во дворце Купидоновом, составил ор-
кестр свой лучше Лафонтена и велел даже,
весьма кстати, невидимо управлять им само-
му Аполлону; но жаль, что хор певиц его, хва-

ля любовь, не повторил на русском языке следующей строфы гимна французского:

*Sans cet amour tant d'objets
ravissants,
Lambris dorés, bois, jardins et
fontains
N'ont point d'appas qui ne soient
languissants,
Et leurs plaisirs sont moins doux que
ses peines.
Des jeunes cœurs c'est le suprême
bien:
Aimez, aimez – tout le reste n'est rien
[99].*

В доказательство, что поэты, вопреки старинному злословию, умеют быть иногда скромными, и француз и русский не хотели описать первого свидания Душеньки с Амуром. Последний отделался от читателей приятною шуткою, говоря, что эта сцена осталась навеки тайною между супругами...

*Но только поутру заметили
амуры,
Что нимфы меж собой смеялись
подтишком,
И гостья, будучи стыдлива от на-*

*туры,
Казалась между их с завешенным
ушком.*

В изображении палат с их драгоценностями я люблю статую Душеньки...

*Смотря на образ сей, она сама дивилась;
Другая статуя казалась в ней тогда,
Какой не видывал никто и никогда.*

Черта прекрасная! Взята с французского («elle demeura longtemps immobile, et parut la plus belle statue de ces lieux»[100]); но, выраженная в стихах, более нравится... Люблю также разные живописные изображения Душеньки:

*В одном она, с щитом престрашным на груди,
Палладой наряжась, грозит на лошади,
И боле, чем копьем, своим прекрасным взором.
В другом видим перед нею Сатурна, который*

Старается забыть, что он дав-
нишний дед,
Прямит свой дряхлый стан, же-
лает быть моложе,
Кудрит оставшие волос своих
кочки
И, видит Душеньку, вздевает он
очки.
А там она видна, подобней цари-
це,
С амурами вокруг, в воздушной ко-
леснице,
Прекрасной Душеньки за честь и
красоту
Амуры там сердца стреляют на
лету;
Летят великою толпою;
Летят, поднявши лук, на целый
свет войною;
А там свирепый Марс, рушитель
мирных прав,
Увидев Душеньку, являет тихий
нрав,
Полей не обагрывает кровью
И наконец, забыв военный свой
устав.
Смягчен у ног ее, пылает к ней
любовью.

На третьей картине Зефир списывает с нее портрет; но, боясь нескромности,

*Скрывает в списке он большую
часть красот;
И многие из них, конечно, чудеса-
ми,
Пред Душенькою вдруг тогда пи-
сались сами.
Всего же более люблю обращение
поэта к красавице:
Во всех ты, Душенька, нарядах хо-
роша:
По образу ль какой царицы ты
одета,
Пастушкою ли где сидишь у шала-
ша,
Во всех ты чудо света;
Во всех являешься прекрасным бо-
жеством –
И только ты одна прекраснее
портрета.*

Просто и так мило, что, может быть, никакое другое место в «Душеньке» не делает в читателе столь приятного впечатления. Всякому хочется сказать сии нежные, прекрасные стихи той женщине, которая ему всех других лю-

безнее; а последний стих можно назвать золотым. – Мы не пеняем автору, что он не хочет далее описывать Купидонова дворца,

*Где все пленяло взгляд
И было бесподобно;
Но всюду там умом
Я Душеньку встречаю,
Прельщаюсь и потом
Палаты забываю.*

Но с палатами стихотворец забыл и хозяина; забыл, между портретами, упомянуть об его изображениях. Скрываясь от Душеньки, Амур должен был показаться ей хотя на картине. Лафонтен представил на обоях разные чудеса Купидоновы: например, ужасный хаос, приводимый его рукою в стройность...

*Que fait l'Amour? Volant de bout en
bout,
Ce jeune enfant, sans beaucoup de
mystère.
En badinant vous débrouille le tout,
Mille fois mieux qu'un sage.[101]*

Как бы хорошо мог Богданович сказать это в русских стихах! Как бы хорошо мог, следуя Лафонтену, описать приступы любопытной

Душеньки к невидимому Амуру и его отговорки, столь остроумные! «Nécessairement je suis Dieu ou je suis Démon. Si vous trouvez que je suis Démon, vous cesserez de m'aimer ou du moins vous ne m'aimerez plus avec tant d'ardeur: car il s'en faut bien qu'on aime les Dieux aussi violemment que les hommes»[102]. Но поэт наш, как поэт, не любил закона и принуждения; хотел брать не все хорошее в образце своем, а что слегка и само собою попадалось ему в глаза –

*Любя свободу я мою,
Как вздумается мне, пою.*

Довольно, что Богданович, проходя иногда мимо красот Лафонтеновых, щедро заменял их собственными и разнообразными. Умея быть нежным, забавным, он умел и колоть – даже кровных своих, то есть стихотворцев. Вводя Душеньку в Амурову библиотеку, он говорит:

*Царевна там взяла читать стихи;
Но их читаючи как будто за грехи,*

*Узнала в первый раз мучительную
скуку
И, бросив их под стол, при том за-
шибла руку.
Носился после слух, что будто на-
конец
Несчастливых сих стихов творец
Указом Аполлона
Навеки согнан с Геликона;
И будто Душенька, боясь подоб-
ных скук[103],
Иль ради сохраненья рук,
Стихов с неделю не читала,
Хотя любила их и некогда слага-
ла.*

Сей несчастный, согнанный с Геликона, был, конечно, не похож на Богдановича, которого Душенька с удовольствием могла бы читать даже и тогда, как он с пиитической искренностью описывает лукавство ее в гибельную ночь любопытства. Злые сестры уговорили ее засветить лампаду во время сна Купидонова...

*Прекрасна Душенька употребила
тут
И хитрость и проворство.*

*Какие свойственны женам,
Когда они, дела имея по ночам,
Скорее как-нибудь покой дают мужьям.*

*Но хитрости ль ее в то время
успевали
Иль сам клонился к сну от действия печали:
Он мало говорил, вздохнул,
Зевнул,
Заснул.*

Это напоминает один из славнейших стихов в *Lutrin*⁵ и стоит десяти прозаических страниц Лафонтена.

В описании Душенькиных бедствий некоторые черты также гораздо счастливее у Богдановича; например, трогательное обращение его к жалкой изгнаннице:

*Умри, красавица, умри! Твой сладкий век
С минувшим днем уже протек;
И если смерть тебя от бедствий
не избавит,
Сей свет, где ты досель равнялась
с божеством,
Отныне в скорбь тебе наполнен*

*будет злом,
И всюду горести за горестьми
представит.*

.....
*К несчастью, тебя оставил Купидон.
Твой рай, твои утехы,
Забавы, игры, смехи
Прошли, как будто сон.
Вкусивши сладости, кто в мире
их лишился,
Любя с любимым разлучился
И радости себе уже не чаёт
впредь,
Легко почувствует, без дальней-
шего слова,
Что лучше Душеньке в сей доле
умереть.*

Стихотворец наш, описывая с Лафонтеном все образы смерти, избираемые Душенькою, прибавляет от себя еще один, не весьма пикантный, но игриво и забавно им представленный:

*Избрав крепчайший сук, последний
шаг ступила
И к ветви свой платок как долж-
но прицепила,*

И в петлю Душенька головушку
вложила.
О чудо из чудес!
Потрясся дол и лес;
Дубовый, грубый сук, на чем она
повисла,
С почтением к ее прекрасной го-
лове
Пригнулся так, как прут — — —
И здраву Душеньку поставил на
траве;
И ветви все тогда, на низ влеко-
мы ею,
Иль сами волею своею,
Шумели радостно над нею
И, съединяючи концы,
Свивали разны ей венцы.
Один лишь наглый сук за платье
зацепился,
И Душенькин покров вверху оста-
новился;
Тогда увидел дол и лес
Другое чудо из чудес — —

Вольность бывает маленькою слабостию поэтов; строгие люди давно осуждают их, но снисходительные многое извиняют, если во-
ображение неразлучно с остроумием и не за-

бывает правил вкуса. Когда горы и леса, видя чудо, восклицали, что Душенька всех на свете прекраснее,

*Амур, смотря из облаков,
Прилежным взором то оправды-
вал без слов!*

Поэту хотелось сказать, что Душенька прошла сквозь огонь и воду, и для того он заставляет ее броситься в пламя, когда наяды не дали ей утонуть в реке...

*Лишь только бросилась во пламя
на дрова,
Как вдруг невидимая сила
Под нею пламень погасила;
Мгновенно дым исчез, огонь и жар
потух;
Остался только лишь потребный
теплый дух,
Затем чтоб ножки там царица
осушила,
Которые в воде недавно замочила.*

Это смешно, и рассказ имеет всю точность хорошей прозы. – Лафонтен, для разнообразия своей повести, вводит историю философа-рыболова: в «Душеньке» она могла бы

только остановить быстроту главного действия. Сказки в стихах не требуют множества вымыслов, нужных для живости прозаических сказок. Богданович упоминает о старом рыбаке единственно для того, чтобы Душеньке было кому пожаловаться на ее несчастье...

*Ты помнишь бытность всех вре-
мен
И всяких в мире перемен:
Скажи, как свет стоит с начала,
Встречалось ли когда кому
Несчастье равно моему?
Я резалась и в петлю клалась,
Топилась и в огонь бросалась;
Но в горькой участи моей,
Прошед сквозь огонь, прошед сквозь
воду
И всеми видами смертей
Приведши в ужас всю природу,
Против желания живу
И тщетно смерть к себе зову.
.....
«Но кто ты?» – старец спросил.
«Я Душенька – люблю Амура».*

Последний стих прекрасен и трогателен,

несмотря на шутливый тон автора. – Объявление Венеры, прибитое на всех перекрестках, взято с французского, но гораздо смешнее на русском:

*Понеже Душенька прогневала Венеру
И Душеньку Амур Венере в стыд хвалил;
Она же, Душенька, румяна унижает,
Мрачит перед собой достоинство белил;*

.....
*Она же, Душенька, имея стройный стан,
Прелестные глаза, приятную усмешку;*

.....
Она же взорами сердцам творя изъян;

.....
*Того или иного ради,
Венера каждому и всем
О гневе на нее своем
По должной форме объявляет.*

В обращении Душеньки к богиням всего забавнее представлена важность Минервы,

которая, занимаясь астрономическими наблюдениями и хвостами комет, с презрением говорит бедной красавице,

*Что мир без Душеньки стоял из
века в век;
Что в обществе она неважный че-
ловек;
А паче как хвостом комета всех
пугает,
О Душеньке тогда никто не по-
мышляет.*

Богданович хотел осмеять астрономов, которые около 1775 году, если не ошибаюсь, пугали людей опасностью кометы. Но должно признаться, что о ревливой Юноне Лафонтен говорит еще забавнее русского стихотворца. Вот его слова: «Пастушке нашей не трудно было найти Юнону. Ревливая жена Юпитерова часто сходит на землю, чтобы осведомляться о супруге. Псиша встретила ее гимном, но воспела одно могущество сей богини и тем испортила дело свое. Надобно было хвалить ее красоту, и как можно усерднее. Царям говори об их величии, а царицам – совсем о другом, если хочешь угодить им. Юнона отвеча-

ла, что должно наказать смертных прелестниц, в которых влюбляются боги. Зачем они таскаются на землю? Разве на Олимпе еще мало для них красавиц?» Богданович шутит только насчет Юпитеровых метаморфоз: здесь Лафонтен тонее. Но скоро наш поэт берет верх, описывая ошибку людей, которые, видя в Венерином храме Душеньку в крестьянском платье, считают ее богинею и шепчут друг другу на ухо:

*Венера здесь тайком!
Венера за столбом!
Венера под платком!
Венера в сарафане!
Пришла сюда пешком!
Конечно, с пастушком!*

Здесь короткие стихи на одну рифму прекрасно выражают быстроту народных слов. И с каким любезным простосердечием говорит Душенька раздраженной Венере, Колена преклоня:

*Богиня всех красот! Не сетуй на
меня!
Я сына твоего прельщать не
умышляла.*

*Судьба меня, судьба во власть к
нему послала.*

*Не я ищу людей, а люди в слепоте
Дивятся завсегда малейшей кра-
соте.*

*Сама искала я упасть перед то-
бою;*

*Сама желала я твоею быть ра-
бою.*

Богданович поступил также гораздо милос-
тивее с своею героинею, нежели Лафонтен,
который заставил Венеру немилосердно сечь
ее розгами! Какое варварство! Русская Ду-
шенька *служит* только трудные, опасные
службы богине, совершенно в тоне русских
старинных сказок, и прекрасно: идет за жи-
вою и мертвою водою, к змею Гарыничу, и
так хорошо, с женскою хитростию, ублажает
его:

*О змей Гарынич, Чудо-Юда!
Ты сыт во всяки времена;
Ты ростом превзошел слона,
Красою помрачил верблюда;
Ты всяку здесь имеешь власть;
Блестишь златыми чешуями,
И смело разеваешь пасть,*

*И можешь всех давить когтями!
Пусти меня, пусти к водам!*

Богданович, приводя Душеньку к злому Кащею, не сказывает нам его загадок: жаль! здесь был случай выдумать нечто остроумное. Но автор уже довольно выдумывал, спешит к концу, отдохнуть на миртах вместе с своею героинею и мимоходом еще описывает Тартар несравненно лучше Лафонтена. Как скоро Душенька показала там ногу свою, все затихло...

*Церберы перестали лаять,
Замерзлый Тартар начал таять.
Подземна царства темный царь,
Который возле Прозерпины
Дремал, с надеждою на слуг,
Смутился тишиною вдруг:
Возвысил вокруг бровей морщины,
Сверкнул блистаньем ярых глаз,
Взглянул... начавши речь, запнул-
ся
И с роду первый раз
В то время улыбнулся!*

Сими прекрасными стихами заключаем нашу выписку. Амур соединяется с Душень-

кою, и Богданович, вспомнив аллегорический смысл древней басни, оканчивает свою поэму хвалою душевной, вечно неувядаемой красоты, в утешение, как говорит он, всех земных некрасавиц.

Заметив хорошие и прекрасные места в «Душеньке», скажем, что она, конечно, не вся писана такими счастливыми стихами; но вообще столь приятна, что благоразумный критик, чувствительный к красотам искусства и дарования (а суд других есть пустословив или злословие), не захочет на счет ее доказывать своей тонкой разборчивости и не забудет, что Ипполит Богданович *первый* на русском языке играл воображением в легких стихах: Ломоносов, Сумароков, Херасков могли быть для него образцами только в других родах.

Мудрено ли, что «Душенька» единогласно была прославлена всеми любителями русского стихотворства? Шесть или семь листов, с беспечною брошенных в свет, переменили обстоятельства и жизнь автора. Екатерина царствовала в России: она читала «Душеньку» с удовольствием и сказала о том сочинителю: что могло быть для него лестнее? Знат-

ные и придворные, всегда ревностные подражатели государей, старались изъявлять ему знаки своего уважения и твердили наизусть места, замеченные монархиною. Тогдашние стихотворцы писали эпистолы, оды, мадригалы в честь и славу творца «Душеньки». Он был на розах, как говорят французы... Но многие блестящие знакомства отвлекли Богдановича от жертвенника муз в самое цветущее время таланта[104] – и веночек «Душеньки» остался единственным на голове его. Хотя он и неувядаем, однако ж любители дарований не перестанут жалеть, что поэт наш им удовольствовался и не захотел новых. Он доказал, к несчастью, что авторское славолубие может иметь пределы! Правда, что Богданович еще писал, но мало или с небрежением, как будто бы *нехотя* или в дремоте гения. Иной сказал бы, что поэт, любя свою «Душеньку», *хотел* оставить ей честь быть единственным изящным творением его таланта. – От 1775 до 1789 году он сочинил «Историческое изображение России», часть I (опыт легкий, несовершенный, но довольно приятный), – лирическую комедию «Радость Ду-

шеньки», драму «Славяне» и две маленькие театральные пьесы из русских пословиц. Сама Екатерина ободряла Богдановича писать для театра и в знак своего благоволения пожаловала ему табакерку за «Радость Душеньки», а за драму «Славяне» – перстень. В первой есть забавная сцена, пир богов, где Момус смешит своим божественным простосердечием; а во второй – двадцатипятилетнее торжество, славян в честь великой государыни, которая навеки основала их благоденствие, тронуло в представлении всех зрителей: ибо сию драму играли в то время, когда совершилась четверть века по восшествии на трон Екатерины. – Исполняя также волю сей монархини, он издал «Русские пословицы»⁶, в которых сохранились драгоценные остатки ума наших предков, их истинные понятия о добре и мудрые правила жизни. Мы должны еще упомянуть о мелких его стихотворениях, напечатанных в «Собеседнике»: некоторые из них отличаются замыслом и вкусом. – Но некоторая из приятных безделок Богдановича не была так известна и славна, как его песня: «Мне минуло пятнадцать лет». Она сделалась

народною, и доныне – несмотря на множество новых любимых песен – сохраняет свое достоинство. В ней есть истинная *затейливость* и нежная простота, которые равняют ее с лучшими французскими песнями. Что может быть проще и любезнее следующих куплетов:

*«Дала б ему я посох свой:
Мне посох надобен самой;
И чтоб зверей остерегаться,
С собачкой мне нельзя расстаться.*

*В пустой и скучной стороне
Свирелки также нужны мне.
Овечку дать ему я рада,
Когда бы не считали стада».*
*Пастушка говорит тогда:
«Пускай пастух придет сюда;
Чтоб не было убытка стаду,
Я сердце дам ему в награду!»*

Он перевел также все лучшие французские стихи, написанные в честь Екатерины, Вольтеровы, Мармонтелевы и проч. Сии поэты умели хвалить Великую языком благородным, и Богданович не унижал его.

Например, он так заставляет говорить

Мармонтеля на русском языке:

*О ты, которая в законах и герой-
стве
Совместников своих далеко пре-
взошла, –
Божественный пример монархам
подала
Пещися подданных о счастье и
спокойстве!
Являй всегда твоей величество ду-
ши
И славных дел своих начатки со-
верши!
Счастливому в твоём владении
народу
Осталось иметь едину лишь сво-
боду.*

В переводе его Вольтер, подобно как и в оригинале, то важен, то забавен, говоря:

*И где Великий Петр людей соде-
лать мог,
Екатерина там соделала героев...
.....
Трудится день и ночь восставить
всех покой
И меж трудов ко мне писать на-
ходит время.*

*Тогда же Мустафа, гордясь пред
визирем,
В чертогах роскошью бесчув-
ственную дышет,
Зевает в праздности, не мыслит
ни о чем,
И никогда ко мне, вприбавок, он
не пишет!*

Занимаясь стихотворством Богдановича, мы забыли службу его. В 1780 году он был определен в новоучрежденный тогда Государственный Санкт-Петербургский архив членом, в 1788 – председателем его, а в 1795 – отставлен с полным жалованьем, служив 41 год. – Наконец, в 1796 году он выехал из Петербурга. Тогдашние бедствия Европы, разительная картина непостоянств фортуны в отношении к людям и к государствам, самая светская печальная опытность могли в добром и нежном сердце его произвести склонность к мирному уединению. Приятный климат, любезные воспоминания детства и самая вернейшая связь в мире, дружба родственная, влекли Богдановича к счастливым странам Малороссии. Он приехал в Сумы с намерени-

ем вести там жизнь свою в кругу ближайших родных и наслаждаться ее тихим вечером в объятиях природы, всегда любезной для чувствительного сердца, особенно для поэта. Первые дни и месяцы казались ему совершенным очарованием; никогда душа его не бывала так свободна и безмятежна. Уже никакие мечты не тревожили ее спокойствия. Мирная совесть, пятьдесят лет, проведенных в наблюдении строгих правил чести; кроткая, но всегдашняя деятельность благородных способностей человека: ума образованного и зрелого, воображения еще не угасшего; чтение авторов избранных, обхождение с людьми добрыми и близкими к сердцу, самое единообразие простой жизни, любезное в некоторых летах, были счастьем Богдановича, истинным и завидным, которого желают все люди, живущие для славы собственной и пользы других в шуме светском и которого милым образом украшают они в мыслях последние дни свои в мире, дни отдохновения и покоя!.. Но

Пристанища в сем мире нет!..

Здесь должны мы осторожно повторить

известив неясное, хотя и верное. Руссо на шестом десятилетии жизни испытал всю силу романической страсти, забавной в глазах молодого светского Адониса, но трогательной для человеколюбивого наблюдателя. Можно с покойною совестью шутить над стариком Селадоном; но для *особенной* и *случайной* привязанности нет срока: всегда можно любить, пока сердце живо, и взор чувствительной женщины изъясляет нам симпатию. Самолюбие, некоторым образом справедливое в человеке достойном; имя дружбы, которым часто закрываем любовь от самих себя; надежда быть – если не прелестным, то хотя приятным, и нравиться самым тем, чтобы не думать нравиться, – заводят иногда и не поэтов весьма далеко... Не знаем обстоятельств; но кто, и зная их, мог бы без нарушения правил скромного благоразумия открыть свету подробности сердечной связи? Скажем только, что тихая, мирная, счастливая жизнь Богдановича вдруг сделалась ему несносною. Он должен был разлучиться с другом и братом... Как остаться в тех местах, где все напоминало ему и блаженнейшие часы для сердца и

неожидаемые их следствия? Оскорбленное самолюбие бывает антидотом любви, но жестоки!.. И всякая сильная перемена чувств ужасна в то время, когда мы близки к западу жизни и когда натура предписывает человеку *спокойствие*; как необходимое условие еще возможного для него счастья! Надежда заменить потерю облегчает се в молодости; но лета отнимают у нас сие действительное утешение. Мы слышим только голос строгого рассудка, который запрещает даже и жаловаться на судьбу!.. Мысль о последних годах нашего любезного стихотворца печальна для всякого, кто умеет воображать себя на месте других.

В 1798 году он переселился в Курск. – Александр восшел на трон; и когда все патриоты с радостными надеждами устремили на него взоры, Богданович взял лиру, уже давно им оставленную, – и юный монарх в знак своего благоволения прислал ему перстень. Муза «Душеньки» имела славу и счастье нравиться Великой Екатерине: августейший внук ее могли не удостоить ее своего внимания?

В начале декабря 1802 году Богданович за-

немог, быв всегда некрепкого сложения; томился четыре недели и кончил жизнь 6 января, к горести родных, друзей и всех любителей русской словесности: ибо он еще не дожид до глубокой, маститой старости, которая бывает последним знаком небесного благоволения к земным странникам, облегчая их переход в вечность.

Говорят, что жизнь и характер сочинителя видны в его творениях; однако ж мы, любя последние, всегда спрашиваем о первых у тех людей, которые лично знали автора. Все знакомые и приятели Богдановича единогласно хвалят его свойства, тихий нрав, чувствительность, бескорыстие и какую-то невинную веселость, которую он сохранил до старости и которая делала его приятным в дружеском обществе. Никто не замечал в нем авторского самолюбия. Богданович даже редко говорил о поэзии и литературе, и всегда с некоторою застенчивостию, бывшею природным свойством его. Не мудрено, что он не любил критики, пугающей всякое нежное самолюбие, и признавался, что она своею грубою строгостию могла бы совершенно отворратить

его от авторства.

Друзья Богдановича, которых он, однажды нашедши, не терял никогда, – а еще долее любители русских талантов сохранят его память: ибо творец «Душеньки» будет известен потомству – как стихотворец приятный, нежный, часто остроумный и замысловатый.

Известие о Марфе Посаднице, взятое из жития св. Зосимы*

Женщины во все времена и во всех землях жили более для семейственного счастья, нежели для славы: мудрено ли, что их имена редки в истории? Чем ближе народ к простоте естественной, тем менее влияния имеют они на политическую судьбу его. Не одно воспитание определяет скромную жизнь их: сама природа хотела того, дав им нежное сердце, чувствительные нервы, робость, стыдливость и болезни. Мы видим цель ее: кому-нибудь надлежало поручить воспитание и хранение младенцев. Однако ж природа любит иногда чрезвычайности, отходит от своего обыкновенного закона и дает женщинам характеры, которые выводят их из домашней

неизвестности на театр народный, не только в странах просвещенных, где искусство во многом изменяет натуру, но и в самом почти диком состоянии людей. Таким образом и *старая Русь* являет нам примеры некоторых славных женщин – весьма немногих, но потому еще более достойных внимания нашего.

И без сказки, напечатанной в «Вестнике Европы», все мы знали, что Марфа-посадница была чрезвычайная, редкая женщина¹, умев присвоить себе власть над гражданами в такой республике, где женщин только любили, а не слушались. Если бы современные летописцы разумели, что такое история и что важно в ней для потомства, то они, конечно, постарались бы собрать для нас все возможные известия о Марфе; но не их дело было ценить характеры. В сказках, в песнях и в преданиях осталось более следов ее, нежели в летописях. Тем любопытнее показалось нам в «Житии св. Зосимы» следующее известие о Посаднице, которое выписываем здесь для читателей.

Обширные владения новгородские простирались на север до реки Двины и Белого

моря. Бояре и вельможи сей республики имели знатные поместья в нынешней Архангельской губернии. Люди их часто бывали для рыбной ловли на острове Соловецком и наглым образом оскорбляли монахов тамошней новой обители.

Зосима, начальник ее, приехал в Новгород и требовал защиты от Феофила. Ответ сего архиепископа достоин примечания, изъявляя великое уважение духовных властей к тогдашнему, новгородскому правительству: «Я готов помогать монастырю твоему, но не могу ничего сделать без воли бояр *начальных*», – и святой муж, без сомнения, узнав о могуществе Марфы, *великой боярыни града*, просил ее заступления. Она имела деревни в *земле Карельской*: рабы ее, вместе с другими часто обижав соловецких монахов и боясь допустить Зосиму к строгой госпоже своей, оклеветали его перед нею, так что Марфа велела выгнать старца из дому: черта, которая не доказывает отменного ее христианского благочестия. Но бояре новгородские обошлись с ним ласковее, выслушали его справедливые жалобы, обещали покровительство Соловец-

кой обители и вывели Марфу из заблуждения насчет характера св. Зосимы. Сия пылкая женщина, устыдясь своей несправедливости, решилась загладить ее блестящим образом – дала великолепный обед – пригласила знаменитейших бояр новгородских и Зосиму – встретила его с великими знаками уважения – посадила за столом в *первом месте*, угощала с ласкою и, желая превзойти щедростию всех бояр (которые одарили святого мужа богатыми церковными сосудами и ризами), отдала Соловецкому монастырю большую деревню на реке Суме. – Зосима получил от совета новгородского грамоту на *владение островом*, с приложением осьми оловянных печатей: архиепископской, посадничей, *тысященачальнической* и *пяти концов города*. Если сия грамота доньше сохранилась в архиве Соловецкого монастыря, то она должна быть драгоценна для историка России, который может найти в ней имена последних народных чиновников новгородских: ибо, скоро по возвращении угодника в Соловецкую обитель, князь Иван Васильевич объявил войну сей республике и навеки уничтожил

ее. Чудеса не принадлежат к истории; однако ж упомянем здесь о пророчестве св. Зосимы. Выгнанный в первый раз гордою Посадницею, он сказал ученикам своим: «Скоро, скоро сей дом опустеет и двор его зарастет травою!», что и в самом деле совершилось. Род Борецких погиб с республикою; дом Марфин опустел, – но донныне еще показывают в Новгороде место его[105]. –

Оставляя Марфу, изъявим желание, чтобы когда-нибудь искусное перо изобразило нам *галерею россиянок*, знаменитых в истории или достойных сей чести. В рассуждении древности благоразумный автор ограничит себя Нестором и не вздумает начать – например – с Томирисы, скифской царицы, которая, если верить Геродоту и Диодору Сицилийскому, приковала к кресту несчастного Кира. Предки наши славяне были, конечно, скифского племени; но если дозволим себе восходить таким образом в истории народов, то доберемся наконец до Адама и должны будем говорить об Еве как о первой знаменитой россиянке. Нет, *галерея* наша открылась бы Ольгою и Гориславою; а средние времена пред-

ставили бы нам изображение греческой княжны Софии, супруги князя Иоанна (которой Россия обязана первыми искрами просвещения[106]) – матери царя Ивана Васильевича, имевшей слабости, но весьма умной-первой супруги его, прекрасной и любезной Анастасии – Марии Годуновой, которой добродетель обуздывала иногда Бориса в жестокостях его подозрительного характера, – и трогательной, невинной Ксении. – Правда, что русские летописцы, в которых должно искать материалов для сих биографий, крайне скупы на подробности; однако ж ум внимательный, одаренный *историческою догадкою*, может дополнять недостатки соображением, подобно как ученый любитель древностей, разбирая на каком-нибудь монументе старую греческую надпись, по двум буквам угадывает третью, изглаженную временем, и не ошибается. – Новейшая русская история имеет также своих знаменитых женщин; напомним из них Наталью Кирилловну, дочь бедного дворянина, и царицу России, и мать Петра Великого, в девическом уединенном тереме и в царских чертогах равно смиренную, кроткую,

добродетельную, так что никакой микроскоп исторической строгости не открывает в ее жизни ни малейшего пятна, – Софию, почти великую, – умом славу россиянок, духом сестру Петрову, сердцем женщину, но любезную, – Екатерину I, по великодушному характеру достойную блестящей судьбы ее, чудесной и романической. Не знаю, позволит ли политика в наше время философу-историку свободно и торжественно судить царствования Анны и Елисаветы; но умный живописец-автор может в легких чертах представить их личные характеры с хорошей стороны и без лести. Должно отличить сердце Анны от ее строгого правления: как женщина она была умна и добродушна (по рассказам наших отцов и всем известиям чужестранцев); как государыня – имела несчастье уважать Бирона[107], но имела достоинство огорчаться его жестокостью. Имя Елисаветы напоминает – если не чрезвычайные, великие дела, то по крайней мере веселый двор и счастливое царствование, которое после бывших строгостей казалось весьма человеколюбивым. Россия на первых местах государственных увидела

опять русских, снова услышала вокруг трона любезный язык свой, отдохнула и оживилась. При Елисавете родилась и торжествовала наша поэзия.² Счастливая песня делала счастье стихотворца, и какая-то нежность была общим характером двора государыни мягкосердечной, не хотевшей наказывать смертью и самых злых преступников. Довольно для приятной картины! – Наконец, не на одном троне сочинитель должен искать лиц для исторических портретов: он вспомнит, например, сию графиню Головкину, которая добровольно променяла столицу на Сибирь и год жила в землянке с мертвым телом супруга. Такое героическое супружеской любви давно бы прославлено было в целом свете, если бы русские умели и любили хвалиться добродетелями русских. Одним словом, *галерея славных россиянок* может быть весьма приятным сочинением, если автор, имея талант и вкус, изобразит лица живыми красками любви к женскому полу и к отечеству. Нужно ли сказывать, кому надлежало бы приписать такое сочинение *в наше время?*..

Записка о Н. И. Новикове*

Господин Новиков в самых молодых летах сделался известен публике своим отличным авторским дарованием: без воспитания, без учения писал остроумно, приятно и с целью нравственную; издал многие полезные творения, например: «Древнюю российскую вивлиофику», «Детское чтение», разные экономические, учебные книги. Императрица Екатерина II одобряла труды Новикова, и в журнале его («Живописце») напечатаны некоторые произведения собственного пера ее. Около 1785 года он вошел в связь по масонству с берлинскими теософами и сделался в Москве начальником так называемых *мартинистов*, которые были (или суть) не что иное, как *христианские мистики*: толковали природу и человека, искали таинственного смысла в Ветхом и Новом завете, хвалились древними преданиями, унижали школьную мудрость и проч.; но требовали истинных христианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в политику и ставили в закон верность к государю. Их общество, под

именем *масонства*, распространилось не только в двух столицах, но и в губерниях; открывались *ложы*; выходили книги масонские, мистические, наполненные загадками. В то же время Новиков и друзья его на свое иждивение воспитывали бедных молодых людей, учили их в школах, в университетах; вообще употребляли немалые суммы на благотворение. Императрица, опасаясь вредных тайных замыслов сего общества, видела его успехи с неудовольствием: сперва только шутила над заблуждением умов и писала комедии, чтобы осмеивать оное; после запретила *ложы*; – но, зная, что масоны не перестают *работать*, тайно собираются в домах, проповедают, обращают, внутренне досадовала и велела московскому градоначальнику наблюдать за ними. Три обстоятельства умножили ее подозрения. 1) Один из мартинистов, или теософистских масонов, славный архитектор Баженов, писал из С.-Петербурга к своим московским друзьям, что он, говоря о масонах с тогдашним великим князем Павлом Петровичем, удостоверился в его добром об них мнении. Государыне вручили это письмо. Она

могла думать, что масоны, или мартинисты, желают преклонить к себе великого князя. 2) Новиков во время неурожая роздал много хлеба бедным земледельцам. Удивлялись его богатству, не зная, что деньги на покупку хлеба давал Новикову г. Походяшин, масон, который имел тысяч шестьдесят дохода и по любви к благодеяниям в сей год разорился. 3) Новиков вел переписку с прусскими теософами¹, хотя и не политическую, в то время, когда наш двор был в явной неприязни с берлинским. Сии случаи, Французская революция и излишние опасения московского градоначальника решили судьбу Новикова: его взяли в Тайную канцелярию, допрашивали и заключили в Шлиссельбургской крепости, не уличенного действительно ни в каком государственном преступлении, но сильно подозреваемого в намерениях, вредных для благоустройства гражданских обществ. Главное имение Новикова состояло в книгах: их конфисковали и большую часть сожгли (то есть все мистические). Были тайные допросы и другим главным московским мистикам: двух из них сослали в их деревни; третьего, И. В.

Лопухина, который отвечал смелее своих товарищей, оставили в Москве на свободе. – Император Павел в самый первый день своего восшествия на престол освободил Новикова, сидевшего около четырех лет в душной темнице; призывал его к себе в кабинет, обещал ему свою милость, как невинному страдальцу, и приказал возвратить конфискованное имение, то есть остальные, несожженные книги.

Заклучим: Новиков как гражданин, полезный своею деятельностью, заслуживал общественную признательность; Новиков как теософический мечтатель по крайней мере не заслуживал темницы: он был жертвою подозрения извинительного, но несправедливого. Бедность и несчастье его детей подают случай государю милосердому вознаградить в них усопшего страдальца, который уже не может принести ему благодарности в здешнем свете, но может принести ее всевышнему.

**Речь, произнесенная на
торжественном собрании
императорской Российской
академии 5 декабря 1818 года***

Милостивые государи!
Первым словам моим должна быть благодарность за честь, которой вы меня удостоили: честь делить с вами труды полезные, в то время когда великий монарх новыми щедротами, излиянными на Академию, даровал ей новые средства действовать с успехом для образования языка, для ободрения талантов, для славы отечества. Цель важная и достойная ревности знаменитого общества, основанного Екатериною Второю, утвержденного Александром Первым! Не здесь нужно доказывать пользу сих благородных упражнений разума. Вы знаете, милостивые государи, что язык и словесность суть не только способы, но и *главные* способы народного просвещения; что богатство языка есть богатство мыслей; что он служит первым училищем для юной души, незаметно, но тем сильнее

впечатлевая в ней понятия, на коих основываются самые глубокомысленные науки; что сии науки занимают только особенный, весьма немногочисленный класс людей; а словесность бывает достоянием всякого, кто имеет душу; что успехи наук свидетельствуют вообще о превосходстве разума человеческого, успехи же языка и словесности свидетельствуют о превосходстве народа, являя степень его образования, ум и чувствительность к изящному.

Академия российская ознаменовала самое начало бытия своего творением, важнейшим для языка, необходимым для авторов, необходимым для всякого, кто желает предлагать мысли с ясностию, кто желает понимать себя и других. Полный словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иностранцев: наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями. Италия, Франция, Англия, Германия славились уже многими великими писателями, еще не имея Словаря: мы имели

церковные, духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного истинно *классического* (Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с знаменитыми творениями Академии флорентийской и парижской. Екатерина Великая... Кто из нас и в самый цветущий век Александра I может произносить имя ее без глубокого чувства любви и благодарности?.. Екатерина, любя славу России, как собственную, и славу побед и мирную славу разума, приняла сей счастливый плод трудов Академии с тем лестным благоволением, коим она умела награждать все достохвальное и которое осталось для вас, милостивые государи, незабвенным, драгоценнейшим воспоминанием.

Утвердив значение слов, избавив писателей от многотрудных изысканий, недоумений, ошибок, Академия предложила и систему правил для составления речи²: творение не первое в сем роде: ибо Ломоносов, дав нам образцы вдохновенной поэзии и сильного красноречия, дал и грамматику; но академическая решит более вопросов, содержит в себе более основательных замечаний, которые

служат руководством для писателей.

Не имев участия в сих трудах, я только пользовался ими: следственно, могу хвалить их без нарушения скромности и с чувством внутреннего удостоверения.

Но деятельность Академии при новых лестных знаках монаршего к ней внимания не должна ли, если можно, удвоиться? Изданием Словаря и Грамматики заслужив нашу благодарность, Академия заслужит, конечно, и благодарность потомства ревностным, неутомимым исправлением сих двух главных для языка книг, всегда богатых, так сказать, белыми листами для дополнения, для перемен, необходимых по естественному, беспре-
станному движению живого слова к дальнейшему совершенству: движению, которое пресекается только в языке мертвом. Сколько еще трудов ожидает вас, милостивые госуда-
ри! Выгодою или пользою всякого общества бывает свободное взаимное сообщение мыслей, наблюдений, суд, возражения, утверждающие истину. Здесь нет личности, нет самолюбия: честь и слава принадлежат всей Академии, не лицам особенным. Главным делом

вашим было и будет *систематическое образование языка*: непосредственное же его *обогащение* зависит от успехов общежития и словесности, от дарования писателей, а дарования – единственно от судьбы и природы. Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка, или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новые, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его, без всякого ученого законодательства с нашей стороны: мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка, не изобретаются, а в нем уже существуют: надобно только открыть или показать оные.

Но Академия, облегчая для таланта способы приобретать нужные ему сведения, может еще содействовать успехам его и другими средствами: наградами, определенными в *уставе*, и еще более справедливым оценением всякого нового труда, имеющего признаки истинного дарования, хотя еще и незрелого, хотя еще и слабого, не украшенного искусством: ибо слабый луч бывает иногда предте-

чею яркого света и кедр выходит из земли наравне с низким злаком. Никто не предпишет законов публике: она властна судить и книги и сочинителей; но ее мнение всегда ли ясно, всегда ли определительно? Сие мнение ищет опоры: если Академия посвятит часть досугов своих *критическому обзору российской словесности*, то удовлетворит, без сомнения, и желанию общему и желанию писателей, следуя правилу, внушаемому нам, и любовью к добру и самую любовь к изящному: *более хвалить достойное хвалы, нежели осуждать, что осудить можно*. Иногда чувствительность бывает без дарования, но дарование не бывает без чувствительности: должно щадить ее. Употребим сравнение не новое, но выразительное: что дыхание хлада для цветущих растений, то излишно строгая критика для юных способностей души: мертвит, уничтожает; а мы должны оживлять и питать – приветствовать славолубие, не устрашать его: ибо оно ведет ко славе, а слава автора принадлежит отечеству. Пусть низкое самолубие утешает себя нескромным охудением, в надежде возвыситься уничтожением дру-

гих: но вам известно, что самый легкий ум находит несовершенства; что только ум превосходный открывает бессмертные красоты в сочинениях. Где нет предмета для хвалы, там скажем все – молчанием. Когда увидим важные злоупотребления, новости неблагоприятные в языке, заметим, предостережем без язвительной укоризны. Судя о произведениях чувства и воображения, не забудем, что приговоры наши основываются единственно на вкусе, неизъяснимом для ума; что они не могут быть всегда решительны; что вкус изменяется и в людях и в народах; что удовольствие читателей рождается от их тайной симпатии с автором и не подлежит закону рассудка; что мы никогда не согласимся с англичанами или немцами во мнении о Шекспире или Шиллере; что пример изящного сильнее всякой критики действует на успехи литературы; что мы не столько хотим учить писателей, сколько ободрять их нашим к ним вниманием, нашим суждением, исполненным доброжелательства. Как ни приятна для автора хвала публики и самое одобрение академии, но будет еще приятнее, если соединится

с благонамеренным разбором книги его, с показанием ее красот особенных; когда опытный любитель искусства углубится взором, так сказать, в сокровенность души писателя, чтобы вместе с ним чувствовать, искать выражений и стремиться к какому-то образцу мысленному, который бывает целию, более или менее ясною, для всякого дарования. Самолюбие грубое довольствуется и *немою* хвалою: она нема, когда не изъясняет своего предмета; но самолюбие нежное требует хвалы *красноречивой*: она красноречива, когда изображает хвалимое.

Академия, желая возбудить деятельность умов, и прежде задавала темы писателям, обещая награды успеху: сей способ, одобряемый примером знаменитейших ученых обществ, Французской академии и других, без сомнения также весьма действителен, когда выбор предметов, соответствуя образованию народа, заманчив для ума и воображения, благоприятствует новости, богатству идей или картин, обращает внимание на истинное достояние искусства, где вещество ждет руки художника или мысль изображения. Скажут,

что всякий писатель следует собственному внутреннему влечению: избирает, что ему нравится, и не имеет нужды в указаниях. Нет, сии указания бывают иногда плодотворны: чуждое, новое, неожиданное имеет особенную силу для разума деятельного; он спешит присвоить данную ему мысль, вслед за нею стремится к другим и находит сокровища, которые без сего внешнего побуждения остались бы для него, может быть, недоступными. Обширное поле пред нами: философия нравственная с своими наблюдениями, история с преданиями, поэзия с вымыслами, светская и семейственная жизнь с картинами и характерами: везде предметы для гения, не чуждого россиянам и в самые темные времена невежества: ибо он не ждет иногда наук и просвещения, летит и блеском своим озаряет пустыни. Так в остатках нашей древности, в некоторых повестях, в некоторых песнях народных – сочиненных, может быть, действительно во мраке пустынь – видим явное присутствие сего гения; видим живость мыслей, ему свойственную; чувствуем, так сказать, его дыхание. Но он любит искусство и гражданское об-

разование: мелькает и во мраке, но красуется постоянно во свете разума; не есть наука, но заимствует от нее силу для высшего парения. Не дикие имеют Гомеров и Виргилиев. Прекрасный союз дарования с искусством заключен в колыбели человечества: они братья, хотя и не близнецы. Жалеем об утраченных песнях *древнего соловья* Бояна; жалеем, что «Слово о полку Игореве» одно служит для нас памятником российской поэзии XII века: но век Периклов, Августов ещё впереди для России: да настанет он в благословенное царствование Александра I и да назовется его великим именем!

По крайней мере желаем того. Видим новые училища, новые средства воспитания, новые ободрения для наук и талантов; видим счастливые дарования, любовь ко знаниям и к изящному, несомнительные успехи языка и вкуса, сильнейшее движение в умах – и, следовательно, можем надеяться. Пусть смелые приговоры некоторых критиков осуждают нашу словесность на подражание, утверждая, что она не имеет в себе ничего самородного, особенного: можем согласиться с ними, не охла-

ждая ревности наших писателей, или не согласиться, доказав неосновательность сего приговора. Петр Великий, могущею рукою своею преобразив отечество, сделал нас подобными другим европейцам. Жалобы бесполезны. Связь между умами древних и новейших россиян прервалася навеки. Мы не хотим подражать иноземцам, но пишем, как они пишут: ибо живем, как они живут; читаем, что они читают; имеем те же образцы ума и вкуса; участвуем в повсеместном, взаимном сближении народов, которое есть следствие самого их просвещения. Красоты *особенные*, составляющие характер словесности *народной*, уступают красотам общим; первые изменяются, вторые вечны. Хорошо писать для россиян: еще лучше писать для всех людей. Если нам оскорбительно идти позади других, то можем идти рядом с другими, к цели всемирной для человечества, путем своего века, не Мономахова и даже не Гомерова: ибо потомство не будет искать в наших творениях ни красот «Слова о полку Игореве», ни красот «Одиссеи», но только свойственных нынешнему образованию человеческих способ-

ностей. Там нет *бездушного подражания*, где говорит ум или сердце, хотя и *общим* языком времени; там есть *особенность личная*, или характер, всегда новый, подобно как всякое творение физической природы входит в класс, в статью, в семейство ему подобных, но имеет свое частное знамение. С другой стороны, Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского: для того ли, что не хотел, или для того, что не мог: ибо и власть самодержцев имеет пределы. Сии остатки, действие ли природы, климата, естественных или гражданских обстоятельств еще образуют народное свойство россиян; подобно как юноша еще сохраняет в себе некоторые особенные черты его младенчества, в физическом и нравственном смысле. Сходясь с другими европейскими народами, мы и разнствуем с ними в некоторых способностях, обычаях, навыках, так что хотя и не можно иногда отличить россиянина от британца, но всегда отличим россиян от британцев: во *множестве* открывается *народное*. Сию истину отнесем и к словесности: будучи зеркалом ума и чувства народного, она также

должна иметь в себе нечто особенное, незаметное в одном авторе, но явное во многих. Имея вкус французов, имеем и свой собственный: хвалим, чего они не хвалят; молчим, где они восхищаются. Есть звуки сердца русского, есть игра ума русского в произведениях нашей словесности, которая еще более отличится ими в своих дальнейших успехах. Молодые писатели нередко подражают у нас иноземным, ибо думают, ложно или справедливо, что мы еще не имеем великих образцов искусства: если бы сии писатели не знали творцов чужеземных, что бы сделали? *Подражали бы своим*; но и тогда *списки* их остались бы *бездушными*. А кто рожден с избытком внутренних сил, тот и ныне, начав подражанием, свойственным юной слабости, будет наконец *сам собою* – оставит путеводителей, и свободный дух его, как орел дерзновенный, уединенно воспарит в горних пространствах.

Сему-то возвышению отечественных талантов мы должны содействовать, милостивые государи, для их и нашей славы, для их и нашего удовольствия. Слава! Чье сердце, пока живо, может совершенно охладеть к ее вол-

шебным прелестям, несмотря на всю обманчивость ее наслаждений? Пленяя юношу своими лучезарными призраками, венком лавровым и плеском народным, она манит и старца к своим монументам долговечным, к памятникам заслуг и благодарности. Мы желали бы из самого гроба действовать на людей подобно невидимым добрым гениям и по смерти своей еще иметь друзей на земле. Но ежели слава изменяет, то есть другая, вернейшая, существеннейшая награда для писателя, от рока и людей независимая: *внутреннее утешение деятельного таланта*, изъясняющее для нас удивительную любовь к трудам и терпение, коему мы обязаны столь многими бессмертными творениями и которое Бюффон называл *превосходнейшим даром*: ибо не одни сочинители фолиантов, не одни антиквариаты имеют нужду в терпении: оно, может быть, еще нужнее для великого поэта, для великого оратора или великого живописца природы. «Удаленный от света и (сказал мне, в юности моей, старец Виланд) не имея ни читателей, ни слушателей, в дикой пустыне, среди необитаемого острова, я в восторге бе-

седовал бы с уединенною музою, неутомимо исправляя стихи мои, хотя бы и неизвестные миру». Вот тайна писателей, часто, но не всегда ласкаемых славою! Сильная мысль, истина, красота образа, выразительное слово, внезапно представляясь уму, оживляют душу и питают ее таким чистым, полным, ей *сродным* удовольствием, что она в сии счастливые минуты забывает всякое иное земное счастье. Когда, в торжественном безмолвии храма и пышного двора Людовикова, указывая на гроб великого Конде, бессмертный Боссюэт гремел священным гласом веры, совлекал блестящие покровы с суетного величия, обнажал ничтожность мирских идолов, унижал гордыню, но возвышал душу откровениями неба: тогда, волнуя сердца, видя везде слезы и сам обливаясь ими, он, без сомнения, наслаждался полнотою чувств своих и действия их на слушателей; но, может быть, еще более наслаждался, когда писал сию вдохновением ознаменованную речь; когда, углубясь в свою душу, черпал в ней сии разительные слова и мысли! Юноши, рожденные с истинными дарованиями! Призываем вас к учению и к тру-

дам: в них найдете для себя благороднейшие, неизъяснимые приятности – награду, которая выше похвал и славы!

Внутреннее удовольствие любимца муз действует всегда и на душу читателей: они вместе с ним восхищаются умом или сердцем, забывая иногда житейские беспокойства, переселяясь духом в тихий, спокойный мир умозрений, где обитают вечные истины, или вкушая сладость чувств добродетельных, которые одни имеют силу приводить нас в умиление. Видим иногда злоупотребление таланта; но цветы его на ядовитом поле разврата скоро увядают и тлеют: неувядаемость принадлежит единственно благу. В самых мнимых красотах порочного есть безобразие, оскорбительное не только для чувства нравственного, но и для вкуса в изящном, коего единство с добром тайно для разума, но известно сердцу. Низкие страсти унижают, охлаждают дарование; пламень его есть пламень добродетели.

Будучи источником душевных удовольствий для человека, словесность возвышает и нравственное достоинство государств. Вели-

кие тени Паскалей, Боссюэтов, Фенелонов, Расинов спасали знаменитость их отечества и в самые ужасные времена его мятежей народных. Если бы греки, если бы самые римляне только побеждали: мы не произносили бы их имени с таким уважением, с такою любовью; но мы пленялись «Илиадою» и «Энеидою», вместе с афинянами слушали Демосфена, с римлянами – Цицерона. Побеждали и могли: Тамерланы затмили бы Фемистоклов и Цесарей; но моголы только убивали, а греки и римляне питают душу самого отдаленного потомства вечными красотами своих творений. Для того ли образуются, для того ли возносятся державы на земном шаре, чтобы единственно изумлять нас грозным колоссом силы и его звучным падением; чтобы одна, низвергая другую, чрез несколько веков обширную своею могилою служила вместо подножия новой державе, которая в чреду свою падет неминуемо? Нет! И жизнь наша и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства; все бессмертие в их успехах! Сия мысль,

среди гробов и тления, утешает нас каким-то великим утешением. – Возвеличенная, утвержденная победами, да сияет Россия всеми блестящими дарами ума бессмертного; да умножает богатства наук и словесности; да слава России будет славою человечества – и да исполнится таким образом желание Екатерины Второй и Александра Первого!

Публицистика

Мелодор к Филалету*

Где ты, любезный Филалет? В каком уединении скрываешься? Какие предметы занимают душу твою? Чем питается твое сердце? Что делает тебе жизнь приятною? – И думаешь ли ныне о своем Мелодоре?

Ах! Где ты? Сердце мое тебя просит, требует. Оно помнит любезные твои взоры, сладкий голос и нежные, чувством согреваемые объятия, в которых жизнь бывала ему вдвое милее, – помнит и велит глазам моим искать тебя – велит рукам моим к тебе простираться!

Океан шумел между нами; теперь мы в одной земле – и не вместе! – Скажи слово, и Мелодор летит к тебе! – В ожидании сей минуты буду хотя писать к любезнейшему из друзей моих.

Пять лет мы не видались; сколько времени? Сколько перемен в свете – и в сердцах наших?.. Тысячи мыслей волнуются в душе моей. Я хотел бы вдруг перелить их в твою ду-

шу, без помощи слов, которых искать надобно; хотел бы открыть тебе грудь мою, чтобы ты собственными глазами мог читать в ней сокровенную историю друга твоего и видеть – прости мне смелое выражение – видеть все *развалины надежд и замыслов*, над которыми в тихие часы ночи сетует ныне дух мой, подобно страннику, воздыхающему на развалинах Илиона¹, стовратных Фив² или великолепного греческого храма, когда бледный свет луны освещает их!

Помнишь, друг мой, как мы некогда рассуждали о нравственном мире, ловили в истории все благородные черты души человеческой, питали в груди своей эфирное пламя любви, которого веяние возносило нас к небесам и, проливая сладкие слезы, восклицали: «Человек велик духом своим!»³ Божество обитает в его сердце!» Помнишь, как мы, сличая разные времена, древние с новыми, искали и находили доказательство любезной нам мысли, что род человеческий возвышается и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается к духовному совершенству. Ах! С какою нежностью обнимали мы в душе сво-

ей всех земнородных, как милых детей небесного отца! – Радость сияла на лицах наших – и светлый ручеек, и зеленая травка, и алый цветочек, и поющая птичка – все, все нас веселило! Природа казалась нам обширным садом, в котором зреет божественность человечества.

Кто более нашего славил преимущества осьмого-надесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений, и проч. и проч.? – Хотя и являлись еще некоторые черные облака на горизонте человечества, но светлый луч надежды златил уже края оных пред нашим взором – надежды: «Все исчезнет, и царство общей мудрости настанет, рано или поздно настанет, – и блажен тот из смертных, кто в краткое время жизни своей успел рассеять хотя одно мрачное заблуждение ума человеческого, успел хотя одним шагом приблизить людей к источнику всех истин, успел хотя единое плодоносное зерно добродетели

вложить рукою любви в сердце чувствительных и таким образом ускорил ход всемирного совершеня!»

Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностью, что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладутся истинными благами жизни.

О Филалет! Где теперь сия утешительная система?.. Она разрушилась в своем основании!

Осьмой-надесять век кончается; что же видишь ты на сцене мира? – Осьмой-надесять век кончается, и несчастный филантроп[108] меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки!

Кто мог думать, ожидать, предчувствовать?.. Мы надеялись скоро видеть человечество на горней степени величия, в венце сла-

вы, в лучезарном сиянии, подобно ангелу бо-
жью, когда он, по священным сказаниям, яв-
ляется очам добрых, – с небесною улыбкою, с
мирным благовестием! – Но вместо сего вос-
хитительного явления видим... фурий с гроз-
ными пламенниками!

Где люди, которых мы любили? Где плод
наук и мудрости? Где возвышение кротких,
нравственных существ, сотворенных для сча-
стия? – Век просвещения! Я не узнаю тебя –
в крови и пламени не узнаю тебя – среди
убийств и разрушения не узнаю тебя!..⁴ Небес-
ная красота прельщала взор мой, воспаляла
мое сердце нежнейшею любовью, в сладком
упоении стремился к ней дух мой, но – небес-
ная красота исчезла – змеи шипят на ее ме-
сте! – Какое превращение!

Свирепая война опустошает Европу⁵, сто-
лицу искусств и наук, хранилище всех драго-
ценностей ума человеческого, драгоценно-
стей, собранных веками, драгоценностей, на
которых основывались все планы мудрых и
добрых! – И не только миллионы погибают;
не только города и села исчезают в пламени;
не только благословенные цветущие страны

(где щедрая натура от начала мира изливала из полной чаши лучшие дары свои) в горестные пустыни превращаются – сего не довольно: я вижу еще другое, ужаснейшее зло для бедного человечества.

Мизософы[109] торжествуют. «Вот плоды вашего просвещения! – говорят они, – вот плоды ваших наук, вашей мудрости! Где воспылал огонь раздора, мятежа и злобы? Где первая кровь обогрила землю? И за что?.. И откуда взялись сии пагубные идеи?.. Да погибнет же ваша философия!» – И бедный, лишенный отечества, и бедный, лишенный крова, и бедный, лишенный отца, или сына, или друга, повторяет: «Да погибнет!» И доброе сердце, раздираемое зрелищем лютых бедствий, в горести своей повторяет: «Да погибнет!» – А сии восклицания могут составить наконец *общее мнение*: вообрази же следствия!

Кровопролитие не может быть вечно: я уверен. Рука, секущая мечом, утомится, сера и селитра истощатся в недрах земли, и грома умолкнут⁶, тишина рано или поздно настанет, – но какова будет тишина сия? Если мертвая, хладная, мрачная?

Так, мой друг, падение наук кажется мне не только возможным, но и вероятным, не только вероятным, но даже неминуемым, даже близким. Когда же падут они... когда их великолепное здание разрушится, благодетельные лампы угаснут – что будет? Я ужасаюсь и чувствую трепет в сердце! – Положим, что некоторые искры и спасутся под пеплом, положим, что некоторые люди и найдут их и осветят ими тихие, уединенные свои хижины, но что же будет с миром, с *целым* человеческим родом? Ах, мой друг! Для добрых сердец нет счастья, когда они не могут делить его с другими. Истинный мудрец благословляет мудрость свою для того, что может сообщать оную ближним; иначе – смею сказать – будет она бременем для его человеколюбивой души. Александр не принял сосуда с водою и не хотел утолять жажды своей тогда, когда все воинство его томилось; в сию минуту был он подлинно Великим Александром! Такие движения неизвестны эгоистам; зато первый враг истинной философии есть эгоизм.

Сверх того, внимательный наблюдатель видит теперь повсюду отверстые гробы для

нежной нравственности. Сердца ожесточаются ужасными происшествиями и, привыкая к феноменам злодеяний, теряют чувствительность. Я закрываю лицо свое!

Ах, друг мой! Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен, действием какого-нибудь чудного и тайного закона, ниспадать с сей высоты, чтобы снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оногo, подобно Сизифову камню, который, будучи взнесен на верх горы, собственною своею тяжестью скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? – Горестная мысль! Печальный образ!

Теперь мне кажется, будто самые летописи доказывают *вероятность* сего мнения. Нам едва известны имена древних азиатских народов и царств, но по некоторым историческим отрывкам, до нас дошедшим, можно думать, что сии народы были не варвары, что они имели свои искусства, свои науки; кто знает тогдашние успехи разума человеческого? Царства разрушались, народы исчезали, из праха их, подобно как из праха феникса,

рождались новые племена, рождались в сумраке, в мерцании, младенчествовали, учились и – славились. Может быть, зоны⁷ погрузились в вечность, и несколько раз сиял день в умах людей, и несколько раз ночь темнила души, прежде нежели воссиял Египет, с которого начинается полная история. Библиотека Озимандиасова была, конечно, не первая в мире, была, верно, не что иное, как спасенный остаток древнейших библиотек.

Египетское просвещение соединяется с греческим: первое оставило нам одни развалины, но великолепные, красноречивые развалины; картина Греции жива перед нами. Там все прельщает зрение, душу, сердце, там красуются Ликурги и Солоны, Кодры и Леониды, Сократы и Платоны, Гомеры и Софоклы, Фидии и Зевксисы – одним словом, там должно дивиться утонченным действиям разума и нравственности. Римляне учились в сей великой школе и были достойны своих учителей.

Что ж последовало за сею блестящею эпохою человечества? Варварство многих веков, варварство ума и нравов – эпоха, мрачная – сцена, покрытая черным флером для глаз чув-

ствительного философа!

Медленно редела, медленно прояснялась сия густая тьма. Наконец солнце наук воссияло, и философия изумила нас быстрыми своими успехами. Добрые, легковерные человеколюбцы заключали от успехов к успехам, исчисляли, измеряли путь ума, напрягали взор свой – видели близкую цель совершенства и в радостном упоении восклицали: «Берег!..» Но вдруг небо дымится, и судьба человечества скрывается в грозных туманах! – О потомство! Какая участь ожидает тебя?

Если опять возвратится на землю третий и четвертый-надесять век?.. Мы, конечно, не доживем до сего, но можем ли умирать покойно? И что надпишем над гробами своими? Разве скажем с Сарданапалом: «Прохожий! Услаждай свои чувства; все прочее ничто!» [110] – О, мой друг!

Печальные сомнения волнуют мою душу, и шумный город, в котором живу, кажется мне пустынею. Вижу людей, но взор мой не находит сердца в их взорах. Слышу рассуждения и опускаю глаза в землю. – Говорю, но ветер разносит слова мои... Мертвое эхо повто-

ряет их!

Иногда несносная грусть теснит мое сердце, иногда упадаю на колени и простираю руки свои – к невидимому... Нет ответа! – Голова моя клонится к сердцу.

Самая природа не веселит меня. Она лишилась венца своего в глазах моих с того времени, как не могу уже в ее объятиях мечтать о близком счастье людей, с того времени, как удалилась от меня радостная мысль о их совершенстве, о царстве истины и добродетели, с того времени, как я не знаю, что мне думать о феноменах нравственного мира, чего ожидать и надеяться!

Вечное движение в одном кругу, вечное повторение, вечная смена дня с ночью и ночи со днем, вечное смешение истин с заблуждениями и добродетелей с пороками, капля радостных и море горестных слез... Мой друг! Начто жить мне, тебе и всем? Начто жили предки наши? Начто будет жить потомство?

Суди о хаосе души моей, который представляет мне все творение в беспорядке! Смотрю на восходящее солнце и спрашиваю: почто восходишь? Стою под сению шумящего

дуба и спрашиваю: почто шумишь? – Теперь все существует для меня без цели.

Вообрази себе человека, заснувшего сладким сном в тихом своем кабинете, подле нежной супруги, среди милых детей и вдруг, очарованием каких-нибудь злых волшебников, пронесенного на степь Африканскую, – удары грома пробуждают его – несчастный открывает глаза, видит ночь и пустыню вокруг себя – изумляется – думает и не понимает, где он и что с ним случилось – слышит везде рев зверей и не знает, куда идти... Где мирное жилище его? Где нежная супруга? Где милые дети?.. Нет пути! Нет спасения!.. Он терзается, проливает слезы и устремляет взор на небо, но небо покрыто тьмою, небо грозно! – Состояние сего человека некоторым образом подобно моему.

Дружба, священная, любезная дружба! В твои объятия изливаю сердце мое – сердце, жестоко уязвленное, – горестные свои чувства. Оживи его благотворным своим бальзамом, услади нежным состраданием!

Филалет! Ты вместе со мною веселился некогда жизнью, природою, человечеством;

теперь скорби со мною или утешь меня!

Дух мой уныл, слаб и печален, но я достоин еще дружбы твоей, ибо я люблю еще добродетель! – Вот черта, по которой ты всегда узнаешь Мелодора, узнаешь и в бурю, и в грозу, и на краю могилы!

Филалет к Мелодору*

Мелодор! Слезы катились из глаз моих, когда я читал любезное письмо твое. Давно уже такие сладкие чувства не посещали моего сердца. Благодарю тебя! Самая неразрывная дружба есть та, которая начинается в юности, – неразрывная и приятнейшая.

Она сливается в чувствительной системе нашей со всеми пленительными воспоминаниями весенних лет, сего красного утра жизни, лучшей эпохи нравственного бытия. Два добрые сердца, привыкшие любить друг друга, находят в сей любви источник нежнейших удовольствий и добродетельнейших радостей. Ах, мой друг! Можешь ли сомневаться в постоянстве своего Филалета? Везде, где ни был я, – и в жарких и в холодных зонах, – везде образ твой путешествовал со мною, освеще-

жал томного странника под огненным небом
линии и согревал его в пределах льдистого
полюса. Наконец я в отечестве, и не с тобою?
Но мне сказали, что ты уехал в чужие земли.
К счастью, сие известие, огорчившее меня,
было несправедливо. Мелодор в одной стране
с Филалетом!.. Спеши, спеш к своему другу!
В сельских куцах ожидаю тебя – там, где
некогда с улыбкою встречали мы весну, с гру-
стию провожали лето, где заключился навеки
союз душ наших.

Мой друг! письмо твое озаменовано печата-
таю меланхолии. Ты беспокоен, ты печален,
сердце твое страдает, милые надежды твои
исчезли, ты ищешь на театре мира – и не на-
ходишь тех благородных существ, тех людей,
которых некогда любили мы с таким жаром.
Одним словом, новые ужасные происшествия
Европы разрушили всю прежнюю утешитель-
ную систему твою, разрушили и повергнули
тебя в море неизвестности и недоумений: му-
чительное состояние для умов деятельных!

Мелодор! Я не надеюсь утешить тебя со-
вершенно, не надеюсь сказать тебе ничего но-
вого, но любовь имеет особливую силу, и вся-

кий дар любви и всякое слово любви производит благое действие. Часто самая простая мысль, согретая огнем дружбы, бывает ярким лучом света, рассевающим густую хладную тьму сердца нашего.

Подобно тебе, смотрю я внимательным оком на все явления в мире, вздыхаю, подобно тебе, о бедствиях человечества и признаюсь искренно, что грозные бури наших времен могут поколебать систему всякого добродушного философа.

Но неужели, друг мой, не найдем мы никакого успокоения во глубине сердец наших? Ужели, в отчаянии горести, будем проклинать мир, природу и человечество? Ужели откажемся навеки от своего разума и погрузимся во тьму уныния и душевного бездействия? – Нет, нет! Сии мысли ужасны. Сердце мое отвергает их и, сквозь густоту ночи, стремится к благодворному свету, подобно мореплавателю, который в гибельный час кораблекрушения, – в час, когда все стихии угрожают ему смертью, – не теряет надежды, сражается с волнами и хватается рукою за плывущую доску.

Так, Мелодор! Я хочу спастись от кораблекрушения с моим добрым мнением о провидении и человечестве, мнением, которое составляет драгоценность души моей. Пусть мир разрушится на своем основании: я с улыбкою паду под смертоносными громами, и улыбка моя, среди всеобщих ужасов, скажет небу: «Ты благо и премудро, благо творение руки твоей, благо сердце человеческое, изящнейшее произведение любви божественной!»

Уничтожься навеки, мысленная и чувствительная сила моя, прежде нежели поверю, что сей мир есть пещера разбойников и злодеев, добродетель – чуждое растение на земном шаре, просвещение – острый кинжал в руках убийцы! Нет, мой друг! Пусть докажут мне наперед, что бог не существует, что провидение есть одно слово без значения, что мы дети случая, слепление атомов и более ничего! Но где же тот безумный изверг, который захотел бы уверить меня в сих страшных нелепостях? Я взгляну на сафирное небо, взгляну на цветущую землю, положу руку на сердце и скажу атеисту: «Ты – безумец!»

Неужели, видя бога в естественном мире,

видя руку его в течении планет, в порядках солнечных, в перемене годовых времен и во всех физических явлениях нашей земной обители, будем мы отрицать его действие в одном нравственном мире, который по существу своему должен быть, если смею сказать, ближе первого к сердцу великого божества? Соглашаюсь, что порядок нравственный не столь ясен для нас, как порядок физический, но сие затруднение не происходит ли от слабости нашего разума? Может быть, единственно оттого мы и не постигаем нравственной гармонии, что она есть высочайшая, совершеннейшая. Дай несведущему творения Локковы: что он скажет об них? Дай ему сказку Кребийльёнову: он восхитится ею. Последняя хороша в своем роде, но в ней ли наиболее удивляет нас ум человеческий? – Может быть, то, что кажется смертному великим неустройством, есть чудесное согласие для ангелов; может быть, то, что кажется нам разрушением, есть для их небесных очей новое, совершеннейшее бытие. Сии мысли ведут меня ко святилищу божественной премудрости, густым мраком окруженному; дух мой, брэн-

ною плотию одеянный, не может проникнуть в оное; упадаю во прах своего ничтожества и в младенческом сердце обожаю всетворящего.

Скажи, мой друг, скажи, чего бы нельзя было ожидать от всевышнего и тогда, когда брука его возжгла только единое солнце на голубом небесном своде? Но там горят их миллиарды. Тот, кто великолепно прославил себя в натуре, великолепно прославит себя и в человечестве. – Не будем требовать от вечной премудрости отчета в темных путях ее, не будем требовать того для собственного нашего спокойствия! – Знаешь ли, что всего более пленяет меня в дружбе? Доверенность, которую два сердца имеют одно к другому. Пусть гнусное злословие всеми стрелами своими язвит отдаленного Питиаса: Дамон внимает клевете и с презрением отвергает ее⁸. «Нет! я знаю моего друга; где бы он ни был, добродетель везде с ним; что бы он ни сделал, дело его – не преступление». Мелодор! Для чего к провидению не иметь нам той доверенности, которую два человека могут иметь один к другому? Бог вложил чувство в наше сердце,

бог вселил в мою и в твою душу ненависть ко злобе, любовь к добродетели: сей бог, конечно, обратит все к цели общего блага.

Сия драгоценная вера может чудесным образом успокоить доброе сердце, возмущенное страшными феноменами на театре мира. Вкуси сладость ее, мой любезный друг, и луч утешения кротко озарит мрак души твоей! – Горе той философии, которая все решить хочет! Теряясь в лабиринте неизъяснимых затруднений, она может довести нас до отчаяния, и тем скорее, чем естественно добрее сердце наше. Иногда, признаюсь тебе, я сам бываю слаб и печален; отвращаюсь от света, от людей и говорю с Грессетом:

Je suis mal où je suis, et je veux être bien;[111]

душа моя стремится во мрак каких-нибудь неизвестных лесов, во мрак – самого ничтожества, но я стараюсь уменьшать число таких минут в жизни моей, оживляя в душе мысль о всетворящем божестве, которое не есть божество Лукрециево, но есть божество Эпикурово. «Разве оно не любит человека! –

думаю сам в себе, – Разве оно не печется о судьбе людей? Разве мир наш не в его руке вместе с миллионами других миров?» Думаю, взираю на свод лазоревый, возношусь духом выше, выше – и взор мой проясняется, отираю слезы – и мирюсь с судьбою, мирюсь с человеческим родом. Иду в тихий кабинет свой, читаю добрых философов, утешителей, размышляю – и сравниваю жестокие потрясения в нравственном мире с лиссабонским или мессинским землетрясением, которое свирепствовало, разрушало и наконец утихло; на берегах Тага снова возвышается великолепный город – и обитатели Мессины снова наслаждаются мирною жизнью.

Будем, мой друг, будем и ныне утешаться мыслию, что жребий рода человеческого не есть вечное заблуждение и что люди когда-нибудь перестанут мучить самих себя и друг друга. Семя добра есть в человеческом сердце и не исчезнет вовеки, рука провидения хранит его от хлада и бурь. Теперь свирепствуют аквилоны, но рано или поздно настанет благодетельная весна, и семя распухнет от животворного дыхания зефиров.

Верю и всегда буду верить, что добродетель свойственна человеку и что он сотворен для добродетели. Кто не пленяется описанием золотого века, века невинности? Кто не проливает слез умиления, внимая повествованию о делах великодушия и геройства? Кто не любит воображать себя добрым, благодетельным существом? Мой друг! Я был среди так называемых просвещенных народов, был среди народов диких и видел, что везде, во всех странах человек делает зло с пасмурным лицом, а добро – с приятною улыбкою!.. Сия черта нравственности любезна философу.

Соглашаюсь с тобою, что мы некогда излишне величали осьмой-надесять век и слишком много ожидали от него. Происшествия доказали, каким ужасным заблуждением подвержен еще разум наших современников! Но я надеюсь, что впереди ожидают нас лучшие времена, что природа человеческая более усовершенствуется, – например, в девятом-надесять веке – нравственность более исправится-разум, оставив все химерические предприятия, обратится на устройство мирного блага жизни, и зло настоящее послужит к

добрю будущему.

Что принадлежит до мизософов, мой друг, то они никогда, никогда торжествовать не будут. Знаю, что распространение некоторых ложных идей наделало много зла в наше время, но разве просвещение тому виною? Разве науки не служат, напротив того, средством к открытию истины и к рассеянию заблуждений, пагубных для нашего спокойствия? Разве не истина, разве ложь есть существо наук? – Разогнем книгу истории; за что не лилась кровь человеческая? Например, распри суеверия вооружали сына против отца, брата против брата; но какой безумец вздумает обвинять тем самую религию? Напротив того, не она ли обезоружила наконец сих фанатиков, озарив светом своим, светом любви и кротости, их пагубные заблуждения? Нет, мой друг, нет! Я имею доверенность к мудрости властителей и спокоен; имею доверенность ко благодати всевышнего и спокоен. Нет! Свительник наук не угаснет на земном шаре. Ах! Разве не они служат нам отрадою в горестях? Разве не в их мирном святилище укрываемся от всех бурь житейских? Нет, всемогу-

щий не лишит нас сего драгоценного утешения добрых, чувствительных, печальных. Просвещение всегда благотворно; просвещение ведет к добродетели, доказывая нам тесный союз частного блага с общим и открывая неиссякаемый источник блаженства в собственной груди нашей; просвещение есть лекарство для испорченного сердца и разума; одно просвещение живодетельною теплотою своею может иссушить сию тину нравственности, которая ядовитыми парами своими мертвит все изящное, все доброе в мире; в одном просвещении найдем мы спасительный антидот для всех бедствий человеческих! – Кто скажет мне: «Науки вредны, ибо осьмой-надесять век, ими гордившийся, ознаменуется в книге бытия кровию и слезами», то му скажу я: «Осьмой-надесять век не мог именовать себя просвещенным, когда он в книге бытия ознаменуется кровию и слезами».

Мысли твои о вечном возвышении и падении разума человеческого кажутся мне – извини искренность дружбы – воздушным замком; я не вижу их основания. Положим, что в древней Азии были многочисленные народы,

но где же следы их просвещения? История застала людей во младенчестве, в начальной простоте, которая не совместна с великими успехами наук. Даже и в Египте видим мы только первые действия ума, первые магазины знаний, в которых истины были перемешаны с бесчисленными заблуждениями. Самые греки – я люблю их, мой друг; но они были не что иное, как – милые дети! Мы удивляемся их разуму, их чувству, их талантам, но так, как взрослый человек удивляется иногда разуму, чувству и талантам юного отрока. Читай вместе Платона и Боннета, Аристотеля и Локка – я не говорю о Канте – и потом скажи мне, что была греческая философия в сравнении с нашею? –

Для чего и теперь не думать нам, что веки служат разуму лестницею, по которой возвышается он к своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно?

Ты указываешь мне на варварство средних веков, наступившее после греческого и римского просвещения; но самое сие так называемое варварство (в котором, однако ж, от времени до времени сверкали блестящие, зрелые

идеи ума) не послужило ли в целом к дальнейшему распространению света наук? Солнце, рассеяв облака, сияет тем лучезарнее и тем благотворнее действует на землю. Дикая северная природа, которая в грозном своем нашествии гасила, подобно шумному дыханию бурея, светильники разума в Европе, наконец сами просветились, и новый фимиам воскурился музам на земном шаре.

Нет, нет! Сизиф с камнем не может быть образом человечества, которое беспрестанно идет своим путем и беспрестанно изменяется. Прохладим, успокоим наше воображение, и мы не найдем в истории никаких повторений. Всякий век имеет свой особый нравственный характер, — погружается в недра вечности и никогда уже не является на земле в другой раз.

Мой друг! Мы должны смотреть на мир как на великое позорище, где добро со злом, где истина с заблуждением ведет кровавую брань. Терпение и надежды! Все несправедливое, все ложное гибнет, рано или поздно гибнет; одна истина не страшится времени; одна истина пребывает вовеки! —

Природа уже не веселит тебя?.. тебя, моего доброго, моего любезного Мелодора? Нет, пока чувствительное сердце бьется в груди твоей, люби природу, утешайся ею, ищи радости в ее объятиях! Люди, по несчастному заблуждению, могут быть злы, природа – никогда! Нет, Мелодор! Будем всегда нежными чадами нежной матери, будем наслаждаться ее благодатью и бесчисленными красотами! Иногда жаркая слеза выкатится из глаз наших: кроткий зефир осушит ее.

В ответ на горестное заключение письма твоего скажу: «Если ужасное пробуждение описанного тобою несчастливца было не что иное, как новый сон, если он вторично откроет глаза, если все ужасы вокруг его исчезнут, если Морфей унесет их с собою в царство ничтожества и теней?..»

Мелодор! Нам не век жить в сем мире. Ударит час, и все переменится! С сею любовью к добродетели, которая была, есть и будет вечным характером души твоей, падем в могилу и закроемся тихою землею!..

*Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном,*

там венец бессмертия и радости ожидает
земных тружеников!

1794

Статьи политические из «Вестника Европы» 1802 года

Всеобщее обозрение*

Наконец мир в Европе. Исчезли ужасы десятилетней войны¹, которая потрясла основание многих держав и, разрушая, угрожала еще *большими* разрушениями; которая, не ограничиваясь Европою, разливала пламя свое и на все другие части мира и которая будет славна в летописях под страшным именем *войны революционной*. Особенным ее характером было всеобщее волнение умов и сердец. Кто не занимался ею с живейшим чувством? Кто не желал ревностно успехов той или другой стороне? И многие ли сохранили до конца сей войны то мнение о вещах и людях, которое имели они при ее начале? Она не только государства, но и самые души приводила в смятение.

Как после жестокой бури взор наш с горестным любопытством примечает знаки

опустошений ее, так мы вспоминаем теперь, что была Европа; сравниваем настоящее с прошедшим и удивляемся великим политическим изменениям сего десятилетия. Целые области совсем исчезли. Где Польша?[112] Где Венеция? Где многие княжества в Германии и в Италии? Сего мало: надобно, чтобы и в Африке отдались грома французской революции, – где славные египетские беи и древние мамелюки? Новые области явились в Европе: здесь воскресло древнее имя и царство Этрурии; тут Ломбардия превратилась в Чизальпинскую республику; на островах Средиземного моря образовалась новая Иония. Границы государств переместились, и авторы географических карт должны снова начать свою работу.

История заметит, что только одно европейское государство спаслось от кровопролития *революционной войны*, а именно Швеция, быв два раза в готовности воевать, сперва с французами, а после с англичанами. Смерть Густава удалила шведов от разрыва с республикою; кончина императора Павла I остановила их неприятельские действия против англичан.

История заметит также, что Франция, где воспылали первые искры мятежа, после многих чудесных перемен судьбы своей, при заключении славного для себя мира вошла точно в старинные свои границы, то есть в границы древней Галлии, с одной стороны по Рейн, а с другой – до внутренней Италии, с тою разницею, что галльские народы, соединяясь иногда в воинских предприятиях, часто и друг с другом воевали, не имели общего средоточия, ни единства воли, ни единства действий; а теперь 50 миллионов повинуются законам и гению одного человека, устремляют политические силы свои на один предмет, служат (так сказать) одною рукою для правления, и новый Цесарь, новый Кловис не страшен для новых галлов.

Подивимся игре неизъяснимого рока: сколько раз в течение сей войны республика по всем вероятностям разума должна была погибнуть?² В самом начале она казалась верною жертвою, без искусных генералов, без дисциплины, с толпами людей едва не безоружных или не умеющих владеть оружием, при ужасном беспорядке в правлении, среди

множества недовольных, явных и тайных внутренних неприятелей, желающих успеха *внешним*, которые в грозной и стройной многочисленности, под начальством славнейшего полководца, с именем лучших европейских армий, с опытными и храбрыми офицерами шли... не победить достойного их неприятеля, а только усмирить мятежников, и заняли стан в 180 верстах от Парижа! Еще четыре дни суворовского марша, и конец революции! Уже самые смелые жирондисты, Петюны и Бриссоты, в отчаянии своем хотят бежать из Парижа, увезти заключенного короля в южные провинции, в ущелинах и на хребте гор Пиренейских основать вторую Швейцарскую республику или погибнуть в пропастях. Вдруг соединенные армии, в испуге панического, *до сего времени* непонятного страха, бегут назад, а Дюмурье называет себя Ахиллесом, жалуется других генералов[113] в Аяксы и торжествует без победы! – Скоро другой благоприятный случай представляется союзникам. Принц Кобургский, ученик Рымникского, побеждает французов; их славный Ахиллес передается к австрий-

цам и хочет сам вести их к Парижу, в то время когда восстают лавандейцы, бьют республиканцев и готовы с другой стороны также идти к столице Франции и мятежа. Европа опять думает, что всему конец: consummatum est![114] Нет, надобно, чтобы союзники разделились; надобно, чтобы герцог Йоркский пошел к Дюнкирхену и дал Гушару способ разбить англичан; надобно, чтобы принц Кобургский не вовремя приступил к Мобёжу и после оставил Журдана в покое; надобно, чтобы король прусский, приучив французов к огню сражений (подобно как шведы учили в свое время армию Петра Великого), заключил с ними мир! – Наконец, французы имели уже великих генералов и многочисленное войско, узнавшее тайну победы. Италия, большая часть Германии была в их руках; Моро, Гош, особливо Бонапарте дали им имя *непобедимых*; казалось, что судьба республики уже решилась к ее славе. Но безумные властелины Директории, отправив Бонапарте в Египет вместе с их счастьем, снова поставили Францию на край бездны. Суворов, как Цесарь, пришел, увидел, победил – эрцгерцог разбил

Журдана – еще 35 тысяч русских вступает в Швейцарию – англо-российская армия идет к Амстердаму. Союзники действовали с жаром и с твердостью. Французское правление колебалось, утратило свою надежность и доверенность народа; оно не могло подкреплять армий, которые уже разучились побеждать и ждали, так сказать, с часу на час конца своего. – Герой италийский, эрцгерцог и генерал Корсаков должны были вдруг напасть на Массену, разбить, истребить его, вступить через Швейцарию во Франш-Конте и прямо идти к Парижу, не имея перед собою ни крепостей, ни армий. Французы чувствовали свое бедственное состояние, и я помню речь одного из знаменитейших членов пятисотного совета, Эшассерио, который уже говорил об эшафотах для республиканцев. Может быть, австрийцы позавидовали славе русских; может быть, Тугут ошибся в расчетах своей тонкой и глубокой политики; может быть... Как бы то ни было, но отступление австрийской армии к Мангейму все расстроило и переменяло в системе войны. С сего времени счастье снова обратилось лицом к французам и не переста-

вало уже до конца служить им. – Таким образом, республика *три раза* была в самом отчаянном состоянии; три раза политические медики осуждали ее на смерть; но судьба в течение сей войны более нежели когда-нибудь играла случаями и приводила в недоумение ум человеческий. Первому году нового века принадлежала слава общего мира, который был необходимостью всех народов после долговременных бедствий. Война не могла уже иметь прежней цели своей: опасные и безрассудные якобинские правила, которые вооружили против республики всю Европу, исчезли в самом своем отечестве, и Франция, несмотря на имя и некоторые республиканские формы своего правления, есть теперь, в самом деле, не что иное, как истинная монархия. Римский император, потеряв Брабант (где всегда с большими издержками надлежало ему иметь многочисленную армию) и Ломбардию (которая, в самом деле, приносила ему мало существенной пользы), награжден за то Венециею, которая вводит Австрию в число морских держав. Россия и Франция не могли ничего требовать друг от друга: им

оставалось только возобновить коммерческие связи свои. Мир Франции с Портою дает первой многие торговые выгоды, а для последней спасителен тем, что Англия и Франция обязываются хранить целость ее владений. Но король сардинский, герцог тосканский и немецкие князья остаются жертвами общего покоя; они виноваты, ибо слабость есть вина в политике!

Мир республики с Англиею казался весьма трудным: он удивил Европу своими условиями. Франция берет все назад, Англия выигрывает только один мир, платя за то *почти* всеми своими блестящими завоеваниями и выгодами исключительной торговли, которыми она во всю войну пользовалась и которые должно теперь разделить ей с другими народами. Трудно сказать, что именно заставило английское министерство быть столь великодушным и бескорыстным, но, конечно, не одно желание пресечь кровопролитие и угодить народу; такого человеколюбия и снисхождения не можем предполагать в Аддингтоне и Гакесбури, особливо ж зная то, что они действовали по мыслям Питта, который сла-

вен умом, а не мягким сердцем и который готов был целым миром жертвовать пользе своего отечества. Известно, что Аддингтон, перед самым подписанием мирных условий, несколько дней провел в деревне с Питтом. Любопытный человек хотел бы подслушать сих двух знаменитых министров, когда они, сидя под ветвями какого-нибудь величественного дерева, рассуждали о судьбе мира, угадывали все возможности и сравнивали одни с другими! Может быть, они предвидели, что европейские державы, желая мира, принудили бы наконец Англию исполнить сие желание, самым тем средством, которое хотел употребить Павел I, то есть закрыв для нее все свои гавани³; может быть, они предвидели, что вечная война обременила бы английский народ несносными налогами или произвела бы неминуемое государственное банкротство; может быть, они в самом деле боялись, чтобы французы рано или поздно не сделали высадки в Англии или в Ирландии, где все еще таились искры бунта. Догадки наши будут сомнительны; но человечество, без всякого сомнения, благодарно английским министрам,

что они по осторожности или неосторожности заключили мир.

Английский народ вне себя от радости. Все лондонские журналисты прославляют министерство, и старинные противники его Фокс, Шеридан, Тирней хвалят мир... Любопытно было слышать Питта, когда он в собрании нижнего парламента говорил о должном уважении к французскому правительству и к Бонапарте, называя его прежде корсиканским разбойником! Но лорд Гренвиль, бывший государственный секретарь, и Виндам, бывший министр военный, прежние друзья Питтовы, говорили с великим жаром против мира; особливо Виндам, который в пророческом иступлении воскликнул: «Англия погибла! Пусть веселится народ; но скоро увидит он свое заблуждение! Сии радостные огни, пылающие теперь в Лондоне, кажутся мне печальными светильниками погребения. Одни непримиримые враги наши воспользуются миром, и мы рано или поздно будем жертвою их коварно-ласковой улыбки! Они цветами притворного дружелюбия усыпят нам путь к могиле! Несчастное отечество! Гроб для тебя

уже отверзается!» Красноречивый экс-министр содержанием речи и голосом своим заставил плакать многих зрителей и самых членов парламента. Но чего ж хотел он? Вечной войны! «С французами, – сказал Виндам, – нельзя помириться, между прочим, и для того, что супружество основано у них на одном гражданском контракте!» Он не удовольствовался другими, сильнейшими доказательствами.

Экс-министр видел в будущем, конечно, излишние ужасы для Англии; но то правда, что приобретение гишпанского острова Троицы и голландского Цейлона не могут наградить ее за войну, которая стоила ей более 3000 миллионов рублей; что Франция в мирное время, конечно, умножит флоты свои и что Великобритания хотя не скоро, но верно должна утратить первенство свое на море. – Остров св. Троицы производит сахар, хлопчатую бумагу и множество разных плодов; он всего важнее для англичан тем, что доставляет им удобное средство торговать с гишпанскою Америкою. Цейлон славен жемчужною ловлею и своею корицею. Лондонские журна-

листы говорят, что мореплаватели, приближаясь к нему, за несколько миль уже чувствуют благоухание! – Но главным приобретением Англии в течение сей войны[115] останется слава ее непобедимых флотов, истребивших морские силы Франции, Голландии, Гиспаниии. – Думаю, что в тайных статьях мира английского министерство не забыло несчастных принцев Бурбонского дому и штатгальтера. Сей последний, выезжая из Лондона, написал к королю умное и хотя благодарное, но гордое письмо, достойное потомка Вильгельмова и Маврикиева.

Если английский народ обрадовался миру, то радость французов была еще живее и основательнее, особливо в городах приморских и торговых, которые с восхищением увидели *дружественный* флаг Великобритании в своих гаванях и спешат теперь отправлять корабли во все части света. Усердие к Бонапарте дошло до высочайшей степени: со всех сторон пишут к нему благодарные письма, в которых называют его *спасителем республики, первым героем всех веков, единственным*, и проч. и проч. Он, конечно, заслужит призна-

тельность французов, если, разрушив мечту равенства, которая всех их делала равно несчастными, и восстановив религию, столь нужную для сердца в мире превратностей, не менее нужную и для целостности государств, отеческим правлением загладит бедственные следы революции, даст республике мудрую систему гражданских законов, будет искренним покровителем наук, художеств, торговли и на сем основании утвердит благоденствие Франции, миролюбивою политикою согласив ее выгоды с выгодами других держав. Тогда сей монарх-консул оправдает дело судьбы, которая возвела его из праха на такую степень величия.

Многие политики боятся решительного влияния Франции на участь Европы. «Мы верим миролюбию и благоразумию консула Бонапарте, – говорят они, – верим, что он не возмутит спокойствия держав и будет заниматься только внутренним благом государства; но когда другой со временем заступит его место и, не будучи, подобно ему, насыщен воинскою славою, захочет лавров, имея в своих руках Францию и еще три республики, которые

непременно должны от нее зависеть: что будет тогда с Европою, по крайней мере с Германиею и с Италиею?» Сей страх не совсем основателен. Союз России, Австрии, Пруссии и Англии может всегда ограничивать внешние действия Франции и противоборствовать всякому злоупотреблению силе ее. На одной стороне сии четыре державы, а на другой – Французская республика, Голландская, Швейцарская и Чизальпинская (прибавим к ним еще и Гишпанию) составят то равновесие, которое нужно для политического благосостояния Европы.

Удалим теперь от мыслей своих все печальное. Небо прояснилось над нами; некоторые остатки туч видны еще на горизонте, но мы с сердечным удовольствием смотрим на светлые места его. Австрия отдыхает после кровопролитной войны, и правительство ее старается ввести во все части государственной системы лучший порядок и согласие. Немецкие принцы надеются на следствие Регенсбургского сейма или Амьенского конгресса. Голландия, в самых революциях спокойная и флегматическая, занимается новыми

планами для воскресающей торговли своей и отправляет губернаторов в Африку и в Америку. Пруссия, Дания и Швеция представляют счастливую картину мудрого начальства и довольных подданных. Россия видит на троне своем любезного сердцу монарха, который всего ревностнее желает ее счастья, взяв себе за правило, что добродетель и просвещение должны быть основанием государственного благоденствия. Все изданные им законы сообразны с духом времени и служат залогом его человеколюбивых намерений. — Обращая взор от севера к югу, видим, и там приятные действия надежды. На Альпах раздается голос, требующий восстановления древней гельветической свободы, уничтоженной безрассудными французскими директорами. Республиканская свобода и независимость принадлежит Швейцарии так же, как ее гранитные и снежные горы; человек не разрушит дела природы, и Бонапарте дает Теллевым потомкам волю утвердить судьбу свою без всякого чуждого влияния. Чизальпинская республика, быв долгое время под опекою, ожидает наконец своей независимости и свобод-

ного политического бытия. Многочисленные депутаты ее, избранные из всякого состояния, епископы и воины, ученые и купцы, спешат в Лион, где Бонапарте вместе с ними назначит главных чиновников их республики и, таким образом, довершит свое творение, которое всегда было особенным предметом любви его. Луциан Бонапарте, второй брат французского консула, человек пылкий, умный и красноречивый, будет, как думают, чизальпинским консулом или президентом. — Пьемонт по крайней мере спокоен. Судьба его не решена; невероятно, что Франция разделит его с Чизальпинскою и Лигурийскою республикою. Сия последняя должна опять иметь своего дожа; следственно, Бонапарте умеет иногда предпочитать старое новому. Тоскана, возвышенная им на степень королевств, ожидает от кроткого своего монарха счастливых дней Леопольдовых. — Римскому первосвященнику возвращено все, кроме Лаокона, Геркулеса Фарнезского, Бельведерского Аполлона и славнейших произведений Рафаэлевой кисти, о которых Рим никогда жалеть не перестанет. — Мы не сказали бы ни слова о бедственном Неапо-

ле, если бы он, напоминая ужасы, в то же время не напоминал и славной дисциплины шести тысяч русских, которые спасли его от дальнейших исступлений италиянской злобы. Несчастлива та столица, в которую государь не спешит возвратиться! – Мальта была уже давно забыта историею; но теперь снова займет в ней несколько страниц, быв *яблоком раздора* между двумя державами. Ордену возвращается древняя столица; но вероятно, что в его статутах будут некоторые перемены и что для увенчания общего мира мальтийские кавалеры великодушно согласятся оставить в покое и самых неверных! – Константинополь торжествовал победы! Еще с большею радостью должно ему торжествовать мир, который служит временною опорой для ветхого Магометова трона. Любопытно знать, на что решится теперь Пасван-Оглу, один из немногих людей в Европе, которые не радуются общему миру! – О Гишпании и Португалии можно сказать единственно то, что первая будет зависеть от Франции так же, как вторая от Англии, с тою разницею, что Гишпания хотела бы прервать свои узы, а Португалия защи-

щает ими бытие свое. *Князь мира*, доказав, что он может быть и *князем войны*, отдыхает на своих лаврах и пользуется всею доверенностью короля.

Желаем, чтобы Амьенский конгресс был в истории славнее всех Утрехтских и Ахейских конгрессов;⁴ чтобы с него началась новая эпоха не только для политики, но и для самого человечества. По крайней мере истинная философия ожидает хотя сего единственного счастливого действия ужасной революции, которая останется пятном осьмого-надесять века, слишком рано названного *философским*. Но девятый-надесять век должен быть счастливее, уверив народы в необходимости законного повиновения, а государей – в необходимости благодетельного, твердого, но отеческого правления. Сия мысль утешительна для сердца, которое в самых бедствиях человеческого рода находит, таким образом, залог добра для будущих времен.

Мы желаем уведомлять наших читателей о мирном благоденствии держав, о полезных учреждениях во всех землях, о новых мудрых законах, более и более утверждающих сердеч-

ную связь подданных с монархами. Военные громы возбуждают нетерпеливое любопытство: успехи мира приятны сердцу. Оставляя издателям «Ведомостей» сообщать в отрывках всякого рода политические новости, мы будем замечать только важные, и «Вестник Европы» в продолжении своем может составить избранную библиотеку литературы и политики.

Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени*

Все те, которые имеют счастье мыслить и судить беспристрастно, должны согласиться, что никакое время не обещало столько политического и нравственного благоденствия Европе, как наше. Революция объяснила идеи: мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства; что, разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти; что самое турецкое правление лучше анархии, которая

всегда бывает следствием государственных потрясений; что все смелые теории ума, который из кабинета хочет предписывать новые законы нравственному и политическому миру, должны остаться в книгах вместе с другими, более или менее любопытными произведениями остроумия; что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума; что одно время и благая воля законных правительств должны исправить несовершенства гражданских обществ; и что с сею доверенностию к действию времени и к мудрости властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться охотно и делать все возможное добро вокруг себя.

То есть Французская революция, грозившая испровергнуть все правительства, утвердила их. Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться благодетельными, то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только воинскою силою, но и внутренним убеждением разума.

С самой половины осьмого-надесять века

все необыкновенные умы страстно желали великих перемен и новостей в учреждении обществ; все они были в некотором смысле врагами настоящего, теряясь в лестных мечтах воображения. Везде обнаруживалось какое-то внутреннее неудовольствие; люди скучали и жаловались от скуки; видели одно зло и не чувствовали цены блага. Проницательные наблюдатели ожидали бури; Руссо и другие предсказали ее с разительною точностию; гром грянул во Франции... Мы видели издали ужасы пожара, и всякий из нас возвратился домой благодарить небо за целость крова нашего и быть рассудительным!

Теперь все лучшие умы стоят под знаменами властителей и готовы только способствовать успехам настоящего порядка вещей, не думая о новостях. Никогда согласие их не бывало столь явным, искренним и надежным.

С другой стороны, правительства чувствуют важность сего союза и общего мнения, нужду в любви народной, необходимость истребить злоупотребления. Почти на всех тронах Европы видим юных государей, деятельных и ревностных к общему благу. Револю-

ция была злословием свободы: правительства, не хвалясь именем, дозволяют гражданам пользоваться всеми ее выгодами, согласными с основанием и порядком общества. Революция обещала равенство состояний: государи вместо сей химеры стараются, чтобы гражданин во всяком состоянии мог быть доволен; чтобы некоторое не было презрительным или угнетенным. Будем справедливы: где теперь добрый человек не может наслаждаться безопасностью? Свирепствует ли где-нибудь тиранство в Европе, если исключим Турцию? Не везде ли обещают наукам покровительство? Не везде ли начальства желают способствовать успехам воспитания и просвещения, которое есть не только источник многих удовольствий в жизни, но и самой благородной нравственности; которое образует мудрых министров, достойных орудий правосудия, сынов отечества в семействах, рождая чувства патриотизма, чести, народной гордости; и без которого люди служат только одному идолу подлой корысти. Государи, вместо того чтобы осуждать рассудок на безмолвие, склоняют его на свою сторону. Будучи, так

сказать, вне обыкновенной гражданской сферы, вознесенные выше всех низких побуждений эгоизма, которые делают людей несправедливыми и даже злыми; наконец, имея все, они должны и могут чувствовать только одну потребность: *благотворить* и, смотря на всякого гражданина, думать: «Я заслужил любовь его!»

В самой литературе, которая столь сильно действует на умы, видим мы полезное следствие революции. Прежде сей эпохи всякая дерзкая книга была модною: ныне, напротив того, писатели боятся оскорбить нравственность, ибо перед всяким жива картина бедствий, произведенных во Франции развратом; даже в самых дурных романах соблюдается какая-то благопристойность и уважение к святыне нравов: ибо сего требует счастливое расположение умов и сердец. Вольтер не мог бы ныне прославиться некоторыми насмешками, Буланже – педантством, Ламетри – безумием. Литература, более нежели когда-нибудь способствуя истинному просвещению, обратилась ныне к утверждению всех общественных связей.

Дружественный союз народов, благопри-
ятствуя взаимному сообщению великих умов,
подает справедливую надежду, что науки обо-
гатятся еще открытиями новых феноменов
или следствий, новых отношений любопыт-
ства к пользе, которая есть истинное совер-
шенство учености. Науки физические еще да-
леки от своих крайних пределов; натура име-
ет много таинственного; время и опыты мо-
гут снять еще многие покровы и завесы на ее
необозримой сцене... И не только физические
науки, но и самая мораль открывает обшир-
ное поле для новых соображений ко благу лю-
дей. Мы несравненно богаче древних идеями
и знанием человеческого сердца; однако ж не
истощили нравственных наблюдений и не
всеми известными воспользовались для
утверждения своих понятий о человеке и спо-
собах счастья, которое должно быть главною
наукою человечества и которого не могут
дать сердцу самые мудрейшие правитель-
ства: ибо оно есть дело судьбы, ума и характе-
ра.

Взор русского патриота, собрав приятные
черты в нынешнем состоянии Европы, с удо-

вольствием обращается на любезное отечество. Какой надежды не можем разделять с другими европейскими народами мы, осыпанные блеском славы и благодеяниями человеколюбивого монарха? Никогда Россия столько не уважалась в политике, никогда ее величие не было так живо чувствуемо во всех землях, как ныне. Италианская война доказала миру, что колосс России ужасен не только для соседей, но что рука его и вдали может достать и сокрушить неприятеля. Когда другие державы трепетали на своем основании, Россия возвышалась спокойно и величественно. Довольная своим пространством, естественными сокровищами и миллионами жителей, не имея ни в чем совместников, не желая ничьей гибели, не боясь никакой державы, не боясь даже и союзов против себя (ибо они не согласны с особенными выгодами государств в отношении к ней), она может презирать обыкновенные хитрости дипломатики и судьбою избрана, кажется, быть истинною посредницею народов.

Главным, важнейшим благом в ее внутреннем состоянии назову я... нынешнее об-

щее спокойствие сердец; оно всего дороже и милее; оно есть верное доказательство мудрости начальства в гражданском порядке. С другой стороны, друг людей и патриот с радостью видит, как свет ума более и более стесняет темную область невежества в России; как благородные, истинно человеческие идеи более и более действуют в умах; как рассудок утверждает права свои и как дух россиян возвышается. Не только в столицах, но и в самых отдаленных губерниях находим между благородными достойных членов государства, знающих его потребности, судящих справедливо о людях и действиях. Наше среднее состояние успевает не только в искусстве торговли, но многие из купцов спорят с дворянами и в самых общественных сведениях. Кто из нас не имел случая удивляться их любопытству, здравому рассудку и патриотическим идеям? Они чувствуют более нежели когда-нибудь важность прав своих и никому не завидуют. Сельское трудолюбие награждается ныне щедрее прежнего в России, и чужестранные писатели, которые беспрестанно кричат, что земледельцы у нас несчастливы, удивились

бы, если бы они могли видеть их возрастающую промышленность и богатство многих; видеть так называемых *рабов*, входящих в самые торговые предприятия, имеющих доверенность купечества и свято исполняющих свои коммерческие обязательства! Просвещение истребляет злоупотребление господской власти, которая и по самым нашим законам не есть тиранская и неограниченная. Российский дворянин дает нужную землю крестьянам своим, бывает их защитником в¹ гражданских отношениях, помощником в бедствиях случая и натуры: вот его обязанности! За то он требует от них половины рабочих дней в неделе:¹ вот его право!

Но патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть; и, жалея о тех людях, которые смотрят на вещи только с дурной стороны, не видят никогда хорошего и вечно жалуется, мы не хотим впасть и в другую крайность; не хотим уверять себя, что Россия находится уже на высочайшей степени блага и совершенства. Нет, мудрое правление наше тем счастливее, что оно может сде-

дать еще много добра отечеству.

Например (не говоря о другом): каким великим делом украсится еще век Александров, когда исполнится монаршая воля его; когда будем иметь полное, методическое собрание гражданских законов, ясно и мудро написанных?² Я не удивляюсь (как некоторые), что законы Ярославовы ценили деньгами убийство и вооружали родственников убитого кинжалом мести; не удивляюсь, что «Судебник» царя Иоанна велит решить сомнительные дела поединком; не удивляюсь, что в «Уложении» царя Алексея Михайловича нет философических сентенций и что законодатель не предвидел случаев нашего времени: ибо знаю, что все европейские народы в разные эпохи имели такие же несовершенные законы, как и мы. «Правда» Ярославова есть кодекс всех северных народов, разрушителей Римской империи и завоевателей Европы. «Судебник» Иоаннов ознаменован печатью средних веков, когда дух рыцарства и живая вера к праведным действиям неба ввели в законное обыкновение поединок. Авторы «Уложения» знали уже, как видно, Иустинианов кодекс,

но имели у себя в виду единственно тогдашнее состояние России. Указы отца отечества, императрицы Анны, Елисаветы, особливо Екатерины Великой решат все важнейшие вопросы о людях и вещах в порядке гражданского³: нужна только философическая метода для расположения предметов; но совершение сего дела будет славно для монарха и государства. Метода и порядок заключают в себе какую-то особенную силу для разума, и судья, обнимая одним взором систему законов, удобнее впечатлевает их в душу свою. Тогда мы не позавидуем Фридрихову (вновь исправленному) кодексу; не позавидуем умному плану французского и пожалеем об англичанах, которых судилища беспрестанно запутываются в лабиринте несогласных установлений (writs), служащих им правилом. Великая Екатерина даровала нам систему политических уставов, определяющих права и отношения состояний к государству. Александр дарует нам систему гражданских законов, определяющих взаимные отношения граждан между собою. Тогда законоведение будет наукою всех россиян и войдет в систему об-

щего воспитания.

Мы упомянули о воспитании: можно сказать, что дети у нас воспитываются лучше отцов своих; но сколько еще желаний и надежд, в рассуждении сего предмета, имеет в запасе патриотическое сердце? Каким общим нравственным правилам следуют родители в образовании детей своих? Много ли у нас характеров? И молодой человек с *решительным образом мыслей* не есть ли редкое явление? Давно называют свет бурным океаном: но счастлив, кто плывет с компасом! А это дело воспитания. Родители, оставляя в наследство детям имение, должны присоединить к нему и наследство своих опытов, лучших идей и правил для счастья. Хорошо, если отец может поручить сына мудрому наставнику; еще лучше, когда он сам бывает его наставником: ибо натура дает отцу такие права на юное сердце, каких никто другой не имеет. Что мешает родителям заниматься детьми? По большей части светская рассеянность, действие полупросвещения в людях и в государствах. Взглянем на великих мужей, одаренных превосходными талантами ума: все они – не знаю, будет

ли исключение, – все они, говорю, любят семейственные удовольствия. Взглянем и на самые народы: Англия есть, без сомнения, просвещеннейшая земля в Европе, и нигде люди не наслаждаются столько приятностями тихой домашней жизни, как в Англии. Просвещение ценит удовольствия и выбирает лучшие: а могут ли ничтожные светские забавы сравняться с нежными чувствами супруга и родителя, который, дав жизнь детям, дает им и мысли и чувства; ежедневно видит развитие души их, веселится ими как своею милою собственностью и готовит свету *украшенные нравственные образы самого себя*? Совершенное просвещение находит средство наслаждаться временем, а несовершенное хочет только избавляться от него: дикий американец от скуки целый день качается на ветвях. – Европейец, презирая его невежество, от скуки бежит из дому – играть в карты! Дни летят, и он доволен; но с ними летит и жизнь – старость с болезнию приходит к нам в гости, и мы невольным образом должны наконец *поселиться дома*. Новые привычки тягостны накануне смерти! Нежный отец се-

мейства не знает по крайней мере сей тягости; жив всегда дома, не имеет нужды привыкать в старости к кабинету, и на что ни взглянет вокруг себя, везде находит утешительные воспоминания; всякий бездушный предмет есть для него старый друг, приятно беседующий с ним о минувшем времени. И сколь неравное право на любовь и благодарность детей имеют два отца, из которых один сам воспитал их, а другой только нанимал учителей! Будет время, когда сия любовь и благодарность составят для нас главное удовольствие в жизни: подумаем об нем заранее!.. Я говорил только о счастии заниматься воспитанием детей; но, с другой стороны, оно есть и долг гражданина, обязанного в семействе своем образовать достойных Сынов отечества. В республиках предписывались для того законы; родительская нежность считалась гражданским достоинством и правом на общественную благодарность: ибо нежный отец семейства есть всегда нежный сын отечества, с судьбою которого соединена участь детей его. – Наконец скажем, что без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все

школы, институты и пансионы.

Любя жить дома, мы имели бы более способов заниматься не только воспитанием детей, но и хозяйством, которое заставило бы нас лучше соображать расходы с доходами. Безрассудная роскошь, следствие рассеянной жизни, вредна для государства и нравов. Человек, разоряясь, прибегает ко всем средствам спастись от бедности, и к самым незаконным; он скорее другого может притеснить своих крестьян и, питая гнусную алчность ростовщиков, поневоле обманывать честных заимодавцев; доверенность истребляется, и невинный терпит за виновного. Мы нередко видим, что самые богатые люди живут в нужде от беспорядка в хозяйственных делах и неизвинительного мотовства. Вечеру великолепное освещение, огромная музыка, живописные Терпсихорины группы и на столе произведения всех частей мира; а на другой день низкие поклоны заимодавцам! Хотят удивить иностранцев; хотят дать им выгодную идею о нашем вкусе, уме, просвещении... Усердные любители отечественной славы! Россия увольняет вас от таких патриотических уси-

лий, от пятидесяти *сюрпризов* в один вечер и даже от французских куплетов; она требует от вас одной рассудительности, честности, одних гражданских и семейственных добродетелей; требует, чтобы вы заставляли иностранцев удивляться не мотовству своему, а порядку в ваших идеях и домах: вот действие истинного просвещения! – Я послал бы всех роскошных людей на несколько времени в деревню, быть свидетелями трудных сельских работ и видеть, чего стоит каждый рубль крестьянину: это могло бы излечить некоторых от суетной расточительности, платящей сто рублей за ананас для десерта. «Но богатством должно пользоваться?» Без сомнения. Во-первых, заплатите долги свои; во-вторых, приведите крестьян ваших, если можно, в лучшее состояние; а потом оставьте отечеству памятники вашей жизни. Сделайте что-нибудь долговременное и полезное; учредите школу, гошпиталь; будьте отцами бедных и превратите в них чувство зависти в чувство любви и благодарности; ободряйте земледелие, торговлю, промышленность; способствуйте удобному сообщению людей в госу-

дарстве: пусть этот новый канал, соединяющий две реки, и сей каменный мост, благодеяние для проезжих, называется вашим именем! Тогда иностранец, видя столь мудрое употребление богатства, скажет: «Россияне умеют пользоваться жизнью и наслаждаться богатством!»

Дворянство есть душа и благородный образ всего народа. Я люблю воображать себе российских дворян не только с мечом в руке, не только с весами Фемиды, но и с лаврами Аполлона, с жезлом бога искусств, с символами богини земледелия. Слава и счастье отечества должны быть им особенно драгоценны; слава государств бывает различная, счастье их есть *сложное*. Не все могут быть воинами и судьями, но все могут служить отечеству. Герой разит неприятелей или хранит порядок внутренний, судья спасает невинность, отец образует детей, ученый распространяет круг сведений, богатый сооружает монументы благотворения, господин печется о своих подданных, владелец способствует успехам земледелия: все равно полезны государству. — Россияне одарены от природы всем, что воз-

водит народы на высочайшую степень гражданского величия: умом и твердым мужеством. Мы спешим к цели – и, обращая взор на то место, где нашел россиян Петр, где нашла их Екатерина, смело надеемся, что между сею блестящею целию и нами скоро не будет уже ни одного европейского народа.

Не желаю быть мечтателем; но в царствование Александра могут ли добрые желания и патриотические надежды быть мечтами?

О похитителях*

В парижском журнале, называемом «Bulletin de Paris», напечатана статья о *похитителях*, которая обратила на себя общее внимание. Автор говорит, что похитителями должно именовать одних бунтовщиков, ужасными и незаконными средствами восходящих на престол (как то нередко случалось в азиатских государствах), а не тех героев, которые присвоивают себе власть только для блага сограждан, вводят порядок там, где была анархия, и делаются отцами народов. Он жалуется на *ветреность истории*, называющей сих героев оскорбительным именем похитителей, и ставит в пример Деиоцеса, который

избавил народ от опасных мечтаний свободы, с счастливою дерзостью объявил себя первым царем мидийским, завел блестящий двор и новым подданным своим являлся только в сиянии венца царского. «Можно ли (продолжает автор) называть похитителем мудрого сиракузского царя Гиерона? Если бы он остался простым гражданином, то Сиракузы, изнуренные анархией, не сделались бы счастливейшею страной мира в его тридцатилетнее правление». Издатель сего журнала есть, как известно, важный человек в республике; он недаром поместил такую статью – и лондонские журналисты называют ее *манифестом*, уверяя, что Бонапарте хочет объявить себя галльским императором, надеть корону на голову, сделать ее наследственной и быть начальником новой династии. Все возможно; однако ж мы еще не хотим верить тому до времени. Видим только, что Бонапарте будет скорее Гиероном, нежели Тимолеоном. Впрочем, друзья или льстецы его (их, сказывают, мудро различать при дворах) напрасно доказывают, что Бонапарте не есть похититель, и заранее бранят историю: нет, она не назо-

вет его сим именем, а скажет, что он людей считал людьми и даже сам не хотел быть выше человека. Не Бонапарте свергнул Бурбонов с трона; не Бонапарте сделал революцию: он только воспользовался ею для своего властолюбия.

Падение Швейцарии*

Сия несчастная земля представляет теперь все ужасы междоусобной войны, которая есть действие личных страстей, злобного и безумного эгоизма. Так исчезают народные добродетели! Они, подобно людям, отживают свой век в государствах; а без высокой народной добродетели республика стоять не может. Вот почему монархическое правление гораздо счастливее и надежнее: оно не требует от граждан чрезвычайностей и может возвышаться на той степени нравственности, на которой республики падают. Разврат швейцарских нравов начался с того времени, как Теллевы потомки вздумали за деньги служить другим державам; возвращаясь в отечество с новыми привычками и с чуждыми пороками, они заражали ими своих сограждан. Яд действовал медленно в чистом горном воз-

духе; но благодетельное сопротивление натуры уступило наконец зловредному влиянию. *Дух торговый*, в течение времени овладев швейцарами, наполнил сундуки их золотом, но истощил в сердцах гордую, исключительную любовь к независимости. Богатство сделало граждан эгоистами и было второю причиною нравственного падения Гельвеции. Но древние гражданские и политические связи Швейцарии могли бы еще долго не разрушиться (ибо древность имеет удивительную силу), если бы злой дух французской революции не сорвал сей некогда счастливой республики с ее основания. Для новых политических зданий нужно отменное величие духа одного или многих людей: Гельвеция не имеет сих гениев, и пять новых конституций ее, мелькнув, исчезли как тени.

О любви и отечеству и народной гордости*

Любовь к отечеству может быть *физическая, моральная и политическая*.

Человек любит место своего рождения и воспитания. Сия привязанность есть общая для всех людей и народов, есть дело природы

и должна быть названа *физическою*. Родина мила сердцу не местными красотою, не ясным небом, не приятным климатом, а пленительными воспоминаниями, окружающими, так сказать, утро и колыбель человечества. В свете нет ничего милее жизни; она есть первое счастье, – а начало всякого благополучия имеет для нашего воображения какую-то особенную прелесть. Так нежные любовники и друзья освящают в памяти первый день любви и дружбы своей. Лапланец, рожденный почти в гробе природы, несмотря на то, любит хладный мрак земли своей. Переселите его в счастливую Италию: он взором и сердцем будет обращаться к северу, подобно магниту; яркое сияние солнца не произведет таких сладких чувств в его душе, как день сумрачный, как свист бури, как падение снега: они напоминают ему отечество! – Самое расположение нерв, образованных в человеке по климату, привязывает нас к родине. Недаром медики советуют иногда больным лечиться ее воздухом; недаром житель Гельвеции, удаленный от снежных гор своих, сохнет и впадает в меланхолию; а возвращаясь в дикий

Унтервальден, в суровый Гларис, оживает. Всякое растение имеет более силы в своем климате: закон природы и для человека не изменяется. – Не говорю, чтобы естественные красоты и выгоды отчизны не имели никакого влияния на общую любовь к ней: некоторые земли, обогащенные природою, могут быть тем милее своим жителям; говорю только, что сии красоты и выгоды не бывают главным основанием физической привязанности людей к отечеству: ибо она не была бы тогда общею.

С кем мы росли и живем, к тем привыкаем. Душа их *сообразуется* с нашею; делается некоторым ее зеркалом; служит предметом или средством наших нравственных удовольствий и обращается в предмет склонности для сердца. Сия любовь к согражданам, или к людям, с которыми мы росли, воспитывались и живем, есть вторая, или *моральная*, любовь к отечеству, столь же общая, как и первая, местная или физическая, но действующая в некоторых летах сильнее: ибо время утверждает привычку. Надобно видеть двух единоплеменников, которые в чужой земле находят друг

друга: о каком удовольствии они обнимаются и спешат изливать душу в искренних разговорах! Они видятся в первый раз, но уже знакомы и дружны, утверждая личную связь свою какими-нибудь общими связями отечества! Им кажется, что они, говоря даже иностранным языком, лучше понимают друг друга, нежели прочих: ибо в характере единоземцев есть всегда некоторое сходство, и жители одного государства образуют всегда, так сказать, электрическую цепь, передающую им одно впечатление посредством самых отдаленных колец или звеньев. – На берегах прекраснейшего в мире озера, служащего зеркалом богатой природе, случилось мне встретить голландского патриота, который, по ненависти к штатгальтеру и оранистам, выехал из отечества и поселился в Швейцарии, между Ниона и Роля, У него был прекрасный домик, физический кабинет, библиотека; сидя под окном, он видел перед собою великолепнейшую картину природы. Ходя мимо домика, я завидовал хозяину, не зная его; познакомился с ним в Женеве и сказал ему о том. Ответ голландского флегматика удивил меня своею

живостию: «Никто не может быть счастлив вне своего отечества, где сердце его выучилось разуметь людей и образовало свои любимые привычки. Никаким народом нельзя заменить сограждан. Я живу не с теми, с кем жил 40 лет, я живу не так, как жил 40 лет: трудно приучать себя к новостям, и мне скучно!»

Но физическая и моральная привязанность к отечеству, действие природы и свойств человека не составляют еще той великой добродетели, которою славились греки и римляне. Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях. Он требует рассуждения – и потому не все люди имеют его.

Самая лучшая философия есть та, которая основывает должности человека на его счастии. Она скажет нам, что мы должны любить пользу отечества, ибо с нею неразрывна наша собственная; что его просвещение окружает нас самих многими удовольствиями в жизни; что его тишина и добродетели служат щитом семейственных наслаждений; что слава его есть наша слава; и если оскорбительно

человеку называться сыном презренного отца, то не менее оскорбительно и гражданину называться сыном презренного отечества. Таким образом, любовь к собственному благу производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие – гордость народную, которая служит опорой патриотизма. Так, греки и римляне считали себя первыми народами, а всех других – варварами; так, англичане, которые в новейшие времена более других славятся патриотизмом, более других о себе мечтают.

Я не смею думать, чтобы у нас в России было много патриотов; но мне кажется, что мы излишне *смирены* в мыслях о народном своем достоинстве, – а смирение в политике вредно. Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут,

Не говорю, чтобы любовь к отечеству должна ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен по крайней мере знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них счастливее; но почувствуем же и все благоде-

нения судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостью.

Мы не имеем нужды прибегать к басням и выдумкам, подобно грекам и римлянам, чтобы возвысить наше происхождение: слава была колыбелию народа русского, а победа — вестницею бытия его. Римская империя узнала, что есть славяне, ибо они пришли и разбили ее легионы.¹ Историки византийские говорят о наших предках как о чудесных людях, которым ничто не могло противиться и которые отличались от других северных народов не только своею храбростью, но и каким-то рыцарским добродушием. Герои наши в девятом веке играли и забавлялись ужасом тогдашней новой столицы мира: им надлежало только явиться под стенами Константинополя, чтобы взять дань с царей греческих. В первом-надесять веке русские, всегда превосходные храбростью, не уступали другим европейским народам и в просвещении, имея по религии тесную связь с Царем-градом, который делился с нами плодами учености; и во

время Ярослава были переведены на славянский язык многие греческие книги. К чести твердого русского характера служит то, что Константинополь никогда не мог присвоить себе политического влияния на отечество наше. Князья любили разум и знание греков, но всегда готовы были оружием наказать их за малейшие знаки дерзости.

Разделение России на многие владения и несогласие князей приготовили торжество Чингисхановых потомков и наши долговременные бедствия. Великие люди и великие народы подвержены ударам рока, но и в самом несчастье являют свое величие. Так Россия, терзаемая лютым врагом, гибла со славою: целые города предпочитали верное истребление стыду рабства. Жители Владимира, Чернигова, Киева принесли себя в жертву народной гордости и тем спасли имя русских от поношения. Историк, утомленный сими несчастными временами, как ужасною бесплодною пустынею, отдыхает на могилах и находит отраду в том, чтобы оплакивать смерть многих достойных сынов отечества.

Но какой народ в Европе может похва-

литься лучшею судьбою? Который из них не был в узах несколько раз? По крайней мере завоеватели наши устрашали восток и запад. Тамерлан, сидя на троне самаркандском, воображал себя царем мира.

И какой народ так славно разорвал свои цепи? Так славно отметил врагам свирепым? Надлежало только быть на престоле решительному, смелому государю: народная сила и храбрость, после некоторого усыпления, громом и молниєю возвестили свое пробуждение.

Время самозванцев представляет опять горестную картину мятежа; но скоро любовь к отечеству воспламеняет сердца – граждане, земледельцы требуют военачальника, и Пожарский, ознаменованный славными ранами, встает с одра болезни. Добродетельный Минин служит примером; и кто не может отдать жизни отечеству, отдает ему все, что имеет... Древняя и новая история народов не представляет нам ничего трогательнее сего общего геройского патриотизма. В царствование Александра позволено желать русскому сердцу, чтобы какой-нибудь достойный мону-

мент, сооруженный в Нижнем Новгороде (где раздался первый глас любви к отечеству), обновил в нашей памяти славную эпоху русской истории. Такие монументы возвышают дух народа. Скромный монарх не запретил бы нам сказать в надписи, что сей памятник сооружен в *его* *счастливое* время.

Петр Великий, *соединив* нас с Европою и показав нам выгоды просвещения, ненадолго унижил народную гордость русских. Мы взглянули, так сказать, на Европу и одним взором присвоили себе плоды долговременных трудов ее. Едва великий государь сказал нашим воинам, как надобно владеть новым оружием, они, взявшего, летели сражаться с первою европейскою армиею. Явились генералы, ныне ученики, завтра примеры для учителей. Скоро другие могли и должны были перенимать у нас; мы показали, как бьют шведов, турков – и, наконец, французов. Сии славные республиканцы, которые еще лучше говорят, нежели² сражаются, и так часто твердят о своих ужасных штыках, бежали в Италии от первого взмаха штыков русских.² Зная, что мы храбрее многих, не знаем еще, кто нас храб-

рее. Мужество есть великое свойство души; народ, им отличенный, должен гордиться собою.

В военном искусстве мы успели более, нежели в других, оттого, что им более занимались, как нужнейшим для утверждения государственного бытия нашего; однако ж не одними лаврами можем хвалиться. Наши гражданские учреждения мудростию своею равняются с учреждениями других государств, которые несколько веков просвещаются. Наша людскость, тон общества, вкус в жизни удивляют иностранцев, приезжающих в Россию с ложным понятием о народе, который в начале осьмого-надесять века считался варварским.

Завистники русских говорят, что мы имеем только в высшей степени *переимчивость*; но разве она не есть знак превосходного образования души? Сказывают, что учителя Лейбница находили в нем также одну *переимчивость*.

В науках мы стоим еще позади других для того – и для того единственно, что менее других занимаемся ими и что ученое состояние

не имеет у нас такой обширной сферы, как, например, в Германии, Англии и проч. Если бы наши молодые дворяне, *учась, могли доучиваться* и посвящать себя наукам, то мы имели бы уже своих Линнеев, Галлеров, Боннетов. Успехи литературы нашей (которая требует менее учености, но, смею сказать, еще более разума, нежели, собственно, так называемые науки) доказывают великую способность русских. Давно ли знаем, что такое слог в стихах и прозе? И можем в некоторых частях уже равняться с иностранцами. У французов еще в шестом-надесять веке философствовал и писал Монтань: чудно ли, что они вообще пишут лучше нас? Не чудно ли, напротив того, что некоторые наши произведения могут стоять наряду с их лучшими как в живописи мыслей, так и в оттенках слога? Будем только справедливы, любезные сограждане, и почувствуем цену собственного. Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою славою: французские, английские авторы могут обойтись без нашей похвалы; но русским нужно по крайней мере внимание русских. Расположение души моей, слава

богу! совсем противно сатирическому и бранному духу; но я осмелюсь попенять многим из наших любителей чтения, которые, зная лучше парижских жителей все произведения французской литературы, не хотят и взглянуть на русскую книгу. Того ли они желают, чтобы иностранцы уведомляли их о русских талантах? Пусть же читают французский и немецкие критические журналы, которые отдают справедливость нашим дарованиям, судя по некоторым переводам[116]. Кому не будет обидно походить на Даламбертову мамку, которая, живучи с ним, к изумлению своему услышала от других, что он умный человек? Некоторые извиняются худым знанием русского языка: это извинение хуже самой вины. Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и неприятен; что *charmant* и *séduisant*, *expansion* и *vapeurs*[117] не могут быть на нем выражены; и что, одним словом, не стоит труда знать его. Кто смеет доказывать дамам, что они ошибаются? Но мужчины не имеют такого любезного права судить ложно. Язык наш выразителен не только для высокого красноречия, для

громкой, живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богаче гармониею, нежели французский; способнее для излияния души в тонах; представляет более *аналогических* слов, то есть сообразных с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки! Беда наша, что мы все хотим говорить по-французски и не думаем трудиться над обработыванием собственного языка: мудрено ли, что не умеем изъяснить им некоторых тонкостей в разговоре? Один иностранный министр сказал при мне, что «язык наш должен быть весьма темен, ибо русские, говоря им, по его замечанию, не понимают друг друга и тотчас должны прибегать к французскому». Не мы ли сами подаем повод к таким нелепым заключениям? – Язык важен для патриота; и я люблю англичан за то, что они лучше хотят *свистать* и *шипеть* по-английски с самыми нежными любовницами своими, нежели говорить чужим языком, известным почти всякому из них.

Есть всему предел и мера: как человек, так и народ начинает всегда подражанием; но

должен со временем быть *сам собою*, чтобы сказать: «Я существую морально!» Теперь мы уже имеем столько знаний и вкуса в жизни, что могли бы жить, не спрашивая: как живут в Париже и в Лондоне? Что там носят, в чем ездят и как убирают дома? Патриот спешит присвоить отечеству благодетельное и нужное, но отвергает рабские подражания в безделках, оскорбительные для народной гордости. Хорошо и должно учиться; но горе и человеку и народу, который будет всегдашним учеником!

До сего времени Россия беспрестанно возвышалась как в политическом, так и в моральном смысле. Можно сказать, что Европа год от году нас более уважает, – и мы еще в середине нашего славного течения! Наблюдатель везде видит новые *отрасли* и *развития*; видит много плодов, но еще более цвета. Символ наш есть пылкий юноша: сердце его, полное жизни, любит деятельность; девиз его есть: *труды и надежда!* – Победы очистили нам путь ко благоденствию; слава есть право на счастье.

Письмо сельского жителя*

Вы желаете, любезный друг, знать все подробности моего уединения; но мы, деревенские люди, живем так обыкновенно, так просто, что не умеем сказать о себе ничего любопытного и достойного примечания. Только вы, горожане, имеете способ разнообразить свою деятельность и пестрить жизнь вашу ежедневными новостями в планах, надеждах, удовольствиях. Если не всегда можете хвалиться счастьем, то по крайней мере богатеете опытами, наблюдениями, и ваши сутки стоят нашего месяца. Мы в деревне наблюдаем только погоду, и наши записки служат историею не сердца человеческого, а термометра...

Вы назовете это сельскою шуткою – и не обманетесь. Жизнь моя, думаю, счастлива, ибо я доволен ею. Лета, конечно, исцеляют нас от сей душевной лихорадки, от сего внутреннего неизъяснимого беспокойства, которое тревожит молодость; но и самый чистый воздух полей и лесов, самый вид сельской природы не имеет ли также благотворного влияния на сердце и не располагает ли его *физически* к сладкому чувству покоя? Спроси-

те о том у ваших медиков-философов; а я между тем нахожу сие действие вероятным, чувствуя себя как будто бы другим человеком со времени моего приезда в деревню.

Вам известно, любезный друг, что я не бывал мизантропом даже и в таких обстоятельствах, которые могли бы извинить маленькую досаду на ближних; знаете, что я некогда пылал ревностию иметь обширный круг действия, в нескромной надежде на свою любовь к добру и человечеству. Но долговременное ученье в школе опыта и *фериуля*¹ сего жестокого мастера смирили мою гордость – так смирили, что я, оставив все дальнейшие требования на блестящую долю *славных людей*, взялся – за плуг и соху! Подивитесь же теперь чудной игре нашего самолюбия: с сего времени мне кажется, что добрый земледелец есть первый благодетель рода человеческого и полезнейший гражданин в обществе. «Где много героев, там много кровопролития; где много судей, там много ябеды и неправосудия; где много купцов, там много роскоши; но где много пахарей, там много хлеба, – а хлеб есть корень изобилия». Что вы скажете о сем рас-

суждении? Оно, верно, полюбилось бы китайцам.

Это вступление готовит вас к длинному письму: пеняйте сами на себя! Старики и деревенские жители любят поговорить, когда есть случай; а вы заставили меня взяться за перо, которому уже давно не было дела. Мне хочется, например, дать вам идею о главных моих *сельских подвигах*.

Я вырос там, где живу ныне. Путешествие и служба совершенно раззнакомили меня с деревнею; однако ж, сделавшись рано господином изрядного имения и будучи, смею сказать, напитан духом филантропических авторов, то есть ненавистию ко злоупотреблениям власти, я желал быть заочно благодетелем поселян моих: отдал им всю землю, довольствовался самым умеренным оброком, не хотел иметь в деревне ни управителя, ни приказчика, которые нередко бывают хуже самых худых господ, и с удовольствием искреннего человеколюбия написал к крестьянам: «Добрые земледельцы! Сами изберите себе начальника для порядка, живите мирно, будьте трудолюбивы и считайте меня своим

верным заступником во всяком притеснении». Возвращаясь наконец к пенатам родины, чтобы умереть там, где начал жить, я сердечно утешался приятною мыслию, что найду деревню свою в цветущем состоянии; как поэт воображал богатые нивы, пажити, полные житницы, избыток, благоденствие и сочинял уже в голове своей письмо к какому-нибудь русскому журналисту о счастливых плодах свободы, данной мною крестьянам... Приезжаю и нахожу бедность, поля, весьма худо обработанные, житницы пустые, хижины гниющие!.. С горестным удивлением призываю к себе стариков, которых имена были мне еще с ребячества памятны, – расспрашиваю их и наконец узнаю истину! Покойный отец мой, живучи сам в деревне, смотрел не только за своими, но и за крестьянскими полями: хотел, чтобы и те и другие были хорошо обработаны, – и в нашей деревне хлеб родился лучше, нежели во многих других; господин богател, и земледельцы не беднели. Воля, мною им данная, обратилась для них в величайшее зло: то есть в волю лениться и предаваться гнусному пороку пьянства, дошедшему с

некоторого времени до ужасной крайности как в нашей, так и в других губерниях. Эта язва в здешних, удаленных от столицы местах есть новое явление: живо помня лета своего детства, помню и то, что прежде в одни большие годовые праздники крестьяне веселились и гуляли, угощая друг друга домашним пивом или вином, купленным в городе. Ныне будни сделались для них праздником, и люди услужливые, под вывескою орла, везде предлагают им средство избавляться от денег, ума и здоровья: ибо в редкой деревне нет питейного дома. К чести некоторых дворян, соседей моих, скажу, что они отвергают выгоды, представляемые им откупщиками, и не дозволяют заводить у себя храмов русского неопрятного Бахуса; но другие не так думают, — особливо те, которые сами в откупах участвуют. Не мое дело осуждать сей легкий и модный способ умножать свои доходы; не смею вообразить, чтобы он был несогласен с достоинством благородного и великодушного патриота: ибо вижу многих почтенных людей, которые прибегают к нему без зазрения совести и хвалятся искусством в сем важном промысле. Мнения

и вкусы различны. Однако ж те ошибаются, которые думают, что русские искони любили излишнее употребление вина и что никакая законодательная мудрость не отвратит их от сего порока: он заразил народ только со времен Годунова; сей царь, желая обогатить казну государственную, умножил число питейных домов[118]; а случай и удобность, как известно, соблазняют людей. Например, при князе Василье Ивановиче народ московский, без сомнения, не любил пьянства, ибо он укорял сим пороком иностранных солдат: немцев, поляков и литовцев, взятых тогда в русскую службу[119]. Но при царе Алексее Михайловиче оно уже усилилось в Москве так, что благодетельное правительство искало мер остановить его, уничтожило питейные дома и положило во всяком городе быть одному *кружешному двору*, чтобы продавать вино только ведрами и кружками... Извините, любезный друг: такая материя совсем неприятна. Но мне надлежало здесь иметь дело с откупщиками и блеснуть перед ними *ученостию в истории* их промысла. Я пострадал с их господ, что скоро выдам книгу о вреде его

для государства и нравов, если они не избавят нашей деревни от своей вывески. Жестокая угроза и 1000 рублей убедили их исполнить это желание. Вот первый мой *подвиг* для блага земледельцев!

Землю мою отдавали они внаймы и брали пять рублей за десятину, которая может принести от 30 до 40, – но с трудом, а им не хотелось и для своей выгоды работать. Я возобновил господскую пашню, сделался самым усердным экономом, начал входить во все подробности, наделил бедных всем нужным для хозяйства, объявил войну ленивым, но войну не кровопролитную; вместе с ними на полях встречал и провожал солнце; хотел, чтобы они и для себя так же старательно трудились, вовремя пахали и сеяли; требовал от них строгого отчета и в нерабочих днях; перестроил всю деревню самым удобнейшим образом; ввел по возможности опрятность, чистоту в их избах, не столько приятную для глаз, сколько нужную для сохранения жизни и здоровья. Наконец, – без всяких английских мудростей, без всяких хитрых машин, не усыпая земли ни золою, ни известкою, ни толчены-

ми костями, – смею похвалиться, что и друзья земледелия и друзья человечества могут с удовольствием взглянуть на мои поля, село и жителей его. Всего же более похваюсь тем, что крестьяне благодарят меня за нынешнюю свою трезвость и работливость, видя счастливые плоды их: из бедных они сделались зажиточными; имеют хлеб, лошадей, скотоводство и надежду быть со временем сельскими богачами. Один опыт мог уверить их в счастье трудолюбия. Принудьте злого делать добро: отвечаю, что он скоро полюбит его. Заставьте ленивого работать: он скоро удивится своей прежней ненависти к трудам. Сократ называл добродетель *знанием*: всякий порок можно назвать *невежеством*, – ибо он есть слепота ума; ибо в нем гораздо более страдания, нежели приятности.

Иностранные путешественники, видя в России беспечную леность крестьянина, обыкновенно приписывают ее так называемому рабству. «Как ему охотно трудиться (говорят сии господа), когда помещик может всегда отнять у него имущество?» Но смею уверить их, что такая философия никогда не вхо-

дила в голову нашим земледельцам: они ленивы от природы², от навыка, от незнания выгод трудолюбия. Какой господин, в самом деле, отнимает у крестьян хлеб, лошадей и другую собственность? И разве нет между ими богатых и промышленных? Достоин замечания, что нерадивые всегда приписывают избыток работающих не трудам их, а счастью! Иностранные глубокомысленные политики, говоря о России, знают все, кроме России.

Я рассуждал так же в городском кабинете своем; но в деревне переменил мысли. У нас много вольных крестьян: но лучше ли господских они обрабатывают землю? по большей части напротив. С некоторого времени хлебопашество во всех губерниях приходит в лучшее состояние: от чего же? От старания помещиков: плоды их экономии, их смотрения наделяют изобилием рынки столиц. Если бы они, приняв совет иностранных филантропов, все сделали то же, что я прежде делал: наложили на крестьян оброк, отдали им всю землю и сами навсегда уехали в город, то я уверен, что на другой год пришло бы гораздо менее хлебных барок как в Москву, так и в

Петербург. Не знаю, что вышло бы через пятьдесят или сто лет: время, конечно, имеет благотворные действия; но первые годы, без сомнения, поколебали бы систему мудрых английских, французских и немецких голов. Она хороша, если бы мы, приняв ее, могли заснуть с Эпименидом по крайней мере на целый век; но всякий из нас хочет жить хорошо, спокойно и счастливо ныне, завтра и так далее. Время подвигает вперед разум народов, но тихо и медленно: беда законодателю облетать его! Мудрый идет шаг за шагом и смотрит вокруг себя. Бог видит, люблю ли человечество и народ русский; имею ли предрассудки, обожаю ли гнусный идол корысти – но для истинного благополучия земледельцев наших желаю единственно того, чтобы они имели добрых господ и средство просвещения, которое одно, одно сделает все хорошее возможным. К счастью, мы живем в такое время, когда мудрое, отеческое правительство угадывает все истинные потребности государственного и народного блага: с какою радостью читал я указ о заведении школ деревенских! Вот исполинский шаг к вернейшему благоден-

ствию поселян! Они русские: следственно, имеют много природного ума; но ум без знания есть сидень. Сей указ обрадовал меня тем более, что я в нынешнюю зиму по собственному движению завел у себя школу для крестьянских детей, с намерением учить их не только грамоте, но и правилам сельской морали, и на досуге сочинил катихизис, самый простой и незатейливый, в котором объясняются *должности поселянина, необходимые для его счастья*. Умный новый священник деревни нашей был в этом деле моим критиком, советником и помощником. За то и я бываю его критиком и советником, когда он пишет сельские проповеди. Доставлю вам некоторые из них, и вы увидите, что у нас есть свои Йорики. Когда отец Савва начинает говорить в церкви, земледельцы мои подвигаются к нему ближе и ближе: это хороший знак. Мы живем с ним дружно, часто обедаем вместе и, сидя на диване, в разговорах своих перебираем всю натуру от кедра до иссопа. Отец Савва есть не только теолог и моралист, но и физик, ботанист, даже медик самоучкою: я взял на себя должность аптекаря, и мы ребар-

баром, сосновыми шишками и шифгаузенским пластырем делаем здесь чудеса. Крестьяне в охоте лечиться едва ли уступают городским жителям. Слабому человеку сродно искать облегчения в его страданиях, и медицина в некотором смысле есть дочь природы. Чем она проще, тем лучше, и торжество ее всего явнее в деревнях, где природа, укрепленная суровою жизнью, при малейшем пособии искусства как Геркулес отражает болезнь. Действительность нашей маленькой аптеки отводит поселян от употребления вредных средств, предписываемых им в болезнях ворожеями, колдунами и другими сельскими адептами: польза немалая! Мне сказывали, что в московской Заиконоспасской академии с некоторого времени учат студентов анатомии и ботанике, то есть готовят быть и священниками и лекарями; эта мысль прекрасна и достойна нынешнего правительства. Так издревле ведется на Востоке, где одни люди врачуют душу и тело. Благодарения медика возвышают достоинство нравственного учителя. Вижу опыт того в своей деревне: крестьяне мои уважают и любят свя-

ценника как отца и сделались при нем гораздо набожнее. Я с своей стороны помогаю сему счастливому их расположению усердным примером своим и всякое воскресенье являюсь в церкви. Человек с умом образованным имеет тысячу побуждений быть добрым: набожность заменяет их для грубого земледельца и смягчает его душу. Ему кажется так естественно молиться небу, предмету надежды и страха для полей его! Питаясь непосредственно из рук природы, может ли он забывать ее творца великого? Но, к несчастью, суеверие гораздо обыкновеннее набожности между людьми непросвещенными.

Зная, любезный друг, охоту вашу к садам, желал бы я сообщить вам прелестное описание какого-нибудь *Эдема*, мною заведенного; но, к великому благополучию, не имею уже работников для такого дела... Изъясню вам загадку. Сначала мы нередко ссорились с крестьянами за нерадивость и худое исполнение моих приказаний: как же наказывать виноватых? Я выдумывал для них работы в саду, довольно трудные, и хотел удивить моих соседей лабиринтами, Парнасами, водяными зер-

калами и проч. Но мало-помалу число преступников уменьшалось, и наконец работы наши совсем остановились. «Тем лучше!» – сказал я садовнику и не думаю более о лабиринтах. Поля и рощи служат для меня самым приятнейшим английским садом. Некоторые из здешних дворян жалеют о моем дурном вкусе: что делать? Я люблю добрых, исправных земледельцев гораздо более садов и не могу без вины наказывать их трудами, вымышляемыми прихотью. Одно нужное и полезное кажется мне хорошим. Так, например, я с великим удовольствием отрыл собственными руками источник свежей воды подле самой большой дороги, обложил его диким камнем, сделал вокруг дерновое канапе, часто сижу на нем и веселюсь, смотря на проезжих, утоляющих жажду *моею* водою... Разумеется, что ваш приятель сравнивает себя тогда с славными благодетелями Востока, которые, следуя предписанию Алкорана, делают колодези для странников в степях аравийских. Видите мой *романизм*: это болезнь неизлечимая.

Однако ж, любезный друг, несмотря на то,

я не хотел завести у себя романических *праздников розы*, Пусть во Франции семнадцатилетняя невинность как феникс украшается венками славы: у нас все девушки смиренны и невинны. Не хочу бросить *яблока раздора* между ими. Довольно, что мы три раза в год целою деревнею веселимся, празднуя весну, окончание полевых работ и день рождения моей дочери. Широкий господский двор обращается тогда в залу пиршества и храм изобилия; даем обед, какие описываются в старинных русских сказках и в Гомеровых поэмах; сажаем земледельцев с их семьями за *столы дубовые* и не жалеем плодов земных для угощения. После обеда является русский *трубадур*, слепой украинский *скоморох* с *волынкою*, и начинаются пляски. Между тем и *рогов мифологической козы Амальтеи* льется пиво и мед для шумного собрания; и если половица всех народов говорит правду, что хмель обнаруживает сердце, то крестьяне любят меня душевно; ибо они, в Бахусовых восторгах, хотят беспрестанно целовать мои руки и называют меня самыми ласковыми именами... Да и в самом деле, за что им не лю-

бить господина, который старается быть добрым и главное свое удовольствие находит в их пользе? Они люди и, следовательно, имеют чувство справедливости. Злая неблагодарность не так обыкновенна, как думают; но мы часто твердим об ней для того, что она красиво выражается в риторических фразах; для того, что гораздо легче говорить о неблагодарности, нежели делать добро великодушно и бескорыстно... Крестьяне мои знают, что я, подобно, другим, мог бы завести винный завод, приставить их к огромным кубам, палить огнем неугасаемым, взять винную поставку и нажиться скорее, нежели от земледелия. Я требую от них работы, но единственно той, для которой человек создан и которая нужна для самого их счастья. Они ленились, пили и терпели недостаток; ныне работают весело, пьют только в гостях у своего помещика и не знают нужды. Сверх того, обхождение мое с ними показывает им, что я считаю их людьми и братьями по человечеству и христианству... Нет, не могу сомневаться в любви их!

Это уверение, любезный друг, приятно ду-

ше моей; но еще гораздо приятнее, гораздо сладостнее то уверение, что живу с истинною пользою для пятисот человек, вверенных мне судьбою. Прискорбно жить с людьми, которые не хотят любить нас: всего же несноснее жить в свете бесполезно. Главное право русского дворянина – быть помещиком, главная должность его – быть добрым помещиком; кто исполняет ее, тот служит отечеству как верный сын, тот служит монарху как верный подданный: ибо Александр желает счастья земледельцев.

Главы из «Истории государства Российского»

<Царствование Иоанна IV>*

<Из главы первой восьмого тома>

Беспокойство россиян о малолетстве Иоанна. Состав Государственной думы. Главные вельможи, Глинский и Телепнев. Присяга Иоанну. Заключение князя Юрия Иоанновича. Общий страх. Измена к Симеону Вольского и Лятцкого. Заключение и смерть Мих. Глинского. Смерть князя Юрия. Бегство, умысел и заключение к Андрея Иоанновича. Казнь бояр и детей боярских. Смерть к. Андрея.

Не только искренняя любовь к Василию производила общее сетование о безвременной кончине его, но и страх, что будет с государством? – волновал души. Никогда Россия не имела столь малолетнего властителя, никогда – если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу – не видала своего кормила государственного в руках юной жены и чуже-

земки, литовского, ненавистного рода. На троне не бывает предателей: опасались Елениной неопытности, естественных слабостей, пристрастия к Глинским, коих имя напоминало измену. Хотя лесть придворная славила добродетели великой княгини, ее боголюбие, милость, справедливость, мужество сердца, проницание ума и явное сходство с бессмертною супругою Игоря; но благоразумные уже и тогда умели отличать язык двора и лести от языка истины: знали, что добродетель царская, трудная и для мужа с крепкими мышцами, еще гораздо труднее для юной, нежной, чувствительной жены, более подверженной действию слепых, пылких страстей. Елена опиралась на думу боярскую: там заседали опытные советники трона; но совет без государя есть как тело без главы: кому управлять его движением, сравнивать и решить мнения, обуздывать самолюбие лиц пользою общему? Братья государевы и двадцать бояр знаменитых составляли сию верховную думу: князя Бельские, Шуйские, Оболенские, Одоевские, Горбатый, Пеньков, Кубенский, Барбашин, Микулинский, Ростовский, Бутурлин,

Воронцов, Захарьин, Морозовы; но некоторые из них, будучи областными наместниками, жили в других городах и не присутствовали в оной. Два человека казались важнее всех иных по их особенному влиянию на ум правительницы: старец Михаил Глинский, ее дядя, честолюбивый, смелый, самим Василием назначенный быть ей главным советником, и конюший боярин, князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский, юный летами и подозреваемый в сердечной связи с Еленою. Полагали, что сии два вельможи, в согласии между собою, будут законодателями думы, которая решила дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние – именем великого князя и его матери.

Первым действием нового правления было торжественное собрание духовенства, вельмож и народа в храме Успенском, где митрополит благословил державного младенца властвовать над Россиею и давать отчет единому богу. Вельможи поднесли Иоанну дары, послали чиновников во все пределы государства известить граждан о кончине Василия и клятвенным обетом утвердить их в вер-

ности к Иоанну.

Едва минула неделя в страхе и надежде, вселяемых в умы государственными переменами, когда столица была поражена несчастною судьбою князя Юрия Иоанновича Дмитровского, старшего дяди государева, или оклеветанного, или действительно уличенного в тайных видах беззаконного властолюбия: ибо сказания летописцев несогласны. Пишут, что князь Андрей Шуйский, сидев прежде в темнице за побег от государя в Дмитров, был милостиво освобожден вдовствующею великою княгинею, но вздумал изменить ей, возвести Юрия на престол и в сем намерении открылся князю Борису Горбатову, усердному вельможе, который с гневом изобразил ему всю гнусность такой измены. Шуйский увидел свою неосторожность и, боясь доноса, решился прибегнуть к бесстыдной лжи: объявил Елене, что Юрий тайно подговаривает к себе знатных чиновников, его самого и князя Бориса, готового немедленно уехать в Дмитров. Князь Борис доказал клевету и замысл Шуйского возмутить спокойствие государства: первому изъявили благодарность, а второго

посадили в башню. Но бояре, излишне осторожные, представили великой княгине, что если она хочет мирно царствовать с сыном, то должна заключить и Юрия, властолюбивого, приветливого, любимого многими людьми и весьма опасного для государя-младенца. Елена, непрестанно оплакивая супруга, сказала им: «Вы видите мою горесть: делайте, что надобно для пользы государства». Между тем некоторые из верных слуг Юриевых, сведав о намерении бояр московских, убеждали князя своего, совершенно невинного и спокойного, удалиться в Дмитров. «Там, – говорили они, – никто не посмеет косо взглянуть на тебя; а здесь не минуешь беды». Юрий с твердостью отвечивал: «Я приехал в Москву закрыть глаза государю брату и клялся в верности к моему племяннику; не преступлю целования крестного и готов умереть в своей правде».

Но другое предание обвиняет Юрия, оправдывая боярскую думу. Уверяют, что он действительно чрез дьяка своего, Тишкова, подговаривал князя Андрея Шуйского вступить к нему в службу. «Где же совесть? – сказал Шуйский. – Вчера князь ваш целовал крест госуда-

рю Иоанну, а ныне манит к себе его слуг». Дьяк изъяснял, что сия клятва была невольная и незаконная; что бояре, взяв ее с Юрия, сами не дали ему никакой, вопреки уставу о присягах взаимных. Шуйский известил о том князя Бориса Горбатого, князь Борис – думу, а дума – Елену, которая велела боярам действовать согласно с их обязанностью.

Заметим, что *первое* сказание вероятнее: ибо князь Андрей Шуйский во все правление Елены сидел в темнице. Как бы то ни было, 11 декабря взяли Юрия, вместе со всеми его боярами, под стражу и заключили в той самой палате, где кончил жизнь юный великий князь Димитрий. Предзнаменование бедственное! Ему надлежало исполниться.

Такое начало правления свидетельствовало грозную его решительность. Жалели о несчастном Юрии; боялись тиранства: а как Иоанн был единственно именем государь и самая правительница действовала по внушениям совета, то Россия видела себя под железом возникающей олигархии, которой мучительство есть самое опасное и самое несносное. Легче укрыться от одного, нежели от два-

дцати гонителей. Самодержец гневный уподобляется раздраженному божеству, пред которым надобно только смиряться; но многочисленные тираны не имеют сей выгоды в глазах народа: он видит в них людей ему подобных и тем более ненавидит злоупотребление власти. Говорили, что бояре хотели погубить Юрия в надежде своевольствовать, ко вреду отечества; что другие родственники государевы должны ожидать такой же участи, — и сии мысли, естественным образом представляясь уму, сильно действовали не только на Юриева меньшего брата Андрея, но и на их племянников князей Бельских, столь ласково порученных Василием боярам в последние минуты его жизни. Князь Симеон Феодорович Бельский и знатный окольный Иван Лятцкий, родом из Пруссии, муж опытный в делах воинских, готовили полки в Серпухове на случай войны с Литвою; недовольные правительством, они сказали себе, что Россия не есть их отечество, тайно снеслись с королем Сигизмундом и бежали в Литву. Сия неожиданная измена удивила двор, и новые жестокости были ее следствием. Князь Иван Бель-

ский, главный из воевод и член верховного совета, находился тогда в Коломне, учреждая стан для войска: его и князя Воротынского с юными сыновьями взяли, оковали цепями, заточили, как единомышленников Симеоновых и Лятцкого, без улики, по крайней мере без суда торжественного; но старшего из Бельских, князя Димитрия, также думного боярина оставили в покое, как невинного. — Дотоле считали Михаила Глинского душою и вождем совета: с изумлением узнали, что он не мог ни губить других, ни спасти самого себя. Сей человек имел великодушие и бедственным концом своим оправдал доверенность ему Василиеву. С прискорбием видя нескромную слабость Елены к князю Ивану Телепневу-Оболенскому, который, владея сердцем ее, хотел управлять и думою и государством, Михаил, как пишут, смело, и твердо говорил племяннице о стыде разврата, всегда гнусного, еще гнуснейшего на троне, где народ ищет добродетели, оправдывающей власть самодержавную. Его не слушали, возненавидели и погубили Телепнев предложил: Елена согласилась, и Глинский, обвиняемый

В мнимом, нелепом замысле овладеть государством, вместе с ближним боярином и другом Василиевым, Михаилом Семеновичем Воронцовым, без сомнения также добродетельным, был лишен вольности а скоро и жизни, в той самой темнице, где он сидел прежде: муж, знаменитый в Европе умом и пылкими страстями, счастием и бедствием, вельможа и предатель двух государств, помилованный Василием для Елены и замученный Еленою, достойный гибели изменника, достойный и славы великодушного страдальца в одной и той же темнице! Глинского схоронили, без всякой чести, в церкви св. Никиты за Неглинною; но одумались, вынули из земли и отвезли в монастырь Троицкий изготовив там пристойнейшую могилу для государева деда; но Воронцов, только удаленный от двора, пережил своих гонителей, Елену и князя Ивана Телепнева: быв наместником новгородским, он умер уже в 1539 году с достоинством думного боярина.

Еще младший дядя государев, князь Андрей Иоаннович, будучи слабого характера и не имея никаких свойств блестящих, пользо-

вался наружными знаками уважения при дворе и совете бояр, которые в сношениях с иными державами давали ему имя первого попечителя государственного; но в самом деле он нимало не участвовал в правлении, оплакивал судьбу брата, трепетал за себя и колебался в нерешимости: то хотел милостей от двора, то являл себя нескромным его хулителем, следуя внушениям своих любимцев. Через шесть недель по кончине великого князя, находясь еще в Москве, он смиренно бил челом Елене о прибавлении новых областей к его уделу: ему отказали, но, согласно с древним обычаем, дали, в память усопшего, множество драгоценных сосудов, шуб, коней с богатыми седлами. Андрей уехал в Старицу, жалуясь на правительницу. Вестовщики и наушники не дремали: одни сказывали сему князю, что для него уже готовят темницу; другие доносили Елене, что Андрей злословит ее. Были разные объяснения, для коих боярин, князь Иван Шуйский, ездил в Старицу и сам Андрей – в Москву: уверяли друг друга в любви и с обеих сторон не верили словам, хотя митрополит ручался за истину оных. Елена

желала знать, кто ссорит ее с деверем? Он не назвал никого, отвечая: «Мне самому так казалось!» Расстались ласково, но без искреннего примирения.

В сие время – 26 августа 1536 года – князь Юрий Иоаннович умер в темнице *от голода*, как пишут. Андрей был в ужасе. Правительница звала его в Москву на совет о делах внешней политики: он сказался больным и требовал врача. Известный лекарь Феофил не нашел в нем никакой важной болезни. Елену тайно известили, что Андрей не смеет ехать в столицу и думает бежать. Между тем сей несчастный писал к ней: «В болезни и тоске я *отбыл ума и мысли*. Согрей во мне сердце милостию. Неужели велит государь влачить меня отсюда на носилках?» Елена послала Крутицкого владыку Досифея вывести его из неосновательного страха или, в случае злого намерения, объявить ему клятву церковную. Тогда же боярин Андреев, отправленный им в Москву, был задержан на пути, и князя Оболенские, Никита Хромый с конюшим Телепневым, предводительствуя многочисленною дружиною, вступили в Волок, чтобы гнаться

за беглецом, если Досифеевы увещания останутся бесполезными. Андрею сказали, что Оболенские идут схватить его: он немедленно выехал из Старицы с женою и с юным сыном; остановился в шестидесяти верстах, думал и решился – быть преступником: собрать войско, овладеть Новымгородом и всею Россиею, буде возможно; послал грамоты к областным детям боярским и писал к ним: «Великий князь – младенец; вы служите только боярам. Идите ко мне: я готов вас жаловать». Многие из них действительно явились к нему с усердием; другие представили мятежные грамоты в государственную думу. Надлежало взять сильные меры: князь Никита Оболенский спешил защитить Новгород, а князь Иван Телепнев шел с дружиною вслед за Андреем, который, оставив большую дорогу, поворотил влево, к Старой Руссе. Князь Иван настиг его в Тюхоли: устроил воинов, распустил знамя и хотел начать битву. Андрей также вывел свою дружину, обнажив меч; но колебался и вступил в переговоры, требуя клятвы от Телепнева, что государь и Елена не будут ему мстить. Телепнев дал сию клятву и вместе с

ним приехал в Москву, где великая княгиня, по словам летописца, изъявила гнев своему любимцу, который будто бы сам собою, без ведома государева, уверил мятежника в безопасности, и велела Андрея оковать, заключить в тесной палате; к княгине его и сыну приставили стражу, бояр его, советников, верных слуг пытали, несмотря на их знатный княжеский сан: некоторые умерли в муках, иные – в темницах; а детей боярских, взявших сторону Андрееву, числом тридцать, повесили, как изменников, на дороге Новгородской, в большом расстоянии один от другого. – Андрей имел участь брата: умер насильственной смертью чрез шесть месяцев и, подобно ему, был с честью погребен в церкви архангела Михаила. Он, конечно, заслуживал наказание, ибо действительно замыслил бунт; но казни *тайные* всегда доказывают малодушную злобу, всегда незаконны, и притворный гнев Елены на князя Телепнева не мог оправдать вероломства.

Таким образом, в четыре года Еленина правления именем юного великого князя умертвили двух единоутробных братьев его

отца и дядю матери, брата внучатного ввергнули в темницу, обесчестили множество знатных родов торговою казнию Андреевых бояр, между коими находились князя Оболенские, Пронский, Хованский, Палецкий. Опасаясь гибельных действий слабости в малолетство государя самодержавного, Елена считала жестокость твердостью; но сколь последняя, основанная на чистом усердии к добру, необходима для государственного блага, столь первая вредна оному, возбуждая ненависть; а нет правительства, которое для своих успехов не имело бы нужды в любви народной. – Елена предавалась в одно время и нежностям беззаконной любви и свирепству кровожадной злобы!

<Из главы третьей восьмого тома>

Царское венчание Иоанна. Брак государев. Добродетели Анастасии. Пороки Иоанновы и худое правление. Пожары в Москве. Бунт черни. Чудное исправление Иоанна. Сильвестр и Адашев. Речь государева на лобном месте.

Великому князю исполнилось 17 лет от рождения. Он призвал митрополита и долго говорил с ним наедине. Митрополит вышел

от него с лицом веселым, отпел молебен в храме Успения, послал за боярами – даже и за теми, которые находились в опале, – и вместе с ними был у государя. Еще народ ничего не ведал; но бояре, подобно митрополиту, изъявляли радость. Любопытные угадывали причину и с нетерпением ждали открытия счастливой тайны.

Прошло три дни. Велели собраться двору: первосвященник, бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, который, помолчав, сказал митрополиту: «Уповая на милость божию и на святых заступников земли русской, имею намерение жениться: ты, отче, благословил меня. Первою моею мыслию было искать невесты в иных царствах; но, рассудив основательнее, отлагаю сию мысль. Во младенчестве лишенный родителей и воспитанный в сиротстве, могу не сойтися нравом с иноземкою; будет ли тогда супружество счастливым? Желая найти невесту в России по воле божией и твоему благословию». Митрополит с умилением отвечивал: «Сам бог внушил тебе намерение, столь вожделенное для твоих подданных! Благословляю оное

именем отца небесного». Бояре плакали от радости, как говорит летописец, и с новым восторгом прославили мудрость державного, когда Иоанн объявил им другое намерение «еще до своей женитьбы исполнить древний обряд предков его и венчаться на царство». Он велел митрополиту и боярам готовиться к сему великому торжеству, как бы утверждающему печатью веры святой союз между государем и народом. Оно было не новое для Московской державы: Иоанн III венчал своего внука на царство, но советники великого князя – желая или дать более важности сему обряду, или удалить от мыслей горестное воспоминание о судьбе Дмитрия Иоанновича – говорили единственно о древнейшем примере Владимира Мономаха, на коего митрополит Ефесский возложил венец, златую цепь и бармы Константиновы. Писали и рассказывали, что Мономах, умирая, отдал царскую утварь шестому сыну своему, Георгию; велел только хранить ее как зеницу ока и передавать из рода в род без употребления, доколе бог не умилоstitвится над бедною Россиею и не воздвигнет в ней истинного самодержца,

достойного украситья знаками могущества. Сие предание вошло в летописи XVI века, когда Россия действительно увидела самодержца на троне, и Греция, издыхая в бедствии, отказала нам величие своих царей.

Генваря 16, утром, Иоанн вышел в столовую комнату, где находились все бояре, а воеводы, князья и чиновники, богато одетые, стояли в сенях. Духовник государев, благовещенский протоиерей, взяв из рук Иоанновых, на златом блюде, животворящий крест, венец и бармы¹, отнес их (проводимый конюшим, князем Михаилом Глинским, казначеями и дьяками) в храм Успения. Скоро пошел туда и великий князь: перед ним духовник с крестом и святою водою, кропя людей на обеих сторонах; за ним князь Юрий Василиевич, бояре, князья и весь двор. Вступив в церковь, государь приложился к иконам: священные лики возгласили ему многолетие; митрополит благословил его. Служили молебен. Посреди храма, на амвоне с двенадцатью ступенями, были изготовлены два места, одетые златыми паволоками; в ногах лежали бархаты и камни: там сели государь и митрополит. Перед

амвоном стоял богато украшенный налож царскою утварию: архимандриты взяли и подали ее Макарию: он встал вместе с Иоанном и, возлагая на него крест, бармы, венец, громгласно молился, чтобы всевышний оградил сего христианского Давида силою св. духа, посадил на престол добродетели, даровал ему ужас для строптивых и *милостивое око* для послушных. Обряд заключился возглашением нового многолетия государю. Приняв поздравление от духовенства, вельмож, граждан, Иоанн слушал литургию, возвратился во дворец, ступая с бархата на камку, с камки на бархат. Князь Юрий Василиевич осыпал его в церковных дверях и на лестнице золотыми деньгами из мисы, которую нес за ним Михаиле Глинский. Как скоро государь вышел из церкви, народ, дотоле неподвижный, безмолвный, с шумом кинулся обдирать *царское место*; всякой хотел иметь лоскут паволоки на память великого дня для России.

Одним словом, сие торжественное венчание было повторением Димитриева, с некоторою переменою в словах молитв и с тою разностию, что Иоанн III сам (а не митрополит)

надел венец на главу юного монарха. *Современные* летописцы не упоминают о *скипетре*, ни о *миропомазании*, ни о *причащении*; не сказывают также, чтобы Макарий говорил царю поучение: самое умное, красноречивое не могло быть столь действительно и сильно, как искреннее, умиленное воззвание к богу вседержителю, дающему и властителей народам и добродетель властителям! С сего времени российские монархи начали уже не только в сношениях с иными державами, но и внутри государства, во всех делах и бумагах, именоваться *царями*, сохраняя и титул *великих князей*, освященный древностию; а книжники московские объявили народу, что сим исполнилось пророчество Апокалипсиса о *шестом царстве*, которое есть Российское. Хотя титул не придает естественного могущества, но действует на воображение людей, и библейское имя царя, напоминая ассирийских, египетских, иудейских, наконец православных греческих венценосцев, возвысило в глазах россиян достоинство их государей. «Смирились, – говорят летописцы, – враги наши, цари неверные и короли нечестивые:

Иоанн стал на первой степени державства между ими!» Достоин примечания, что константинопольский патриарх Иоасаф, в знак своего усердия к венценосцу России, в 1561 году соборною грамотою утвердил его в сане царском, говоря в ней: «Не только предание людей достоверных, но и самые летописи свидетельствуют, что нынешний властитель московский происходит от незабвенной царицы Анны, сестры императора Багрянородного, и что митрополит Ефесский, уполномоченный для того собором духовенства византийского, венчал российского великого князя Владимира на царство». Сия грамота подписана тридцатью шестью митрополитами и епископами греческими.

Между тем знатные сановники, окольниковые, дьяки объезжали Россию, чтобы видеть всех девиц благородных и представить лучших невест государю: он избрал из них юную Анастасию, дочь вдовы Захарьиной, которой муж, Роман Юрьевич, был окольниковым, а свекор – боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке. Но не знатность, а лич-

ные достоинства невесты оправдывали сей выбор, и современники, изображая свойства ее, приписывают ей все женские добродетели, для коих только находили они имя в языке русском: целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным; не говорят о красоте, ибо она считалась уже необходимою принадлежностью счастливой царской невесты. Совершив обряд венчания в храме богородицы, митрополит сказал новобрачным: «Днесъ таинством церкви соединены вы навеки, да вместе поклоняетесь всевышнему и живете в добродетели; а добродетель ваша есть правда и милость. Государь! Люби и чти супругу; а ты, христоролюбивая царица, повинуйся ему. Как святой крест глава церкви, так муж глава жены. Исполняя усердно все заповеди божественные, узрите благая Иерусалима и мир во Израиле». Юные супруги явились глазам народа: благословения гремели на стогнах Кремля. Двор и Москва праздновали несколько дней. Царь сыпал милости на богатых; царица питала нищих. Воспитанная без отца в тишине уединения, Анастасия

увидела себя, как бы действием сверхъестественным принесенную на феатр мирского величия и славы; но не забылась, не изменилась в душе с обстоятельствами и, все относя к богу, поклонялась ему и в царских чертогах так же усердно, как в смиренном, печальном доме своей вдовы-матери. Прервав веселые пиры двора, Иоанн и супруга его ходили пешком зимою в Троицкую Сергиеву лавру и провели там первую неделю великого поста, ежедневно моляся над гробом св. Сергия.

Сия набожность Иоаннова, ни искренняя любовь к добродетельной супруге не могли укротить его пылкой, беспокойной души, стремительной в движениях гнева, приученной к шумной праздности, к забавам грубым, неблагочинным. Он любил показывать себя царем, но не в делах мудрого правления, а в наказаниях, в необузданности прихотей; играл, так сказать, милостями и опалами; умножая число любимцев, еще более умножал число отверженных; своевольствовал, чтобы доказывать свою независимость, и еще зависел от вельмож, ибо не трудился в устройении царства и не знал, что государь, истинно

независимый, есть только государь добродетельный. Никогда Россия не управлялась хуже: Глинские, подобно Шуйским, делали что хотели именем юноши-государя; наслаждались почестями, богатством и равнодушно видели неверность частных властителей; требовали от них раболепства, а не справедливости. Кто уклонялся пред Глинскими, тот мог смело давить пятою народ, и быть их слугою значило быть господином в России. Наместники не знали страха – и горе угнетенным, которые мимо вельмож шли ко трону с жалобами! Так, граждане псковские, последние из присоединенных к самодержавию и смелейшие других (весною в 1547 году), жаловались новому царю на своего наместника, князя Турунтая-Пронского, угодника Глинских. Иоанн был тогда в селе Островке: семьдесят челобитчиков стояло перед ним с обвинениями и уликами. Государь не выслушал: закипел гневом; кричал, топал; лил на них горящее вино; палил им бороды и волосы; велел их раздеть и положить на землю. Они ждали смерти. В сию минуту донесли Иоанну о падении большого колокола в Москве; он ускакал в столи-

цу, и бедные псковитяне остались живы. — Честные бояре с потупленным взором безмолвствовали во дворце: шуты, скоморохи забавляли царя, а льстецы славил его мудрость. Добродетельная Анастасия молилась, вместе с Россиею, и бог услышал их. Характеры сильные требуют сильного потрясения, чтобы свергнуть с себя иго злых страстей и с живою ревностию устремиться на путь добродетели. Для исправления Иоаннова надлежало сгореть Москве!

Сия столица ежегодно возрастала своим пространством и числом жителей. Дворы более и более стеснялись в Кремле, в Китае; новые улицы примыкали к старым в посадах; дома строились лучше для глаз, но не безопаснее прежнего: тленные громады зданий, где-где разделенные садами, ждали только искры огня, чтобы сделаться пеплом. Летописи Москвы часто говорят о пожарах, называя иные *великими*; но никогда огонь не свирепствовал в ней так ужасно, как в 1547 году, 12 апреля сгорели лавки в Китае с богатыми товарами, гостиные казенные дворы, обитель Божоявленская и множество домов, от Ильин-

ских ворот до Кремля и Москвы-реки. Высокая башня, где лежал порох, взлетела на воздух с частью городской стены, пала в реку и запрудила оную кирпичами. 20 апреля обратились в пепел за Яузою все улицы, где жили гончары и кожевники; а 21 июня, около полудня, в страшную бурю, начался пожар за Неглинною, на Арбатской улице, с церкви Воздвижения; огонь лился рекою, и скоро вспыхнул Кремль, Китай, Большой посад. Вся Москва представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, каменные распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла. Рев бури, треск огня и вопль людей от времени до времени был заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле и в других частях города. Спасали единственно жизнь: богатство, праведное и неправедное, гибло. Царские палаты, казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, книги, даже мощи святых истлели. Митрополит молился в храме Успения, уже задыхаясь от дыма: силою вывели его оттуда и хотели спустить на веревке с тайника к Москве-реке: он упал, рас-

шибся и едва живой был отвезен в Новоспасский монастырь. Из собора вынесли только образ Марии, писанный св. Петром митрополитом, и «Правила церковные», привезенные Киприаном из Константинополя. Славная Владимирская икона богородицы оставалась на своем месте: к счастью, огонь, разрушив кровлю и паперты, не проник во внутренность церкви. – К вечеру затихла буря, и в три часа ночи угасло пламя; но развалины курились несколько дней, от Арбата и Неглинной до Яузы и до конца Великой улицы, Варварской, Покровской, Мясницкой, Дмитровской, Тверской. Ни огороды, ни сады не уцелели: деревья обратились в уголь, трава – в золу. Сгорело 1700 человек, кроме младенцев. Нельзя, по сказанию современников, ни описать, ни вообразить сего бедствия. Люди с опаленными волосами, с черными лицами бродили, как тени, среди ужасов обширного пепелища: искали детей, родителей, остатков имения; не находили и выли, как дикие звери. «Счастлив, – говорит летописец, – кто, умиляясь душою, мог плакать и смотреть на небо!» Утешителей не было: царь с вельможами уда-

лился в село Воробьево, как бы для того, чтобы не слышать и не видеть народного отчаяния. Он велел немедленно возобновить Кремлевский дворец; богатые также спешили строиться; о бедных не думали. Сим воспользовались неприятели Глинских: духовник Иоаннов, протоиерей Феодор, князь Скопин-Шуйский, боярин Иван Петрович Федоров, князь Юрий Темкин, Нагой и Григорий Юрьевич Захарьин, дядя царицы: они составили заговор; а народ, несчастием расположенный к исступлению злобы и к мятежу, охотно сделался их орудием.

В следующий день государь поехал с боярами навестить митрополита в Новоспасской обители. Там духовник его, Скопин-Шуйский и знатные их единомышленники объявили Иоанну, что Москва сгорела от волшебства некоторых злодеев. Государь удивился и велел исследовать сие дело боярам, которые, чрез два дни приехав в Кремль, собрали граждан на площади и спрашивали, кто жег столицу? В несколько голосов отвечали им: «Глинские! Глинские! Мать их, княгиня Анна, вынимала сердца из мертвых, клала в воду и

кропила ею все улицы, ездя по Москве. Вот отчего мы сгорели!» Сию басню выдумали и разгласили заговорщики. Умные люди не верили ей, однако ж молчали: ибо Глинские заслужили общую ненависть. Многие поджигали народ, и самые бояре. Княгиня Анна, бабка государева, с сыном Михаилом находилась тогда во ржевском своем поместье. Другой сын ее, князь Юрий, стоял на Кремлевской площади в кругу бояр: изумленный нелепым обвинением и видя ярость черни, он искал безопасности в церкви Успения, куда вломился за ним и народ. Совершилось дотоле неслыханное в Москве злодейство: мятежники в святом храме убили родного дядю государева, извлекли его тело из Кремля и положили на лобном месте; разграбили имение Глинских, умертвили множество их слуг и детей боярских. Никто не унимал беззакония: правительства как бы не было...

В сие ужасное время, когда юный царь трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новагорода, при-

ближился к Иоанну с поднятым, угрожающим перстом, с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что суд божий гремит над главою царя легкомысленного и злострасного; что огонь небесный испепелил Москву; что сила вышнего волнует народ и лиет фиял гнева в сердца людей. Раскрыв святое писание, сей муж указал Иоанну правила, данные вседержителем сонму царей земных; заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов; представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел чудо: Иоанн сделался иным человеком; обливаясь слезами раскаяния, простер десницу к наставнику вдохновенному; требовал от него силы быть добродетельным – и приял оную. Смиранный иерей, не требуя ни высокого имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, чтобы утверждать, ободрять юного венценосца на пути исправления, заключив тесный союз с одним из любимцев Иоанновых, Алексеем Федоровичем Адашевым, прекрасным молодым человеком, коего описывают земным ангелом: имея нежную, чистую

душу, нравы благие, разум приятный, основательный и бескорыстную любовь к добру, он искал Иоанновой милости не для своих личных выгод, а для пользы отечества, и царь нашел в нем редкое сокровище, друга, необходимо нужного самодержцу, чтобы лучше знать людей, состояние государства, истинные потребности оногo: ибо самодержец с высоты престола видит лица и вещи в обманчивом свете отдаления; а друг его как подданный стоит наряду со всеми, смотрит прямее в сердца и вблизи на предметы. Сильвестр возбуждал в царе желание блага: Адашев облегчил царю способы благотворения. – Так повествует умный современник, князь Андрей Курбский, бывший тогда уже знатным сановником двора. По крайней мере здесь начинается эпоха Иоанновой славы, новая, ревностная деятельность в правлении, ознаменованная счастливыми для государства успехами и великими намерениями.

Во-первых, обуздали мятежную чернь, которая, на третий день по убиении Глинского, явилась шумною толпою в Воробьево, окружила дворец и кричала, чтобы государь вы-

дал ей свою бабу, княгиню Анну, и сына ее Михаила. Иоанн велел стрелять в бунтовщиков: толпу рассеяли; схватили и казнили некоторых; многие ушли; другие падали на колена и винулись. Порядок восстановился. Тогда государь изъявил попечительность отца о бедных: взяли меры, чтобы никто из них не остался без крова и хлеба.

Во-вторых, истинные виновники бунта, подстрекатели черни, князь Скопин-Шуйский с клеветами обманулись, если имели надежду, свергнув Глинских, овладеть царем. Хотя Иоанн пощадил их, из уважения ли к своему духовнику и к дяде царицы, или за недостатком ясных улик, или предав одному суду божию такое дело, которое, несмотря на беззаконие способов, удовлетворяло общей, справедливой ненависти к Глинским: но мятежное господство бояр рушилось совершенно, уступив место единовластию царскому, чуждому тиранства и прихотей. Чтобы торжественным действием веры утвердить благословенную перемену в правлении и в своем сердце, государь на несколько дней уединился для поста и молитвы; созвал святителей,

умиленно каялся в грехах и, разрешенный, успокоенный ими в совести, причастился святых тайн. Юное, пылкое сердце его хотело открыть себя пред лицом России: он велел, чтобы из всех городов прислали в Москву людей избранных, всякого чина или состояния, для важного дела государственного. Они собрались – и в день воскресный, после обедни, царь вышел из Кремля с духовенством, с крестами, с боярами, с дружиною воинскою, на лобное место, где народ стоял в глубоком молчании. Отслужили молебен. Иоанн обратился к митрополиту и сказал: «Святой владыко! Знаю усердие твое ко благу и любовь к отечеству: будь же мне поборником в моих благих намерениях. Рано бог лишил меня отца и матери; а вельможи не радели о мне: хотели быть самовластными; моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили народ – и никто не претил им. В жалком детстве своем я казался глухим и немым: не внимал стнанию бедных, и не было обличения в устах моих! Вы, вы делали что хотели, злые крамольники, судии неправедные! Какой ответ дадите нам ныне? Сколько слез, сколько кро-

ви от вас пролилося? Я чист от сея крови! А вы ждите суда небесного!..» Тут государь поклонился на все стороны и продолжал: «Люди божий и нам богом дарованные! Молю вашу веру к нему и любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить *минувшего* зла: могу только *впредь* спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет; оставьте ненависть, вражду; соединимся все любовью христианскою. Отныне я судия ваш и защитник». В сей великий день, когда Россия в лице своих поверенных присутствовала на лобном месте, с благоговением внимая искреннему обету юного венценосца жить для ее счастья, Иоанн в восторге великодушия объявил искреннее прощение виновным боярам; хотел, чтобы митрополит и святители также их простили именем судии небесного; хотел, чтобы все россияне братски обнялись между собою; чтобы все жалобы и тяжбы прекратились миром до назначенного им срока. – В тот же день он поручил Адашеву принимать челобитные от бедных, сирот, обиженных и сказал ему торжественно: «Алексий! Ты не знатен и не богат,

но добродетелен. Ставлю тебя на место высокое, не по твоему желанию, но в помощь душе моей, которая стремится к таким людям, да утолите ее скорбь о несчастных, коих судьба мне вверена богом! Не бойся ни сильных, ни славных, когда они, похитив честь, беззаконствуют. Да не обманут тебя и ложные слезы бедного, когда он в зависти клеветает на богатого! Все рачительно испытывай и доноси мне истину, страшась единственно суда божия». Народ плакал от умиления вместе с юным своим царем.

<Из главы первой девятого тома>

Перемена в Иоанне. Клевета на Адашева и Сильвестра. Суд. Заточение Сильвестра. Смерть Адашева. Начало злу. Новые любимцы. Первые казни.

Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства.

И россияне современные и чужеземцы, бывшие тогда в Москве, изображают сего юного, тридцатилетнего венценосца как пример монархов благочестивых, мудрых, ревностных ко славе и счастью государства. Так изъясняются первые: «Обычай Иоаннов есть

соблюдать себя чистым пред богом. И в храме и в молитве уединенной, и в совете боярском и среди народа у него одно чувство: «Да властвую, как всевышний указал властвовать своим истинным помазанникам!» Суд нелицемерный, безопасность каждого и общая, целостность порученных ему государств, торжество веры, свобода христиан есть всегдашняя дума его. Обремененный делами, он не знает иных утех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою обязанность; не хочет обыкновенных *прохлад* царских. Ласковый к вельможам и народу – любя, награждая всех по достоинству – щедростию искореняя бедность, а зло – примером добра, сей богом урожденный царь желает в день Страшного суда услышать глас милости: «Ты еси царь правды!» И ответствовать с умилением: «Се аз и люди яже дал ми еси ты!» Не менее хвалят его и наблюдатели иноземные, англичане, приезжавшие в Россию для торговли. «Иоанн, – пишут они, – затмил своих предков и могуществом и добродетелию; имеет многих врагов и смиряет их. Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, Ногаи ужасаются

русского имени. В отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив; любит разговаривать с ними, часто дает им обеды во дворце и, несмотря на то, умеет быть повелительным; скажет боярину: «Иди!» – и боярин бежит; изъявит досаду вельможе – и вельможа в отчаянии; скрывается, тоскует в уединении, отпускает волосы в знак горести, пока царь не объявит ему прощения. Одним словом, нет народа в Европе, более россиян преданного своему государю, коего они равно и страшатся и любят. Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать, Иоанн во все входит, все решит; не скучает делами и не веселится ни звериною ловлею, ни музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями: как служить богу и как истреблять врагов России!»

Вероятно ли, чтобы государь любимый, обожаемый мог с такой высоты блага, счастья, славы низвергнуться в бездну ужасов тиранства? Но свидетельства добра и зла равно убедительны, неопровержимы; остается только представить сей удивительный феномен в его постепенных изменениях.

История не решит вопроса о нравственной свободе человека; но, предполагая оную в суждении своем о делах и характерах, изъясняет те и другие, во-первых, природными свойствами людей, во-вторых, обстоятельством или впечатлениями предметов, действующих на душу. Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом еще более острым, нежели твердым или основательным. Худое воспитание, испортив в нем естественные склонности, оставило ему способ к исправлению в одной вере: ибо самые дерзкие развратители царей не дерзали тогда касаться сего святого чувства. Друзья отечества и блага в обстоятельствах чрезвычайных умели ее спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце; похитили юношу из сетей неги и с помощью набожной, кроткой Анастасии увлекли на путь добродетели. Несчастные следствия Иоанновой болезни расстроили сей прекрасный союз, ослабили власть дружества, изготовили перемену. Государь возмужал: страсти зреют вместе с умом, и самолюбие действует еще сильнее в летах совершенных. Пусть доверенность

Иоаннова к разуму бывших наставников не умалилась; но доверенность его к самому себе увеличилась: благодарный им за мудрые советы, государь престал чувствовать необходимость в дальнейшем руководстве и тем более чувствовал тягость принуждения, когда они, не изменяя старому обыкновению, говорили смело, решительно во всех случаях и не думали угождать его человеческой слабости. Такое прямодушие казалось ему непристойною грубостью, оскорбительною для монарха. Например, Адашев и Сильвестр не одобряли войны Ливонской, утверждая, что надобно прежде всего искоренить неверных, злых врагов России и Христа; что ливонцы хотя и не греческого исповедания, однако ж христиане и для нас не опасны; что бог благословляет только войны справедливые, нужные для целости и свободы государств. Двор был наполнен людьми, преданными сим двум любимцам; но братья Анастасии не любили их, также и многие обыкновенные завистники, не терпящие никого выше себя. Последние не дремали, угадывали расположение Иоаннова сердца и внушали ему, что Сильвестр и Адашев

суть хитрые лицемеры: проповедуя небесную добродетель, хотят мирских выгод; стоят высоко пред троном и не дают народу видеть царя, желая присвоить себе успехи, славу его царствования, и в то же время препятствуют сим успехам, советуя государю быть умеренным в счастье: ибо внутренно страшатся оных, думая, что избыток славы может дать ему справедливое чувство величия, опасное для их властолюбия. Они говорили: «Кто сии люди, дерзающие предписывать законы царю великому и мудрому не только в делах государственных, но и в домашних, семейственных, в самом образе жизни; дерзающие указывать ему, как обходиться с супругою, сколько пить и есть в меру?» Ибо Сильвестр, наставник Иоанновой совести, всегда требовал от него воздержания, умеренности в физических наслаждениях, к коим юный монарх имел сильную склонность. Иоанн не унимал злословия, ибо уже скучал излишно строгими нравоучениями своих любимцев и хотел свободы; не мыслил оставить добродетели: желал единственно избавиться от учителей и доказать, что может без них обойтись. Быва-

ли минуты, в которые природная его пылкость изливалась в словах нескромных, в угрозах. Пишут, что скоро по завоевании Казани он, в гневе на одного воеводу, сказал вельможам: «Теперь уже не боюсь вас!» Но великодушие, оказанное им после болезни, совершенно успокоило сердца. Тринадцать цветущих лет жизни, проведенных в ревностном исполнении святых царских обязанностей, свидетельствовали, казалось, неизменную верность в любви ко благу. Хотя государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменился заметно в правилах. Благодичие царствовало в Кремлевском дворце, усердие и смелая откровенность – в думе. Только в делах двусмысленных, где истина или добро не были очевидны, Иоанн любил противоречить советникам. Так было до весны 1560 года.

В сие время холодность государева к Адашеву и к Сильвестру столь явно обнаружилась, что они увидели необходимость удалиться от двора. Первый, занимая дотоле важнейшее место в думе и всегда употребляемый в переговорах с европейскими державами, хотел еще служить царю иным способом:

принял сан воеводы и поехал в Ливонию; а Сильвестр, от чистого сердца дав государю благословение, заключился в одном пустынном монастыре. Друзья их осиротели, неприятели восторжествовали; славили мудрость царя и говорили: «Ныне ты уже истинный самодержец, помазанник божий; един управляешь землею: открыл свои очи и зришь свободно на все царство». Но сверженные любимцы казались им еще страшными. Вопреки известной государевой немилости, Адашева честили в войске; самые граждане ливонские изъявляли отменное к нему уважение: все покорялось его уму и добродетели. Не менее Сильвестр, уже монах смиренный, блистал добродетелями христианскими в пустыне: иноки с удивлением видели в нем пример благочестия, любви, кротости. Царь мог узнать о том, раскаяться, возвратить изгнанников: надлежало довершить удар и сделать государя столь несправедливым, столь виновным против сих мужей, чтобы он уже не мог и мыслить об искреннем мире с ними. Кончина царицы подала к тому случай.

Иоанн был растерзан горестию: все вокруг

его проливали слезы, или от истинной жалости, или в угодность царю печальному – и в сих-то слезах явилась гнусная клевета под личиною усердия, любви, будто бы приведенной в ужас открытием неслыханного злодейства. «Государь! – сказали Иоанну. – Ты в отчаянии, Россия также, а два изверга торжествуют: добродетельную царицу извели Сильвестр и Адашев, ее враги тайные и *чародеи*: ибо они без чародейства не могли бы так долго владеть умом твоим». Представили доказательства, которые не убеждали и самых легковерных; но государь знал, что Анастасия со времени его болезни не любила ни Сильвестра, ни Адашева; думал, что они также не любили ее, и принял клевету, может быть желая оправдать свою к ним немилость если не верными уликами в их злодействе, то хотя подозрением. Сведав о сем доносе, изгнанники писали к царю, требуя суда и очной ставки с обвинителями. Последнего не хотели враги их, представляя ему, что они как василиски ядовиты, могут одним взором снова очаровать его и, любимые народом, войском, всеми гражданами, произвести мятеж; что страх сомкнет уста

доносителям. Государь велел судить обвиняемых заочно: митрополит, епископы, бояре, многие иные духовные и светские чиновники собрались для того во дворце. В числе судей были и коварные монахи, Вассиан Беский, Мисаил Сукин, главные злодеи Сильвестровы. Читали не одно, но многие обвинения, изъясняемые самим Иоанном в письмо к князю Андрею Курбскому. «Ради спасения души моей, — пишет царь, — приблизил я к себе иерея Сильвестра, надеясь, что он по своему сану и разуму будет мне споспешником во благе; но сей лукавый лицемер, обольстив меня сладкоречием, думал единственно о мирской власти и сдружился с Адашевым, чтобы управлять царством без царя, ими презираемого. Они снова вселили дух своевольтва в бояр; раздали единомышленникам города и волости; сажали, кого хотели, в думу; заняли все места своими угодниками. Я был невольником на троне. Могу ли описать претерпенное мною в сии дни уничижения и стыда? Как пленника влекут царя с горстию воинов сквозь опасную землю неприятельскую (Казанскую) и не щадят ни здоровья, ни жизни

его; вымышляют детские *страшила*, чтобы привести в ужас мою душу; велят мне быть выше естества человеческого, запрещают ездить по святым обителям; не дозволяют карать немцев... К сим беззакониям присоединяется измена: когда я страдал в тяжелой болезни, они, забыв верность и клятву, в упоении самовластия хотели, мимо сына моего, взять себе иного царя, и не тронутые, не исправленные нашим великодушием, в жестокости сердец своих чем платили нам за оное? Новыми оскорблениями: ненавидели, злословили царицу Анастасию и во всем доброхотствовали князю Владимиру Андреевичу. И так удивительно ли, что я решился наконец не быть младенцем в летах мужества и свергнуть иго, возложенное на царство лукавым попом и неблагодарным слугою Алексием?» и проч. Заметим, что Иоанн не обвиняет их в смерти Анастасии и тем свидетельствует нелепую ложь сего доноса. Все иные упреки отчасти сомнительны, отчасти безрассудны в устах тридцатилетнего самодержца, который признанием своей бывшей неволи открывает тайну своей жалкой слабости. Адашев и Силь-

вестр могли как люди ослепиться честолюбием; но государь сих нескромным обвинением уступил им славу прекраснейшего в истории царствования. Увидим, как он без них властвовал; и если не Иоанн, но любимцы его от 1547 до 1560 года управляли Россиею: то для счастья подданных и царя надлежало бы сим добродетельным мужам не оставлять государственного кормила: лучше неволею творить добро, нежели волею – зло. Но гораздо вероятнее, что Иоанн, желая винить их, клеветает на самого себя; гораздо вероятнее, что он искренно любил благо, узнав его прелесть, и, наконец, увлеченный страстями, только обузданными, не искорененными, изменил правилам великодушия, сообщенным ему мудрыми наставниками: ибо легче переменить, нежели так долго принуждать себя – и кому? Государю самовластному, который одним словом всегда мог расторгнуть сию мнимую цепь неволи. Адашев, как советник не одобряя войны Ливонской, служил Иоанну как подданный, как министр и воин усердным орудием для успехов ее: следственно, государь *повелевал* и, вопреки его жалобам, не

был рабом любимцев.

Выслушав бумагу о преступлениях Адашева и Сильвестра, некоторые из судей объявили, что сии злодеи уличены и достойны казни; другие, потупив глаза, безмолвствовали. Тут старец, митрополит Макарий, близостию смерти и саном первосвященства утверждаемый в обязанности говорить истину, сказал царю, что надобно призвать и выслушать судимых. Все добросовестные вельможи согласились с сим мнением, но *сонм губителей*, по выражению Курбского, возопил против одного, доказывая, что люди, осуждаемые чувством государя велемудрого, милостивого, не могут представить никакого законного оправдания; что их присутствие и козни опасны; что спокойствие царя и отечества требует немедленного решения в сем важном деле. И так решили, что обвиняемые виновны. Надлежало только определить казнь, и государь, еще желая иметь вид милосердия, умерил оную: послали Сильвестра на дикий остров Белого моря, в уединенную обитель Соловецкую, и велели Адашеву жить в новопокоренном Феллине, коего взятию он способствовал

тогда своим умом и распоряжениями; но твердость и спокойствие сего мужа досаждали злобным, гонителям: его заключили в Дерпте, где он чрез два месяца умер горячкою, к радости своих неприятелей, которые сказали царю, что *обличенный изменник отравил себя ядом...* Муж, незабвенный в нашей истории, краса века и человечества, по вероятному сказанию его друзей: ибо сей знаменитый временщик явился вместе с добродетелию царя и погиб с нею... Феномен удивительный в тогдашних обстоятельствах России, изъясняемый единственно неизмеримую силою искреннего благолюбия, коего божественное вдохновение озаряет ум, естественный в самой тьме невежества, и вернее науки, вернее ученой мудрости руководствует людей к великому. — Обязанный милости Иоанновой некоторым избытком, Адашев знал одну роскошь благоденствия: питал нищих, держал в своем доме десять прокаженных и собственными руками обмывал их, усердно исполняя долг христианина и всегда памятуя бедность человечества.

Отселе начало злу и таким образом. Уже

не было двух главных действующих благоденствующего Иоаннова царствования; но друзья их, мысли и правила оставались: надлежало, истребив Адашева, истребить и дух его, опасный для клеветников добродетели, противный самому государю в сих новых обстоятельствах. Требовали клятвы от всех бояр и знатных людей не держаться стороны удаленных, наказанных *изменников* и быть верными государю. Присягнули, одни с радостию, другие с печалию, угадывая следствия, которые и открылись немедленно. Все, что прежде считалось достоинством и способом угождать царю, сделалось предосудительно, напоминая Адашева и Сильвестра. Говорили Иоанну: «Всегда ли плакать тебе о супруге? Найдешь другую, равно прелестную, но можешь неумеренностию в скорби повредить своему здравью бесценному. Бог и народ требуют, чтобы ты в земной горести искал и земного утешения». Иоанн искренно любил супругу, но имел легкость во нраве, несогласную с глубокими впечатлениями горести. Он без гнева внимал утешителям – и чрез восемь дней по кончине Анастасии митрополит, свя-

тители, бояре торжественно предложили ему искать невесты: законы пристойности были тогда не строги. Раздав по церквам и для бедных несколько тысяч рублей в память усопшей, послав богатую милостыню в Иерусалим, в Грецию, государь 18 августа объявил, что намерен жениться на сестре короля польского.

С сего времени умолк плач во дворце. Начали забавлять царя, сперва беседою приятною, шутками, а скоро и *светлыми* пирами; напоминали друг другу, что вино радует сердце; смеялись над старым обычаем умеренности; называли постничество лицемерием. Дворец уже казался тесным для сих шумных сборищ: юных царевичей, брата Иоаннова Юрия и казанского царя Александра, перевели в особенные дома. Ежедневно вымышлялись новые потехи, игрища, на коих трезвость, самая важность, самая пристойность считались непристойностию. Еще многие бояре, сановники не могли вдруг перемениться в обычаях; сидели за светлую трапезою с лицом туманным, уклонялись от чаши, не пили и вздыхали: их осмеивали, унижали: лили им

вино на голову. Между новыми любимцами государевыми отличались боярин Алексей Басманов, сын его кравчий Федор, князь Афанасий Вяземский, Василий Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, готовые на все для удовлетворения своему честолюбию. Прежде они под личиною благонравия терялись в толпе обыкновенных царедворцев, но тогда выступили вперед и, по симпатии зла, вкрались в душу Иоанна, приятные ему какою-то легкостью ума, искусственную веселостью, хвастливым усердием исполнять, предупреждать его волю как божественную, без всякого соображения с иными правилами, которые обуздывают и благих царей и благих слуг царских, первых – в их желаниях, вторых – в исполнении оных. Старые друзья Иоанновы изъявляли любовь к государю и к добродетели; новые – только к государю, и казались тем любезнее. Они сговорились с двумя или с тремя монахами, заслужившими доверенность Иоаннову, людьми хитрыми, лукавыми, коим надлежало снисходительным учением ободрять робкую совесть царя и своим присутствием как бы оправдывать бесчиние шум-

ных пиров его. Курбский в особенности именует здесь чудовского архимандрита Левкия, главного угодника придворного. Порок ведет к пороку: женолюбивый Иоанн, разгорячаемый вином, забыл целомудрие и, в ожидании новой супруги для вечной, единственной любви, искал временных предметов в удовлетворение грубым вожделениям чувственным. Мнимая, прозрачная завеса тайны не скрывает слабостей венценосца: люди с изумлением спрашивали друг у друга, каким губительным наитием государь, дотоле пример воздержания и чистоты душевной, мог унизиться до распутства?

Сие, без сомнения, великое зло произвело еще ужаснейшее. Развратники, указывая царю на печальные лица важных бояр, шептали: «Вот твои недоброхоты! Вопреки данной ими присяге, они живут адашевским обычаем, сеют вредные слухи, волнуют умы, хотят прежнего своевольтва». Такие ядовитые наветы растравляли Иоанново сердце, уже беспокойное в чувстве своих пороков; взор его мутился; из уст вырывались слова грозные. Обвиняя бояр в злых намерениях, в веролом-

стве, в упорной привязанности к ненавистной памяти мнимых изменников, он решился быть строгим и сделался мучителем, коему равного едва ли найдем в самых Тацитовых летописях!.. Не вдруг, конечно, рассвирепела душа, некогда благолюбивая: успехи добра и зла бывают постепенны; но летописцы не могли проникнуть в ее внутренность; не могли видеть в ней борения совести с мятежными страстями; видели только дела ужасные и называют тиранство Иоанново *чуждою бурю*, как бы из недр ада посланною возмутить, истерзать Россию. Оно началось гонением всех ближних Адашева: их лишали собственности, ссылали в места дальние. Народ жалел о невинных, проклиная ласкателей, новых советников царских; а царь злобился и хотел мерами жестокими унять дерзость. Жена знатная, именем Мария, славилась в Москве христианскими добродетелями и дружбою Адашева: сказали, что она ненавидит и мыслит чародейством извести царя: ее казнили вместе с пятью сыновьями; а скоро и многих иных, обвиняемых в том же: знаменитого воинскими подвигами окольного Да-

нила Адашева, брата Алексиева, с двенадцатилетним сыном, трех Сатиных, коих сестра была за Алексием, и родственника его, Ивана Шишкина, с женою и с детьми. Князь Дмитрий Оболенский-Овчинин, сын воеводы, умершего пленником в Литве, погиб за нескромное слово. Оскорбленный надменно-стию юного любимца государева Федора Басманова, князь Дмитрий сказал ему: «Мы служим царю трудами полезными, а ты – гнусными делами содомскими!» Басманов принес жалобу Иоанну, который, в исступлении гнева, за обедом вонзил несчастному князю нож в сердце; другие пишут, что он велел задушить его. Боярин, князь Михаило Репнин также был жертвою великодушной смелости. Видя во дворе непристойное игрище, где царь, упоенный крепким медом, плясал с своими любимцами в масках, сей вельможа заплакал от горести. Иоанн хотел надеть на него маску: Репнин вырвал ее, растоптал ногами и сказал: «Государю ли быть скоморохом? По крайней мере я, боярин и советник думы, не могу безумствовать». Царь выгнал его и чрез несколько дней велел умертвить,

стоящего в святом храме на молитве; кровь сего добродетельного мужа обагрила помост церковный. Угождая несчастному расположению души Иоанновой, явились толпы доносителей. Подслушивали тихие разговоры в семействах, между друзьями; смотрели на лица, угадывали тайну мыслей, и гнусные клеветники не боялись выдумывать преступлений, ибо доносы нравились государю и судия не требовал улик верных. Так, без вины, без суда, убили князя Юрия Кашина, члена думы, и брата его; князя Дмитрия Курлятева, друга Адашевых, неволею постригли и скоро умертвили со всем семейством; первостепенного вельможу, знатного *слугу государева*, победителя казанцев, князя Михаила Воротынского, с женою, с сыном и с дочерью сослали на Белоозеро. Ужас крымцев, воевода, боярин Иван Шереметев был ввержен в душную темницу, истерзан, окован тяжкими цепями. Царь пришел к нему и хладнокровно спросил: «Где казна твоя? Ты слыл богачом». – «Государь! – отвечал полумертвый страдалец. – Я руками нищих переслал ее к моему Христу-спасителю!» Выпущенный из темницы, он еще несколько

лет присутствовал в думе; наконец, укрылся от мира в пустыне Белозерской, но не укрылся от гонения: Иоанн писал к тамошним монахам, что они излишне честят сего бывшего вельможу, как бы в досаду царю. Брат его, Никита Шереметев, также думный советник и воевода, израненный в битвах за отечество, был удушен.

Москва цепенела в страхе. Кровь лилася; в темницах, в монастырях стонали жертвы; но... тиранство еще созревало: настоящее ужасало будущим! Нет исправления для мучителя, всегда более и более подозрительного, более и более свирепого; кровопийство не утоляет, но усиливает жажду крови: оно делается лютейшею из страстей, неизъяснимою для ума, ибо есть безумие, казнь народов и самого тирана. – Любопытно видеть, как сей государь, до конца жизни усердный читатель христианского закона, хотел соглашать его божественное учение с своею неслыханною жестокостию: то оправдывал оную в виде правосудия, утверждая, что все ее мученики были изменники, *чародеи*, враги Христа и России; то смиренно винился пред богом и

людьми, называл себя *гнусным убийцею невинных*, приказывал молиться за них в святых храмах, но утешался надеждою, что искреннее раскаяние будет ему спасением и что он, сложив с себя земное величие, в мирной обители св. Кирилла Белозерского со временем будет примерным иноком! Так писал Иоанн к князю Андрею Курбскому и к начальникам любимых им монастырей, во свидетельство, что глас неумолимой совести тревожил мутный сон души его, готовя ее к внезапному, страшному пробуждению в могиле!

<Из главы второй девятого тома>

Бегство россиян в Литву. Измена к. Андрея Курбского. Переписка его с царем. Учреждение опричнины. Вторая эпоха казней. Александровская слобода. Монашеская жизнь Иоаннова.

Ужас, наведенный жестокостями царя на всех россиян, произвел бегство многих из них в чужие земли. Князь Димитрий Вишневецкий служил примером: усердный ко славе нашего отечества и любив Иоанна добродетельного, он не хотел подвергать себя злобному своемунаравию тирана: из воинского стана в юж-

ной России ушел к Сигизмунду, который принял Димитрия милостиво, как злодея Иоаннова, и дал ему собственного медика, чтобы излечить сего славного воина от тяжкого недуга, произведенного в нем отравой. Но Вишневецкий не думал лить крови единовверных россиян: тайно убеждаемый некоторыми вельможами Молдавии изгнать недостойного их господаря Стефана, он с дружиною верных казаков спешил туда искать новой славы и был жертвою обмана; никто не явился под знамена героя: Стефан пленил Вишневецкого и послал в Константинополь, где султан велел умертвить его. — Вслед за Вишневецким отъехали в Литву два брата, знатные сановники, Алексей и Гаврило Черкасские, без сомнения угрожаемые опалою. Бегство не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного: *спасаться от мучителя*; но горе гражданину, который за тирана мстит отечеству! Юный, бодрый воевода, в нежном цвете лет ознаменованный славными ранами, муж битвы и совета, участник всех блестящих завоеваний Иоанновых, герой под Тулою, под Казанью, в сте-

пях башкирских и на полях Ливонии, некогда любимец, друг царя, возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать граждани-на столь знаменитого в число государственных преступников. То был князь Андрей Курбский. Доселе он имел славу заслуг, не имея ни малейшего пятна на сей славе в глазах потомства; но царь уже не любил его, как друга Адашевых: искал только случая обвинить невинного. Начальствуя в Дерпте, сей гордый воевода сносил выговоры, разные оскорбления; слышал угрозы; наконец, сведал, что ему готовится гибель. На боясь смерти в битвах, но уstraшенный казнию, Курбский спросил у жены своей, чего она желает: видеть ли его мертвого пред собою или расстаться с ним живым навеки? Великодушная с твердостью ответствовала, что жизнь супруга ей, драгоценнее счастья. Заливаясь слезами, он простился с нею, благословил девятилетнего сына, ночью тайно вышел из дому, перелез через городскую стену, нашел двух оседланных коней, изготовленных его верным слугою, и благополучно достиг Вольмара, занятого литовцами. Там воевода Си-

гизмуидов принял изгнанника как друга, именем королевским обещая ему знатный сан и богатство. Первым делом Курбского было изъясниться с Иоанном: открыть душу свою, исполненную горести и негодования. В порыве сильных чувств он написал письмо к царю: усердный слуга, единственный товарищ его, взялся доставить оное и сдержал слово: подал запечатанную бумагу самому государю, в Москве, на Красном крыльце, сказав: «От господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича». Гневный царь ударил его в ногу острым жезлом своим: кровь лилася из язвы; слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал. Иоанн оперся на жезл и велел читать вслух письмо Курбского такого содержания:

«Царю, некогда светлому, от бога прославленному – ныне же по грехам нашим омраченному адскою злобою в сердце, прокаженному в совести, тирану беспримерному между самыми неверными владыками земли. Внимай! В смятении горести сердечной скажу мало, но истину. Почто различными муками истерзал ты сильных во Израиле, вождей зна-

менитых, данных тебе вседержителем, и свя-
тую, победоносную кровь их пролиал во хра-
мах божиих? Разве они не пылали усердием
к царю и отечеству? Вымышляя клевету, ты
верных называешь изменниками, христиан –
чародеями, свет – тьмою и сладкое – горьким!
Чем прогневали тебя сии предстатели отече-
ства? Не ими ли разорены Батыевы Царства,
где предки наши томились в тяжелой неволе?
Не ими ли взяты твердыни германские в
честь твоего имени? И что же воздаешь нам,
бедным? Гибель! Разве ты сам бессмертен?
Разве нет бога и правосудия вышнего для ца-
ря?.. Не описываю всего, претерпенного мною
от твоей жестокости: еще душа моя в смяте-
нии; скажу единое: ты лишил меня святых Ру-
си! Кровь моя, за тебя излианная, вопиет к бо-
гу. Он видит сердца. Я искал вины своей и в
делах и в тайных помышлениях; вопрошал
совесть, внимал ответам ее и не ведаю греха
моего пред тобою. Я водил полки твои и нико-
гда не обращал хребта их к неприятелю: сла-
ва моя была твоею. Не год, не два служил те-
бе, но много лет, в трудах и в подвигах воин-
ских, терпя нужду и болезни, не видя матери,

не зная супруги, далеко от милого отечества. Исчисли битвы, исчисли раны мои! Не хвалюся: богу все известно. Ему поручаю себя, в надежде на заступление святых и праотца моего, князя Феодора Ярославского... Мы расстались с тобою навеки: не увидишь лица моего до дни суда Страшного. Но слезы невинных жертв готовят казнь мучителю. Бойся и мертвых: убитые тобою живы для всевышнего: они у престола его требуют мести! Не спасут тебя воинства; не сделают бессмертным ласкатели, бояре недостойные, товарищи пиров и неги, губители души твоей, которые принесут тебе детей своих в жертву! – Сию грамоту, омоченную слезами моими, велю положить в гроб с собою и явлюся с нею на суд божий. Аминь. Писано в граде Вольмаре, в области короля Сигизмунда, государя моего, от коего с божиею помощью надеюсь милости и жду утешения в скорбях».

Иоанн выслушал чтение письма и велел пытатель вручителя, чтобы узнать от него все обстоятельства побега, все тайные связи, всех единомышленников Курбского в Москве. Добродетельный слуга, именем Василий Шиб-

нов (сие имя принадлежит истории), не объявил ничего; в ужасных муках хвалил своего отца-господина; радовался мыслию, что за него умирает. Такая великодушная твердость, усердие, любовь изумили всех и самого Иоанна, как он говорит о том в письме к изгнаннику: ибо царь, волнуемый гневом и внутренним беспокойством совести, немедленно отвечал Курбскому.

«Во имя бога всемогущего, — пишет Иоанн, — того, кем живем и движемся, кем цари царствуют и сильные глаголют, смиренный христианский ответ бывшему российскому боярину, нашему советнику и воеводе, князю Андрею Михайловичу Курбскому, *восхотевшему быть ярославским владыкою*... Почто, несчастный, губишь свою душу изменою, спасая брэнное тело бегством? Если ты праведен и добродетелен, то для чего же не хотел умереть от меня, строптивного владыки, и наследовать венец мученика? Что жизнь, что богатство и слава мира сего? Суета и тень: блажен, кто смертью приобретает душевное спасение! Устыдися раба своего, Шибанова: он сохранил благочестие пред царем и наро-

дом; дав господину обет верности, не изменил ему при вратах смерти. А ты, от единого моего гневного слова, тяготишь себя клятвою изменников; не только себя, но и душу предков твоих: ибо они клялися великому моему деду служить нам верно со всем их потомством. Я читал и разумел твое писание. Яд аспида в устах изменника; слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные тобою гонения; но ты не уехал бы ко врагу нашему, если бы мы не излишно миловали вас, недостойных! Я иногда наказывал тебя за вины, но всегда легко и с любовью; а жаловал примерно. Ты в юных, летах был воеводою и советником царским; имел все почести и богатство. Вспомни отца своего: он служил в боярах у князя Михаила Кубенского! Хвалишься пролитием крови своей в битвах: но ты единственно платил долг отечеству. И велика ли слава твоих подвигов? Когда хан бежал от Тулы, вы пировали на обеде у князя Григория Темкина и дали неприятелю время уйти во свояси. Вы были под Невлем с 15000 и не умели разбить четырех тысяч литовцев. Говоришь о царствах Батыевых, будто бы вами по-

коренных: разумеешь Казанское (ибо милость твоя не видала Астрахани): но чего нам стоило вести вас к победе? Сами идти не желая, вы безумными словами и в других охлаждали ревность к воинской славе. Когда буря истребила под Казанью суда наши с запасом, вы хотели бежать малодушно – и безвременно требовали решительной битвы, чтобы возвратиться в дома, победителями или побежденными, но только скорее. Когда бог даровал нам город, что вы делали? Грабили! А Ливониею можете ли хвалиться? Ты жил праздно во Пскове, и мы семь раз писали к тебе, писали к князю Петру Шуйскому: «Идите на немцев!» Вы с малым числом людей взяли тогда более пятидесяти городов; но своим ли умом и мужеством? Нет, только исполнением, хотя и ленивым, нашего распоряжения, ж вы сделали после с своим мудрым начальником Алексеем Адашевым, имея у себя войско многочисленное? Едва могли взять Феллин: ушли от Пайды (Вейсенштейна)! Если бы не ваша строптивость, то Ливония давно бы вся принадлежала России. Вы побеждали невольно, действуя как рабы, единственно силою по-

нуждения. Вы, говорите, проливали за нас кровь свою: мы же проливали пот и слезы от вашего неповиновения. Что было отечество в ваше царствование и в наше малолетство? Пустынею от востока до запада; а мы, уняв вас, устроили села и грады там, где витали дикие звери. Горе дому, коим владеет жена; горе царству, коим владеют многие! Кесарь Август повелевал вселенною, ибо не делился ни с кем властью: Византия пала, когда цари начали слушаться епархов, синклитов и попов, братьев вашего Сильвестра».

Тут Иоанн описывает уже известные читателю вины бывших своих любимцев и продолжает:

«Бесстыдная ложь, что говоришь о наших мнимых жестокостях! Не губим *сильных во Израиле*; их кровию не обагрняем церковей божиих: сильные, добродетельные здравствуют и служат нам. Казним одних изменников – и где же щадят их? Константин Великий не пощадил и сына своего; а предок ваш, святой князь Феодор Ростиславич, сколько убил христиан в Смоленске? Много опал, горестных для моего сердца; но еще более измен гнус-

ных, везде и всем известных. Спроси у купцов чужеземных, приезжающих в наше государство: они скажут тебе, что твои *предстатели* суть злодеи уличенные, коих не может носить земля русская. И что такое предстатели отечества? Святые ли, боги ли, как Аполлоны, Юпитеры? Доселе владельцы российские были вольны, независимы: жаловали и казнили своих подданных без отчета. Так будет! Уже я не младенец. Имею нужду в милости божией, пречистыя девы Марии и святых угодников: наставления человеческого не требую. Хвала всевышнему: Россия благоденствует; бояре мои живут в любви и согласии: одни друзья, советники ваши еще во тьме коварствуют. – Угрожаешь мне судом Христовым на том свете: а разве в сем мире нет власти божией? Вот ересь манихейская! Вы думаете, что господь царствует только на небесах, диавол – во аде, на земле же властвуют люди: нет, нет! Везде господня держава, и в сей и в будущей жизни. – Ты пишешь, что я не узрю здесь лица твоего ефиопского: горе мне! Какое бедствие! – Престол всевышнего окружаешь ты убиенными мною: вот новая ересь! Никто, по

слову апостола, не может видеть бога. Положи свою грамоту в могилу с собою: сим докажешь, что и последняя искра христианства в тебе угасла: ибо христианин умирает с любовью, с прощением, а не с злобою. – К довершению измены называешь ливонский город Вольмар областью короля Сигизмунда и надеешься от него милости, оставив своего законного, богом данного тебе властителя. Ты избрал себе государя лучшего! Великий король твой есть раб рабов: удивительно ли, что его хвалят рабы? Но умолкаю: Соломон не велит плодить речей с безумными: таков ты действительно. – Писано наша великия России в царствующем граде Москве, лета мироздания 7072, июля месяца в 5 день». Сие письмо, наполненное изречениями Ветхого и Нового завета, свидетельствами историческими, богословскими толкованиями и грубыми насмешками, составляет целую книгу в подлиннике. Курбский отвечал на оное с презрением: стыдил Иоанна забвением властительского достоинства, унижаемого языком бранным, суесловием жалким, непристойною смесию божественных сказаний с ложью и клеветами.

ми. «Я невинен и бедствую в изгнании, – говорит он. – Добрые жалеют обо мне: следственно, не ты! Пождем мало: истина недалеко». Доселе можем осуждать изгнанника только за язвительность жалобы и за то, что он наслаждению мести, удовольствию терзать мучителя словами смелыми пожертвовал добрым, усердным слугою: по крайней мере еще не видим в нем государственного преступника и не можем верить обвинению, что Курбский хотел будто бы назваться *государем ярославским*. Но, увлеченный страстию, сей муж злополучный лишил себя выгоды быть правым и главного утешения в бедствиях: внутреннего чувства добродетели. Он мог без угрызения совести искать убежища от гонителя в самой Литве: к несчастью, сделал более: пристал ко врагам отечества. Обласканный Сигизмундом, награжденный от него богатым поместьем Ковельским, он предал ему свою честь и душу; советовал, как губить Россию; упрекал короля слабостию в войне; убеждал его действовать смелее, не жалеть казны, чтобы возбудить против нас хана, – и скоро услышали в Москве, что 70000 литов-

цев, ляхов, прусских немцев, венгров, волохов с изменником Курбским идут к Полоцку; что Девлет-Гирей с 60000 хищников вступил в Рязанскую область...

Таким образом, измена Курбского и замысел Сигизмундов потрясти Россию произвели одну кратковременную тревогу в Москве. Но сердце Иоанново не успокоилось, более и более кипело гневом, волновалось подозрениями. Все добрые вельможи казались ему тайными злодеями, единомышленниками Курбского: он видел предательство в их печальных взорах, слышал укоризны или угрозы в их молчании; требовал доносов и жаловался, что их мало: самые бесстыдные клеветники не удовлетворяли его жажде к истязанию. Какая-то невидимая рука еще удерживала тирана: жертвы были пред ним и еще не издыхали, к его изумлению и муке. Иоанн искал предлога для новых ужасов – и вдруг, в начале зимы 1564 года, Москва узнала, что царь едет неизвестно куда с своими ближними дворянами, людьми приказными, воинскими, поимянно созванными для того из самых городов отдаленных, с их женами и детьми. 3

декабря, рано, явилось на Кремлевской площади множество саней: в них сносили из дворца золото и серебро, святые иконы, кресты, сосуды драгоценные, одежды, деньги. Духовенство, бояре ждали государя в церкви Успения: он пришел и велел митрополиту служить обедню; молился с усердием; принял благословение от Афанасия, милостиво дал целовать руку свою боярам, чиновникам, купцам; сел в сани с царицею, с двумя сыновьями, с Алексеем Басмановым, Михаилом Салтыковым, князем Афанасием Вяземским, Иваном Чеботовым, с другими любимцами и, провождаемый целым полком вооруженных всадников, уехал в село Коломенское, где жил две недели за распутием: ибо сделалась необыкновенная оттепель, шли дожди и реки вскрылись. 17 декабря он с обозами своими переехал в село Тайнинское, оттуда в монастырь Троицкий, а к рождеству – в Александровскую слободу. – В Москве, кроме митрополита, находились тогда многие святители: они вместе с боярами, вместе с народом – не зная, что думать о государевом необыкновенном, таинственном путешествии, – беспокоили-

лись, унывали, ждали чего-нибудь чрезвычайного и, без сомнения, не радостного. Прошел месяц.

3 генваря вручили митрополиту Иоаннову грамоту, присланную с чиновником Константином Поливановым. Государь описывал в ней все мятежи, неурейства, беззакония боярского правления во время его малолетства; доказывал, что и вельможи и приказные люди расхищали тогда казну, земли, поместья государевы: радели о своем богатстве, забывая отечество; что сей дух в них не изменился; что они не престают злодействовать: воеводы не хотят быть защитниками христиан, удаляются от службы, дают хану, Литве, немцам терзать Россию; а если государь, движимый правосудием, объявляет гнев недостойным боярам и чиновникам, то митрополит и духовенство вступаются за виновных, грубят, стужают ему. «Вследствие чего, – писал Иоанн, – не хотя терпеть ваших измен, мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда бог укажет нам путь». – Другую грамоту прислал он к гостям, купцам и мещанам: дьяки Путило Михайлов и Ан-

дрей Васильев в собрании народа читали оную велегласно. Царь уверял добрых, москвитян в своей милости, сказывая, что опала и гнев его не касаются народа.

Столица пришла в ужас: безначалие казалось всем еще страшнее тиранства. «Государь нас оставил! – вопил народ. – Мы гибнем! Кто будет нашим защитником в войнах с иноплемными? Как могут быть овцы без пастыря?» Духовенство, бояре, сановники, приказные люди, проливая слезы, требовали от митрополита, чтобы он умилоствовал Иоанна, никого не жалея и ничего не страшая. Все говорили ему одно: «Пусть царь казнит своих злодеев: в животе и в смерти воля его; но царство да не останется без главы!

Он наш владыка, богом данный: иного не ведаем. Мы все с *своими головами* едем за тобою *бить челом государю и плакаться*». То же говорили купцы и мещане, прибавляя: «Пусть царь укажет нам своих изменников: мы сами истребим их!» Митрополит немедленно хотел ехать к царю; но в общем совете положили, чтобы архипастырь остался блюсти столицу, которая была в неопisanном

смятении. Все дела пресекались; суды, приказы, лавки, караульни опустели. Избрали главными послами святителя Новгородского Пимена и Чудовского архимандрита Левкия; но за ними отправились и все другие епископы, Никандр Ростовский, Елевферий Суздальский, Филофей Рязанский, Матфей Крутицкий, архимандриты Троицкий, Симоновский, Спасский, Андрониковский; за духовенством вельможи, князя Иван Дмитриевич Бельский, Иван Федорович Мстиславский, — все бояре, окольные, дворяне и приказные люди, прямо из палат митрополитовых, не захав к себе в дома; также и многие гости, купцы, мещане, чтобы ударить челом государю и плакаться. Святители остановились в Слотине, послав доложить о себе Иоанну: он велел им ехать в Александровскую слободу с приставами и 5 января впустил их во дворец. Сказав царю благословение от митрополита, епископы слезно молили его снять опалу с духовенства, с вельмож, дворян, приказных людей, не оставлять государства, царствовать и действовать как ему угодно; молили наконец, чтобы он дозволил боярам видеть очи цар-

ские. Иоанн впустил и бояр, которые с таким же умилением, с такою же силою убеждали царя сжалиться над Россиею, возвеличенною его победами и мудрыми уставами, славною мужеством ее народа многочисленного, богатую сокровищами природы, еще славнейшею благоверием. «Когда, – сказали вместе и духовные и государственные сановники, – когда ты не уважаешь мирского величия и славы, то вспомни, что, оставляя Москву, оставляешь святыню храмов, где совершились чудеса божественной к тебе милости, где лежат целебные мощи угодников Христовых. Вспомни, что ты блюститель не только государства, но и церкви: первый, единственный монарх православия! Если удалишься, кто спасет истину, чистоту нашей веры? Кто спасет миллионы душ от гибели вечной?» – Царь отвечал с своим обыкновенным многоречием: повторил все известные упреки боярам в их своевольстве, нерадении, строптивости; ссылался на историю; доказывал, что они издревле были виновниками кровопролития, междоусобия в России, издревле врагами державных наследников Мономаховых: хотели

(обвинение новое!) извести царя, супругу, сыновей его... Бояре безмолвствовали. «Но, – продолжал царь, – для отца моего, митрополита Афанасия, – для вас, богомольцев наших, архиепископов и епископов, соглашаюсь паки *взять свои государства*; а на каких условиях, вы узнаете». Условия состояли в том, чтобы Иоанну невозбранно казнить изменников опалою, смертью, лишением достоинства, без всякого стужения, без всяких претительных докуч со стороны духовенства. В сих десяти словах Иоанн изрек гибель многим боярам, которые пред ним стояли: казалось, что никто из них не думал о своей жизни; хотели единственно возвратить царя царству – и все со слезами благодарили, славили Иоаннову милость, вельможи и духовенство, у коего отнимал государь древнее, святое право ходатайствовать не только за невинных, но и за виновных, еще достойных милосердия! – Грозный владыка, как бы смягченный смирением обреченных жертв, велел святителям праздновать с ним богоявление; удержал в слободе князей Бельского и Щенятева, а других бояр, вместе с дьяками, отпустил в Моск-

ву, чтобы дела не остановились в приказах.

Москва с нетерпением ждала царя, и долго; говорили, что он занимается тайным делом с людьми ближними; угадывали оное не без боязни. Наконец, 2 февраля, Иоанн торжественно въехал в столицу и на другой день созвал духовенство, бояр, знатнейших чиновников. Вид его изумил всех. Опишем здесь наружность Иоаннову. Он был велик ростом, строен; имел *высокие* плеча, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос римский, глаза небольшие, серые, но светлые, пронизательные, исполненные огня, и лицо некогда приятное. В сие время он так изменился, что нельзя было узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость; все черты исказились; взор угас; а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса, от неизъяснимого действия ярости, которая кипела в душе его. Снова исчислив вины бояр и подтвердив согласие остаться царем, Иоанн много рассуждал о должности венценосцев блюсти спокойствие держав, брать все нужные для того меры – о кратковременности жизни, о необходимости видеть далее гроба,

и предложил устав *опричнины*:² имя, дотоле неизвестное! Иоанн сказал, что он для своей и государственной безопасности учреждает особенных телохранителей. Такая мысль никого не удивила: знали его недоверчивость, боязливость, свойственную нечистой совести; но обстоятельства удивили, а следствия привели в новый ужас Россию: 1) царь объявлял своею собственностью города: Можайск, Вязьму, Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин, Ярославец, Суходровью, Медынь, Суздаль, Шую, Галич, Юрьевец, Балахну, Вологду, Устюг, Старую Руссу, Каргополь, Вагу, также волости московские и другие с их доходами; 2) выбирал 1000 телохранителей из князей, дворян, детей боярских и давал им поместья в сих городах, а тамошних вотчинников и владельцев переводил в иные места; 3) в самой Москве взял себе улицы Чертольскую, Арбатскую с Сивцовым Врагом, половину Никитской с разными слободами, откуда надлежало выслать всех дворян и приказных людей, не записанных в царскую тысячу; 4) назначил *особенных* сановников для услуг своих: дворецкого, казначеев, ключников, даже пова-

ров, хлебников, ремесленников; 5) наконец, как бы возненавидев славные воспоминания кремлевские и священные гробы предков, не хотел жить в великолепном дворце Иоанна III: указал строить новый за Неглинною, между Арбатом и Никитскою улицею, и, подобно крепости, оградить высокою стеною. Сия часть России и Москвы, сия тысящная дружина Иоаннова, сей новый двор, как отдельная собственность царя, находясь под его непосредственным ведомством, были названы *опричиною*; а все остальное – то есть все государство – земщиною, которую Иоанн поручал боярам земским, князьям Бельскому, Мстиславскому и другим, велев старым государственным чиновникам – конюшему, дворецкому, казначеям, дьякам – сидеть в их приказах, решить все дела гражданские, а в важнейших относиться к боярам, коим дозволялось в чрезвычайных случаях, особенно по ратным делам, ходить с докладом к государю. То есть Иоанн, по-видимому, желал как бы удалиться от царства, стеснив себя в малом кругу частного владельца, и в доказательство, что *государево* и *государственное* уже не одно

знаменуют в России, требовал себе из казны земской 100 000 рублей за издержки его путешествия от Москвы до слободы Александровской! – Никто не противоречил: воля царская была законом. Обнародовали новое учреждение.

4 февраля Москва увидела исполнение *условий*, объявленных царем духовенству и боярам в Александровской слободе. Начались казни мнимых изменников, которые будто бы вместе с Курбским умышляли на жизнь Иоанна, покойной царицы Анастасии и детей его. Первою жертвою был славный воевода, князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, потомок св. Владимира, Всеволода Великого и древних князей суздальских, знаменитый участник в завоевании Казанского царства, муж *ума глубокого*, искусный в делах ратных, ревностный друг отечества и христианин. Ему надлежало умереть вместе с сыном Петром, семнадцатилетним юношею. Оба шли к месту казни без страха, спокойно, держа друг друга за руку. Сын не хотел видеть казни отца и первый склонил под меч свою голову; родитель отвел его от плахи, сказав с

умилением: «Да не зрю тебя мертвого!» Юноша уступил ему первенство, взял отсеченную голову отца, поцеловал ее, взглянул на небо и с лицом веселым отдал себя в руки палача. Шурин Горбатого, Петр Ховрин (родом грек), окольник Головин, князь Иван Сухой-Кашин и кравчий, князь Петр Иванович Горенский были казнены в тот же день; а князь Дмитрий Шевырев посажен на кол: пишут, что сей несчастный страдал целый день, но, укрепляемый верою, забывал муку и пел канон Иисусу. Двух бояр, князей Ивана Куракина и Дмитрия Немого, постригли; у многих дворян и детей боярских отняли имение; других с семействами сослали в Казань. — Один из знатнейших вельмож, ближний родственник добродетельной царицы Анастасии, боярин и воевода Иван Петрович Яковлев, также навлек на себя опалу; но Иоанн в самом ожесточении еще любил хвалиться милосердием: простив Яковлева, взял с него клятвенную грамоту, утвержденную подписями святителей, в том, чтобы не уходить ему из России ни в Литву, ни к папе, ни к императору, ни к султану, ни к князю *Владимиру Ан-*

дреевичу и не иметь с ним никаких тайных сношений. Мы упоминали о ссылке первостепенного боярина, славного воеводы, князя Михаила Воротынского: лишенный имени, он года четыре жил на Белеозере, получая из государевой казны около 100 рублей ежегодно, сверх запаса, вин, плодов иноземных, одежды, белья. Наконец Иоанн возвратил сего знаменитого изгнанника ко двору, в думу: сделал наместником казанским и державцем новосильским, обязав его в верности такою же грамотою, как и Яковлева, с прибавлением, что митрополит и епископы были их ходатаями. Не велел духовенству вступаться за опальных, царь желал польстить ему сим милостивым словом. Но ходатаев уже не было! Духовенство могло только слезами орошать олтари и воссылать теплые молитвы к богу о спасении несчастных! – Другие бояре – Лев Андреевич Салтыков, князя Василий Серебряный, Иван Охлябинин, Захария Очин-Плещев – должныствовали представить за себя ручателей в неизменной службе государю; а в случае их бегства ручатели (не только именитые сановники, но и купцы) обязывались вне-

сти знатную сумму денег в казну: например, за князя Серебряного 25000 рублей, или около полумиллиона нынешних. Предосторожность бесполезная и постыдная для государя; но сей государь был тиран!

После казней Иоанн занялся образованием своей новой дружины. В совете с ним сидели Алексей Басманов, Малюта Скуратов, князь Афанасий Вяземский и другие любимцы. К ним приводили молодых детей боярских, отличных не достоинствами, но так называемым удальством, распутством, готовностью на все. Иоанн предлагал им вопросы о роде их, о друзьях и покровителях; требовалось именно, чтобы они не имели никакой связи с знатными боярами; неизвестность, самая низость происхождения вменялась им в достоинство. Вместо тысячи царь избрал 6000 и взял о них присягу служить ему верою и правдою, доносить на изменников, не дружить с *земскими* (то есть со всеми, не записанными в опричнину), не водить с ними хлеба-соли, не знать ни отца, ни матери, знать единственно государя. За то государь дал им не только земли, но и дома и всю дви-

жимую собственность старых владельцев (числом 12000), высланных из пределов опричнины с голыми руками, так, что многие из них, люди заслуженные, израненные в битвах, с женами и детьми шли зимою пешком в иные отдаленные, пустые поместья. Самые земледельцы были жертвою сего несправедливого учреждения: новые дворяне, которые из нищих сделались большими господами, хотели пышностию закрасить свою подлость, имели нужду в деньгах, обременяли крестьян налогами, трудами: деревни разорились. Но сие зло казалось еще маловажным в сравнении с другим. Скоро увидели, что Иоанн предает всю Россию в жертву своим опричным: они были всегда правы в судах, а на них не было ни суда, ни управы. Опричник, или *кромешник*, – так стали называть их, как бы извергов тьмы *кромешной*, – мог безопасно теснить, грабить соседа и в случае жалобы брал с него пеню за бесчестье. Сверх многих иных злодейств, к ужасу мирных граждан, следующее вошло в обыкновение: слуга опричника, исполняя волю господина, с некоторыми вещами прятался в доме купца

или дворянина: господин заявлял его мнимое бегство, мнимую кражу; требовал в суде пристава, находил своего беглеца с поличным и взыскивал с невинного хозяина пятьсот, тысячу или более рублей. Не было снисхождения: надлежало или немедленно заплатить, или идти *на правезж*: то есть неудовлетворенному истцу давалось право вывести должника на площадь и сечь его всенародно до уплаты денег. Иногда опричник сам подметывал что-нибудь в богатую лавку, уходил, возвращался с приставом и за сию будто бы украденную у него вещь разорял купца; иногда, схватив человека на улице, вел его в суд, жалуясь на вымышленную обиду, на вымышленную брань: ибо сказать неучтивое слово кромешнику – значило оскорбить самого царя; в таком случае невинный спасался от телесной казни тягостною денежною пенею. Одним словом, люди земские, от дворянина до мещанина, были безгласны, безответны против опричных; первые были *ловом*, последние *ловцами*, и единственно для того, чтобы Иоанн мог надеяться на усердие своих разбойников телохранителей в новых за-

мышляемых им убийствах. Чем более государство ненавидело опричных, тем более государь имел к ним доверенности: сия общая ненависть служила ему залогом их верности. – Затеяливый ум Иоаннов изобрел достойный символ для своих ревностных слуг: они ездили всегда с *собачьими головами* и с *метлами*, привязанными к седлам, в ознаменование того, что *грызут* лиходеёв царских и *метут* Россию!

Хотя новый дворец уподоблялся неприступной крепости, но Иоанн не считал себя и в нем безопасным: по крайней мере невлюбил Москвы и с сего времени жил большею частью в слободе Александровской, которая сделалась городом, украшенная церквами, домами, лавками каменными. Тамошний славный храм Богоматери сиял снаружи разными цветами, серебром и золотом: на всяком кирпиче был изображен крест. Царь жил в больших палатах, обведенных рвом и валом; придворные, государственные, воинские чиновники – в особенных домах. Опричники имели свою улицу; купцы также. Никто не смел ни въехать, ни выехать оттуда без ведома Иоан-

нова: для чего в трех верстах от слободы, прозванной *Неволею*, обыкновенно стояла воинская стража. – В сем грозно-увеселительном жилище, окруженном темными лесами, Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною набожною деятельностью успокоивать душу...

<Из главы третьей девятого тома>

Кончина царицы. Четвертая, ужаснейшая эпоха мучительства. Запустение Новагорода. Спасение Пскова. Казни в Москве. Царские шуты. Голод и мор.

...Нашествие хана. Сожжение Москвы. Новое супружество Иоанново. Пятая эпоха душегубства. Смерть царицы... Нашествие хана. Знаменитая победа к. Воротынского.

1 сентября 1569 года скончалась супруга Иоаннова, Мария, едва ли *искренно* оплаканная и самим царем, хотя, для соблюдения благопристойности, вся Россия долженствовала явить образ глубокой печали: дела остановились; бояре, дворяне, приказные люди надели *смирненное платье* или траур (шубы бархатные и камчатные *без золота*); во всех городах служили панихиды; давали милостыню ни-

цим, вклады в монастыри и в церкви; показывали горесть лицемерную, скрывая истинную, общую, производимую свирепством Иоанна, который чрез десять дней уже мог спокойно принимать иноземных послов во дворце московском, но спешил выехать из столицы, чтобы в страшном уединении Александровской слободы вымыслить новые измены и казни. Кончина двух супруг его, столь несходных в душевных свойствах, имела следствия равно несчастные: Анастасия взяла с собою добродетель Иоаннову; казалось, что Мария завещала ему превзойти самого себя в лютых убийствах. Распустив слух, что Мария, подобно Анастасии, была отравлена тайными злодеями, он приготовил тем Россию к ужаснейшим исступлениям своей ярости.

Иоанн карал невинных; а виновный, действительно виновный, стоял пред тираном: тот, кто в противность закону хотел быть на троне, не слушался болящего царя, радовался мыслию об его близкой смерти, подкупал вельмож и воинов на измену – князь Владимир Андреевич! Прошло 16 лет; но Иоанн, как мы видели, умел помнить старые вины и не

преставал его опасаться. Никто из бояр не дерзал иметь дружелюбного обхождения с сим князем: одни лазутчики приближались к нему, чтобы всякое нескромное слово употребить в донос. Что спасало несчастного? Естественный ли ужас обагрить руки кровию ближнего родственника? Быть может; ибо есть остановки, есть затруднения для самого ожесточенного тирана: иногда он бывает человеком; уже не любя добра, боится крайностей во зле; тревожимый совестью, облегчает себя мыслию, что он еще удерживается от некоторых преступлений! Но сей оплот ненадежен: злодейства стремят к злодействам, и князь Владимир мог предвидеть свою неминуемую участь, несмотря на милостивое прощение, ему объявленное в 1563 году, – несмотря на лицемерие Иоанна, который всегда чтил, ласкал его. В знак милости дав Владимиру большое место в Кремле для нового великолепного дворца и города Дмитров, Боровск, Звенигород, царь взял себе на обмен Верею, Алексин, Старицу, без сомнения для того, что сей князь с новыми поместьями казался менее опасным, нежели с наследствен-

ными, где еще хранился дух древней удельной системы. Весною в 1569 году, собирая войско в Нижнем Новгороде для защиты Астрахани, Иоанн не усомнился вверить оное своему мужественному брату; но сия мнимая доверенность произвела опалу и гибель. Князь Владимир ехал в Нижний чрез Кострому, где граждане и духовенство встретили его со крестами, с хлебом и солью, с великою честью, с изъявлением любви. Узнав о том, царь велел привезти тамошних начальников в Москву и казнил их; а брата ласково звал к себе. Владимир с супругою, с детьми остановился верстах в трех от Александровской слободы, в деревне Слотине; дал знать царю о своем приезде, ждал ответа – и вдруг видит полк всадников: скачут во всю прыть с обнаженными мечами, как на битву, окружают деревню; Иоанн с ними: сходит с коня и скрывается в одном из сельских домов. Василий Грязной, Малюта Скуратов объявляют князю Владимиру, что он умышлял на жизнь государеву, и представляют уличителя, царского повара, коему Владимир дал будто бы деньги и яд, чтобы отравить Иоанна. Все было вымышлено, приго-

товлено. Ведут несчастного с женою и с двумя юными сыновьями к государю: они падают к ногам его, клянутся в своей невинности, требуют пострижения. Царь отвечивал: «Вы хотели умертвить меня ядом: пейте его сами!» Подали отраву. Князь Владимир, готовый умереть, не хотел из собственных рук отравить себя. Тогда супруга его Евдокия (родом княжна Одоевская), умная, добродетельная – видя, что нет спасения, нет жалости в сердце губителя – отвратила лицо свое от Иоанна, осушила слезы и с твердостью сказала мужу: «Не мы себя, но мучитель отравляет нас: лучше принять смерть от царя, нежели от палача». Владимир простился с супругою, благословил детей и выпил яд; за ним Евдокия и сыновья. Они вместе молились. Яд начинал действовать: Иоанн был свидетелем их терзания и смерти! Призвав боярынь и служанок Евдокии, он сказал: «Вот трупы моих злодеев! Вы служили им; но из милосердия дарую вам жизнь». С трепетом увидев мертвые тела господ своих, они единогласно отвечали: «Мы не хотим твоего милосердия, зверь кровожадный! Растерзай нас: гнушаясь то-

бою, презираем жизнь и муки!» Сии юные жены, вдохновенные омерзением к злодейству, не боялись ни смерти, ни самого стыда: Иоанн велел обнажить их и расстрелять. — Мать Владимирова, Евфросиния, некогда честолюбивая, но в монашестве смиренная, уже думала только о спасении души: умертвив сына, Иоанн тогда же умертвил и мать: ее утопили в реке Шексне, вместе с другою инокинею, добродетельною Александрою, его невесткою, виновною, может быть, слезами о жертвах царского гнева.

Судьба несчастного князя Владимира произвела всеобщую жалость: забыли страх; слезы лились в домах и в храмах. Никто, без сомнения, не верил объявленному умыслу сего князя на жизнь государеву: видели одно гнусное братоубийство, внушенное еще более злобою, нежели подозрением. Он не имел великих свойств, но имел многие достохвальные: мог бы царствовать в России и не быть тираном! Сносил долговременную явную опалу свою с твердостью, ждал своей неминуемой гибели с каким-то христианским спокойствием и приводил добрые сердца в умиление,

рождающее любовь. Иоанн слышал если не смелые укоризны, то по крайней мере воздыхания россиян великодушных и хотел открытием мнимого важного заговора доказать необходимость своей жестокости для обуздания предателей, будто бы единомышленников князя Владимира. Сия новая клевета на живых и мертвых была ли только изобретением смятенного ума Иоаннова или адским ковом его сподвижников в губительстве, которые желали тем изъявить ему свое усердие и питать в нем страсть к мучительству? Надеялся ли Иоанн обмануть современников и потомство грубою ложью или обманывал самого себя легковерием? Последнее утверждают летописцы, чтобы облегчить лежащее на Иоанне бремя дел страшных; но самое легковерие в таком случае не вопиет ли на небо? Уменьшает ли омерзение к убийствам неслышанным?

Новгород, Псков, некогда свободные державы, смиренные самовластием, лишенные своих древних прав и знатнейших граждан, населенные отчасти иными жителями, уже изменились в духе народном, но сохраняли

еще какую-то величавость, основанную на воспоминаниях старины и на некоторых остатках ее в их бытии гражданском. Новгород именовался *Великим* и заключал договоры с королями шведскими, избирая, равно как и Псков, своих судных *целовальников*, или присяжных. Дети от родителей наследовали и тайную нелюбовь к Москве: еще рассказывали в Новгороде о битве Шелонской; еще могли быть очевидцы последнего народного веча во Пскове. Забыли бедствия вольности: не забыли ее выгод. Сие расположение тамошнего слабого гражданства, хотя уже и не опасное для могущественного самодержавия, беспокоило, гневало царя так, что весной 1569 года он вывел из Пскова 500 семейств, а из Новагорода – 150 в Москву, следуя примеру своего отца и деда. Лишаемые отчизны плакали; оставленные в ней трепетали. То было началом: ждали следствия. В сие время, как уверяют, один бродяга Волынский, именем Петр, за худые дела наказанный в Новгороде, вздумал отметить его жителям: зная Иоанново к ним неблаговоление, сочинил письмо от архиепископа и тамош-

них граждан к королю польскому; скрыл оно в церкви св. Софии за образ богородицы; бежал в Москву и донес государю, что Новгород изменяет России. Надлежало представить улику: царь дал ему верного человека, который поехал с ним в Новгород и вынул из-за образа мнимую архиепископову грамоту, в коей было сказано, что святитель, духовенство, чиновники и весь народ поддаются Литве. Более не требовалось никаких доказательств. Царь, приняв нелепость за истину, осудил на гибель и Новгород и всех людей, для него подозрительных или ненавистных.

В декабре 1569 года он с царевичем Иоанном, со всем двором, со всею любимую дружиною выступил из слободы Александровской, миновал Москву и пришел в Клин, первый город бывшего Тверского великого княжения. Думая, вероятно, что все жители сей области, покоренной его дедом, суть тайные враги московского самодержавия, Иоанн велел смертоносному легиону своему начать войну, убийства, грабеж там, где никто не мыслил о неприятеле, никто не знал вины за собою; где мирные подданные встречали государя как

отца и защитника. Дома, улицы наполнились трупами; не щадили ни жен, ни младенцев. От Клина до Городни и далее истребители шли с обнаженными мечами, обагрывая их кровию бедных жителей, до самой Твери, где в уединенной тесной келий Отроча монастыря еще дышал св. старец Филипп, молясь (без услышания!) господу о смягчении Иоаннова сердца: тиран не забыл сего сверженного им митрополита и послал к нему своего любимца Малюту Скуратова, будто бы для того, чтобы взять у него благословение. Старец ответствовал, что благословляют только добрых и на доброе. Угадывая вину посольства, он с кротостию примолвил: «Я давно ожидаю смерти: да исполнится воля государева!» Она исполнилась: гнусный Скуратов задушил св. мужа; но, желая скрыть убийство, объявил игумену и братии, что Филипп умер от несносного жара в его келий. Устрашенные иноки вырыли могилу за олтарем и в присутствии убийцы погребли сего великого иерарха церкви российской, украшенного венцом мученика и славы: ибо умереть за добродетель есть верх человеческой добродетели, и

ни новая, ни древняя история не представляют нам героя знаменитейшего. Через несколько лет (в 1584 году) святые мощи его были перенесены в обитель Соловецкую, а после (в 1652 году) в Москву, в храм Успения богоматери, где мы и ныне с умилением им поклоняемся.

За тайным злодейством следовали явные. Иоанн не хотел въехать в Тверь и пять дней жил в одном из ближних монастырей, между тем как сонмы неистовых воинов грабили сей город, начав с духовенства и не оставив ни одного дома целого: брали легкое, драгоценное; жгли, чего не могли взять с собою; людей мучили, убивали, вешали в забаву; одним словом, напомнили несчастным тверитянам ужасный 1327 год, когда жестокая месть хана Узбека совершалась над их предками. Многие литовские пленники, заключенные в тамошних темницах, были изрублены или утоплены в прорубях Волги: Иоанн смотрел на сие душегубство! – Оставив наконец дымящую кровию Тверь, он так же свирепствовал в Медном, в Торжке, где в одной башне сидели крымские, а в другой ливонские плен-

ники, окованные цепями: их умертвили; но крымцы, защищаясь, тяжело ранили Малюту Скуратова, едва не ранив и самого Иоанна. Вышний Волочек и все места до Ильменя были опустошены огнем и мечом. Всякого, кто встречался на дороге, убивали, для того что поход Иоаннов долженствовал быть *тайною* для России!

2 января передовая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими заставами, дабы ни один человек не мог спастись бегством. Опечатали церкви, монастыри в городе и в окрестностях: связали иноков и священников; взыскивали с каждого из них по двадцати рублей; а кто не мог заплатить сей пени, того *ставили на правез*: всенародно били, секли с утра до вечера. Опечатали и дворы всех граждан богатых; гостей, купцов, приказных людей оковали цепями; жен, детей стерегли в домах. Царствовала тишина ужаса. Никто не знал ни вины, ни предлога сей опасности. Ждали прибытия государева.

6 января, в день богоявления, ввечеру, Иоанн с войском стал на Городище, в двух

верстах от посада. На другой день казнили всех иноков, бывших на правеже: их избили палицами и каждого отвезли в свой монастырь для погребения. Генваря 8 царь с сыном и с дружиною вступил в Новгород, где, на Великом мосту, встретил его архиепископ Пимен с чудотворными иконами: не приняв святительского благословения, Иоанн грозно сказал: «Злочестивец! В руке твоей не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой и всех гнусных новгородцев; знаю, что вы готовитесь предаться Сигизмунду Августу. Отселе ты уже не пастырь, а враг церкви и св. Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова!» Сказав, государь велел ему идти с иконами и крестами в Софийскую церковь; слушал там литургию, молился усердно, пошел в палату к архиепископу, сел за стол со всеми боярами, начал обедать и вдруг завопил страшным голосом... Явились воины, схватили архиепископа, чиновников, слуг его; ограбили палаты, келий, — а дворецкий Лев Салтыков и духовник государев Евстафий церковь Софийскую: взяли риз-

ную казну, сосуды, иконы, колокола; обнажили и другие храмы в монастырях богатых; после чего немедленно открылся суд на городище... Судили Иоанн и сын его таким образом: ежедневно представляли им от пятисот до тысячи и более новгородцев; били их, мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и бросали с моста в воду, целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Ратники московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами: кто из вверженных в реку всплывал, того кололи, рассекали на части. Сии убийства продолжались пять недель и заключились грабежом общим: Иоанн с дружиною объехал все обители вокруг города: взял казны церковные и монастырские; велел опустошить дворы и келий, истребить хлеб, лошадей, скот; предал также и весь Новгород грабежу, лавки, дома, церкви; сам ездил из улицы в улицу; смотрел, как хищные воины ломались в палаты и кладовые, отбивали ворота, влезали в окна, делили между собою шел-

ковые ткани, меха; жгли пеньку, кожи; бросали в реку воск и сало. Толпы злодеев были посланы и в пятины новгородские, губить достояние и жизнь людей без разбора, без ответа. Сие, как говорит летописец, *неисповедимое колебание, падение, разрушение Великого Новгорода продолжалось около шести недель.*

Февраля 12, в понедельник второй недели великого поста, на рассвете, государь призвал к себе остальных именитых новгородцев, из каждой улицы по одному человеку: они явились как тени, бледные, изнуренные ужасом, ожидая смерти. Но царь *воззрел на них оком милостивым и кротким*: гнев, ярость, дотеле пылавшие в глазах его, как страшный метеор, угасли. Иоанн сказал тихо: «Мужи новгородские, все доселе живущие! Молите господа о нашем благочестивом царском державстве, о христоролюбивом воинстве, да побеждаем всех врагов, видимых и невидимых! Суди бог изменнику моему, вашему архиепископу Пимену, и злым его советникам! На них, на них взыщется кровь, здесь излианная! Да умолкнет плач и стенание; да утишится скорбь и горесть! Живите и благоденствуйте в сем граде!

Вместо себя оставляю вам правителя, боярина и воеводу моего, князя Петра Данииловича Пронского. Идите в дома свои с миром!» – Еще судьба архиепископа не решилась: его посадили на белую кобылу, в худой одежде; с волынкою, с бубном в руках, как шута или скомороха, возили из улицы в улицу и за крепкою стражею отвезли в Москву.

Иоанн немедленно удалился от Новагорода дорогою Псковскою, отправив несметную добычу святотатства и грабежа в столицу. Некому было жалеть о богатстве похищенном: кто остался жив, благодарил бога или не помнил себя в исступлении! Уверяют, что граждан и сельских жителей изгубило тогда не менее шестидесяти тысяч. Кровавый Волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро. Голод и болезни довершили казнь Иоаннову, так что иереи, в течение шести или семи месяцев, не успевали погребать мертвых: бросали их в яму без всяких обрядов. Наконец Новгород как бы пробудился от мертвого оцепенения: 8 сентября все еще живые, духовенство, миряне собрались в поле, у

церкви Рождества Христова, служить общую панихиду за усопших, над тамошнею скудельницею, где лежало 10000 неотпетых тел христианских! (В первом месте стоял нищий старец, Иоанн Жгальцо, который один с молитвою предавал мертвых земле в сие ужасное время.) – Опустел Великий Новгород. Знатная часть торговой, некогда многолюдной стороны обратилась в площадь, где, сломав все уже необитаемые дома, заложили дворец государев.

Иоанн готовил Пскову участь Новагорода, думая, что и жители оного хотели изменить России. Там начальствовал добрый князь Юрий Токмаков и жил славный благочестием отшельник, *салос* (юродивый) Никола: один – счастливым советом, другой – счастливой дерзостью спасли город. В субботу второй недели великого поста царь ночевал в монастыре св. Николая на Любатове, видя Псков, где, в ожидании приближающейся грозы, никто не смыкал глаз; все люди были в движении; ободряли друг друга или прощались с жизнью, отцы с детьми, жены с мужьями. В полночь царь услышал благовест и звон

церквей псковских: сердце его, как пишут современники, чудесно умилилось. Он вообразил живо, с какими чувствами идут граждане к заутрене в последний раз молить всевышнего о спасении их от гнева царского: с каким усердием, с какими слезами припадают к святым иконам – и мысль, что господь внимает гласу сердец сокрушенных, тронула душу столь ожесточенную! В каком-то неизъяснимом порыве жалости Иоанн сказал воеводам своим: «Иступите мечи о камень! Да престанут убийства!..» На другой день, вступив в город, он с изумлением увидел на всех улицах, пред домами, столы с изготовленными яствами (так было сделано по совету князя Юрия Токмакова): граждане, жены их, дети, держа хлеб и соль, преклоняли колена, благословляли, приветствовали царя и говорили ему: «Государь князь великий! Мы, верные твои подданные, с усердием и любовью предлагаем тебе хлеб-соль; а с нами и животами нашими твори волю свою: ибо все, что имеем, и мы сами твои, самодержец великий!» Сия неожиданная покорность была приятна Иоанну. Игумен Печерский, Корнилий, с духовенством

встретил его на площади у церкви св. Варлаама и Спаса. Царь слушал молебен в храме Троицы, поклонился гробу св. Всеволода-Гавриила, с удивлением рассматривал тяжелый меч сего древнего князя и зашел в келию к старцу салосу Николе, который под защитою своего юродства не убоялся обличать тирана в кровопийстве и святотатстве. Пишут, что он предложил Иоанну в дар... кусок сырого мяса; что царь сказал: «Я христианин и не ем мяса в великий пост»; а пустынник отвечивал: «Ты делаешь хуже: питаешься человеческою плотию и кровию, забывая не только пост, но и бога!» Грозил ему, предсказывал несчастья и так устрашил Иоанна, что он немедленно выехал из города: жил несколько дней в предместьях, дозволил воинам грабить имение богатых людей, но не велел трогать иноков и священников; взял только казны монастырские и некоторые иконы, сосуды, книги и, как бы невольно пощадив Ольгину родину, спешил в Москву, чтобы новою кровию утолять свою неутолимую жажду к мучительству.

Архиепископ Пимен и некоторые знатнейшие новгородские узники, вместе с ним при-

сланные в Александровскую слободу, ждали там конца своего. Миновало около пяти месяцев, но не в бездействии: производилось важное следствие; собирали доносы, улики; искали в Москве тайных единомышленников Пименовых, которые еще укрывались от мести государевой, сидели в главных приказах, даже в совете царском, даже пользовались особенною милостию, доверенностию Иоанна. Печатник, или канцлер, Иван Михайлович Висковатый, муж опытнейший в делах государственных, — казначей Никита Фуников, также верный слуга царя и царства от юности до лет преклонных, — боярин Семен Васильевич Яковлев, — умные дьяки Василий Степанов и Андрей Васильев были взяты под стражу; а с ними вместе, к общему удивлению, и первые любимцы Иоанновы: вельможа Алексей Басманов, воевода мужественный, но бесстыдный угодник тиранства, — сын его, крайчий Федор, прекрасный лицом, гнусный душою, без коего Иоанн не мог ни веселиться на пирах, ни свирепствовать в убийствах, — наконец, самый ближайший к его сердцу нечестивец, князь Афанасий Вя-

земский, обвиняемые в том, что они с архиепископом Пименом хотели отдать Новгород и Псков Литве, извести царя и посадить на трон князя Владимира Андреевича. Жалея о добрых, заслуженных сановниках, россияне могли с тайным удовольствием видеть казнь божию над клеветами мучителя, без сомнения невинными пред ним, но виновными пред государством и человечеством. Сии жестокие царедворцы поздно узнали, что милость тирана столь же опасна, как и ненависть его; что он не может долго верить людям, коих гнусность ему известна; что малейшее подозрение, одно слово, одна мысль достаточны для их падения; что губитель, карая своих услужников, наслаждается чувством правосудия: удовольствие, редкое для кровавого сердца, закоснелого во зле, но все еще угрызаемого совестью в злодеяниях! Быв долго клеветниками, они сами погибли от клеветы. Пишут, что царь имел неограниченную доверенность к Афанасию Вяземскому: единственно из рук сего любимого оружничего принимал лекарства своего доктора Арнольфа Лензея; единственно с ним беседовал

о всех тайных намерениях, ночью, в глубокой тишине, в спальне. Сын боярский, именем Федор Ловчиков, облагодетельствованный князем Афанасием, донес на него, что он будто бы предупредил новгородцев о гневном царском следствии, был их единомышленником. Иоанн не усомнился: молчал несколько времени и вдруг, призвав Вяземского к себе, говоря ему о важных делах государственных с обыкновенною доверенностию, велел между тем умертвить его лучших слуг: возвращаясь домой, князь Вяземский увидел их трупы: не показал ни изумления, ни жалости; прошел мимо, в надежде сим опытом своей преданности обезоружить государя; но был ввержен в темницу, где уже сидели и Басмановы, подобно ему уличаемые в измене. Всех обвиняемых пытали: кто не мог вынести мук, клеветал на себя и других, коих также пытали, чтобы выведать от них неизвестное им самим. Записывали показания истязуемых; составили дело огромное, предложенное государю и сыну его, царевичу Иоанну; объявили казнь изменникам: ей надлежало совершиться в Москве, в глазах всего народа, и так, чтобы столица,

уже приученная к ужасам, еще могла изумиться!

25 июля среди большой торговой площади в Китае-городе поставили 18 виселиц; разложили многие орудия мук; зажгли высокий костер и над ним повесили огромный чан с водою. Увидев сии грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы; что Иоанн хочет истребить их всех без остатка: в беспамятстве страха они спешили укрыться, где могли. Площадь опустела; в лавках отворенных лежали товары, деньги; не было ни одного человека, кроме толпы опричников у виселиц и костра пылающего. В сей тишине раздался звук бубнов: явился царь на коне с любимым старшим сыном, с боярами и князьями, с легионом кромешников в стройном ополчении; позади шли осужденные, числом 300 или более, в виде мертвецов, истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги. Иоанн стал у виселиц, осмотрелся и, не видя народа, велел опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь; не имев терпения ждать, сам поехал за ними, призывая

москвитян быть свидетелями его суда, обещая им безопасность и милость. Жители не смели слушаться: выходили из ям, из погребов; трепетали, но шли: вся площадь наполнилась ими; на стене, на кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: «Народ! Увидишь муки и гибель; но караю изменников! Ответствуй: прав ли суд мой?» Все ответствовали велегласно: «Да живет многие лета государь великий! Да погибнут изменники!» Он приказал вывести 180 человек из толпы осужденных и даровал им жизнь, как менее виновным. Потом думный дьяк государев, развернув свиток, произнес имена казнимых; вызвал Висковатого и читал следующее: «Иван Михайлов, бывший тайный советник государев! Ты служил несправедно его царскому величеству и писал к королю Сигизмунду, желая предать ему Новгород. Се первая вина твоя!» Сказав, ударил Висковатого в голову и продолжал: «А се вторая, меньшая вина твоя: ты, изменник неблагодарный, писал к султану турецкому, чтобы он взял Астрахань и Казань». Ударив его в другой – и в третий раз, дьяк примолвил: «Ты же звал и хана крым-

ского опустошать Россию: се твое третье злое дело!» Тут Висковатый, смиренный, но великодушный, подняв глаза на небо, отвечивал: «Свидетельствуюсь господом богом, ведающим сердца и помышления человеческие, что я всегда служил верно царю и отечеству. Слышу наглые клеветы: не хочу более оправдываться, ибо земный судия не хочет внимать истине; но судия небесный видит мою невинность – и ты, о государь! увидишь ее пред лицом всевышнего!» – Кромешники заградили ему уста, повесили его вверх ногами, обнажили, рассекли на части, и первый Малюта Скуратов, сошедши с коня, отрезал ухо страдальцу. Вторую жертвою был казначей Фуников-Карцов, друг Висковатого, в тех же изменах и столь же нелепо обвиняемый. Он сказал царю: «Се кланяюсь тебе в последний раз на земле, моля бога, да примешь в вечности праведную мзду по делам своим!» Сего несчастного обливали кипящею и холодною водою: он умер в страшных муках. Других кололи, вешали, рубили. Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копьем одного старца. Умертвили в четыре часа около двухсот человек. На-

конец, совершив дело, убийцы, облиянные кровию, с дымящимися мечами стали пред царем, восклицая: «Гойда! Гойда!» – и славили его правосудие. Объехав площадь, обзрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей: желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого; приехал к ним в дом, смеялся над их слезами; мучил первую, требуя сокровищ; хотел мучить и пятнадцатилетнюю дочь ее, которая стенала и вопила; но отдал ее сыну, царевичу Иоанну, а после вместе с матерью и с женою Висковатого заточил в монастырь, где они умерли с горести. Граждане московские, свидетели сего ужасного дня, не видали в числе его жертв ни князя Вяземского, ни Алексея Басманова: первый испустил дух в пытках; конец последнего – несмотря на все беспримерные, описанные нами злодейства – кажется еще невероятным: да будет сие страшное известие вымыслом богопротивным, внушением естественной ненависти к тирану, но клеветою! Современники пишут, что Иоанн будто бы принудил юного Федора Басманова убить отца своего, тогда же или прежде заста-

вив князя Никиту Прозоровского умертвить брата, князя Василия! По крайней мере сын-изверг не спас себя отцеубийством: он был казнен вместе с другими. Имение их описали на государя; многих знатных людей послали на Белоозеро, а святителя Пимена, лишив сана архиепископского, в Тульский монастырь св. Николая; многих выпустили из темниц на поруки, некоторых даже наградили царскою милостию. – Три дни Иоанн отдыхал: ибо надлежало предать трупы земле! В четвертый день снова вывели на площадь несколько осужденных и казнили: Малюта Скуратов, предводитель палачей, рассекал топорами мертвые тела, которые целую неделю лежали без погребения, терзаемые псами. (Там, близ Кремлевского рва, на крови на костях, в последующие времена стояли церкви, как умильительный христианский памятник сего душегубства.) Жены избитых дворян, числом 80, были утоплены в реке. Одним словом, Иоанн достиг наконец вышней степени безумного своего тиранства; мог еще губить, но уже не мог изумлять россиян никакими новыми изобретениями лютости. Скрепив

сердце, опишем только некоторые из бесчисленных злодеяний сего времени. Не было ни для кого безопасности, но всего менее для людей, известных заслугами и богатством: ибо тиран, ненавидя добродетель, любил корысть. Славный воевода, от коего бежала многочисленная рать Селимова, — который двадцать лет не сходил с коня, побеждая и татар, и литву, и немцев, князь Петр Семенович Оболенский-Серебряный, призванный в Москву, видел и слышал от царя одни ласки; но вдруг легион опричников стремится к его дому кремлевскому: ломают ворота, двери и пред лицом, у ног Иоанна отсекают голову ему ни в чем не обвиненному воеводе. Тогда же были казнены: думный советник Захария Иванович Очин-Плещеев; Хабаров-Добрынский, один из богатейших сановников; Иван Воронцов, сын Федора, любимца Иоанновой юности; Василий Разладин, потомок славного в XIV веке боярина Квашни; воевода Кирик-Тырков, равно знаменитый и ангельскою чистотою нравов, и великим умом государственным, и примерным мужеством воинским, израненный во многих битвах; герой

защитник Лаиса Андрей Кашкаров; воевода нарвский Михаиле Матвеевич Лыков, коего отец сжег себя в 1534 году, чтобы не отдать города неприятелю, и который, будучи с юных лет пленником в Литве, выучился там языку латинскому, имел сведения в науках, отличался благородством души, приятностию в обхождении, – и ближний родственник сего воеводы, также Лыков, прекрасный юноша, посланный царем учиться в Германию: он возвратился было ревностно служить отечеству с душою пылкою, с разумом просвещенным! Воевода Михайловский Никита Козаринов-Голохвастов, ожидая смерти, уехал из столицы и посхимился в каком-то монастыре на берегу Оки: узнав же, что царь прислал за ним опричников, вышел к ним и сказал: «Я тот, кого вы ищете!» Царь велел взорвать его на бочке пороха, говоря в шутку, что схимники ангелы и должны лететь на небо. Чиновник Мясоед Вислой имел прелестную жену: ее взяли, обесчестили, повесили перед глазами мужа, а ему отрубили голову.

Гнев тирана, падая на целые семейства, губил не только детей с отцами, супруг с супру-

гами, но часто и всех родственников мнимого преступника. Так, кроме десяти Колычевых, погибли многие князья ярославские (одного из них, князя Ивана Шаховского, царь убил из собственных рук булавою); многие князья Прозоровские, Ушатые, многие Заболотские, Бутурлины. Нередко знаменитые россияне избавлялись от казни славною кончиною. Два брата, князья Андрей и Никита Мещерские, мужественно защищая новую Донскую крепость, пали в битве с крымцами: еще трупы сих витязей, орошаемые слезами добрых сподвижников, лежали не погребенные, когда явились палачи Иоанновы, чтобы зарезать обоих братьев: им указали тела их! То же случилось и с князем Андреем Оленкиным: присланные убийцы нашли его мертвого на поле чести. Иоанн, нимало тем не умиленный, совершил лютую месть над детьми сего храброго князя: уморил их в заточении.

Но смерть казалась тогда уже легкою: жертвы часто требовали ее как милости. Невозможно без трепета читать в записках современных о всех адских вымыслах тиранства, о всех способах терзать человечество.

Мы упоминали о сковородах: сверх того были сделаны для мук особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы; разрезывали людей по составам, перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали ремни из спины...

И когда, в ужасах душегубства, Россия цепенела, во дворце раздавался шум ликующих: Иоанн тешился с своими палачами и *людьми веселыми*, или скоморохами, коих присылали к нему из Новагорода и других областей вместе с медведями! Последними он травил людей, и в гневе и в забаву: видя иногда близ дворца толпу народа, всегда мирного, тихого, приказывал выпускать двух или трех медведей и громко смеялся бегству, воплю уstraшенных, гонимых, даже терзаемых ими; но изувеченных всегда награждал: давал им по золотой деньге и более. Одною из главных утех его были также многочисленные шуты, коим надлежало смешить царя прежде и после убийств и которые иногда платили жизни за острое слово. Между ими славился князь Осип Гвоздев, имея знатный сан придворный. Однажды, недовольный какою-то

шуткою, царь вылил на него мису горячих щей: бедный смехотворец вопил, хотел бежать: Иоанн ударил его ножом... Обливаясь кровию, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. «Исцели слугу моего доброго, – сказал царь, – я поиграл с ним неосторожно». – «Так неосторожно, – отвечал Арнольф, – что разве бог и твое царское величество может воскресить умершего: в нем уже нет дыхания». Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться. В другой раз, когда он сидел за обедом, пришел к нему воевода старицкий Борис Титов, – поклонился до земли и величал его как обыкновенно. Царь сказал: «Будь здрав, любимый мой воевода: ты достоин нашего жалованья» – и ножом отрезал ему ухо. Титов, не изъявив ни малейшей чувствительности к боли, с лицом покойным благодарил Иоанна за милостивое наказание: желал ему царствовать счастливо! – Иногда тиран сластолюбивый, забывая голод и жажду, вдруг отвергал яства и питье, оставлял пир, громким кликом сзывал дружину, садился на коня и скакал плавать в крови. Так он из-за рос-

кошного обеда устремился растерзать литовских пленников, сидевших в московской темнице. Пишут, что один из них, дворянин Быковский, вырвал копье из рук мучителя и хотел заколоть его, но пал от руки царевича Иоанна, который вместе с отцом усердно действовал в таких случаях, как бы для того, чтобы отнять у россиян и надежду на будущее царствование! Умертвив более ста человек, тиран при обыкновенных восклицаниях дружины: «Гойда! Гойда!», с торжеством возвратился в свои палаты и снова сел за трапезу... Однако ж и в сие время, и на сих пирах убийственных, еще слышался иногда голос человеческий, вырывались слова великодушной смелости. Муж храбрый, именем Молчан Митьков, нудимый Иоанном выпить чашу крепкого меда, воскликнул в горести: «О царь! Ты велишь нам вместе с тобою пить мед, смешанный с кровию наших братьев, христиан правоверных!» Иоанн вонзил в него свой острый жезл. Митьков перекрестился и с молитвою умер.

Таков был царь; таковы были подданные! Ему ли, им ли должны мы наиболее удив-

ляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении, ибо считали власть государеву властью божественною и всякое сопротивление беззаконием; приписывали тиранство Иоанново гневу небесному и каялись в грехах своих; с верою, с надеждою ждали умилоствления, но не боялись и смерти, утешаясь мыслию, что есть другое бытие для счастья добродетели и что земное служит ей только искушением; гибли, но спасли для нас могущество России: ибо сила народного повиновения есть сила государственная.

Довершим картину ужасов сего времени: голод и мор помогали тирану опустошать Россию. Казалось, что земля утратила силу плодородия: сеяли, но не собирали хлеба; и холод и засуха губили жатву. Дороговизна сделалась неслыханная: четверть ржи стоила в Москве 60 алтын, или около девяти нынешних рублей серебряных. Бедные толпились на рынках, спрашивали о цене хлеба и вопили в отчаянии. Милостыня оскудела: ее просили и те, которые дотоле сами питали нищих. Люди скитались, как тени; умирали на улицах, на

дорогах. Не было явного возмущения, но были страшные злодейства: голодные тайно убивали и ели друг друга! От изнурения сил, от пищи неестественной родилась прилипчивая смертоносная болезнь в разных местах. Царь приказал заградить многие пути; конная стража ловила всех едущих без письменного вида, неуказною дорогою, имея повеление жечь их вместе с товарами и лошадьми. Сие бедствие продолжалось до 1572 года.

Но ни судьба, ни тиран еще не насытились жертвами. Не заключим, а только прервем описание зол, чтобы с удивлением видеть Иоанна как бы равнодушного, спокойного в его неутомимой политической деятельности...

Следуя правилу не умножать врагов России, Иоанн хотел отвратить новую, бесполезную войну с султаном, коего добрая к нам приязнь могла обуздывать хана: для того (в 1570 году) дворянин Новосильцов ездил в Константинополь поздравить Селима с воцарением. Иоанн в ласковом письме к нему исчислял все дружественные сношения России

с Турциею от времен Баязета; удивлялся впадению Селимовой рати в наши владения без объявления войны; предлагал и мир и дружбу. «Мой государь, – должен был сказать Новосильцов вельможам султанским, – не есть враг мусульманской веры. Слуга его, царь Саин-Булат, господствует в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве, Ибак в Сурожике, князья Ногайские в Романове: все они свободно и торжественно славят Магомета в своих мечетях; ибо у нас всякой иноземец живет по своей вере. В Кадоме, в Мещере многие приказные государевы люди мусульманского закона. Если умерший царь казанский Симеон, если царевич Муртоза сделались христианами: то они сами желали, сами требовали крещения». Новосильцев был доволен благосклонным приемом, заметив только, что султан не спрашивал его о здравии Иоанна и, в противность нашему обыкновению, не звал обедать с собою. Но сие посольство и другое (в 1571 году) не имели желаемого следствия, хотя царь, в угодность Селиму, согласился уничтожить новую крепость нашу в Кабарде. Гордый султан хотел Астрахани и Казани или того, что-

бы Иоанн, владея ими, признал себя данником Оттоманской империи. Предложение столь нелепое осталось без ответа. В то же время царь узнал, что Селим просит Киева у Сигизмунда для удобнейшего владения в Россию; что он велел делать мосты на Дунае и запасать хлеб в Молдавии; что хан, возбуждаемый турками, готовится к войне с нами; что царевич крымский разбил тестя государева, Темгрюка, и взял в плен двух его сыновей. Уже Девлет-Гирей, в непосредственных сношениях с Москвою, снова начал грозить, требовать дани и восстановления царств Батыевых, Казанского, Астраханского. Уже из Донкова, из Путивля извещали государя о движениях ханского войска: разъезды наши видели в степях пыль необычайную, огни ночью, *сакму*, или следы многочисленной конницы; слышали вдали *прыск* и ржание табунов. Полководцы московские стояли на Оке. Два раза сам Иоанн с сыном своим выезжал к войску в Коломну, в Серпухов. Уже были и легкие сшибки в местах рязанских и каширских; но крымцы везде являлись в малом числе, немедленно исчезая, так что государь нако-

нец успокоился – объявил донесения сторожевых атаманов неосновательными и зимою распустил большую часть войска...

Тем более он встревожился при наступлении весны, когда хан, вооружив всех своих улусников, тысяч сто или более, с необыкновенною скоростью вступил в южные пределы России, где встретили его некоторые беглецы и наши дети боярские, изгнанные из отечества ужасом московских казней: сии изменники сказали Девлет-Гирею, что голод, язва и непрестанные опалы в два года истребили большую часть Иоаннова войска; что остальное в Ливонии и в крепостях; что путь к Москве открыт; что Иоанн только для славы, только для вида может выйти в поле с малочисленною опричниною, но не замедлит бежать в северные пустыни; что в истине того они ручаются своею головою и будут верными путеводителями крымцев. Изменники, к несчастию, сказали правду: мы имели уже гораздо менее воевод мужественных и войска исправного. Князя Бельский, Мстиславский, Воротынский, бояре Морозов, Шереметев спешили, как обыкновенно, занять берега Оки,

но не успели: хан обошел их и другим путем приблизился к Серпухову, где был сам Иоанн с опричниною. Требовалось решительности, великодушия: царь бежал!.. в Коломну, оттуда в Слободу, мимо несчастной Москвы; из Слободы к Ярославлю, чтобы спастись от неприятеля, спастись от изменников: ибо ему казалось, что и воеводы и Россия выдают его татарам! Москва оставалась без войска, без начальников, без всякого устройства; а хан уже стоял в тридцати верстах! Но воеводы царские с берегов Оки, не отдыхая, приспели для защиты – и что же сделали? вместо того чтобы встретить, отразить хана в поле, заняли предместья московские, наполненные бесчисленным множеством беглецов из деревень окрестных; хотели обороняться между тесными, бранными зданиями. Князь Иван Бельский и Морозов с большим полком стали на Варламовской улице; Мстиславский и Шереметев с правою рукою на Якимовской; Воротынский и Татев на Таганском лугу, против Крутиц; Темкин с дружиною опричников за Неглинною. На другой день, мая 24, в праздник вознесения, хан подступил к Москве – и

случилось, чего ожидать надлежало: он велел зажечь предместья. Утро было тихое, ясное. Россияне мужественно готовились к битве, но увидели себя объатыми пламенем: деревянные дома и хижины вспыхнули в десяти разных местах. Небо омрачилось дымом; поднялся вихрь, и чрез несколько минут огненное бурное море разлилось из конца в конец города с ужасным шумом и ревом. Никакая сила человеческая не могла остановить разрушения: никто не думал тушить; народ, воины в беспамятстве искали спасения и гибли под развалинами пылающих зданий или в тесноте давили друг друга, стремясь в город, в Китай, но, отовсюду гонимые пламенем, бросались в реку и тонули. Начальники уже не повелевали, или их не слушались: успели только завалить Кремлевские ворота, не впуская никого в сие последнее убежище спасения, огражденное высокими стенами. Люди горели, падали мертвые от жара и дыма в церквах каменных. Татары хотели, но не могли грабить в предместьях: огонь выгнал их, и сам хан, устрешенный сим адом, удалился к селу Коломенскому. В три часа не стало Москвы:

ни посадов, ни Китая-города; уцелел один Кремль, где в церкви Успения богородицы сидел митрополит Кирилл с святынею и с казною; Арбатский любимый дворец Иоаннов разрушился. Людей погибло невероятное множество: более ста двадцати тысяч воинов и граждан, кроме жен, младенцев и жителей сельских, бежавших в Москву от неприятеля; а всех около осмисот тысяч. Главный воевода, князь Бельский, задохнулся в погребе на своем дворе, так же боярин Михайло Иванович Вороной, первый доктор Иоаннов Арнольф Линзей и 25 лондонских купцов. На пепле бывших зданий лежали груды обгорелых трупов, человеческих и конских. «Кто видел сие зрелище, – пишут очевидцы, – тот воспоминает об нем всегда с новым ужасом и молит бога не видать оного вторично». Девлет-Гирей совершил подвиг: не хотел осаждать Кремля и, с Воробьевых гор обозрев свое торжество, кучи дымящегося пепла на пространстве тридцати верст, немедленно решился идти назад, испуганный, как уверяют, ложным слухом, что герцог или король Магнус приближается со многочисленным войском.

Иоанн, в Ростове получив весть об удалении врага, велел князю Воротынскому идти за ханом, который, однако ж, успел разорить большую часть юго-восточных областей московских и привел в Тавриду более ста тысяч пленников. Не имея великодушия быть утешителем своих подданных в страшном бедствии, боясь видеть феатр ужаса и слез, царь не хотел ехать на пепелище столицы: возвратился в Слободу и дал указ очистить московские развалины от гниющих трупов. Хоронить было некому: только знатных или богатых погребали с христианскими обрядами; телами других наполнили Москву-реку, так что ее течение пресеклось: они лежали грудками, заражая ядом тления и воздух и воду; колодези осушились или были засыпаны: остальные жители изнемогали от жажды. Наконец собрали людей из окрестных городов; вытаскали трупы из реки и предали их земле. – Таким образом фиал гнева небесного излился на Россию. Чего недоставало к ее бедствиям после голода, язвы, огня, меча, плена и – тирана?

Теперь увидим, сколь тиран был малоду-

шен в сем первом, важнейшем злоключении своего царствования. 15 июня он приблизился к Москве и остановился в Братовщине, где представили ему двух гонцов от Девлет-Гирея, который, выходя из России как величайший победитель, желал с ним искренно объясниться. Царь был в простой одежде: бояре и дворяне также, в знак скорби или неуважения к хану. На вопрос Иоаннов о здравии брата его, Девлет-Гирея, чиновник ханский отвечивал: *«Так говорит тебе царь наш: мы назывались друзьями; ныне стали неприятелями. Братья ссорятся и мирятся. Отдай Казань с Астраханью: тогда усердно пойду на врагов твоих»*. Сказав, гонец явил дары ханские: нож, окованный золотом, и примолвил: *«Девлет-Гирей носил его на бедре своей: носи и ты. Государь мой еще хотел послать тебе коня; но кони наши утомились в земле твоей»*. Иоанн отвергнул сей дар *непристойный* и велел читать Девлет-Гирееву грамоту: *«Жгу и пустошу Россию (писал хан) единственно за Казань и Астрахань; а богатство и деньги применяю к праху. Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве; хотел венца и головы*

твоей; но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы – и смеешь хвалиться своим царским величием, не имея ни мужества, ни стыда! Ныне узнал я пути государства твоего: снова буду к тебе, если не освободишь посла моего, бесполезно томимого неволею в России; если не сделаешь, чего требую, и не дашь мне клятвенной грамоты за себя, за детей и внучат своих». Как же поступил Иоанн, столь надменный против христианских знаменитых венценосцев Европы? *Бил челом* хану: обещал уступить ему Астрахань при торжественном заключении мира; а до того времени молил его не тревожить России; не отвечал на слова бранные и насмешки язвительные; соглашался отпустить посла крымского, если хан отпустит Афанасия Нагого и пришлет в Москву вельможу для дальнейших переговоров. Действительно, готовый в крайности отказаться от своего блестящего завоевания, Иоанн писал в Тавриду к Нагому, что мы должны по крайней мере вместе с ханом утверждать будущих царей Астраханских на их престоле; то есть желал сохранить тень власти над сею державою. Изменяя нашей го-

сударственной чести и пользе, он не усомнился изменить и правилам церкви: в угодность Девлет-Гирею выдал ему тогда же одного знатного крымского пленника, сына княжеского, добровольно принявшего в Москве веру христианскую; выдал на муку или на перемену закона, к неслыханному соблазну для православия.

Унижаясь пред врагом, Иоанн как бы обрадовался новому поводу к душегубству в бедной земле своей, и еще Москва дымилась, еще татары злодействовали в наших пределах, а царь уже казнил и мучил подданных! Мы видели, что изменники российские вели Девлет-Гирея к столице: сею изменою Иоанн мог изъяснять успех неприятеля; мог, как и прежде, оправдывать исступления своего гнева и злобы: нашел и другую вину, не менее важную. Скучая вдовством, хотя и не целомудренным, он уже давно искал себе третьей супруги. Впадение ханское прервало сие дело; когда же опасность миновалась, царь снова занялся оным. Из всех городов свезли невест в Слободу, знатных и незнатных, числом более двух тысяч: каждую представляли ему

особенно. Сперва он выбрал 24, а после 12, коих надлежало осмотреть доктору и бабкам; долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочел всем Марфу Васильевну Собакину, дочь купца новгородского, в то же время избрав невесту и для старшего царевича, Евдокию Богдановну Сабурову. Отцы счастливых красавиц из ничего сделались боярами, дяди будущей царицы – окольничими, брат – крайчим; возвысив саном, их наделили и богатством, *добычею опал*, имением, отнятым у древних родов княжеских и боярских. Но царская невеста занемогла; начала худеть, сохнуть: сказали, что она *испорчена* злодеями, ненавистниками Иоаннова семейственного благополучия, и подозрение обратилось на ближних родственников цариц умерших, Анастасии и Марии. Разыскивали – вероятно, страхом и лестью домогались истины или клеветы. Не знаем всех обстоятельств: знаем только, кто и как погиб в сию *пятую* эпоху убийств. Шурин Иоаннов, князь Михайло Темгрюкович, суровый азиатец, то знатнейший воевода, то гнуснейший палач, осыпaeмый и милостями и ругательствами, мно-

гократно обогащаемый и многократно лишаемый всего в забаву царю, должен был с полком опричников идти вслед за Девлет-Гирем: он выступил – и вдруг, сраженный опалю, был посажен на кол! Вельможу Ивана Петровича Яковлева (прощенного в 1566 году), брата его, Василия, бывшего пестуном старшего царевича, и воеводу Замятию Сабурова, родного племянника несчастной Соломоницы, первой супруги отца Иоаннова, засекли, а боярина Льва Андреевича Салтыкова постригли в монахи Троицкой обители и там умертвили. Открылись казни иного рода: злобный клеветник доктор Елисей Бомелий, о коем мы упоминали, предложил царю истреблять лиходеев ядом и составлял, как уверяют, губительное зелье с таким адским искусством, что отравляемый издыхал в назначаемую тираном минуту. Так Иоанн казнил одного из своих любимцев, Григория Грязнова, князя Ивана Гвоздева-Ростовского и многих других, признанных участниками в отравлении царской невесты или в измене, открывшей путь хану к Москве. Между тем царь женился (28 октября) на больной Марфе,

надеясь, по его собственным словам, спасти ее сим действием любви и доверенности к милости божией; чрез шесть дней женил и сына на Евдокии; но свадебные пиры заключились похоронами: Марфа 13 ноября скончалась, быв или действительно жертвою человеческой злобы, или только несчастною виновницею казни безвинных.

Еще не довольный ни разорением московских областей, ни унижением гордого Иоанна и в надежде вторично обогатиться пленниками без сражения, убивать только безоружных, достигнуть нашей столицы без препятствия, даже свергнуть, изгнать царя, варвар Девлет-Гирей молчал, отдыхал, *не расседывая коней*, и вдруг, сказав уланам, князьям, вельможам, что лучше не тратить времени в переписке лживой, а решить дело об Астрахани и Казани с государем московским изустно, лицом к лицу, устремился старым, знакомым ему путем к Дону, к Угре, сквозь безопасные для него степи, мимо городов обожженных, чрез пепел разрушенных сел, с войском, какого после Мамаю, Тохтамышу, Ахмета не соби-

рали ханы – с ногаями, с султанскими янычарами, с огнестрельным снарядами. Малочисленные россияне сидели в крепостях неподвижно; в поле изредка являлись всадники, не для битвы, а для наблюдений. Хан уже видел Оку пред собою – и тут увидел наконец войско московское: оно стояло на левом берегу ее, в трех верстах от Серпухова, в окопах, под защитою многих пушек. Сие место считалось самым удобным для переправы; но хан, заняв россиян жаркою пальбою, сыскал другое, менее оберегаемое, и в следующий день уже был на левом берегу Оки, на Московской дороге... Иоанн узнал о сем 31 июля в Новгороде, где он, скрывая внутреннее беспокойство души, пировал в монастырях с боярами, праздновал свадьбу шурина своего, Григория Колтовского, и топил в Волхове детей боярских. Еще имея полки, но уже не имея времени защитить ими столицу, царь праздно ждал дальнейших вестей; а Москва трепетала, слыша, что хан уже назначал в ее стенах дома для вельмож крымских. Настал час решить, справедливо ли государь гневный всегда обвинял полководцев российских

в малодушии, в нерадении, в холодности ко благу и ко славе отечества!

Воротынский, кинув укрепления бесполезные, ринулся за неприятелем, гнал его по пятам, настиг, остановил, принудил к битве, 1 августа, в пятидесяти верстах от столицы, у Воскресения в Молодях. У хана было 120000 воинов: наших гораздо менее. Первым надлежало победить и для того, чтобы взять Астрахань с Казанью, и для того, чтобы спастись или открыть себе свободный путь назад, в отдаленные свои улусы; а россияне стояли за все, что еще могли любить в жизни: за веру, отечество, родителей, жен и детей! Москва без Иоанна тем более умиляла их сердца жалостию, восстав из пепла как бы единственно для нового разрушения. Вступили в бой на смерть с обеих сторон. Берега Лопасни и Рожая облились кровию. Стреляли, но более секлись мечами в схватке отчаянной; давили друг друга; хотели победить дерзостью, упорством. Но князь Воротынский и бился и наблюдал; устраивал, ободрял своих; вымышлял хитрости; заманивал татар в места, где они валились грудями от действия скрытых

им пушек – и когда обе рати, двигаясь взад и вперед, утомились, начали слабеть, невольно ждали конца делу, сей потом и кровию орошенный воевода зашел узкою долиною в тыл неприятелю... Битва решилась. Россияне победили: хан оставил им в добычу обозы, шатры, собственное знамя свое; ночью бежал в степи и привел в Тавриду не более двадцати тысяч всадников, как уверяют. Лучшие князья его пали; а знатнейший храбрец неверных, бич, губитель христиан Дивий мурза Ногайский отдался в плен суздальскому витязю Алалыкину. Сей день принадлежит к числу великих дней нашей воинской славы: россияне спасли Москву и честь; утвердили в нашем подданстве Астрахань и Казань; отметили за пепел столицы, и если не навсегда, то по крайней мере надолго уняли крымцев, наполнив их трупами недра земли между Лопаснею и Рожаем, где доньне стоят высокие курганы, памятники сей знаменитой победы и славы князя Михаила Воротынского.

<Из главы четвертой девятого тома>

Уничтожение опричнины. Годунов... Шестая эпоха казней. Местничество. Пример вер-

ности. Пятое и шестое супружество Иоанново.

Иоанн въехал в Москву с торжеством и славою. Все ему благоприятствовало. Бедствия, опасности и враги исчезли. Смертоносные болезни и голод прекратились в России. Хан смирился. Султан уже не мыслил о войне с нами. Литва, Польша, сиротствуя без короля, нелицемерно искали Иоанновой дружбы. Швеция не имела ни сил, ни устройства; а царь, оставив в Ливонии рать многочисленную, нашел в Москве 70000 победителей, готовых к новым победам. Но и без оружия, без кровопролития он мог совершить дело великое, исполнить важный замысл своего отца, возратить, чего мы лишились в злосчастные времена Батыевы, и еще соединить с Россиею древнее достояние Пиастов – то есть вследствие мирного, добровольного избрания быть королем польским. Один внутренний мятеж сердца злобного мешал Иоанну наслаждаться сими лестными для его честолюбия видами; но казалось, что небо, избавив Россию от язвы и голода, хотело тогда смягчить и душу ее царя.

Беспримерными ужасами тиранства испы-

тав неизменную верность народа; не видя ни тени сопротивления, ни тени опасностей для мучительства; истребив *гордых, самовластных* друзей Адашева, главных сподвижников своего доброго царствования; передав их знатность и богатство сановникам новым, безмолвным, ему угодным: Иоанн, к незапной радости подданных, вдруг уничтожил ненавистную причину, которая, служа рукою для губителя, семь лет терзала внутренность государства. По крайней мере исчезло сие страшное имя с его гнусным символом, сие безумное разделение областей, городов, двора, приказов, воинства. Опальная *земщина* назвалась опять Россиею. Кромешники разоблачились, стали в ряды обыкновенных царедворцев, государственных чиновников, воинов, имея уже не атамана, но царя, единого для всех россиян, которые могли надеяться, что время убийств и грабежа миновало; что мера зол исполнилась и горестное отечество успокоится под сению власти законной.

Некоторые действия правосудия, совершенные Иоанном в сие время, без сомнения также питали надежду добрых. Объявив

неприятелей великодушного иерарха Филиппа наглыми клеветниками, он заточил соловецкого игумена, лукавого Паисия, на дикий остров Валам; бесовестного Филофея, епископа Рязанского, лишил святительства; чиновника Стефана Кобылина, жестокого, грубого пристава Филиппова сослал в монастырь Каменного острова и многих иных пособников зла с гневом удалил от лица своего, к утешению народа, который в их бедствии видел доказательство, что бог не предал России в жертву слепому случаю; что есть всевышний мститель, закон и правда небесная!

Оставался еще один, но главный из клеветников тиранства, Малюта, Григорий Лукьянович Скуратов Бельский, наперсник Иоаннов до гроба: он жил, вместе с царем и другом своим, для суда за пределами сего мира. Любовь к нему государева (если тираны могут любить!) начинала тогда возвышать и благородного юношу, зятя его, свойственника первой супруги отца Иоаннова, Бориса Федоровича Годунова, в коем уже зрели и великие добродетели государственные и преступное властолюбие. В сие время ужасов юный Борис,

украшенный самыми редкими дарами природы, сановитый, благолепный, прозорливый, стоял у трона окровавленного, но чистый от крови, с тонкою хитростию избегая гнусного участия в смертоубийствах, ожидая лучших времен и среди зверской опричнины сияя не только красотою, но и тихостию нравственною, наружно уветливый, внутренно неуклонный в своих дальновидных замыслах. Более царедворец, нежели воин, Годунов являлся под знаменами отечества единственно при особе монарха, в числе его первых оруженосцев и, еще не имея никакого знатного сана, уже был на Иоанновой свадьбе (в 1571 году) дружкой царицы Марфы, а жена его, Мария, свахою: что служило доказательством необыкновенной к нему милости государевой. Может быть, хитрый честолюбец Годунов, желая иметь право на благодарность отечества, содействовал уничтожению опричнины, говоря не именем добродетели опальной, но именем снисходительной, непротивной тиранам политики, которая спускает им многое, осуждаемое верою и нравственностью, но будто бы нужное для их личного, особен-

ного блага, отвергая единственно зло, бесполезное в сем смысле: ибо царь не исправился, как увидим, и, сокрушив любезное ему дотолде орудие мучительства, остался мучителем!.. Уже не было имени опричников, но жертвы еще падали, хотя и реже, менее числом; тиранство казалось утомленным, дремлющим, только от времени до времени пробуждаясь. Еще великое имя вписалось в огромную книгу убийств сего царствования смертоносного. Первый из воевод российских, первый *слуга государев* – тот, кто в славнейший час Иоанновой жизни прислал сказать ему: «Казань наша»; кто, уже гонимый, уже знаменованный опалю, бесчестием ссылки и темницы, сокрушил ханскую силу на берегах Лопасни и еще принудил царя изъявить ему благодарность отечества за спасение Москвы – князь Михаил Воротынский, чрез десять месяцев после своего торжества, был предан на смертную муку, обвиняемый рабом его в чародействе, в тайных свиданиях с злыми ведьмами и в умысле извести царя: донос нелепый, обыкновенный в сие время и всегда угодный тирану! Мужа славы и доблести привели к

царю окованного. Услышав обвинение, увидев доносителя, Воротынский сказал тихо: «Государь! Дед, отец мой учили меня служить ревностно богу и царю, а не бесу; прибегать в скорбях сердечных к олтарям всевышнего, а не к ведьмам. Сей клеветник есть мой раб беглый, уличенный в татьбе: не верь злодею». Но Иоанн хотел верить, доселе щадив жизнь сего *последнего* из верных друзей Адашева, как бы невольню, как бы для того, чтобы иметь хотя единого победоносного воеводу на случай чрезвычайной опасности. Опасность миновалась – и шестидесятилетнего героя связанного положили на дерево между двумя огнями; жгли, мучили. Уверяют, что сам Иоанн кровавым жезлом своим пригребал пылающие уголья к телу страдальца. Изожженного, едва дышащего, взяли и повезли Воротынского на Белоозеро: он скончался в пути. Знаменитый прах его лежит в обители св. Кирилла. «О муж великий! – пишет несчастный Курбский. – Муж, крепкий душою и разумом! Священна, незабвенна память твоя в мире! Ты служил отечеству неблагодарному, где добродетель губит и слава без-

молвствует; но есть потомство, и Европа о тебе слышала: знает, как ты своим мужеством и благоразумием истребил воинство неверных на полях московских, к утешению христиан и к стыду надменного султана! Приими же здесь хвалу громкую за дела великие, а там, у Христа, бога нашего, вечное блаженство за неповинную муку!» – Знатный род князей Воротынских, потомков св. Михаила Черниговского, уже давно пресекся в России: имя князя Михаила Воротынского сделалось достоянием и славою нашей истории. Вместе с ним замучили боярина, воеводу, князя Никиту Романовича Одоевского, брата злополучной Евдокии, невестки Иоанновой, уже давно обреченного на гибель мнимым преступлением зятя и сестры; но тиран любил иногда отлагать казнь, хваляся долготерпением или наслаждаясь долговременным страхом, трепетом сих несчастных! Тогда же умертвили старого боярина Михаила Яковлевича Морозова с двумя сыновьями и с супругою Евдокиею, дочерью князя Дмитрия Бельского, славною благочестием и святостию жизни. Сей муж прошел невредимо сквозь все бури москов-

ского двора; устоял в превратностях мятежного господства бояр, любимый и Шуйскими, и Бельскими, и Глинскими; на первой свадьбе Иоанновой, в 1547 году, был дружкой, следовательно близким царским человеком; высылся и во время Адашева, опираясь на достоинства: служил в посольствах и воинствах, управлял огнестрельным снарядом в казанской осаде; не вписанный в опричнину, не являлся на кровавых пирах с Басмановыми и с Малютою, но еще умом и трудами содействовал благу государственному; наконец, пал в чреду свою, как противный остаток, как ненавистный памятник времен лучших. – Так же пал (в 1575 году) старый боярин, князь Петр Андреевич Куракин, один из деятельнейших воевод в течение тридцати пяти лет, вместе с боярином Иваном Андреевичем Бутурлиным, который, пережив гибель своих многочисленных единокровцев, умев снискать даже особенную милость Иоаннову, не избавился от опалы ни заслугами, ни искусством придворным. В сей год и в следующие два казнили окольничьих: Петра Зайцева, ревностного опричника; Григория Собакина, дядю умершей ца-

рицы Марфы; князя Тулупова, воеводу *дворового*, следственно – любимца государева, и Никиту Борисова; крайчего, Иоаннова шурина, Марфина брата, Калиста Васильевича Собакина, и оружничего, князя Ивана Деветелевича. Не знаем вины их, или, лучше сказать, предлога казни. Видим только, что Иоанн не изменял своему *правилу смещения* в губительстве: довершая истребление вельмож старых, осужденных его политикою, *беспристрастно* губил и новых; карая добродетельных, карал и злых. Так он, в сие же время, велел умертвить псковского игумена Корнилия, мужа святого, – смиренного ученика его, Васиана Муромцева, и Новгородского архиепископа Леонида, пастыря недостойного, алчного корыстолюбца: первых каким-то мучительским орудием раздавили; последнего обшили в медвежью шкуру и затравили псами!.. Тогда уже ничто не изумляло россиян: тиранство притупило чувства... Пишут, что Корнилий оставил для потомства историю своего времени, изобразив в ней бедствия отечества, мятеж, разделение царства и гибель народа от гнева Иоаннова, глада, мора и нашествия

иноплеменников.

Здесь Курбский повествует еще о гибели добродетельного архимандрита Феодорита. Сей муж, быв иноком Соловецкой обители, другом св. Александра Свирского и знаменитого старца Порфирия, гонимого отцом Иоанновым за смелое ходатайство о несчастном князе Шемякине, имел славу крестить многих диких лопарей; не убоился пустынь снежных; проник во глубину мрачных, хладных лесов и возвестил Христа-Спасителя на берегах Туломы; узнав язык жителей, истолковал им Евангелие, изобрел для них письмо, основал монастырь близ устья Колы, учил, благотворил, подобно св. Стефану Пермскому, и с сердечным умилением видел ревность сих мирных, простодушных людей в вере истинной. В 1560 году, по воле Иоанна, он ездил в Константинополь и привез ему от тамошнего греческого духовенства *благословение на сан царский* вместе с *древнею книгою венчания императоров византийских*. После того жил в Вологде, в монастыре св. Димитрия Прилуцкого, и, несмотря на старость, часто бывал в своей любимой Кольской обители, у новых

христиан лапландских; ездил из пустыни в пустыню, летом – реками и морем, зимою – на оленях; находил везде любовь к нему и внимание к его учению. Всеми уважаемый, и самим царем, Феодорит возбудил гнев Иоаннов дружбою к князю Курбскому, бывшему духовному сыну сего ревностного христианского пастыря: дерзнул напомнить государю о жалостной судьбе знаменитого беглеца, столь же несчастного, сколь и виновного; дерзнул говорить о прощении. Феодорита утопили в реке, по сказанию некоторых; другие уверяли, что он хотя и заслужил опалу, но мирно преставился в уединении.

Не щадя ни добродетели, ни святости, – требуя во всем повиновения безмолвного, Иоанн в то же время с удивительным хладнокровием терпел непрестанные *местничества* наших воевод, которые в сем случае не боялись изъявлять самого дерзкого упрямства: молча видели казнь своих ближних; молча склоняли голову под секиру палачей: но не слушались царя, когда он назначал им места в войске не по их родовому старейшинству. Например: чей отец или дед воеводствовал в

большом полку, тот уже не хотел зависеть от воеводы, коего отец или дед начальствовал единственно в *передовом* или в *сторожевом*, в *правой* или в *левой руке*. Недовольный отсылал указ государев назад с жалобой, требуя суда. Царь справлялся с книгами разрядными и решил тяжбу о старейшинстве или, в случаях важных, отвечивал: «*Быть воеводам без мест*; каждому оставаться на своем, впредь до разбора». Но время действовать уходило, ко вреду государства, и виновник не подвергался наказанию. Сие местничество оказывалось и в службе придворной: любимец Иоаннов Борис Годунов, новый крайчий (в 1578 году), судился с боярином князем Василием Сицким, которого сын не хотел служить наряду с ним за столом государевым; несмотря на боярское достоинство князя Василия, Годунов царскою грамотою был объявлен выше его *многими местами*, для того что дед Борисов в старых разрядах стоял выше Сицких. – Дозволяя воеводам спорить о первенстве, Иоанн не спускал им оплошности в ратном деле: например, знатного сановника, князя Михаила Ноздреватого, *высекли на конюшне* за худое

распоряжение при осаде Шмильтена.

«Но сии люди, – пишет историк ливонский, – ни от казней, ни от бесчестия не слабели в усердии к их монарху. Представим достопамятный случай. Чиновник Иоаннов, князь Сугорский, посланный (в 1576 году) к императору Максимилиану, занемог в Курляндии. Герцог, из уважения к царю, несколько раз навещивался о больном чрез своего министра, который всегда слышал от него сии слова: «Жизнь моя ничто: лишь бы государь наш здравствовал!» Министр изъявил ему удивление. «Как можете вы, – спросил он, – служить с такою ревностию тирану?» Князь Сугорский отвечивал: «Мы, русские, преданы царям и милосердым и жестоким». В доказательство больной рассказал ему, что Иоанн незадолго пред тем велел, за малую вину, одного из знатных людей посадить на кол; что сей несчастный жил целые сутки, в ужасных муках говорил с своею женою, с детьми и беспрестанно твердил: «Боже! Помилуй царя!..» То есть россияне славились тем, чем иноземцы укоряли их: слепую, неограниченную преданностию к монаршей воле в самых ее без-

рассудных уклонениях от государственных и человеческих законов.

В сии годы необузданность Иоаннова явила новый соблазн в преступлении святых уставов церкви с бесстыдством неслыханным. Царица Анна скоро утратила нежность супруга, своим ли бесплодием или единственно потому, что его любострастие, обманывая закон и совесть, искало новых предметов наслаждения: сия злосчастливая, как некогда Соломония, должна была отказаться от света, заключилась в монастыре Тихвинском и, названная в монашестве или в схиме Дариною, жила там до 1626 года; а царь, уже не соблюдая я легкой пристойности, уже не требуя благословения от епископов, без всякого церковного разрешения женился (около 1575 года) в пятый раз, на Анне Васильчиковой. Но не знаем, дал ли он ей имя царицы, торжественно ли венчался с нею: ибо в описании его бракосочетаний нет сего *пятого*; не видим также никого из ее родственников при дворе, в чинах, между царскими людьми ближними. Она схоронена в Суздальской девичьей обители, там, где лежит и Соломония.

Шестую Иоанновою супругою – или, как пишут, *женищем* – была прекрасная вдова, Василиса Мелентьева: он, без всяких иных священных обрядов, *взял только молитву* для сожития с ней! Увидим, что сим не кончились незаконные женитьбы царя, ненасытного в убийствах и в любострастии!

<Из главы пятой девятого тома)

Заключение перемирия. Сыноубийство.

Так кончилась война трехлетняя, не столь кровопролитная, сколь несчастная для России, менее славная для Батория, чем постыдная для Иоанна³, который в любопытных ее происшествиях оказал всю слабость души своей, униженной тиранством; который, с неутомимым усилием домогаясь Ливонии, чтобы славно предупредить великое дело Петра, иметь море и гавани для купеческих и государственных сношений России с Европою, – воевав 24 года непрерывно, чтобы медленно, шаг за шагом двигаться к цели, – изгубив столько людей и достояния, – повелевая воинством отечественным, едва не равносильным Ксерксову, вдруг все отдал, и славу и пользу, изнуренным остаткам разнопле-

менного сонмища Баториева! В первый раз мы заключили мир столь безвыгодный, едва не бесчестный, с Литвою; и если удержались еще в своих древних пределах, не отдали и более: то честь принадлежит Пскову: он, как твердый оплот, сокрушил *непобедимость* Стефанову; взяв его, Баторий не удовольствовался бы Ливониею; не оставил бы за Россиею ни Смоленска, ни земли Северской; взял бы, может быть, и Новгород, в *очаровании* Иоаннова страха: ибо современники действительно изъясняли удивительное бездействие наших сил очарованием; писали, что Иоанн, уstraшенный видениями и чудесами, ждал только бедствий в войне с Баторием, не веря никаким благоприятным донесениям воевод своих; что явление кометы предвестило тогда несчастье России; что громовая стрела зимою, в день рождества Христова, при ясном солнце зажгла Иоаннову спальню в слободе Александровской; что близ Москвы слышали ужасный голос: «Бегите, бегите, русские!», что в сем месте упал с неба мраморный гробовый камень с таинственною, неизъяснимою надписью; что изумленный царь сам видел его и

велел разбить своим телохранителям. Сказка, достойная суеверного века; но то истина, что Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности, и память сей важной заслуги не изгладится в нашей истории, доколе мы не утратим любви к отечеству и своего имени.

4 февраля Замоиский выступил в Ливонию, чтобы принять от нас ее города и крепости. Сподвижники его, удаляясь с радостью, не хотели смотреть на стены и башни псковские, окруженные могилами их братьев. Только в сей день отворились наконец ворота Ольгина града, где все жители и воины, исполнив долг усердия к отечеству и славно миновав опасности, наслаждались живейшим для человека и гражданина удовольствием. Не таковы были чувства россиян в Ливонии, где они уже давно жительствовавали, как в отечестве, имели семейства, дома, храмы, епископию в Дерпте: согласно с договором выезжая оттуда в Новгород и Псков, с женами, с детьми, — в последний раз слыша там благовест православия и моляся господу по обрядам нашей церкви, смиренной, изгоняемой, все горько плакали, а всего более над гробами

своих ближних. Около шестисот лет именовав Ливонию своим владением, – повелевав ее дикими жителями еще при св. Владимире, строив в ней крепости при Ярославе Великом и в самое цветущее время ордена собирав дань с областей дерптских, Россия торжественно отказалась от сей нашею кровию орошенной земли, надолго, до героя полтавского. Между тем народ, всегда миролюбивый, в Москве и везде благословил конец войны разорительной; но Иоанн наслаждался ли успокоением робкой души своей? По крайней мере бог не хотел того, избрав сие время для ужасной казни его сердца, жестокого, но еще не совсем окаменелого – еще родительского, не мертвого.

В старшем, любимом сыне своем, Иоанне, царь готовил России *второго себя*: вместе с ним занимаясь делами важными, присутствуя в думе, объезжая государство, вместе с ним и сластолюбовствовал и губил людей, как бы для того, чтобы сын не мог стыдить отца и Россия не могла ждать ничего лучшего от наследника. Юный царевич, не быв вдовцом, имел тогда уже третью супругу, Елену Ива-

новну, роду Шереметевых: две первые – Сабурова и Параскева Михайловна Соловая – были пострижены. Своевольно или в угодность родителю меняя жен, он еще менял и наложниц, чтобы во всем ему уподобляться. Но изъявляя страшное в юности ожесточение сердца и необузданность в любострастии, оказывал ум в делах и чувствительность ко славе или хотя к бесславию отечества. Во время переговоров о мире, страдая за Россию, читая горесть и на лицах бояр, – слыша, может быть, и всеобщий ропот, – царевич исполнился ревности благородной, пришел к отцу и требовал, чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля, освободить Псков, восстановить честь России. Иоанн в волнении гнева закричал: «Мятежник! Ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола!» – и поднял руку. Борис Годунов хотел удержать ее: царь дал ему несколько ран острым жезлом своим и сильно ударил им царевича в голову. Сей несчастный упал, обливаясь кровию. Тут исчезла ярость Иоаннова. Побледнев от ужаса, в трепете, в исступлении он воскликнул: «Я убил сына!» – и кинулся обнимать, целовать

его; удерживал кровь, текущую из глубокой язвы; плакал, рыдал, звал лекарей; молил бога о милосердии, сына – о прощении. Но суд небесный совершился!.. Царевич, лобызая руки отца, нежно изъявлял ему любовь и сострадание; убеждал его не предаваться отчаянию; сказал, что умирает верным сыном и подданным... Жил четыре дни и скончался 19 ноября в ужасной слободе Александровской... Там, где столько лет лилася кровь невинных, Иоанн, обагрённый сыновнею, в оцепенении сидел неподвижно у трупа, без пищи и сна, несколько дней... 22 ноября вельможи, бояре, князья, все в одежде черной, понесли тело в Москву. Царь шел за гробом до самой церкви св. Михаила Архангела, где указал ему место между памятниками своих предков. Погребение было великолепно, и умирительно. Все оплакивали судьбу державного юноши, который мог бы жить для счастья и добродетели, если бы рука отцовская, назло природе, безвременно не ввергнула его и в разврат и в могилу! Человечество торжествовало: оплакивали и самого Иоанна!.. Обнаженный всех знаков царского сана, в ризе печальной, в виде

простого, отчаянного грешника, он бился о гроб и землю с воплем пронзительным.

Так правосудие всевышнего мстителя и в сем мире карает иногда исполинов бесчеловечия, более для примера, нежели для их исправления: ибо есть, кажется, предел во зле, за коим уже нет истинного раскаяния; нет свободного, решительного возврата к добру: есть только мука, начало адской, без надежды и перемены сердца. Иоанн стоял уже далеко за сим роковым пределом: исправление *такого* мучителя могло бы соблазнить людей слабых... Несколько времени он тосковал ужасно; не знал мирного сна: ночью, как бы устрасаемый привидениями, вскакивал, падал с ложа, валялся среди комнаты, стонал, вопил; утихал только от изнурения сил; забывался в минутной дремоте на полу, где клали для него тюфяк и изголовье; ждал и боялся утреннего света, боясь видеть людей и явить им на лице своем муку сыноубийцы.

В сем душевном волнении Иоанн призвал знатнейших мужей государственных и сказал торжественно, что ему, столь жестоко наказанному богом, остается кончить дни в уеди-

нении монастырском; что меньший его сын, Феодор, не способен управлять Россией и не мог бы царствовать долго; что бояре должны избрать государя достойного, коему он немедленно вручит державу и сдаст царство. Все изумились: одни верили искренности Иоанновой и были тронуты до глубины сердца; другие опасались коварства, думая, что государь желает только выведать их тайные мысли и что ни им, ни тому, кого они признали бы достойным венца, не миновать лютой казни. Единодушным ответом было: «Не оставляй нас; не хотим царя, кроме богом данного, тебя и твоего сына!» Иоанн как бы невольно согласился носить еще тягость правления; но удалил от глаз своих все предметы величия, богатства и пышности; отвергнул корону и скипетр; облек себя и двор в одежду скорби; служил панихиды и каялся; послал 10000 рублей в Константинополь, Антиохию, Александрию, Иерусалим, к патриархам, да молятся об успокоении души царевича, – и сам наконец успокоился! Хотя, как пишут, он не преставал оплакивать любимого сына и даже в веселых разговорах часто воспоминал об нем

со слезами, но, следственно, мог снова *веселиться*; снова, если верить чужеземным историкам, свирепствовал и казнил многих людей воинских, которые будто бы малодушно сдавали крепости Баторию, хотя сами враги наши должны были признать тогда россиян храбрейшими, неодолимыми защитниками городов.

<Из главы шестой девятого тома>

Разбой казаков. Ермак. Поход на Сибирь. Гнев Иоаннов. Подвиги Ермаковы. Битвы. Ночной совет казаков. Решительная битва. Взятие Искера, или города Сибири. Строгость Ермака. Пленение царевича Маметкула. Дальнейшие завоевания. Посольство в Москву. Радость в Москве. Послание рати в Сибирь. Новые завоевания. Жалованье царское. Болезни и голод в Сибири. Неосторожность казаков. Осада Искера. Последние завоевания Ермаковы. Гибель Ермака. Изображение героя сибирского. Казаки оставляют Сибирь.

Мы говорили о происхождении, доброй и худой славе, верности и неверности донских казаков, то честных воинов России, то мятежников, ею не признаваемых за россиян. Гнев-

ные отзывы Иоанновы о сей вольнице в письмах к султанам и к ханам таврическим были истинною: ибо казаки действительно, разбивая купцов, даже послов азиатских на пути их в Москву, грабя самую казну государеву, несколько раз заслуживали опалу; несколько раз высылались дружины воинские на берега Дона и Волги, чтобы истребить сих хищников: так, в 1577 году стольник Иван Мурашкин, предводительствуя сильным отрядом, многих из них взял и казнил; но другие не смирились: уходили на время в пустыни, снова являлись и злодействовали на всех дорогах, на всех перевозах; в быстром набеге взяли даже столицу ногайскую, город Сарайчик, не оставили там камня на камне и вышли с знатною добычею, раскопав самые могилы, обнажив мертвых. К числу буйных атаманов волжских принадлежали тогда Ермак (Герман) Тимофеев, Иван Кольцо, осужденный государем на смерть, Яков Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещеряк, известные удальством редким: слыша, как они ужасают своею дерзостью не только мирных путешественников, но и все окрестные улусы кочевых народов,

умные Строгановы предложили сим пяти храбрецам службу честную; послали к ним дары, написали грамоту ласковую (6 апреля 1579 года), убеждали их отвергнуть ремесло, недостойное христианских витязей, быть не разбойниками, а воинами *царя белого*, искать опасностей не бесславных, примириться с богом и с Россиею; сказали: «Имеем крепости и земли, но мало дружины: идите к нам оборонять великую Пермь и восточный край христианства». Ермак с товарищами прослезился от умиления, как пишут: мысль свергнуть с себя опалу делами честными, заслугою государственною и променять имя смелых грабителей на имя добрых воинов отечества тронула сердца грубые, но еще не лишённые угрызений совести. Они подняли знамя на берегу Волги: кликнули дружину, собрали 540 отважных бойцов и (21 июня) прибыли к Строгановым – «с радостию и на радость», говорит летописец. «Чего хотели одни, что обещали другие, то исполнилось: атаманы стали грудью за область христианскую. Неверные трепетали; где показывались, там гибли». И действительно (22 июля 1581 года), усердные ка-

заки разбили наголову мурзу Бегулия, дерзнувшего с семьястами вогуличей и остяков грабить селения на Сылве и Чусовой; взяли его в плен и смирили вогуличей. Сей успех был началом важнейших.

Призывая донских атаманов, Строгановы имели в виду не одну защиту городов своих: испытав бодрость, мужество и верность казаков; узнав разум, великую отвагу, решительность их главного вождя, Ермака Тимофеева, *родом неизвестного, душою знаменитого*, как сказано в летописи; составив еще особенную дружину из русских татар, литвы, немцев, искупленных ими из неволи у ногаев (которые, служа в войнах Иоанну, возвращались обыкновенно в улусы свои с пленниками); добыв оружия, изготовив все нужные запасы, Строгановы объявили поход, Ермака – воеводою и Сибирь – целию. Ратников было 840, одушевленных ревностию и веселием: кто хотел чести, кто добычи; донцы надеялись заслужить милость государеву, а немецкие и литовские пленники – свободу: Сибирь казалась им путем в любезное отечество! Воевода устроил войско; сверх атаманов, избрал есаулов, сот-

ников, пятидесятников: главным под ним был неустрашимый Иван Кольцо. Нагрузив ладии запасами и снарядами, легкими пушками, *семипядными* пищалями; взяв вожатых, толмачей, иереев; отпев молебен; выслушав последний наказ Строгановых: «Иди с миром очистить землю Сибирскую и выгнать безбожного салтана Кучюма», Ермак, *с обетом доблести и целомудрия*, при звуке труб воинских, 1 сентября 1581 года отплыл рекою Чусовою к горам Уральским, на подвиг славы, без всякого содействия, даже без ведома государева: ибо Строгановы, имея Иоаннову жалованную грамоту на места за Каменным Поясом, думали, что им уже нет надобности требовать нового царского указа для их великого предприятия. Не так мыслил Иоанн, как увидим.

В то самое время, когда российский Пизарро, не менее испанского грозный для диких народов, менее ужасный для человечества, шел воевать Кучюмову державу, князь Пелымский с вогуличами, остяками, сибирскими татарами и башкирцами нечаянно напал на берега Камы, выжег, истребил селения

близ Чердыни, Усолья и новых крепостей строгановских; умертвил, пленил множество христиан. Защитников не было; но, сведав о походе казаков в Сибирь, он спешил удалиться для защиты собственных владений. Сей разбой поставили в вину Строгановым: Иоанн писал к ним, что они, как доносил ему чердынский наместник, Василий Пелепелицын, не умеют или не хотят оберегать границы; *самовольно* призвали опальных казаков, известных злодеев, и послали их воевать Сибирь, раздражая тем и князя Пелымского и салтана Кучюма; что такое дело есть измена, достойная казни. «Приказываю вам (писал он далее) немедленно выслать Ермака с товарищами в Пермь и в Усолье Камское, где им должно *покрыть* вины свои совершенным усмирением остяков и вогуличей; а для безопасности ваших городков можете оставить у себя казаков сто, не более. Если же не исполните нашего указа; если впредь что-нибудь случится над Пермскою землею от Пелымского князя и Сибирского салтана: то возложим на вас *большую опалу*, а казаков-изменников велим перевешать». Сей гневный указ испу-

гал Строгановых; но блестящий, неожиданный успех оправдал их дело, и гнев Иоаннов переменился в милость.

Начиная описание Ермаковых подвигов, скажем, что они, как все необыкновенное, чрезвычайное, сильно действуя на воображение людей, произвели многие басни, которые смешались в преданиях с истиною и под именем летописаний обманывали самых историков. Так, например, сотни Ермаковых воинов, подобно Кортцовым или Пизарровым, обратились в тысячи, месяцы действия – в годы, плавание трудное – в чудесное. Оставляя баснословие, следуем в важнейших обстоятельствах грамотам и достовернейшему современному повествованию о сем завоевании любопытном, действительно удивительном, если и не чудесном.

Атаманы плыли четыре дни вверх по реке Чусовой, быстрой, каменистой, опасной, до хребта Уральского и между горами, под сению их скал навислых; два дни – рекою Серебряною, и достигли ею так называемого *пути Сибирского*; остановились и, не зная, что ожидало их впереди, для своей безопасности

сделали земляное укрепление, дав ему имя *Кокуя-городка*; видели только пустыни или малочисленных жителей мирных и через волок перевезлись оттуда до реки Жаравли. Сии места еще и ныне ознаменованы памятниками Ермака: скалы, пещеры, следы укреплений называются его именем; ладии тяжелые, оставленные им между Серебряною и Баранчою, еще не совсем истлели, как уверяют, и над их гниющими днами растут высокие деревья. – Жаравлею и Тагилом вошли атаманы в реку Туру, уже в область Сибирского царства, где в первый раз обнажили меч завоевания. На месте нынешнего Туринска стоял городок князя Епанчи, который, повелевая многими татарами и вогуличами, встретил смелых пришельцев тучею стрел с берега (где теперь село Усениново), но бежал, уstraшенный громом пушек. Ермак велел разорить сей городок; осталось только имя: ибо жители доныне называют Туринск Епанчином. Опустошив улусы и селения вниз по Туре, атаманы на устье Тавды взяли в плен Кучюмова сановника Таузака, который, искренностию спасая жизнь, сообщил им все нужные для них све-

дения о земле своей и, будучи за то освобожден, известил ее царя, что предсказание сибирских волхвов сбывается, ибо сии кудесники уже давно, как пишут, вопили на стогнах о неминуемом скором падении его державы от нашествия христиан. Таузак описывал казаков людьми чудесными, воинами неодолимыми, *стреляющими огнем и громом смертоносным* навывлет сквозь латы. Но Кучюм, лишенный зрения, имел душу твердую: решился стать мужественно за царство и веру; собрал войско из всех улусов, выслал племянника Маметкула в поле со многочисленною конницею, а сам укрепился в засеке, на Иртыше, под горою Чувашьею, преграждая атаманам путь к Искеру.

Завоевание Сибири во многих отношениях сходствует с завоеванием Мексики и Перу: так же горсть людей, стреляя огнем, побеждала тысячи, вооруженные стрелами и копьями: ибо северные моголы и татары не умели воспользоваться изобретением пороха и в конце XVI века действовали единственно оружием времья Чингисовых. Каждый богатырь Ермаков шел на толпу неприятелей, смерто-

носною пулею убивал одного, а страшным звуком пищали своей разгонял двадцать и тридцать. Так, в первой битве на берегу Тобола, в урочище Бабасане, Ермак, стоя в окопе, несколькими залпами остановил стремление десяти или более тысяч всадников Маметкуловых, которые неслия во весь дух потоптать его: он сам ударил на них, и довершив победу, открыл себе путь к устью Тобола, хотя и не совсем безопасный: ибо жители, заняв крутой берег сей реки, называемый *долгим Ярм*, стрелами осыпали ладии казаков. Второе, менее важное, дело было в шестнадцати верстах от Иртыша, где властвовал улусный князь, царский думный советник Карача, на берегах озера, и теперь именуемого *Карачинским*: Ермак взял его улус и в нем богатую добычу, запасы и множество кадей царского меду. Третья битва, на Иртыше, жаркая, упорная, стоила жизни некоторому числу Ермаковых сподвижников, доказав, что независимость отечества мила и варварам: сибирские защитники изъявили неустрашимость и твердость; ввечеру уступили россиянам победу, но только до нового кровопролития, имея

еще и доблесть и надежду. Слепый Кучюм вышел из укреплений и стал на горе Чувашьей: Маметкул расположился в засеке, и казаки, в тот же вечер заняв городок Атик-Мурзы, не смыкали глаз ночью, опасаясь нападения.

Уже число Ермаковой дружины уменьшилось заметно; кроме убитых, многие были ранены; многие лишились сил и бодрости от трудов непрестанных. В сию ночь атаманы советовались с товарищами, что делать, – и голос слабых раздался. «Мы удовлетворили мести, – сказали они, – время идти назад. Всякая новая битва для нас опасна: ибо скоро некому будет побеждать». Но атаманы ответствовали: «Нет, братья: нам путь только вперед! Уже реки покрываются льдом: обратив тыл, замерзнем в глубоких снегах; а если и достигнем Руси, то с пятном клятвопреступников, обещав смирить Кучюма или великодушною смертью загладить наши вины пред государем. Мы долго жили худою славою: умрем же с доброю! Бог дает победу, кому хочет: нередко слабым мимо сильных, да святится имя его!» Дружина сказала: «Аминь!» – и с первыми лучами солнца, 23 октября,

устремилась к засеке, воскликнув: «С нами бог!» Неприятель сыпал стрелы, язвил казаков и, в трех местах сам разломав засеку, кинулся в бой рукопашный, безвыгодный для Ермаковых малочисленных витязей; действовали сабли и копья: люди падали с обеих сторон; но казаки, немецкие и литовские воины стояли единоклубнее, крепкою стеною – успевали заряжать пищали и беглым огнем редили толпы неприятельские, гоня их к засеке. Ермак, Иван Кольцо мужествовали впереди, повторяя громкое восклицание: «С нами бог!», а слепой Кучюм, стоя на горе с иманами, с муллами своими, кликал Магомета для спасения правоверных. К счастью россиян, к ужасу неприятелей, раненый Маметкул должен был оставить сечу: мурзы увезли его в ладии на другую сторону Иртыша, и войско без предводителя отчаялось в победе: князя остяцкие дали тыл; бежали и татары. Слыша, что знамена христианские уже развеваются на засеке, Кучюм искал безопасности в степях Ишимских, успев взять только часть казны своей в сибирской столице. Сия главная, кровопролитнейшая битва, в коей пало 107 доб-

рых казаков, доньине поминаемых в соборной Тобольской церкви, решила господство России от Каменного хребта до Оби и Тобола.

26 октября Ермак, уже знаменитый для истории, отпев молебен, торжественно вступил в Искер, или в город Сибирь, который стоял на высоком берегу Иртыша, укрепленный с одной стороны крутизною, глубоким оврагом, а с другой – тройным валом и рвом. Там победители нашли великое богатство, если верить летописцу: множество золота и серебра, азиатских парчей, драгоценных камней, мехов, и всё братски разделили между собою. Город был пуст: овладев царством, наши витязи еще не видали в нем людей; имея золото и соболей, не имели пищи: но 30 октября явились к ним остяки с князем своим Боаром, с дарами и запасами; клялися в верности, требовали милосердия и покровительства. Скоро явилось и множество татар с женами и с детьми, коих Ермак обласкал, успокоил и всех отпустил в их прежние юрты, обложив легкою данью. Сей бывший атаман разбойников, оказав себя героем неустрашимым, вождем искусным, оказал необыкновенный разум и в

земских учреждениях и в соблюдении воинской подчиненности, вселив в людей грубых, диких доверенность к новой власти и строгостию усмиряя своих буйных сподвижников, которые, преодолев столько опасностей, в земле, завоеванной ими, *на краю света*, не смели тронуть ни волоса у мирных жителей. Пишут, что грозный, неумолимый Ермак, жалея воинов христианских в битве, не жалел их в случае преступления и казнил за всякое ослушание, за всякое *дело студное*: ибо требовал от дружины не только повиновения, но и чистоты душевной, чтобы угодить вместе и царю земному и царю небесному; он думал, что бог даст ему победу скорее с малым числом добродетельных воинов, нежели с большим закоснелых грешников, и казаки его, по сказанию тобольского летописца, и в пути и в столице сибирской вели жизнь целомудренную: сражались и молились! Еще опасности не миновали.

Прошло несколько времени: не имея слуха о Кучюме, атаманы без опасения занимались ловлею в окрестностях города. Но Кучюм был недалеко: племянник его Маметкул, несмотря

на язву свою, уже бодрствовал в поле и, 5 декабря незапно ударив на 20 россиян, которые ловили рыбу в озере Абалацком, умертвил всех до единого. Сведав о том, Ермак устремился за неприятелем: настиг его близ Абалака (где селение Шамшинские Юрты), разбил, рассеял; взял тела своих убитых и с честью предал земле на Саусканском мысу, близ Искера, где было древнее ханское кладбище. – Чрезвычайный холод, опасные вьюги и краткость зимних дней в сих странах полунощных не позволяли ему мыслить о новых, важных предприятиях до весны. Между тем владения казаков распространились мирным подданством двух князей вогульских, Ишбердея и Суклема: первый господствовал за Эскальбинскими болотами, на берегах Конды или Тавды, а второй – и окрестностях Тобола; оба вызвались добровольно платить ясак, или дань, соболями и присягнули России в верности, которою Ишбердей приобрел особенную любовь казаков, служа им добрым советником и путеводителем в местах незнаемых. Таким образом, дела внутреннего управления, собирание дани, звериная и рыбная

ловля, нужная для продовольствия в земле
бесхлебной, занимали Ермака до апреля меся-
ца, когда один мурза известил его, что дерз-
кий Маметкул снова приблизился к Иртышу
и кочует на Вагае с малочисленною толпою.
требовалось скорости и тайны более, нежели
силы, чтобы истребить сего врага неутомимо-
го; атаманы выбрали только 60 удальцов, ко-
торые ночью подкрались к Маметкулову ста-
ну, напали врасплох, умертвили многих сон-
ных татар, взяли самого царевича живого и
привели с торжеством в Искер, к великой ра-
дости Ермака: ибо он сим счастливым пленом
избавился от смелого, мужественного непри-
ятеля и мог им воспользоваться как важным
залогом в случае войны или мира с изгнанни-
ком Кучюмом; видел Маметкула, обагренного
кровию своих братьев, но не думал о мести
личной: ласкал и честил его под крепкою
стражею. Уже имея лазутчиков и в отдален-
ных местах, Ермак в то же время узнал, что
Кучюм, сраженный вестью о несчастьи Ма-
меткула, скитается в пустынях за Ишимом;
что юный сын убитого им князя сибирского,
Бекбулата, Сейдек, увезенный в Бухарию слу-

гами отца своего, возмужав летами и духом, идет на сего царя-хищника с шайками узбеков и что вельможа Карача изменил ему в бедствии: оставил Кучюма, увел многих людей с собою и расположился кочевать в *Лымской* земле, на большом озере, выше устья Тары, впадающей в Иртыш, близ реки Осмы. Сие достоверное известие о бессилии главного злобного врага и наступление весны благоприятствовали новым подвигам знаменитого атамана.

Оставив в Искере часть дружины, Ермак с казаками поплыл Иртышом к северу. Уже ближайшие улусы признавали власть его; он шел мирно до устья Аримдзянки, где татары, еще независимые, засели и крепости и не хотели сдаться: взяв ее приступом, атаманы велели расстрелять или повесить главных виновников сего опасного упорства. Все иные жители, смиренные ужасом, клялися быть подданными России, целуя омоченную кровию саблю. Нынешние волости Наццинская, Карбинская, Туртасская не смели противиться. Далее начинались юрты остяков и кондинских вогуличей: там, на высоком берегу Ир-

тыша, князь их Демьян, имея крепость и в ней две тысячи воинов, готовых к битве, отвергнул все предложения Ермаковы. Летописец рассказывает, что в сем городке был золотой кумир, будто бы вывезенный из древней России во время ее крещения; что остяки держали его в чаше, пили из нее воду и тем укреплялись в мужестве; что атаманы, стрельбою изгнав осажденных, вступили в город, но не могли найти в нем драгоценного идола. – Далее, плывя Иртышом, завоеватели увидели толпу кудесников, приносящих жертву славному кумиру Раче, с молением, да спасет их от страшных пришельцев. Идол безмолвствовал, россияне шли с своим *громом*, и кудесники бежали в темноту лесов. На сем месте ныне селение *Рачевые Юрты*, ниже *Демьянского Яма*. – Далее, в Цынгальской волости, где Иртыш, стесняемый горами, имеет узкое и быстрое течение, собралось множество вооруженных людей: один выстрел рассеял их, и казаки овладели городком Нарымским, где были только жены с детьми, в страхе, в ожидании смерти; но Ермак обошелся с ними столь ласково, что отцы и мужья не замедли-

ли прийти к нему с данию. Покорив волость Тарханскую, атаманы вступили в страну знатнейшего князя остяцкого Самара, который соединился с другими осмью князьками и ждал россиян для битвы, чтобы решить судьбу всей древней земли Югорской. Хвалясь мужеством и силою, Самар забыл осторожность: спал крепким сном вместе с войском и стражею, когда атаманы в час рассвета ударили на его стан: пробужденный шумом, он схватил оружие и пал мертвый от первой пули; войско разбежалось, а жители обязались платить ясак России. — Уже Ермак достиг славной Оби, коей течение известно было и древним новгородцам, но устье и вершина, по выражению московских путешественников 1567 года, таились во мраке отдаления. Завоевав еще главный остяцкий город Назым и многие иные крепости на берегах ее, пленив их князя и горестно оплакав кончину храброго сподвижника, атамана Никиту Пана, убитого на приступе вместе с некоторыми из лучших казаков, Ермак не хотел идти далее: ибо видел пред собою одни хладные пустыни, где мшистая кора болот и летом едва

теплеет от жарких лучей солнца и где, среди мерзлых тундр, усеянных мамонтовыми костями, представляется глазам образ ужасного кладбища природы. Поставив князя остяцкого Алача главою над Обскими Юртами, Ермак тем же путем возвратился в сибирскую столицу, честимый своими данниками как победитель и владыка; везде, с изъявлениями раболепства, встречали, провожали его как мужа грозы и доблести сверхъестественной. Казаки плыли с воинскою музыкою и выходили на берег всегда в своих праздничных кафтанах, чтобы удивлять жителей пышностью и богатством. От пределов березовских до Тобола утвердив господство России, Ермак благополучно возвратился в Искер, тихий и спокойный.

Тогда единственно, по сказанию летописца, сей витязь счастливый дал знать Строгановым, что бог помог ему одолеть салтана, взять его столицу, землю и царевича, а с народов – присягу в верности; написал и к Иоанну, что его бедные, опальные казаки, угрызаемые совестью, исполненные раскаяния, шли на смерть и присоединили знаменитую дер-

жаву к России, во имя Христа и великого государя, на веки веков, доколе все вышний благоволит стоять миру; что они ждут указа и воевод его: сдадут им царство Сибирское и без всяких условий, готовые умереть или в новых подвигах, чести, или на плахе, как будет угодно ему и богу. С сею грамотою поехал в Москву второй атаман, первый сподвижник Ермака Тимофеева, первый с ним в думе и в сечах, Иван Кольцо, не боясь своего торжественного осуждения на лютую казнь преступника.

Здесь предупредим вопрос читателя: столь поздно известив Строгановых о своем успехе, не думал ли

Ермак, обольщенный легким завоеванием Сибири (как угадывали некоторые историки), властвовать там независимо? Не для того ли наконец обратился к Иоанну, что увидел необходимость требовать его вспоможения, ежедневно слабея в силах, хотя и побеждая? Но мог ли умный атаман и с самого начала не предвидеть, что горсть смельчаков, оставленных Россиею, года в два или в три исчезла бы в битвах или от болезней сурового климата, среди пустынь и лесов, служащих вместо кре-

постей для диких, свирепых жителей, которые платили дань пришельцам единственно под угрозой меча или выстрела? Гораздо вероятнее, что летописец, не быв очевидцем деяний, означает их порядок наугад; или Ермак опасался безвременно хвалиться в России успехом: хотел прежде довершить завоевание, и довершил, по его мнению, загнав Кучюма в дальние степи и водрузив межевый столп государства Московского на берегу Оби.

Восхищенные вестью атаманов, Строгановы спешили в Москву, донесли государю о всех подробностях и молили его утвердить Сибирь за Россию: ибо они, как частные люди, не имели способов удержать столь обширное завоевание. Явились и послы Ермаковы, атаман Кольцо с товарищами, *бить челом Иоанну царством Сибирским*, драгоценными соболями, черными лисицами и бобрами. Давно, как пишут, не бывало такого веселия в Москве унылой: государь и народ *воспрянули духом*. Слова: «Новое царство послал бог России!» – с живейшею радостью повторялись во дворце и на Красной площади. Звонили в колокола, пели молебны благодарственные, как

в счастливые времена Иоанновой юности, завоеваний казанского и астраханского. Молва увеличивала славу подвига: говорили о бесчисленных воинствах, разбитых казаками; о множестве народов, ими покоренных; о несметном богатстве, ими найденном. Казалось, что Сибирь упала тогда с неба для россиян: забыли ее давнишнюю известность и самое подданство, чтобы тем более славить Ермака. Опала сделалась честью: оглашенный преступник Иван Кольцо, смиренно наклоняя повинную свою голову пред царем и боярами, слышал милость, хвалу, имя доброго витязя и с слезами лобызал руку Иоаннову. Государь жаловал его и других сибирских послов деньгами, сукнами, камками; немедленно отрядил воеводу, князя Семена Дмитриевича Волховского, чиновника Ивана Глухова и 500 стрельцов к Ермаку; дозволил Ивану Кольцу на возвратном пути искать охотников для переселения в новый край Тобольский и велел епископу Вологодскому отправить туда десять священников с их семействами для христианского богослужения. Весною князь Волховский должен был взять ладии у Строгано-

вых и плыть рекою Чусовою по следам сибирского героя. Сии усердные, знаменитые граждане, истинные виновники столь важного приобретения для России, уступив оное государству, не остались без возмездия: Иоанн за их *службу и радение* пожаловал Семену Строганову два местечка, Большую и Малую Соль, на Волге, а Максиму и Никите – право торговать во всех своих городках беспошлинно.

Между тем завоеватели сибирские не праздно ждали добрых вестей из России: ходили рекою Тавдою в землю вогуличей. – Близ устья сей реки господствовали князья татарские, Лабутан и Печенег, разбитые Ермаком в деле кровопролитном, на берегу озера, где, как уверяет повествователь, и в его время еще лежало множество костей человеческих. Но робкие вогуличи Кошуцкой и Табаринской волости мирно дали ясак атаманам. Сии тихие дикари жили в совершенной независимости; не имели ни князей, ни властителей; уважали только людей богатых и разумных, требуя от них суда в тяжбах или ссорах; не менее уважали и мнимых волхвов, из коих один, с благоговением взирая на Ермака, буд-

то бы предсказал ему долговременную славу, но умолчал о близкой его смерти. Здесь баснословие изобрело еще гигантов между карлами вогульскими (ибо жители сей печальной земли не бывают ни в два аршина ростом): пишут, что россияне близ городка Табаринского с изумлением увидели великана в две сажени вышиною, который хватал рукою и давил вдруг человек по десяти или более; что они не могли взять его живого и застрелили! Вообще известие о сем походе но весьма достоверно, находясь только в прибавлении к сибирской летописи. Там сказано далее, что Ермак, достигнув болот и лесов Пелымских, рассеяв толпы вогуличей и взяв пленников, старался узнать от них о пути с берегов Верхней Тавды через Каменный Пояс в Пермь, дабы открыть новое сообщение с Россиею, менее опасное или трудное, но не мог проложить сей дороги в пустынях грязных и топких летом, а зимою засыпаемых глубокими снегами. Умножив число данников, расширив свои владения в древней земле Югорской до реки Сосвы и включив в их пределы страну *Кандинскую*, дотоле малоиз-

вестную, хотя уже и давно именуемую в титуле московских самодержцев, Ермак возвратился в сибирскую столицу принять за славные труды отличную награду.

Иван Кольцо прибыл в Искер с государевым жалованьем, князь Волховский – с людьми воинскими. Первый вручил атаманам и рядовым богатые дары, а вождю их – две брони, серебряный кубок и шубу с плеча царского. Иоанн в ласковой грамоте объявил казакам вечное забвение старых вин и вечную благодарность России за важную услугу; назвал Ермака (так пишут) *князем сибирским*; велел ему распоряжаться и начальствовать, как было дотоле, чтобы утвердить порядок в земле и верховную государеву власть над нею. Казаки же честили Иоаннова воеводу и всех стрельцов, дарили соболями, угощали со всею возможною роскошью, готовясь с ними к дальнейшим предприятиям. – Сие счастье Ермаково и сподвижников его не продолжилось: начинаются их бедствия.

Во-первых, открылась жестокая цинга, болезнь обыкновенная для новых пришельцев в климатах сырых, холодных, в местах еще

диких, малонаселенных: занемогли стрельцы, от них и казаки; многие лишились сил, многие и жизни. Во-вторых, оказался зимою недостаток в съестных припасах: страшные морозы, вьюги, метели, препятствуя казакам ловить зверей и рыбу, мешали и доставлению хлеба из соседственных юртов, где некоторые жители занимались скудным земледелием. Сделался голод: болезнь еще усилилась: люди гибли ежедневно, а в числе многих других умер и сам воевода Иоаннов, князь Болховский, с честью и слезами схороненный в Искере. Общее уныние коснулось и Ермакова сердца: давно не боясь смерти, он боялся утратить завоевание, обмануть надежду царя и России. — Сие бедствие миновало весною: теплота воздуха способствовала излечению больных, и подвозы доставили россиянам изобилие. Тогда Ермак, исполняя указ Иоаннов, отправил в Москву царевича Маметкула, написав к государю, что все опять благополучно в его Сибири, но моля о сильнейшем, немедленном вспоможении, дабы удержать взятое и взять еще более. — Сей пленный царевич, верный блюститель Маго-

метова закона, служил после в наших ратях. Лишась, может быть, половины воинов от заразы и голода, Ермак претерпел еще знатную убыль в силах от легковерия и неосторожности. Мурза, или князь, Карача, оставив царя своего в несгоде, имел на Таре улус многолюдный, лазутчиков – в Искере, друзей и единомышленников – во всех окрестных юртах; хотел быть избавителем отечества; ждал времени и между тем коварно ласкал россиян: прислал к ним дары, требовал их защиты, будто бы угрожаемый ногаями; клялся в верности и так оболъстил Ермака, что он послал к нему сорок добрых воинов с атаманом Иваном Кольцом. Сия горсть людей отважных могла бы двумя или тремя залпами разогнать тысячи дикарей; но, влекомые судьбою на гибель, казаки шли к мнимым друзьям без всякого опасения и мирно стали под нож убийц: первый герой Ермаков и воины его, львы в сечах, пали, как агнцы, в Тарском улусе!.. Следствием были мятеж и бунт всех наших данников: татары, остяки сибирские восстали на россиян, убили в разъезде атамана Якова Михайлова, соединились в поле с Карачею и стали

необозримыми обозами вокруг Искера, где Ермак увидел себя в тесной осаде: завоевания его, царство и подданные вдруг исчезли; несколько сажений деревянной стены с земляными укреплениями составляли единственное владение казаков! Ермак мог делать вылазки, но жалел своих людей малочисленных; стрелял, но бесполезно, имея только легкие пушки: ибо неприятель стоял далеко и не хотел приступать к стенам, в надежде взять крепость голодом, действительно неминуемым для ее защитников, если бы осада продолжилась. В сей крайности решились казаки на дело отчаянное: 12 июня, ночью, с атаманом Матвеем Мещеряком, оставив Ермака блюсти крепость, прокрались сквозь обозы неприятельские к месту, называемому Саусканом, где был стан Карачи, в нескольких верстах от города, и кинулись на сонных татар: умертвили их множество и двух сыновей Карачиных, гнали бегущих во все стороны, плавали в крови неверных. Сам князь, или мурза, ушел за озеро только с малым числом людей. Хотя утренний свет ободрил неприятелей; хотя они, приспев из других станов, удер-

жали беглецов, сомкнулись и вступили в бой: но казаки, засев в обозе княжеском, сильною ружейною стрельбою отразили все нападения и в полдень с торжеством возвратились в город, ими освобожденный: ибо Карача, в ужасе немедленно сняв осаду, бежал за Ишим; а селения и юрты окрестные все снова поддались россиянам. Еще судьба благоприятствовала героям!

В страх неприятелю и для своей будущей безопасности Ермак, хотя уже и слабый числом людей, предпринял идти вслед за Карачею вверх Иртышом, чтобы распространить на восток владения России. Он победил князя Бегиша и взял городок его (коего остатки еще видны на берегу излучистого озера, далее устья Вагайского); завоевал все места до Ишима, местию ужасая непокорных, милуя безоружных. В Саргацкой волости жил тогда какой-то знаменитый старейшина, наследственный главный судия всех улусов татарских от времен первого хана сибирского, и князь Еличай в городке Тебенде: оба изъявили смирение; а князь вместе с данию представил Ермаку и юную дочь, невесту сына Кучюмова; но цело-

мудренный атаман велел ей удалиться с ее прелестями опасными и с невинностью, как говорит летописец. Близ устья ишимского в кровопролитной схватке с жителями, бедными и свирепыми, Ермак лишился пяти мужественных казаков, донные воспеваемых в унылых сибирских песнях; взял еще городок Ташаткан, но не хотел упорно приступать к важнейшей крепости, основанной царем Кучюмом на берегу озера Аусаклу; достигнул реки Шиша, где начинаются голые степи, и, распорядив дань в сем новом завоевании, возвратился в Искер с трофеями, уже последними! Около двух лет господствуя в Сибири, казаки успели завести торговлю с самыми отдаленными азиатскими странами, издревле славными богатством и купечеством. Уже караваны бухарские ходили к ним мимо Арала, сквозь степи киргиз-кайсаков, путем, без сомнения, давно проложенным (может быть, еще во времена Чингисовы или его наследников), оживляя пустынную сибирскую столицу зрелищем деятельной ярмонки и доставляя там россиянам, в обмен на мягкую рухлядь, плоды восточного ремесла, нужные или

приятные для воинов, которые не берегли жизни, но любили наслаждаться ею. Ожидая тогда купцов бухарских и сведав, что изгнанник Кучюм не дает им дороги в степи Вагайской, где он снова дерзнул явиться, пылкий Ермак с пятьюдесятью казаками спешил их встретить: искал целый день, не видал ни каравана, ни следов неприятеля и на обратном пути расположился ночевать в шатрах, оставив лодки свои у берега, близ Вагайского устья, где Иртыш, делясь надвое, течет весьма кривою излучиною к востоку и прямым искусственным каналом, называемым *Ермаковою перекопью*, но вырытым, как надобно думать, в древнейшие времена, ибо гладкие берега его не представляют уже ни малейших следов копания. Там же, к югу от реки, среди низкого луга, возвышается холм, насыпанный, но общему преданию, руками девичьими для жилища царского. Между сими памятниками какого-то забытого века надлежало погибнуть новому завоевателю Сибири, с коего начинается ее несомнительная история, — погибнуть от своей оплошности, изъясняемой единственно неодолимым действием ро-

ка. Ермак знал о близости врага и, как бы утомленный жизнью, погрузился в глубокий сон с своими удалыми витязями, без наблюдения, без стражи. Лил сильный дождь; река и ветер шумели, тем более усыпляя казаков; а неприятель бодрствовал на другой стороне реки: его лазутчики сыскали брод, тихо приблизились к стану Ермакову, видели сонных, взяли у них три пищали с лядунками и представили своему царю в удостоверение, что можно наконец истребить непобедимых. *Заиграло Кучюмово сердце*, как сказано в летописи: он напал на россиян полумертвых (в ночи 5 августа) и всех перерезал, кроме двух: один бежал в Искер; другой, сам Ермак, пробужденный звуком мечей и стоном издыхающих, воспрянул... увидел гибель, махом сабли еще отразил убийц, кинулся в бурный глубокий Иртыш и, не доплыв до своих лодок, утонул, отягченный железною броней, данною ему Иоанном... Конец, горький для завоевателя: ибо, лишаясь жизни, он мог думать, что лишается и славы!.. Нет, волны Иртыша не поглотили ее: Россия, история и церковь гласят Ермаку вечную память!

Сей герой – ибо отечество благодарное давно изгладило имя разбойника пред Ермаковым, – сей герой погиб безвременно, но совершив главное дело: ибо Кучюм, зарезав 49 сонных казаков, уже не мог отнять сибирского царства у великой державы, которая единожды навсегда признала оное своим достоянием. Ни современники, ни потомство не думали отнимать у Ермака полной чести сего завоевания, величая доблесть его не только в летописаниях, но и в святых храмах, где мы еще и ныне торжественно молимся за него и за дружину храбрых, которые вместе с ним пали на берегах Иртыша. Там имя сего витязя живет и в названии мест и в преданиях изустных; там самые бедные жилища украшаются изображением *атамана-князя*. Он был видом благороден, сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк плечами; имел лицо плоское, но приятное, бороду черную, волосы темные, кудрявые, глаза светлые, быстрые, зеркало души пылкой, сильной, ума пронизательного. – Тело Ермакове (13 августа) приплыло к селению Епанчинским Юртам, в 12 верстах от Абалака, где татарин

Яниш, внук князька Бегиша, ловя рыбу, увидел в реке ноги человеческие, петлею вытаскивал мертвого, узнал его по железным латам с медною оправою, с золотым орлом на груди, и созвал всех жителей деревни видеть исполненна бездушного. Пишут, что один мурза, именем Кандаул, хотел снять броню с мертвого и что из тела, уже оцепенелого, вдруг хлынула свежая кровь; что злобные татары, положив оное на рундук, пускали в него стрелы; что сие продолжалось шесть недель; что царь Кучюм и самые отдаленные князья остяцкие съехались туда наслаждаться местию; что, к удивлению их, плотоядные птицы, стаями летая над трупом, не смели его коснуться; что страшные видения и сны заставили неверных схоронить мертвеца на Бегишевском кладбище, под кудрявою сосною; что они, в честь ему изжарив и съев 30 быков в день погребения, отдали верхнюю кольчугу Ермакову жрецам славного белогорского идола, нижнюю – мурзе Кандаулу, кафтан – князю Сейдеку, а саблю с поясом – мурзе Караче; что многие чудеса совершались над Ермаковою могилою, сиял яркий свет и пылал столп огнен-

ный; что духовенство магометанское, испуганное их действием, нашло способ скрыть сию могилу, ныне никому не известную; что сотник Ульян Ремезов в 1650 году узнал все обстоятельства Ермаковых дел и смерти оттаиши калмыцкого Аблая, ревностно желавшего иметь и наконец доставшего броню Ермакову от потомков Кандауловых.

Весть о гибели вождя привела в неописанный ужас россиян в Сибири: их было около ста пятидесяти, казаков и воинов московских, вместе с остатками иноземной строгановской дружины, под главным начальством атамана Матвея Мещеряка. С Ермаком все для них кончилось: и смелость великодушная и надежда. Опасаясь Кучюма, Сейдека, Карачи, жителей, голода, они решились идти назад в Россию и вышли (15 августа) из сибирской столицы с горькими слезами, покидая в ней гробы братьев и знамена христианства, теряя все плоды своих трудов кровавых, видя между собою и святою Русью еще пустыни необозримые, опасности, битвы и, может быть, смерть безвестную. Сии уже не гордые завоеватели, а бедные изгнанники поплыли

вверх Тобола, к великой радости Кучюма и всех жителей: ибо и дикие не любят господ чужеземных. Убив Ермака, Кучюм не дерзнул приступить к Искеру; сведав о бегстве казаков, все еще для него страшных, непобедимых, и в крепости и в ладиях громоносных, не мыслил тревожить их плаванья, и вслед за сыном своим, Алеем, вошел в пустой город сибирский снова царствовать и снова лишиться царства... Там не осталось россиян: остались их прах и могилы: они звали мстителей; тени Ермака и его усопших сподвижников манили россиян довершить легкое завоевание края неизмеримого, от Каменного Пояса до Северной Америки и Восточного океана, где в течение веков надлежало сойтися пределам нашего отечества с пределами испанских владений; где ожидали нас не только богатые рудники, драгоценные плоды звероловства, выгодная мена китайская, но и слава мирного гражданского образования диких народов и счастливый способ искоренять преступления людей без душегубства, оставлять жизнь и злодеям, безвредно и еще не бескорыстно для государства населять ими

пустыни – их руками, от уз свободными, извлекать сокровища из недр земли и нередко исправлять сих злосчастных, к утешению человечества.

<Из главы седьмой девятого тома>

Болезнь и кончина Иоаннова. Любовь россиян к самодержавию. Сравнение Иоанна с другими мучителями. Польза истории. Смесь добра и зла в Иоанне. Иоанн – образователь государственный и законодатель... Строение городов. Состояние Москвы. Торговля. Роскошь и пышность. Слава Иоаннова.

Приступаем к описанию часа торжественного, великого... Мы видели жизнь Иоаннову: увидим конец ее, равно удивительный, желанный для человечества, но страшный для воображения: ибо тиран умер, как жил, – губя людей, хотя в современных преданиях и не именуются его последние жертвы. Можно ли верить бессмертию и не ужаснуться *такой* смерти?.. Сей грозный час, давно предсказанный Иоанну и совестию и невинными мучениками, тихо близился к нему, еще на достигшему глубокой старости, еще бодрому в духе, пылкому в вожделениях сердца. Крепкий сло-

жением, Иоанн надеялся на долголетие; но какая телесная крепость может устоять против свирепого волнения страстей, обуревающих мрачную жизнь тирана? Всегдашний трепет гнева и боязни, угрызение совести без раскаяния, гнусные восторги сластолюбия мерзостного, мука стыда, злоба бессильная в неудачах оружия, наконец адская казнь сыноубийства истощили меру сил Иоанновых: он чувствовал иногда болезненную томность, предтечу удара и разрушения, но боролся с нею и не слабел заметно до зимы 1584 года. В сие время явилась комета с крестообразным небесным знамением между церковью Иоанна Великого и Благовещения: любопытный царь вышел на красное крыльцо, смотрел долго, изменился в лице и сказал окружающим: «Вот знамение моей смерти!» Тревожимый сею мыслию, он искал, как пишут, астрологов, мнимых волхвов, в России и в *Лапландии*, собрал их до шестидесяти, отвел им дом в Москве, ежедневно посылал любимца своего, Бельского, толковать с ними о комете и скоро занемог опасно: вся внутренность его начала гнить, а тело – пухнуть. Уверяют, что

астрологи предсказали ему неминуемую смерть через несколько дней, именно 18 марта, но что Иоанн велел им молчать, с угрозой сжечь их всех на костре, если будут нескромны. В течение февраля месяца он еще занимался делами; но 10 марта ведено было остановить посла литовского на пути в Москву, *ради недуга государева*. Еще сам Иоанн дал сей приказ; еще надеялся на выздоровление, однако ж созвал бояр и велел писать завещание; объявил царевича Феодора наследником престола и монархом; избрал знаменитых мужей, князя Ивана Петровича Шуйского (славного защитою Пскова), Ивана Федоровича Мстиславского (сына родной племянницы великого князя Василия), Никиту Романовича Юрьева (брата первой царицы, добродетельной Анастасии), Бориса Годунова и Бельского в советники и блюстители державы, да облегчают юному Феодору (слабому телом и душою) бремя забот государственных; младенцу Димитрию с матерью назначил в удел город Углич и вверил его воспитание одному Бельскому; изъявил благодарность всем боярам и воеводам: называл их своими друзьями и спо-

движниками в завоевании царств неверных, в победах, одержанных над ливонскими рыцарями, над ханом и султаном; убеждал Феодора царствовать *благочестиво, с любовью и милостию*; советовал ему и пяти главным вельможам удаляться от войны с христианскими державами; говорил о несчастных следствиях войны литовской и шведской; жалел об истощении России; предписал уменьшить налоги, освободить всех узников, даже пленников литовских и немецких. Казалось, что он, готовясь оставить трон и свет, хотел примириться с совестью, с человечеством, с богом – отрезвился душою, быв дотоле в упоении зла, и желал спасти юного сына от своих губельных заблуждений; казалось, что луч святой истины в преддверии могилы осветил наконец сие мрачное, хладное сердце; что раскаяние и в нем подействовало, когда ангел смерти невидимо предстал ему с вестью о вечности...

Но в то время, когда безмолвствовал двор в печали (ибо о всяком умирающем венценосце искренно и лицемерно двор печалится); когда любовь христианская умиляла сердце

народа; когда, забыв свирепость Иоаннову, граждане столицы молились в храмах о выздоровлении царя; когда молились о нем самые опальные семейства, вдовы и сироты людей, невинно избиенных... что делал он, касаясь гроба? В минуты облегчения приказывал носить себя на креслах в палату, где лежали его сокровища дивные; рассматривал камения драгоценные и 15 марта показывал их с удовольствием англичанину Горсею, ученым языком знатока описывая достоинство алмазов и яхонтов!.. Верить ли еще сказанию ужаснейшему? Невестка, супруга Феодорова, пришла к болящему с нежными утешениями и бежала с омерзением от его любострастного бесстыдства!.. Каялся ли грешник? Думал ли о близком грозном суде всевышнего?

Уже силы недужного исчезали; мысли омрачались: лежа на одре в беспамятстве, Иоанн громко звал к себе убитого сына, видел его в воображении, говорил с ним ласково... 17 марта ему стало лучше от действия теплой ванны, так что велел послу литовскому немедленно ехать из Можайска в столицу и на другой день (если верить Горсею) сказал

Бельскому: «Объяви казнь лжецам астрологам: ныне, по их басням, мне должно умереть, а я чувствую себя гораздо бодрее». – «Но день еще не миновал», – ответствовали ему астрологи. Для больного снова изготовили ванну: он пробыл в ней около трех часов, лег на кровать, встал, спросил шахматную доску и, сидя в халате на постеле, сам расставил шашки; хотел играть с Бельским... вдруг упал и закрыл глаза навеки, между тем как врачи терли его крепительными жидкостями, а митрополит – исполняя, вероятно, давно известную волю Иоаннову – читал молитвы пострижения над издыхающим, названным в монашестве Ионою... В сии минуты царствовала глубокая тишина во дворце и в столице: ждали, что будет, не дерзая спрашивать. Иоанн лежал уже мертвый, но еще страшный для предстоящих царедворцев, которые долго не верили глазам своим и не объявляли его смерти. Когда же решительное слово: «Не стало государя!» – раздалось в Кремле, народ завопил громогласно... оттого ли, как пишут, что знал слабость Феодорову и боялся худых ее следствий для государства, или платя хри-

стианский долг жалости усопшему монарху, хотя и жестокому?.. На третий день совершилось погребение великолепное в храме св. Михаила Архангела; текли слезы; на лицах изображалась горечь, и земля тихо приняла в свои недра труп Иоаннов! Безмолвствовал суд человеческий пред божественным – и для современников опустилась на феатр завеса: память и гробы остались для потомства!

Между иными тяжкими опытами судьбы, сверх бедствий удельной системы, сверх ига моголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя: устояла с любовью к самодержавию, ибо верила, что бог посылает и язву, и землетрясение, и тиранов; не преломила железного скиптра в руках Иоанновых и двадцать четыре года сносила губителя⁴, вооружаясь единственно молитвою и терпением, чтобы, в лучшие времена, иметь Петра Великого, Екатерину Вторую (история не любит именовать живых). В смирении великодушном страдальцы умирали на лобном месте, как греки в Термопилах за отечество⁵, за веру и верность, не имея и мысли о бунте. Напрасно некоторые чужеземные историки, из-

виняя жестокость Иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею: сии заговоры существовали единственно в смутном уме царя, по всем свидетельствам наших летописей и бумаг государственных. Духовенство, бояре, граждане знаменитые не вызвали бы зверя из вертепа слободы Александровской, если бы замышляли измену, взводимую на них столь же нелепо, как и чародейство. Нет, тигр упивался кровию агнцев – и жертвы, издыхая в невинности, последним взором на бедственную землю требовали справедливости, умилительного воспоминания от современников и потомства!

Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров; если бы Калигула, *образец государей и чудовище*, если бы Нерон, питомец мудрого Сенеки, *предмет любви, предмет омерзения*, не царствовали в Риме. Они были языч-

ники; но Людовик XI был христианин, не уступая Иоанну ни в свирепости, ни в наружном благочестии, коим они хотели загладить свои беззакония: оба набожные от страха, оба кровожадные и женолюбивые, подобно азиатским и римским мучителям. Изверги вне законов, вне правил и вероятностей рассудка: сии ужасные метеоры, сии блудящие огни страстей необузданных озаряют для нас, в пространстве веков, бездну возможного человеческого разврата, да видя содрогаемся! Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели – и слава времени, когда вооруженный истиною дееспособный может, в правлении самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гла-

сом оправдывать свои исступления.

Так, Иоанн имел разум превосходный, не чуждый образования и сведений, соединенный с необыкновенным даром слова, чтобы бесстыдно раболепствовать гнуснейшим похотям. Имея редкую память, знал наизусть Библию, историю греческую, римскую, нашего отечества, чтобы нелепо толковать их в пользу тиранства; хвалился твердостью и властью над собою, умея громко смеяться в часы страха и беспокойства внутреннего; хвалился милостью и щедростью, обогащая любимцев достоянием опальных бояр и граждан; хвалился правосудием, карая вместе, с равным удовольствием, и заслуги и преступления; хвалился духом царским, *соблюдением державной чести*, велел изрубить присланного из Персии в Москву слона, не хотевшего стать перед ним на колена, и жестоко наказывая бедных царедворцев, которые смели играть лучше державного в шашки или в карты; хвалился, наконец, глубокою мудростью государственною, по системе, по эпохам, с каким-то хладнокровным размером истребляя знаменитые роды, будто бы опасные для цар-

ской власти, – возводя на их степень роды новые, подлые и губительною рукою касаясь самых будущих времен: ибо туча доносителей, клеветников, кромешников, им образованные как туча гладоносных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе; и если Иго Батыево унизило дух россиян, то, без сомнения, не возвысило его и царствование Иоанново.

Но отдадим справедливость и тирану: Иоанн в самых крайностях зла является как бы призраком великого монарха, ревностный, неутомимый, часто проницательный в государственной деятельности; хотя, любив всегда равнять себя в доблести с Александром Македонским, не имел ни тени мужества в душе, но остался завоевателем; в политике внешней неуклонно следовал великим намерениям своего деда; любил правду в судах, сам нередко разбирал тяжбы, выслушивал жалобы, читал всякую бумагу, решил немедленно; казнил утеснителей народа, сановников бессовестных, лихоимцев, телесно и стыдом (рядил их в великолепную одежду, сажал на колесницу и приказывал живодерам во-

зять из улицы в улицу); не терпел гнусного пьянства (только на святой неделе и в рождество Христово дозволялось народу веселиться в кабаках; пьяных во всякое иное время отсылали в темницу). Не любя смелой укоризны, Иоанн не любил иногда и грубой лести: представим доказательство. Воеводы, князя Иосиф Щербатый и Юрий Борятинский, выкупленные царем из литовского плена, удостоились его милости, даров и чести с ним обедать. Он расспрашивал их о Литве: Щербатый говорил истину; Борятинский лгал бессовестно, уверяя, что король не имеет ни войска, ни крепостей и трепещет Иоаннова имени. «Бедный король! – сказал тихо царь, кивая головою. – Как ты мне жалок!» – и вдруг, схватив посох, изломал его в мелкие щепы о Борятинского, приговаривая: «Вот тебе, бесстыдному, за грубую ложь!» – Иоанн славился благоразумною терпимостию вер (за исключением одной иудейской); хотя, дозволив лютеранам и кальвинистам иметь в Москве церковь, лет через пять велел сжечь ту и другую (опасаясь ли соблазна, слыша ли о неудовольствии народа?): однако ж не мешал им соби-

раться для богослужения в домах у пасторов; любил спорить с учеными немцами о законе и сносил противоречия: так (в 1570 году) имел он в Кремлевском Дворце торжественное прение с лютеранским богословом Роцитою, уличая его в ереси: Роцита сидел пред ним на возвышенном месте, устланном богатыми коврами; говорил смело, оправдывал догматы аугсбургского исповедания, удостоился знаков царского благоволения и написал книгу о сей любопытной беседе. Немецкий проповедник Каспар, желая угодить Иоанну, крестился в Москве по обрядам нашей церкви и вместе с ним, к досаде своих единоплеменников, шутил над Лютером; но никто из них не жаловался на притеснение. Они жили спокойно в Москве, в новой Немецкой слободе на берегу Яузы, обогащаясь ремеслами и художествами. Иоанн изъявлял уважение к искусствам и наукам, лаская иноземцев просвещенных: не основал академий, но способствовал народному образованию размножением школ церковных, где и миряне учились грамоте, закону, даже истории, особенно готовясь быть людьми приказными, к стыду бояр, которые еще не все уме-

ли тогда писать. – Наконец, Иоанн знаменит в истории как законодатель и государственный образователь. Нет сомнения, что истинно великий Иоанн III, издав «Гражданское уложение», устроил и разные правительства для лучшего действия самодержавной власти: кроме древней боярской думы, в делах сего времени упоминается о Казенном дворе, о приказах; но более ничего не знаем, имея уже ясные, достоверные известия о многих расправах и судебных местах, которые существовали в Москве при Иоанне IV. Главные приказы, или *чети*, именовались посольским, разрядным, поместным, казанским: первый особенно ведал дела внешние, или дипломатические, второй – воинские, третий – земли, розданные чиновникам и детям боярским за их службу, четвертый – дела царства Казанского, Астраханского, Сибирского и всех городов волжских; первые три приказа, сверх означенных должностей, также занимались и расправою областных городов: смешение странное! Жалобы, тяжбы, следствия поступали в чети из областей, где судили и рядили наместники с своими тиунами и старостами,

коим помогали сотские и десятские в уездах; из чети же, где заседали знаменитейшие государственные сановники, всякое важное дело уголовное, самое гражданское шло в боярскую думу, так что без царского утверждения никого не казнили, никого не лишали достоинства. Только наместники смоленские, псковские, новгородские и казанские, почти ежегодно сменяемые, могли в случаях чрезвычайных наказывать преступников. Новые законы, учреждения, налоги объявлялись всегда чрез приказы. Собственность, или вотчина, царская, в коей заключались многие города, имела свою расправу. Сверх того, именуются еще *избы* (или приказы): стрелецкая, ямская, дворцовая, казенная, разбойная, земский двор, или московская управа, большой приход, или государственное казначейство, бронный, или оружейный, приказ, житный, или запасный, и холопий суд, где решались тяжбы о крепостных людях. Как в сих, так и в областных правительствах или судах главными действующателями были дьяки-грамотеи, употребляемые и в делах посольских, ратных, в осадах, для письма и для совета, к зависти и

неудовольствию дворянства воинского. Умея не только читать и писать лучше других, но зная твердо и законы, предания, обряды, дьяки или приказные люди составляли особенный род слуг государственных, степению ниже дворян и выше жильцов или нарочитых детей боярских, гостей или купцов именитых; а дьяки *думные* уступали в достоинстве только советникам государственным: боярам, окольниковым и новым *думным дворянам*, учрежденным Иоанном в 1572 году для введения в думу сановников, отличных умом, хотя и не знатных родом: ибо, несмотря на все злоупотребления власти неограниченной, он уважал иногда древние обычаи: например, не хотел дать боярства любимцу души своей Малюте Скуратову, опасаясь унижить сей верховный сан таким скорым возвышением человека *худородного*. Умножив число людей приказных и дав им более важности в государственном устройстве, Иоанн, как искусный властитель, образовал еще новые степени знаменитости для дворян и князей, разделив первых на *две статьи*, на дворян *сверстных* и *младших*, а вторых – на князей простых и слу-

жилых; к числу же царедворцев прибавил стольников, которые, служа за столом государевым, отправляли и воинские должности, будучи сановитее дворян младших. — Мы писали о ратных учреждениях сего деятельного царствования: своим малодушием срамя наши знамена в поле, Иоанн оставил России войско, какого она не имела дотол: лучше устроенное и многочисленнейшее прежнего; истребил воевод славнейших, но не истребил доблести в воинах, которые всего более оказывали ее в несчастиях, так что бессмертный враг наш Баторий с удивлением рассказывал Поссевину, как они в защите городов не думают о жизни: хладнокровно становятся на места убитых или взорванных действием подкопа и заграждают проломы грудью; день и ночь сражаясь, едят один хлеб; умирают от голода, но не сдаются, *чтобы не изменить царю-государю*; как самые жены мужествуют с ними, или гася огонь, или с высоты стен пуская бревна и камни в неприятелей. В поле же сии верные отечеству ратники отличались если не искусством, то хотя чудесным терпением, снося морозы, вьюги и ненастье под

легкими наметами и в шалашах сквозящих. – В древнейших разрядах именовались единственно воеводы: в разрядах сего времени именуются обыкновенно и *головы*, или частные предводители, которые вместе с первыми ответствовали царю за всякое дело.

Иоанн, как мы сказали, дополнил в судебнике «Гражданское уложение» своего деда, включив в него новые законы, но не переменяя системы или духа старых...

К достохвальным деяниям сего царствования принадлежит еще строение многих новых городов для безопасности наших пределов. Кроме Лаишева, Чебоксар, Козмодемьянска, Волхова, Орла и других крепостей, о коих мы упоминали, Иоанн основал Донков, Епифань, Венев, Чернь, Кокшажск, Тетюши, Алатырь, Арзамас. Но, воздвигая красивые твердыни в лесах и в степях, он с прискорбием видел до конца жизни своей развалины и пустыри в Москве, сожженной ханом в 1571 году, так что в ней, если верить Поссевинову исчислению, около 1581 года считалось не более тридцати тысяч жителей, в шесть раз менее прежнего, как говорит другой иноземный пи-

сатель, слышав то от московских старожил в начале XVII века. Стены новых крепостей были деревянные, насыпанные внутри землю с песком или крепко сплетенные из хвороста; а каменные единственно в столице, Александровской слободе, Туле, Коломне, Зарайске, Старице, Ярославле, Нижнем, Белозерске, Порхове, Новгороде, Пскове.

Размножение городов благоприятствовало и чрезвычайным успехам торговли, более и более умножавшей доходы царские (которые в 1588 году простирались до шести миллионов нынешних рублей серебряных). Не только на ввоз чужеземных изделий или на выпуск наших произведений, но даже и на съестное, привозимое в города, была значительная пошлина, иногда откупаемая жителями. В Новгородском таможенном уставе 1571 года сказано, что со всех товаров, ввозимых иноземными гостями и ценимыми людьми присяжными, казна берет семь денег на рубль: купцы же российские платили 4, а новгородские – 1 1/2 деньги: с мяса, скота, рыбы, икры, меду, соли (немецкой и морянки), луку, орехов, яблок, кроме особенного сбора с

телег, судов, саней. За ввозимые металлы драгоценные платили, как и за все иное; а вывоз их считался преступлением. Достоин замечания, что и государевы товары не освобождались от пошлины. Утайка наказывалась тяжкою пенею. – В сие время древняя столица Рюрикова, хотя и среди развалин, начинала было снова оживляться торговою деятельностью»), пользуясь близостию Нарвы, где мы с целою Европою купечествовали; но скоро погрузилась в мертвую тишину, когда Россия в бедствиях Литовской и Шведской войны утратила сию важную пристань. Тем более цвела наша двинская торговля, в коей англичане должны были делиться выгодами с купцами нидерландскими, немецкими, французскими, привозя к нам сахар, вина, соль, ягоды, олово, сукна, кружева и выменивая на них меха, пеньку, лен, канаты, шерсть, воск, мед, сало, кожи, железо, лес. Французским купцам, привезшим к Иоанну дружественное письмо Генрика III, дозволялось торговать в Коле, а испанским или нидерландским – в пудожерском устье: знаменитейший из сих гостей назывался Иваном Девахом Белоборо-

дом, доставлял царю драгоценные камни и пользовался особенным его благоволением, к неудовольствию англичан. В разговоре с Елисаветиным послом, Баусом, Иоанн жаловался, что лондонские купцы не вывозят к нам ничего хорошего; снял с руки перстень, указал на изумруд *колпака* своего и хвалился, что Деввах уступил ему первый за 60 рублей, а второй – за тысячу: чему дивился Баус, оценив перстень в 300 рублей, а изумруд – в 40 000. В Швецию и в Данию отпускали мы знатное количество хлеба. «Сия благословенная земля (пишет Кобенцель о России) изобилует всем необходимым для жизни человеческой, не имея действительной нужды ни в каких иноземных произведениях». – Завоевание Казани и Астрахани усилило нашу мену азиатскую.

Обогадив казну торговыми городскими и земскими налогами, также и присвоением церковного имения, чтобы умножить войско, завести арсеналы (где находилось всегда в готовности не менее двух тысяч осадных и полевых орудий), строить крепости, палаты, храмы, Иоанн любил употреблять избыток доходов и на роскошь: мы говорили об удив-

лении иноземцев, видевших в казне московской груды жемчугу, горы золота и серебра во дворце, блестящие собрания, обеда, за коими в течение пяти, шести часов *пресыщалось* 600 или 700 гостей не только изобильными, но и дорогими яствами, плодами и винами жарких, отдаленных климатов: однажды, сверх людей именитых, в кремлевских палатах обедало у царя 2000 ногайских союзников, шедших на войну ливонскую. В торжественных выходах и выездах государевых все также представляло образ азиатского великолепия: дружины телохранителей, облитых золотом, богатство их оружия, убранство коней. Так, Иоанн 12 декабря обыкновенно выезжал верхом за город видеть действие снаряда огнестрельного: пред ним несколько сот князей, воевод, сановников, по три в ряд; пред сановниками – 5000 отборных стрельцов по пяти в ряд. Среди обширной снежной равнины, на высоком помосте, длиною саженьей в 200 или более, стояли пушки и воины, стреляли в цель, разбивали укрепления, деревянные, осыпанные землею, и ледяные. В торжествах церковных, как мы видели, Иоанн также яв-

лялся народу с пышностью разительною, умея видом искусственного смирения придавать себе еще более величия и с блеском мирским соединяя наружность христианских добродетелей: угощая вельмож и послов в светлые праздники, сыпал богатую милостыню на бедных.

В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу *в народной памяти*: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими; но имя Иоанново блистало на судебнике и напоминало приобретение трех царств могольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название *мучителя*, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доньне именует его только *Грозным*, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История

злопамятнее народа!

<Царствование Феодора Иоанновича>*

<Из главы первой десятого тома>

Свойства Феодоровы. Члены Верховной думы. Волнение народа. Собрание Великой думы земской. Царевич Димитрий и мать его отправляются в Углич. Мятеж в Москве. Власть и свойства Годунова. Царское венчание Феодорово. Разные милости. Годунов – правитель царства. Усмирение черемисского бунта. Вторичное покорение Сибири...

«Первые дни по смерти тирана (говорит римский историк¹) бывают счастливейшими для народов»: ибо конец страдания есть живейшее из человеческих удовольствий.

Но царствование жестокое часто готовит царствование слабое: новый венценосец, боясь уподобиться своему ненавистному предшественнику и желая снискать любовь общую, легко впадает в другую крайность, в ослабление, вредное государству. Сего могли опасаться истинные друзья отечества, тем бо-

лее что знали необыкновенную кротость наследника Иоаннова, соединенную в нем с умом робким, с набожностью беспредельною, с равнодушием к мирскому величию. На громоносном престоле свирепого мучителя Россия увидела *постника* и *молчальника*, более для келий и пещеры, нежели для власти державной рожденного: так в часы искренности говорил о Феодоре сам Иоанн, оплакивая смерть любимого старшего сына. Не наследовав ума царственного, Феодор не имел и сановитой наружности отца, ни мужественной красоты деда и прадеда: был росту малого, дрябл телом, лицом бледен; всегда улыбался, но без живости; двигался медленно, ходил неровным шагом от слабости в ногах; одним словом, изъявлял в себе преждевременное изнеможение сил естественных и душевных. Угадывая, что сей двадцатисемилетний государь, осужденный природою на всегдашнее малолетство духа, будет зависеть от вельмож или монахов, многие не смели радоваться концу тиранства, чтобы не пожалеть о нем во дни безначалия, козней и смут боярских, менее губительных для людей, но еще бедствен-

нейших для великой державы, устроенной сильною, нераздельною властью царскою... К счастью России, Феодор, боясь власти как опасного повода к грехам, вверил кормило государства руке искусной – и сие царствование, хотя не чуждое беззаконий, хотя и самым ужасным злодейством омраченное, казалось современникам милостию божиею, благоденствием, златым веком: ибо наступило после Иоаннова!

Новая пентархия, или Верховная дума, составленная умирающим Иоанном из *пяти вельмож*, была предметом общего внимания, надежды и страха. Князь Мстиславский отличался единственно знатностию рода и сана, будучи старшим боярином и воеводою. Никиту Романовича Юрьева уважали, как брата незабвенной Анастасии и дядю государева, любили, как вельможу благодушного, не очерненного даже и злословием в бедственные времена кровопийства. В князе Шуйском чтили славу великого подвига ратного, отважность и бодрость духа. Бельского, хитрого, гибкого, ненавидели как первого любимца Иоаннова. Уже знали редкие дарования Году-

нова и тем более опасались его: ибо он также умел снискать особенную милость тирана, был зятем гнусного Малюты Скуратова, свойственником и другом (едва ли искренним) Бельского. — Прияв власть государственную, дума Верховная в самую первую ночь (18 марта) выслала из столицы многих известных служивиков Иоанновой лютости, других заключила в темницы, а к родственникам вдовствующей царицы, Нагим, приставила стражу, обвиняя их в злых умыслах (вероятно, в намерении объявить юного Димитрия наследником Иоанновым). Москва волновалась; но бояре утишили сие волнение: торжественно присягнули Феодору вместо со всеми чиновниками и в следующее утро письменно обнародовали его воцарение. Отряды воинов ходили из улицы в улицу; пушки стояли на площадях. Немедленно послав гонцов в области с указом молиться о душе Иоанновой и счастливом царствовании Феодора, новое правительство созвало Великую думу земскую, знатнейшее духовенство, дворянство и всех людей именитых, чтобы взять некоторые общие меры для государственного

устройства. Назначили день царского венчания: соборною грамотою утвердили его священные обряды; рассуждали, о благосостоянии державы, о средствах облегчить народные тягости. Тогда же послали вдовствующую царицу с юным сыном, отца ее, братьев, всех Нагих, в город Углич, дав ей царскую услугу, стольников, стряпчих, детей боярских и стрельцов для оберегания. Добрый Феодор, нежно прощаясь с младенцем Димитрием, обливался горькими слезами, как бы невольно исполняя долг, болезненный для своего сердца. Сие удаление царевича, единственного наследника державы, могло казаться блестящею ссылкой, и пестун Димитриев Бельский, не желая в ней участвовать, остался в Москве: он надеялся законодательствовать в думе, но увидел грозу над собою. Между тем как Россия славилла благие намерения нового правительства, в Москве коварствовали зависть и незаконное властолюбие: сперва носились темные слухи о великой опасности, угрожающей юному монарху; а скоро наименовали и человека, готового злодейством изумить Россию: сказали, что Бельский, будто бы отравив

Иоанна, мыслит погубить и Феодора, умертвить всех бояр, возвести на престол своего друга и советника – Годунова! Тайными виновниками сей клеветы считали князей Шуйских, а Ляпуновых и Кикиных, дворян рязанских, их орудиями, возмутителями народа легковерного, который, приняв оную за истину, хотел усердием спасти царя и царство от умыслов изверга. Вопль бунта раздался из конца в конец Москвы, и двадцать тысяч вооруженных людей, чернь, граждане, дети боярские, устремились к Кремлю, где едва успели затворить ворота, собрать несколько стрельцов для защиты и думу для совета в опасности незапной. Мятежники овладели в Китае-городе тяжелым снарядом, обратили царь-пушку к воротам Флоровским и хотели разбить их, чтобы вломиться в крепость. Тогда государь выслал к ним князя Ивана Мстиславского, боярина Никиту Романовича, дьяков Андрея и Василия Щелкаловых спросить, что виною мятежа и чего они требуют? «Бельского! – отвечивал народ. – Выдайте нам злодея! Он мыслит извести царский корень и все роды боярские!» В тысячу голосов вопили:

«Бельского!» Сей несчастный вельможа, изумленный обвинением, устрешенный злобою народа, искал безопасности в государевой спальне, трепетал и молил о спасении. Федор знал его невинность; знали оную и бояре. но, искренно или притворно ужасаясь кровопролития, вступили в переговоры с мятежниками; склонили их удовольствоваться ссылкой мнимого преступника и немедленно выслали Бельского из Москвы. Народ, восклицая: «Да здравствует царь с верными боярами!» – мирно разошелся по домам; а Бельский с того времени воеводствовал в Нижнем-Новгороде.

От такой постыдной робости, такого унижения самодержавной власти чего ожидать надлежало? Козней в думе, своевольства в народе, беспорядка в правлении. Бельского удалили: Годунов остался для мести! Мятежники не требовали головы его, не произнесли его имени, уважая в нем царицына брата: но он видел умысел клеветников; видел, что дерзкие виновники сего возмущения готовят ему гибель, и думал о своей безопасности. Дотоле дядя царский, по древнему уважению к

родственному старейшинству, мог считать себя первым вельможею: так мыслил и двор и народ; так мыслил и лукавый дьяк государственный Андрей Щелкалов, стараясь снискать доверенность боярина Юрьева и надеясь вместе с ним управлять думою. Знали власть Годунова над сестрою, нежною, добродетельною Ириною, уподобляемую летописцами Анастасии (ибо тогда не было иного сравнения в добродетелях женских); знали власть Ирины над Феодором, который в сем мире истинно любил, может быть, одну супругу; но Годунов, казалось, выдал друга: радовались его бессилию или боязливости, не угадывая, что он, вероятно, притворствовал в дружбе к Вольскому, внутренне опасаясь в нем тайного совместника, и воспользуется сим случаем для утверждения своего могущества: ибо Феодор, мягкосердечный, обремененный державою, испуганный мятежом, видя необходимость мер строгих для государственного устройства и не имея ни проицания в уме, ни твердости в воле, искал более, нежели советника или помощника: искал, на кого возложить всю тягость правления, с ответственным

ностию пред единым богом, и совершенно отдался смелому честолюбцу, ближайшему к сердцу его милой супруги. Без всякой хитрости, следуя единственно чувству, зная ум, не зная только злых, тайных склонностей Годунова, Ирина утвердила союз между царем, неспособным властвовать, и подданным, достойным власти. Сей муж знаменитый находился тогда в полном цвете жизни, в полной силе телесной и душевной, имея 32 года от рождения. Величественною красотою, повелительным видом, смыслом быстрым и глубоким, сладкоречием обольстительным превосходя всех вельмож (как говорит летописец), Борис не имел только... добродетели; хотел, умел благотворить, но единственно из любви ко славе и власти; видел в добродетели не цель, а средство к достижению цели: если бы родился на престоле, то заслужил бы имя одного из лучших венценосцев в мире; но, рожденный подданным, с необузданною страстию к господству, не мог одолеть искушений там, где зло казалось для него выгодною, – и проклятие веков заглушает в истории добрую славу Борисову. Первым действием Годунова

было наказание Ляпуновых, Кикиных и других главных возмутителей московской черни: их послали в дальние города и заключили в темницы. Народ молчал или славил правосудие царя; двор угадывал виновника сей законной строгости и с беспокойством взирал на Бориса, коего решительное владычество открылось не прежде Феодорова царского венчания, отложенного ради шестинедельного моления об усопшем венценосце до 31 мая. В сей день, на самом рассвете, сделалась ужасная буря, гроза, и ливный дождь затопил многие улицы в Москве, как бы в предзнаменование грядущих бедствий; но суеверие успокоилось, когда гроза миновалась и солнце воссияло на чистом небе. Собралось бесчисленное множество людей на Кремлевской площади, так что воины едва могли очистить путь для духовника государева, когда он нес, при звоне всех колоколов, из царских палат в храм Успения *святую Мономахову*, животворящий крест, венец и бармы (Годунов нес за духовником скипетр). Невзирая на тесноту беспримерную, все затихло, когда Феодор вышел из дворца со всеми боярами, князьями,

воеводами, чиновниками: государь в одежде небесного цвета, придворные в золотой – и сия удивительная тишина провожала царя до самых дверей храма, также наполненного людьми всякого звания: ибо всем россиянам дозволялось видеть священное торжество России, единого семейства под державою отца-государя. Во время молебна окольниковые и духовные сановники ходили по церкви, тихо говоря народу: «Благоговеть и молитесь!» Царь и митрополит Дионисий сели на изготовленных для них местах, у врат западных, и Феодор среди общего безмолвия сказал первосвятителю: «Владыко! Родитель наш, самодержец Иоанн Васильевич, оставил земное царство и, приняв ангельский образ, отшел на царство небесное; а меня благословил державою и всеми хоругвями государства; велел мне, согласно с древним уставом, помазаться и венчаться царским венцом, диадимом и святыми бармами: завещание его известно духовенству, боярам и народу. И так, по воле божией и благословению отца моего, соверши обряд священный, да буду царь и помазанник!» Митрополит, осенив Феодора кре-

стом, отвечал: «Господин, возлюбленный сын церкви и нашего смирения, богом избранный и богом на престол возведенный! Данною нам благодатию от святого духа помазуем и венчаем тебя, да именуешься самодержцем России!» Возложив на царя животворящий крест Мономахов, бармы и венец на главу, с молением, да благословит господь его правление, Дионисий взял Феодора за десницу, поставил на особенном *царском месте* и, вручив ему *скипетр*, сказал: «Блуди хоругви великий России!» Тогда архидьякон на амвоне, священники в олгаре и клиросы возгласили многолетие царю венчанному, приветствуемому духовенством, сановниками, народом, с изъявлением живейшей радости, и митрополит в краткой речи напомнил Феодору главные обязанности венценосца; дол хранить закон и царство, *иметь духовное повиновение к святителям и веру к монастырям*, искреннее дружество к брату, *уважение к боярам, основанное на их родовом старейшинстве*, милость к чиновникам, воинству и всем людям. «Цари нам вместо бога, – продолжал Дионисий, – господь вверяет им судьбу

человеческого рода, да блюдут не только себя, но и других от зла; да спасают мир от треволения и да боятся *серпа небесного!* Как без солнца мрак и тьма господствуют на земле, так и без учения все темно в душах: будь же любомудр или следуй мудрым; будь добродетелен: ибо едина добродетель украшает царя, едина добродетель бессмертна. Хочешь ли благоволения небесного? Благоволи о подданных... Не слушай злых клеветников, о царь, рожденный милосердым!.. Да цветет во дни твои правда; да успокоится отечество!.. И возвысит господь царскую десницу твою над всеми врагами, и будет царство твое мирно и вечно в род и род!» Тут, проливая слезы умиления, все люди воскликнули: «Будет и будет многолетно!» – Феодор, в полном царском одеянии, в короне Мономаховой, в богатой мантии и держа в руке длинный скипетр (сделанный из драгоценного китового зуба), слушал литургию, имея вид утомленного. Пред ним лежали короны завоеванных царств; а подле него, с правой стороны, как ближний вельможа, стоял Годунов; дядя Феодоров, Никита Романович Юрьев, наряду с другими боярами.

Ничто, по сказанию очевидцев, не могло превзойти сего торжества в великолепии. Амвон, где сидел государь с митрополитом, налой, где лежала утварь царская, и места для духовенства были устланы бархатами, а помост церкви – коврами персидскими и красными сукнами английскими. Одежды вельмож, в особенности Годунова и князя Ивана Михайловича Глинского, сияли алмазами, яхонтами, жемчугом удивительной величины, так что иноземные писатели ценят их в миллионы. Но всего более торжество украшалось веселием лиц и знаками живейшей любви к престолу. – После херувимской песни митрополит, в дверях царских, возложил на Феодора *Мономахову цепь аравийского злата*; в конце же литургии *помазал его, святым миром и причастил святых тайн*. В сие время Борис Годунов держал скипетр, Юрьев и Дмитрий Иванович Годунов (дядя Ирины) – венец царский на златом блюде. Благословенный Дионисием и в южных дверях храма осыпанный деньгами, Феодор ходил поклониться гробам предков, моляся, да наследует их государственные добродетели. Между тем Ирина,

окруженная боярынями, сидела в *короне* под растворенным окном своей палаты и была приветствуема громкими восклицаниями народа: «Да здравствует царица!» В тронной вельможи и чиновники целовали руку у государя; в столовой палате с ним обедали, равно как и все знатное духовенство. Пирь, веселия, забавы народные продолжались целую неделю и заключились воинским праздником вне города, где, на обширном лугу, в присутствии царя и всех жителей московских, гремело 170 медных пушек, пред осьмью рядами стрельцов, одетых в тонкое сукно и в бархат. Множество всадников, также богато одетых, провождало Феодора. Одарив митрополита, святителей и сам приняв дары от всех людей чиновных, гостей и купцов российских, английских, нидерландских, нововенчаный царь объявил разные милости: уменьшил налоги; возвратил свободу и достоиние многим знатным людям, которые лет двадцать сидели в темнице; исполняя завещание Иоанново, освободил и всех военнопленных; наименовал боярами князей Дмитрия Хворостинина, Андрея и Василия Ивано-

вичей Шуйских, Никиту Трубецкого, Шестунова, двух Куракиных, Федора Шереметева и трех Годуновых, внучатных братьев Ирины; пожаловал герою, князю Ивану Петровичу Шуйскому, все доходы города Пскова, им спасенного. Но сии личные милости были ничто в сравнении с теми, коими Феодор осыпал своего шурина, дав ему все, что подданный мог иметь в самодержавии: не только древний знатный сан конюшого, в течение семнадцати лет никому не жалованный, но и титул *ближнего великого боярина*, наместника двух царств, Казанского и Астраханского. Беспременному сану ответствовало и богатство беспримерное: Годунову дали, или Годунов взял себе, лучшие земли и поместья, доходы области Двинской, Ваги, – все прекрасные луга на берегах Москвы-реки, с лесами и пчельниками, – разные казенные сборы московские, рязанские, тверские, северские, сверх особенного денежного жалованья: что, вместе с доходом его родовых вотчин в Вязьме и Дорогобуже, приносило ему ежегодно не менее осьми или девяти сот тысяч нынешних рублей серебряных: богатство, коего от начала России

до наших времен не имел ни один вельможа, так что Годунов мог на собственном иждивении выводить в поле до ста тысяч воинов! Он был уже не временщик, не любимец, но властитель царства. Уверенный в Феодоре, Борис еще опасался завистников и врагов: для того хотел изумить их своим величием, чтобы они не дерзали и мыслить об его низвержении с такой высокой степени, недоступной для обыкновенного честолюбия вельмож-царедворцев. Действительно изумленные, сии завистники и враги несколько времени злобились втайне, безмолвствуя, но вымышляя удар; а Годунов, со рвением души славолубивой, устремился к великой цели: делами общественной пользы оправдать доверенность царя, заслужить доверенность народа и признательность отечества. *Пентархия*, учрежденная Иоанном, как тень исчезла: осталась древняя дума царская, где Мстиславский, Юрьев, Шуйский судили наряду с иными боярами, следуя мановению *правителя*: ибо так современники именовали Бориса, который один в глазах России смело правил рулем государственным, повелевал именем

царским, но действовал своим умом, имея советников, но не имея ни совместников, ни товарищей.

Когда Феодор, утомленный мирским великолепием, искал отдохновения в набожности; когда, прервав блестящие забавы и пиры, в виде смиренного богомольца ходил пешком из монастыря в монастырь, в лавру Сергиеву и в иные святые обители, вместе с супругою, провождаемою знатнейшими боярынями и целым полком особенных царицыных телохранителей (пышность новая, изобретенная Годуновым, чтобы вселить в народ более уважения к Ирине и к ее роду)... в то время правительство уже неусыпно занималось важными делами государственными, исправляло злоупотребления власти, утверждало безопасность внутреннюю и внешнюю. Во всей России, как в счастливее времена князя Ивана Бельского и Адашева, сменили худых наместников, воевод и судей, избрав лучших; грозя казнию за неправду, удвоили жалованье чиновников, чтобы они могли пристойно жить без лихоимства; вновь устроили войско и двинули туда, где надлежало восстановить

честь оружия или спокойствие отечества. Начали с Казани. Еще лилася кровь россиян на берегах Волги, и бунт кипел в земле черемисской: Годунов более умом, нежели мечом, смирил мятежников, уверив их, что новый царь, забывая старые преступления, готов, как добрый отец, миловать и виновных в случае искреннего раскаяния; они прислали старейшин в Москву и дали клятву в верности. Тогда же Борис велел строить крепости на горной и луговой стороне Волги, Цывильск, Уржум, Царев-город на Кокшаге, Санчурск и другие, населил оные россиянами и тем водворил тишину в сей земле, столь долго для нас бедственной.

Усмирив Казанское царство, Годунов довершил завоевание Сибирского.

<Из главы второй десятого тома>

...Величие Годунова. Учреждение патриаршества в России. Замысел Годунова. Убиение царевича Димитрия. Пожар в Москве...

Россия наслаждалась миром, коего не было только в душе правителя!.. Устраним дела внешней политики, чтобы говорить о любопытных, важных происшествиях внутренних.

В сие время Борис Годунов в глазах России и всех держав, сносящихся с Москвою, стоял на вышней степени величия, как полный властелин царства, не видя вокруг себя ничего, кроме слуг безмолвных или громко славословящих его высокие достоинства; не только во дворце Кремлевском, в ближних и в дальних краях России, но и вне ее пред государями и министрами иноземными, знатные сановники царские так изъяснялись по своему наказу: «Борис Федорович Годунов есть начальник земли; она вся приказана ему от самодержца и так ныне устроена, что люди дивятся и радуются. Цветет и воинство, и купечество, и народ. Грады украшаются каменными зданьями без налогов, без работы невольной, от царских избытков, с богатою платою за труд и художество. Земледельцы живут во льготе, не зная даней. Везде правосудие свято: сильный не обидит слабого; бедный сирота идет смело к Борису Федоровичу жаловаться на его брата или племянника, и сей истинный вельможа обвиняет своих ближних даже без суда, ибо пристрастен к беззащитным и слабым!» – Нескромно хваляся властью и доб-

родетелию, Борис, равно славолюбивый и хитрый, примыслил еще дать новый блеск своему господству важною церковною новостию.

Имя патриархов означало в древнейшие времена христианства единственно смиренных наставников веры, но с четвертого века сделалось пышным, громким титлом главных пастырей церкви в трех частях мира или в трех знаменитейших городах тогдашней всемирной империи: в Риме, в Александрии и в Антиохии. Место священных воспоминаний Иерусалим и Константинополь – столица торжествующего христианства были также признаны особенными, великими патриархиями. Сей чести не искала Россия, от времен св. Владимира до Феодоровых. Византия державная, гордая не согласилась бы на равенство своей иерархии с киевскою или московскою: Византия, раба оттоманов, не отказала бы в том Иоанну III, сыну и внуку его; но они молчали, из уважения ли к первобытному уставу нашей церкви или опасаясь великим именем усилить духовную власть ко вреду монаршей. Борис мыслил иначе: свергнув митрополита

Дионисия за козни и дерзость, он не усомнился возвысить смиренного Иова, ему преданного, ибо хотел его важного содействия в своих важных намерениях. Еще в 1586 году приезжал в Москву за милостынею Антиохийский патриарх Иоаким, коему царь изъявил желание учредить патриархию в России: Иоаким дал слово предложить о том собору греческой церкви и предложил с усердием, славя чистоту нашей веры. В июле 1588 года, к великому удовольствию Феодора, явился в Москве и патриарх Константинопольский Иеремия. Вся столица была в движении, когда сей главный святитель христианский (ибо престол Византийского архиерейства уже давно считался первым), старец, знаменитый несчастием и добродетелию, с любопытством взирая на ее многолюдство и красоту церковей, благословляя народ и душевно умиляясь его радостным приветствием, ехал на осляти к царю по стогнам московским; за ним ехали митрополит Монеувасийский (или Мальвазийский) Иерофей и архиепископ Элассонский Арсений. Когда они вошли в Златую палату, Феодор встал, чтобы встре-

тить Иеремию в нескольких шагах от трона; посадил близ себя; с любовью принял дары его, икону с памятниками страстей господних, с каплями Христовой крови, с мощами св. царя Константина – и велел Борису Годунову беседовать с ним наедине. Патриарха отвели в другую комнату, где он рассказал Борису свою историю. Лет десять управляв церковью, Иеремия, обнесенный каким-то злым греком, был сослан в Родос, и султан, вопреки торжественному обету Магомета II не мешаться в дела христианской духовной власти, незаконно дал патриаршество Феолипту. Через пять лет возвратили изгнаннику сан иерарха; но в древнем храме византийских первосвятителей уже славили Аллу и Магомета: сия церковь сделалась мечетью. «Обливаясь слезами (говорил Иеремия), я вымолил у жестокого Амурата дозволение ехать в земли христианские для собрания милостыни, чтобы посвятить новый храм истинному богу в древней столице православия: где же, кроме России, мог я найти усердие, жалость и щедрость?» Далее, беседуя с Годуновым, он похвалил мысль Феодорову иметь патриарха Рос-

сийского; а лукавый Годунов предложил сие достоинство самому Иеремии, с условием жить в Владимире. Иеремия соглашался, но хотел жить там, где царь, то есть в Москве, чего не хотел Годунов, доказывая, что несправедливо удалить Иова, мужа святого, от московского храма Богоматери; что Иеремия, не зная ни языка, ни обычаев России, не может быть в духовных делах наставником венценосца без толмача, коему непристойно читать во глубине души государевой. «Да исполнится же воля царская! – отвечивал патриарх. – Уполномоченный нашу церковь, благословлю и поставлю, кого изберет Феодор, вдохновенный богом». В выборе не было сомнения; но для обряда святители российские назначили трех кандидатов: митрополита Иова, архиепископа Новгородского Александра, Варлаама Ростовского, и поднесли доклад царю, который избрал Иова. 23 января (1589), после вечерни, сей *наименованный* первосвятитель, в епитрахили, в омофоре и в ризе, пел молебен в храме Успения, со всеми епископами, в присутствии царя и бесчисленного множества людей; вышел из олтаря и

стал на амвоне, держа в руке свечу, а в другой – письмо благодарственное к государю и к духовенству. Тут один из знатных сановников приблизился к нему, держа в руке также пылающую свечу, и сказал громко: «Православный царь, вселенский патриарх и собор освященный возвышают тебя на престол Владимирский, Московский и всея России». Иов отвечив: «Я раб грешный; но если самодержец, *вселенский господин* Иеремия и собор удостоивают меня столь великого сана, то приемлю его с благодарением» – смиренно преклонил главу, обратился к духовенству, к народу и с умилением произнес обет ревностно блюсти вверенное ему от бога стадо. Сим исполнился *устав избрания*; торжественное же *посвящение* совершилось 26 генваря, на литургии, как обыкновенно ставили митрополитов и епископов, без всяких новых обрядов. Среди *великой*, или соборной, церкви, на помосте, был изображен *мелом* орел двояглавый и сделан *феатрон* о двенадцати степенях и двенадцати огненниках: там старейший пастырь восточного православия, благословив Иова, как сопрестольника великих отцов

христианства, и возложив на него дрожащую руку, молился, да будет сей архиерей Иисусов неугасаемым светильником веры. Имея на главе митру с крестом и с короною, новопоставленный Московский патриарх священнодействовал вместе с Византийским; и когда, отпев литургию, разоблачился, государь собственною рукою возложил на него драгоценный крест с животворящим древом, бархатную зеленую мантию с источниками или полосами, низанными жемчугом, и белый клобук с знамением креста; подал ему жезл св. Петра митрополита и в приветственной речи велел именоваться главою епископов, отцом отцов, патриархом всех земель северных, по милости божией и воле царской. Иов благословил Феодора и народ; а лики многолетствовали² царю и двум первосвятителям, Византийскому и Московскому, которые сидели с ним рядом на стульях. Вышед из церкви, Иов, провождаемый двумя епископами, боярами, многими чиновниками, ездил на осляти вокруг стен кремлевских, кропя их святою водою, осеняя крестом, читая молитвы о целости града, и вместе с Иеремиею, со всем ду-

ховенством, синклитом обедал у государя.

Чтобы утвердить достоинство и права русского священноначалия, написали уставную грамоту, изъясняя в ней, что *ветхий Рим пал от ереси Аполлинариевой; что новый Рим, Константинополь, обладаем безбожными племенами агарянскими; что третий Рим есть Москва; что вместо лжепастыря западной церкви, омраченной духом суемудрия, первый вселенский святитель есть патриарх Константинопольский, второй – Александрийский, третий – Московский и вся России, четвертый – Антиохийский, пятый – Иерусалимский; что в России должно молиться о греческих, а в Греции – о нашем, который впредь, до скончания века, будет избираем и посвящаем в Москве независимо от их согласия или одобрения. К наружным отличиям сего архипастыря нашей церкви прибавили следующие: «Выход его должен быть всегда с лампадою, с пением и звоном; для облачения иметь ему амвон о трех степенях; в будни носить клобук с серафимами и крестами обнизными, мантии объяринные и всякие иные с полосами; ходить в пути с крестом и жезлом;*

ездить на шести конях». Тогда же государь с двумя патриархами соборно уложил быть в России *четырем митрополитам*: Новгородскому, Казанскому, Ростовскому и Крутицкому; *шести архиепископам*: Вологодскому, Суздальскому, Нижегородскому, Смоленскому, Рязанскому, Тверскому, – и *осьми епископам*: Псковскому, Ржевскому, Устюжскому, Белоозерскому, Коломенскому, Северскому, Дмитровскому.

Участвуя более именем, нежели делом в сих церковных распоряжениях, Иеремия, митрополит Монеувасийский и архиепископ Элассонский ездили между тем в лавру Сергиеву, где, равна как и в московских храмах, удивлялись богатству икон, сосудов, риз служебных; в столице обедали у патриарха Иова, славя мудрость его беседы; славил также высокие достоинства Годунова и редкий ум старца Андрея Щелкалова; всего же более хвалили щедрость российскую: ибо их непрестанно дарили серебряными кубками, ковшами, перлами, шелковыми тканями, соболями, деньгами. Представленные царице, они восхитились ее святостию, смиренным величи-

ем, ангельскою красотою, сладостию речей, равно как и наружным великолепием. На ней была корона с двенадцатью жемчужными зубцами, диадима и на груди золотая цепь, украшенная драгоценными камнями, одежда бархатная, длинная, обсаженная крупным жемчугом, и мантия не менее богатая. Подле царицы стоял царь, а с другой стороны – Борис Годунов, без шапки, смиренно и благоговейно; далее – многие жены знатные, в белой одежде, сложив руки. Ирина с умилением просила святителей греческих молить бога, чтобы он даровал ей сына, наследника державе, – «и все мы, тронутые до глубины сердца (говорит архиепископ Элассонский в описании своего путешествия в Москву), вместе с нею обливаясь слезами, единогласно воззвали ко всевышнему, да исполнится чистое, столь усердное моление сей души благочестивой!» – Наконец государь (в мае 1589) отпустил Иеремию в Константинополь с письмом к султану, убеждая его не теснить христиан, и сверх даров послал туда 1000 рублей, или 2000 золотых монет венгерских, на строение новой патриаршей церкви, к живейшей

признательности всего греческого духовенства, которое, соборною грамотою одоблив учреждение московской патриархии, доставило Феодору сию хартию (в июне 1591) чрез митрополита Терновского, вместе с мощами святых и с двумя коронами для царя и царицы.

Таким образом, уставилась новая верховная степень в нашей иерархии, чрез 110 лет испроверженная самодержцем великим, как бесполезная для церкви и вредная для единовластия государей, хотя разумный учредитель ее не дал тем духовенству никакой новой государственной силы и, переменив имя, оставил иерарха в полной зависимости от венценосца. Петр I знал историю Никона и *разделил*, чтобы ослабить, власть духовную; он уничтожил бы и сан митрополита, если бы в его время, как в Иоанново или в древнейшие, *один* митрополит управлял российской церковью. Петр царствовал и хотел только слуг; Годунов, еще называясь подданным, искал опоры: ибо предвидел обстоятельства, в коих дружба царицы не могла быть достаточною для его властолюбия и – спасения; обузды-

вал бояр, но читал в их сердце злую зависть, ненависть справедливую к убийце Шуйских; имел друзей: но они им держались и с ним бы пали или изменили бы ему в превратности рока; благодворил народу, но худо верил его благодарности в невольном чувстве своих внутренних недобродетельных побуждений к добру и знал, что сей народ в случае важном обратит взор недоумения на бояр и духовенство. Годунов на месте Петра Великого мог бы также уничтожить сан патриарха; но, будучи в иных обстоятельствах, хотел польстить честолюбию Иова титлом высоким, чтобы иметь в нем тем усерднейшего и знаменитейшего пособника: ибо наступал час решительный, и самовластный вельможа дерзнул наконец приподнять для себя завесу будущего.

Если бы Годунов и не хотел ничего более, имея все, кроме Феодоровой короны, то и в сем предположении мог ли бы он спокойно наслаждаться величием, помышляя о близкой кончине царя, слабого не только духом, но и телом, — о законном его наследнике, воспитываемом матерью и родными в явной, хотя и в честной ссылке, в ненависти к правите-

лю, в чувствах злобы и мести? Что ожидало в таком случае Ирину? Монастырь; Годунова? Темница или плаха, – того, кто мановением двигал царство, ласкаемый царями Востока и Запада!.. Уже дела обнаружили душу Борисову: в ямах, на лобном месте изгибли несчастные, коих опасался правитель: кто же был для него опаснее Димитрия?

Но Годунов еще томился душевным голодом и желал, чего не имел. Надменный своими достоинствами и заслугами, славою и лестью; упоенный счастьем и могуществом, волшебным для души самой благородной; кружась на высоте, куда не восходил дотоле ни один из подданных в российской державе, Борис смотрел еще выше и с дерзким вожделением: хотя властвовал беспрекословно, но не своим именем; сиял только заимствованным светом; должен был в самой надменности трудить себя личиною смирения, торжественно унижаться пред тению царя и бить ему челом вместе с рабами. Престол казался Годунову не только святым, лучезарным местом истинной, самобытной власти, но и райским местом успокоения, до коего стрелы вражды и

зависти не достягают и где смертный пользуется как бы божественными правами. Сия мечта о прелестях верховного державства представлялась Годунову живее и живее, более и более волнуя в нем сердце, так что он наконец непрестанно занимался ею. Летописец рассказывает следующее, любопытное, хотя и сомнительное обстоятельство: «Имея ум редкий, Борис верил, однако ж, искусству гадателей; призвал некоторых из них в тихий час ночи и спрашивал, что ожидает его в будущем? Льстивые волхвы, или звездочеты, ответствовали: «Тебя ожидает венец...» Но вдруг умолкли, как бы испуганные дальнейшим предвидением. Нетерпеливый Борис велел им договорить; услышал, что ему царствовать только семь лет, и, с живейшею радостью обняв предсказателей, воскликнул: «Хотя бы семь дней, но только царствовать!» Столь нескромно Годунов открыл будто бы внутренность души мнимым мудрецам суеверного века! По крайней мере он уже не таился от самого себя; знал, чего хотел! Ожидая смерти бездетного царя, располагая волею царицы, наполнив думу, двор, приказы род-

ственниками и друзьями, не сомневаясь в преданности великоименитого иерарха церкви, надеясь также на блеск своего правления и замышляя новые хитрости, чтобы овладеть сердцем или воображением народа, Борис не страшился случая беспрецедентного в нашем отечестве от времен Рюриковых до Феодоровых: трона упраздненного, конца племени державного, мятежа страстей в выборе новой династии, и, твердо уверенный, что скипетр, выпав из руки последнего венценосца Мономаховой крови, будет вручен тому, кто уже давно и славно царствовал без имени царского, сей алчный властолюбец видел между собою и престолом одного младенца безоружного, как алчный лев видит агнца... Гибель Дмитриева была неизбежна!

Приступая к исполнению своего ужасного намерения, Борис мыслил сперва объявить злосчастного царевича незаконнорожденным, как сына шестой или седьмой Иоанновой супруги: не велел молиться о нем и помянуть его имени на литургии; но, рассудив, что сие супружество, хотя и действительно незаконное, было, однако ж, утверждено или тер-

пимо церковною властью, которая торжественным уничтожением оного призналась бы в своей человеческой слабости, к двойному соблазну христиан, — что Димитрий, невзирая на то, во мнении людей остался бы царевичем, единственным Феодоровым наследником, — Годунов прибегнул к вернейшему способу устранить совместника, оправдываясь слухом, без сомнения его же друзьями распущенным, о мнимой преждевременной склонности Димитриевой ко злу и к жестокости: в Москве говорили всенародно (следственно, без страха оскорбить царя и правителя), что сей младенец, еще имея не более шести или семи лет от роду, есть будто бы совершенное подобие отца: любит муки и кровь; с веселием смотрит на убиение животных; даже сам убивает их. Сею сказкою хотели произвести ненависть к Димитрию в народе; выдумали и другую, для сановников знатных: рассказывали, что царевич, играя однажды на льду с другими детьми, велел сделать из снега двадцать человеческих изображений, назвал их именами первых мужей государственных, поставил рядом и начал рубить

саблю: изображению Бориса Годунова отсек голову, иным – руки и ноги, приговаривая: «Так вам будет в мое царствование!» В противность клевете нелепой, многие утверждали, что юный царевич оказывает ум и свойства, достойные отрока державного; говорили о том с умилением и страхом, ибо угадывали опасность невинного младенца, видели цель клеветы – и не обманулись: если Годунов боролся с совестью, то уже победил ее и, приготовив легковерных людей услышать без жалости о злодействе, держал в руке яд и нож для Димитрия; искал только, кому отдать их для совершения убийства!

Доверенность, откровенность свойственна ли в таком умысле гнусном? Но Борис, имея нужду в пособниках, открылся ближним, из коих один, дворецкий Григорий Васильевич Годунов, залился слезами, изъявляя жалость, человечество, страх божий: его удалили от совета. Все другие думали, что смерть Димитриева необходима для безопасности правителя и для государственного блага. Начали с яда. Мамка царевича, боярыня Василиса Волохова, и сын ее Осип, продав Годунову свою ду-

шу, служили ему орудием; но зелие смертоносное не вредило младенцу, по словам летописца, ни в яствах, ни в питии. Может быть, совесть еще действовала в исполнителях адской воли; может быть, дрожащая рука бережно сыпала отраву, уменьшая меру ее, к досаде нетерпеливого Бориса, который решился употребить иных, смелейших злодеев. Выбор пал на двух чиновников: Владимира Загряжского и Никифора Чепчугова, одолженных милостями правителя; но оба уклонились от сделанного им предложения: готовые умереть за Бориса, мерзили душегубством; обязались только молчать и с сего времени были гонимы. Тогда усерднейший клевет Борисов, дядька царский, окольный Андрей Лупп-Клешнин, представил человека надежного: дьяка Михаила Битяговского, ознаменованного на лице печатаю зверства так, что дикий вид его ручался за верность во зле. Годунов высыпал золото; обещал более и совершенную безопасность; велел извергу ехать в Углич, чтобы править там земскими делами и хозяйством вдовствующей царицы, не спускать глаз с обреченной жертвы и не упустить

первой минуты благоприятной. Битяговский дал и сдержал слово.

Вместе с ним приехали в Углич сын его Данило и племянник Никита Качалов, также удостоенные совершенной доверенности Годунова. Успех казался легким: с утра до вечера они могли быть у царицы, занимаясь ее домашним обиходом, надзирая над слугами и над столом; а мамка Дмитриева с сыном помогала им советом и делом. Но Дмитрия хранила нежная мать... Извещенная ли некоторыми тайными доброжелателями или своим сердцем, она удвоила попечения о милом сыне; не расставалась с ним ни днем, ни ночью; выходила из комнаты только в церковь; питала его из собственных рук, не вверяла ни злой мамке Волоховой, ни усердной кормилице, Ирине Ждановой. Прошло немало времени; наконец убийцы, не видя возможности совершить злодеяние втайне, дерзнули на явное, в надежде что хитрый и сильный Годунов найдет способ прикрыть оное для своей чести в глазах рабов безмолвных: ибо думали только о людях, не о боге! Настал день, ужасный происшествием и следствиями долговре-

менными: 15 мая, в субботу, в шестом часу дня, царица возвратилась с сыном из церкви и готовилась обедать; братьев ее не было во дворце; слуги носили кушанье. В сию минуту боярыня Волохова позвала Дмитрия гулять на двор: царица, думая идти с ними же, в каком-то несчастном рассеянии остановилась. Кормилица удерживала царевича, сама не зная для чего; но мамка силою вывела его из горницы в сени и к нижнему крыльцу, где явились Осип Волохов, Данило Битяговский, Никита Качалов. Первый, взяв Дмитрия за руку, сказал: «Государь! У тебя новое ожерелье». Младенец, с улыбкою невинности подняв голову, отвечал: «Нет, старое»... Тут блеснул над ним убийственный нож; едва коснулся гортани его и выпал из рук Волохова. Закричав от ужаса, кормилица обняла своего державного питомца. Волохов бежал; но Данило Битяговский и Качалов вырвали жертву, зарезали и кинулись вниз с лестницы в самое то мгновение, когда царица вышла из сеней на крыльцо... Девятилетний святой мученик лежал окровавленный в объятиях той, которая воспитала и хотела защитить его сво-

ею грудью; он *трепетал*, как голубь, испуская дух, и скончался, уже не слыхав вопля отчаянной матери... Кормилица указывала на безбожную мамку, смятенную злодейством, и на убийц, бежавших двором к воротам: некому было остановить их; но всевышний мститель присутствовал!

Через минуту весь город представил зрелище мятежа неизъяснимого. Пономарь соборной церкви – сам ли, как пишут, видев убийство или извещенный о том слугами царицы – ударил в набат, и все улицы наполнились людьми, встревоженными, изумленными; бежали на звук колокола; смотрели дыма, пламени, думая, что горит дворец; вломились в его ворота; увидели царевича мертвого на земле: подле него лежали мать и кормилица без памяти; но имена злодеев были уже произнесены ими. Сии изверги, невидимым судиею ознаменованные для праведной казни, не успели или боялись скрыться, чтобы не обличить тем своего дела; в замешательстве, в исступлении, уstraшенные набатом, шумом, стремлением народа, вбежали в избу разрядную; а тайный вождь их, Михаил о Битягов-

ский, бросился на колокольню, чтобы удержать звонаря: не мог отбить запертой им двери и бесстрашно явился на месте злодеяния: приблизился к труп убиенного; хотел утишить народное волнение; дерзнул сказать гражданам (заблаговременно изготовив сию ложь с Клешниным или с Борисом), что младенец умертвил сам себя ножом в падучей болезни. «Душегубец!» – завопили толпы; камни посыпались на злодея. Он искал убежища во дворце с одним из клеветов своих, Данилом Третьяковым; народ схватил, убил их; также и сына Михайлова и Никиту Качалова, выломив дверь разрядной избы. Третий убийца, Осип Волохов, ушел в дом Михаила Битяговского: его взяли, привели в церковь Спаса, где уже стоял гроб Димитриев, и там умертвили, в глазах царицы; умертвили еще слуг Михайловых, трех мещан, уличенных или подозреваемых в согласии с убийцами, и женку юродивую, которая жила у Битяговского и часто ходила во дворец; но мамку оставили живую для важных показаний: ибо злодеи, издыхая, облегчили свою совесть, как пишут, искренним признанием; наименовали и главного

виновника Димитриевой смерти: Бориса Годунова. Вероятно, что устрешенная мамка также не запиралась в адском кове; но судию преступления был сам преступник!

Беззаконно совершив месть, хотя и праведную – от ненависти к злодеям, от любви к царской крови забыв гражданские уставы, – извиняемый чувством усердия, но виновный перед судилищем государственной власти, народ опомнился, утих и с беспокойством ждал указа из Москвы, куда градоначальники послали гонца с донесением о бедственном происшествии, без всякой утайки, написав бумагу на имя царя. Но Годунов бодрствовал: верные ему чиновники были расставлены по Углицкой дороге; всех едущих задерживали, спрашивали, осматривали; схватили гонца и привели к Борису. Желание злого властолюбца исполнилось!.. Надлежало только затмить истину ложью, если не для совершенного удостоверения людей беспристрастных, то по крайней мере для вида, для пристойности. Взяли и переписали грамоты углицкие: сказали в них, что царевич в судорожном припадке заколол себя ножом, от небрежения Нагих,

которые, закрывая вину свою, бесстыдно оклеветали дьяка Битяговского и ближних его в убиении Димитрия, взволновали народ, злодейски истерзали невинных. С сим подлогом Годунов спешил к Феодору, лицемерно изъявляя скорбь душевную; трепетал, смотрел на небо – и, вымолвив ужасное слово о смерти Димитриевой, смешал слезы крокодиловы с искренними слезами доброго, нежного брата. Царь, по словам летописца, горько плакал, долго безмолвствуя; наконец сказал: «Да будет воля божия!» – и всему поверил. Но требовалось чего-нибудь более для России: хотели оказать усердие в исследовании всех обстоятельств сего несчастья: нимало не медля, послали для того в Углич двух знатных сановников государственных – и кого же? Окольного Андрея Клешнина, главного Борисова пособника в злодействе! Не дивились сему выбору: могли удивиться другому: боярина князя Василия Ивановича Шуйского, коего старший брат, князь Андрей, погиб от Годунова и который сам несколько лет ждал от него гибели, будучи в опале. Но хитрый Борис уже примирился с сим князем честолюбивым, легко-

мысленным, умным, без правил добродетели и с меньшим его братом Димитрием, женив последнего на своей юной свояченице и дав ему сан боярина. Годунов знал людей и не ошибся в князе Василии, оказав таким выбором мнимую неустрашимость, мнимое беспристрастие. – 19 мая, ввечеру, князь Шуйский, Клешнин и дьяк Вылузгин приехали в Углич, а с ними и Крутицкий митрополит, прямо в церковь св. Преображения.

Там еще лежало Димитриево тело окровавленное и на теле – нож убийц. Злосчастная мать, родные и все добрые граждане плакали горько. Шуйский с изъятием чувствительности приступил ко гробу, чтобы видеть лицо мертвого, осмотреть язву; но Клешнин, увидев сие ангельское, мирное лицо, кровь и нож, затрепетал, оцепенел, стоял неподвижно, обливаясь слезами; не мог произнести ни единого слова: он еще имел совесть! Глубокая язва Димитриева, гортань, перерезанная рукою сильного злодея, не собственной, не младенческой, свидетельствовала о несомнительном убиении: для того спешили предать земле святые мощи невинности; митрополит

отпел их – и князь Шуйский начал свои допросы: памятник его бессовестной лживости, сохраненный временем как бы в оправдание бедствий, которые чрез несколько лет пали на главу уже венценосную, сего слабого, если и не безбожного человекоугодника! Собрав духовенство и граждан, он спросил у них: «Каким образом Димитрий, от небрежения Нагих, заколол сам себя?» Единодушно, единогласно – иноки, священники, мужи и жены, старцы и юноши – ответствовали: «Царевич убиен своими рабами, Михаилом Битяговским с клеветами, по воле Бориса Годунова». Шуйский не слушал далее; распустил их; решился допрашивать тайно, особенно, не миром, действуя угрозами и обещаниями; призывал кого хотел; писал что хотел, – и наконец, вместе с Клешнинным и с дьяком Вылузгиным, составил следующее донесение царю, основанное будто бы на показаниях городских чиновников, мамки Волоховой, жильцов или царевичевых детей боярских, Димитриевой кормилицы Ирины, постельницы Марьи Самойловой, двух Нагих: Григория и Андрея Александрова – царицыных ключников

и стряпчих, некоторых граждан и духовных особ: «Димитрий, в среду мая 12, занемог падучею болезнию; в пятницу ему стало лучше: он ходил с царицею к обедне и гулял на дворе; в субботу, также после обедни, вышел гулять на двор с мамкою, кормилицею, постельницею и с молодыми жильцами; начал играть с ними ножом в *тычку* и в новом припадке черного недуга проткнул себе горло ножом, долго бился о землю и скончался. Имея сию болезнь и прежде, Димитрий однажды уязвил свою мать, а в другой раз объел руку дочери Андрея Нагого. Узнав о несчастьи сына, царица прибежала и начала бить мамку, говоря, что его зарезали Волохов, Качалов, Данило Битяговский; из коих ни одного тут не было; но царица и *пьяный* брат ее, Михайло Нагой, велели умертвить их и дьяка Битяговского безвинно, единственно за то, что сей усердный дьяк не удовлетворял корыстолюбю Нагих и не давал им денег сверх указа государева. Сведав, что сановники царские едут в Углич, Михайло Нагой велел принести несколько самопалов, ножей, железную палицу, – вымазать оные кровью и положить на

тела убитых, в обличение их мнимого злодеяния». Сию нелепость утвердили своею подписью Воскресенский архимандрит Феодорит, два игумена и духовник Нагих, от робости и малодушия; а свидетельство истины, мирское, единогласное, было утаено: записали только ответы Михаила Нагого, как бы явного клеветника, упрямо стоящего в том, что Дмитрий погиб от руки злодеев.

Шуйский, возвратись в Москву, 2 июня представил свои допросы государю; государь же отослал их к патриарху и святителям, которые, в общей думе с боярами, велели читать сей свиток знатному дьяку Василью Щелкалову. Выслушав, митрополит Крутицкий Геласий встал и сказал Иову: «Объявляю священному собору, что вдовствующая царица в день моего отъезда из Углича призвала меня к себе и слезно убеждала смягчить гнев государев на тех, которые умертвили дьяка Битяговского и товарищей его; что она сама видит в сем деле преступление, моля смиренно, да не погубит государь ее бедных родственников». Лукавый Геласий – исказив, вероятно, слова несчастной матери – подал

Иову новую бумагу от имени городского углицкого прикащика, который писал в ней, что Димитрий действительно умер в черном недуге, а Михайло Нагой, *пьяный*, велел народу убить невинных... И собор (воспоминание, горестное для церкви!) поднес Феодору доклад такого содержания: «Да будет воля государева! Мы же удостоверились несомнительно, что жизнь царевичева прекратилась судом Божиим; что Михайле Нагой есть виновник кровопролития ужасного, действовал по внушению личной злобы и советовался с злыми *вещунами*, с Андреем Мочаловым и с другими; что граждане углицкие вместе с ним достойны казни за свою *измену* и беззаконие. Но сие дело есть земское: ведает оное бог и государь; в руке державного опала и милость. А мы должны единственно молить всевышнего о царе и царице, о тишине и благоденствии народа!» Феодор велел боярам решить дело и казнить виновных: привезли в Москву Нагих, кормилицу Димитриеву с мужем и мнимого вещуна Мочалова, в тяжких оковах; снова допрашивали, пытали, особенно Михаила Нагого, и не могли вынудить от него лжи о само-

убийстве Димитрия; наконец сослали всех Нагих в отдаленные города и заключили в темницы; вдовствующую царицу, неволею постриженную, отвезли в дикую пустыню св. Николая на Выксе (близ Череповца); тела злодеев – Битяговского и товарищей его, кинутые углицким народом в яму, вынули, отпели в церкви и предали земле с великою честью; а граждан тамошних, объявленных убийцами невинных, казнили смертью, числом около двухсот; другим отрезали языки; многих заточили; большую часть вывели в Сибирь и населили ими город Пелым, так что древний обширный Углич, где было, если верить преданию, 150 церквей и не менее тридцати тысяч жителей, опустел навеки, в память ужасного Борисова гнева на смелых обличителей его дела. Остались развалины, вопия к небу о мести!

Карая великодушие, Годунов с такою же дерзостью наградил злодеяние, дав богатые земли и поместья гнусной мамке Волоховой, жене и дочерям Битяговского; осыпал дарами мужей думных и всех знатных сановников; ласкал их, угощал обедами роскошными (не

мог успокоить одного Клешнина, в терзаниях совести умершего чрез несколько лет схимником)... Но в безмолвии двора и церкви слышан был ропот народа, не обманутого ни следствием Шуйского, ни приговором святителей, ни судом боярским: лазутчики Годунова слышали вполголоса произносимые слова о *страшном заклании*, тайном его виновнике, жалостном ослеплении царя, бессовестном потворстве вельмож и духовенства; видели в толпах печальные лица. Борис, тревожимый молвою, нашел способ утишить оную, в великом бедствии, которое тогда постигло столицу. Накануне троицы, в отсутствие государя, уехавшего с боярами в лавру св. Сергия, запылал в Москве двор колымажный и в несколько часов сгорели улицы Арбатская, Никитская, Тверская, Петровская до Трубы, весь Белый город и за ним двор посольский, слободы стрелецкие, все Занеглинье: дома, лавки, церкви и множество людей. Кремль и Китай, где жило знатное дворянство, уцелели; но граждане остались без крова, некоторые и без имени. Стон и вой раздавались среди обширного пепелища, и люди толпами бежали на

Троицкую дорогу встретить Феодора, требовать его милости и помощи: Борис не допустил их до царя; явился между ими с видом любви и сожаления, всех выслушал, всем обещал и сделал обещанное: выстроил целые улицы, раздавал деньги, льготные грамоты; оказывал щедрость беспримерную, так что москвитяне, утешенные, изумленные сими благодеяниями, начали ревностно славить Годунова. Случайно ли воспользовался он несчастьем столицы для приобретения любви народной или был тайным виновником одного, как утверждает летописец и как думали многие из современников? В самых разрядных книгах сказано, что Москву жгли тогда злодеи; но Борис хотел обратить сие подозрение на своих ненавистников: взяли людей Афанасия Нагого и братьев его, допрашивали и говорили, что они уличаются в злодействе; однако ж не казнили их, и дело осталось неясным для потомства.

<Из главы третьей десятого тома>

...Закон об укреплении крестьян и слуг. Новая крепость в Смоленске. Зажигальщики. Двор московский. Слепление царя Симеона.

Святители греческие в Москве. Разрушение Печерской обители. Слово Феодорова Годунову. Кончина Феодорова. Присяга царице Ирине. Пострижение Ирины. Избрание Годунова в цари.

Из дел внутренних сего времени достопамятно следующее.

Мы знаем, что крестьяне искони имели в России гражданскую свободу, но без собственности недвижимой: свободу в назначенный законом срок переходить с места на место³, от владельца к владельцу, с условием обработать часть земли для себя, другую – для господина или платить ему оброк. Правитель видел невыгоды сего перехода, который часто обманывал надежду земледельцев сыскать господина лучшего, не давал им обживать, привыкать к месту и к людям для успехов хозяйства, для духа общественного, – умножал число бродяг и бедность: пустели села и деревни, оставляемые *кочевыми* жителями; дома обитаемые, или хижины, падали от нерадения хозяев временных. Правитель хвалился льготою, данною им состоянию земледельцев в отчинах царских и, может быть, в его

собственных: без сомнения, желая добра не только владельцам, но и работникам сельским – желая утвердить между ими союз неизменный, как бы семейственный, основанный на единстве выгод, на благосостоянии общем, нераздельном, – он в 1592 или в 1593 году законом уничтожил свободный переход крестьян из волости в волость, из села в село и навеки укрепил их за господами. Что же было следствием? Негодование знатной части народа и многих владельцев богатых. Крестьяне жалели о древней свободе, хотя и часто бродили с нею бездомками от юных лет до гроба, хотя и не спасались ее правом от насилия господ временных, безжалостных к людям, для них непрочным; а богатые владельцы, имея немало земель пустых, лишались выгоды населять оные хлебопашцами вольными, коих они сманивали от других вотчинников или помещиков. Тем усерднее могли благодарить Годунова владельцы менее избыточные, ибо уже не страшились запустения ни деревень, ни полей своих от ухода жителей и работников. – Далее откроется, что законодатель благонамеренный, предвидев, веро-

ятно, удовольствие одних и неудовольствие других, не предвидел, однако ж, всех важных следствий сего нового устава, дополненного указом 1597 года, о непрременном возвращении беглых крестьян с женами, с детьми и со всем имением господам их, от коих они ушли в течение последних пяти лет, избывая крепостной неволи. – Тогда же вышел указ, чтобы все бояре, князья, дворяне, люди воинские, приказные и торговые явили крепости на своих холопей, им служащих или беглых, для записания их в книги приказа холопьего, ко- ему велено было дать господам кабалы и на людей *вольных*, если сии люди *служили* им не менее *шести месяцев*; то есть законодатель желал угодить господам, не боясь оскорбить бедных слуг, ни справедливости: но подтвердил вечную свободу отпущенников с женами и с детьми обоего пола. Защитив юг России новыми твердынями, Борис для безопасности нашей границы литовской в 1596 году основал каменную крепость в Смоленске, куда он сам ездил, чтобы назначить места для рвов, стен и башен. Сие путешествие имело и цель иную: Борис хотел пленить жителей Запад-

ной России своею милостию; везде останавливался, в городах и селах; снисходительно удовлетворял жалобам, раздавал деньги бедным, угощал богатых. Возвратясь в Москву, правитель сказал царю, что Смоленск будет *ожерельем России*. «Но в сем *ожерелье* (возразил ему князь Трубецкий) могут завестися наскомые, коих мы не скоро выживем»: «Слово достопамятное! – говорит летописец. – Оно сбылося: ибо Смоленск, нами укрепленный, сделался твердынею Литвы». – Феодор послал туда каменщиков из всех городов, ближних и дальних. Строение кончилось в 1600 году.

Москва украсилась зданиями прочными. В 1595 году, в отсутствие Феодора, ездившего в Боровскую обитель св. Пафнутия, сгорел весь Китай-город; через несколько месяцев он восстал из пепла с новыми каменными лавками и домами, но едва было снова не сделался жертвою огня и злодейства, которое изумило москвитян своею безбожною дерзостью. Нашлись изверги, и люди чиновные: князь Василий Щепин, дворяне Лебедев, два Байкова, отец с сыном, и другие; тайно условились зажечь столицу, ночью, в разных местах, и в об-

цем смятении расхитить богатую казну, хранимую у церкви Василия Блаженного. К счастью, правительство узнало о сем заговоре; схватили злодеев и казнили: князю Щепину и Байковым отсекали головы на лобном месте, иных повесили или на всю жизнь заключили. Сия казнь произвела сильное впечатление в московском народе, уже отвыкавшем от зрелищ кровопролития: гнушаясь адским умыслом, он живо чувствовал спасительный ужас законов для обуздания преступников.

Ревностная, благотворная деятельность верховной власти оказывалась в разных бедственных случаях. Многие города, опустошенные пожарами, были вновь выстроены иждивением царским; где не родился хлеб, туда немедленно доставляли его из мест изобильных; во время заразительных болезней учреждались заставы: летописи около 1595 года упоминают о сильном море во Пскове, где осталось так мало жителей, что царь велел перевести туда мещан из других городов. — Внутреннее спокойствие России было нарушено впадением крымских разбойников в области Мещерскую, Козельскую, Воротынскую

и Перемышльскую: калужский воевода Михайло Безнин встретился с ними на берегах Высы и побил их наголову.

Двор московский отличался благолепием. Не одни любимцы державного, как бывало в грозные дни Иоанновы, но все бояре и мужи государственные ежедневно, утром и ввечеру, собирались в кремлевских палатах видеть царя и с ним молиться, заседать в думе (три раза в неделю, кроме чрезвычайных надобностей: в понедельник, в среду и в пятницу, от семи часов утра до десяти и более), или принимать иноземных послов, или только беседовать друг с другом. Обедать, ужинать возвращались домой, кроме двух или трех вельмож, изредка приглашаемых к столу царскому: ибо Феодор, слабый и недужный, отменил утомительные многолюдные трапезы времен своего отца, деда и прадеда; редко обедал и с послами. Пышность двора его увеличивало присутствие некоторых знаменитых изгнанников Азии и Европы: царевич Хивинский, господари молдавские (Стефан и Димитрий), сыновья Волошского, родственник императоров византийских Мануил Мускополович, се-

лунский вельможа Димитрий и множество благородных греков являлись у трона Феодорова вместе с другими чиновными иноземцами, которые искали службы в России. – Пред дворцом стояло обыкновенно 250 стрельцов с заряженными пищалями, с фитилями горящими. Внутреннюю стражею палат кремлевских были 200 знатнейших детей боярских, называемых жильцами: они, сменяясь, ночевали всегда в третьей комнате от спальни государевой, а в первой и второй – ближние царедворцы, постельничий и товарищи его, называемые *спальниками*; каждую дверь стерег истопник, зная, кто имел право входить в оную. Все было устроено для порядка и важности.

Приближаясь к мете, Годунов более и более старался обольщать людей наружностью государственных и человеческих добродетелей; но, буде предание не ложно, еще умножил свои тайные злодеяния новым. Так называемый царь и великий князь тверской Симеон, женатый на сестре боярина Федора Мстиславского, снискав милость Иоаннову верною службою и принятием христианского закона,

имев в Твери пышный двор и власть наместника с какими-то правами удельного князя, должен был в царствование Феодорова выехать оттуда и жить уединенно в селе своем Куталино. Не знаменитый ни разумом, ни мужеством, он слыл, однако ж, благочестивым, смиренным в счастии, великодушным в ссылке и казался опасным правителю, нося громкое имя царское и будучи зятем первого родового вельможи. Борис в знак ласки прислал к нему на именины вина испанского: Симеон выпил кубок, желая здравия царю, и через несколько дней *ослеп*, будто бы от ядовитого зелия, смешанного с сим вином: так говорит летописец; так говорил и сам несчастный Симеон французу Маржерету. По крайней мере сие ослепление могло быть полезно для Бориса: ибо государственные бумаги следующих времен России доказывают, что мысль возложить венец Мономахов на голову татарина не всем россиянам казалась тогда нелепою.

Обратим взор в последний раз на самого Феодора. И в цветущей юности не имев иной важной мысли, кроме спасения души, он в сие время еще менее заботился о мире и цар-

стве; ходил и ездил из обители в обитель, благотворил нищим и духовенству, особенно греческим монахам, иерусалимским, пелопоннесским и другим, которые приносили к нам драгоценности святыни (одни не расхищенные турками!): кресты, иконы, мощи. Многие из сих бедных изгнанников оставались в России: Кипрский архиепископ Игнатий жил в Москве; Арсений Элассонский, быв у нас вместе с патриархом Иеремиею, возвратился и начальствовал над Суздальскою епархией. – Феодор с радостию сведал о явлении в Угличе нетленных мощей князя Романа Владимировича (внука Константинова) и душевно оскорбился бедствием знаменитой обители Печерской Нижегородской, где спасались некогда угодники божий Дионисий Суздальский, ученик его Евфимий и Макарий Желтоводский или Унженский: гора, под которою стоял монастырь, вдруг с треском и колебанием двинулась к Волге, засыпала и разрушила церковь, келий, ограду. Сия гибель места святого поразила воображение людей суеверных и названа в летописи *великим знамением* того, что ожидало Россию, – чего ожидал и Фео-

дор, заметно слабея здоровьем. Пишут, что он (в 1596 году), торжественно перекладывая мощи Алексия митрополита в новую серебряную раку, велел Годунову взять их в руки и, взирая на него с печальным умилением, сказал: «Осязай святыню, правитель народа христианского! Управляй им и впредь с ревностью. Ты достигнешь желаемого; но все суета и миг на земле!» Феодор предчувствовал близкий конец свой, и час настал.

Нет, не верим преданию ужасному, что Годунов будто бы ускорил сей час отравой. Летописцы достовернейшие молчат о том, с праведным омерзением изобличая все иные злодейства Борисовы. Признательность смиряет и льва яростного; но если ни святость венценосца, ни святость благодетеля не могли остановить изверга, то он еще мог бы остановиться, видя в брэнном Феодоре явную жертву скорой естественной смерти и между тем властвуя и ежедневно утверждая власть свою как неотъемлемое достояние... Но история не скрывает и клеветы, преступлениями заслуженной.

В конце 1597 года Феодор впал в тяжкую

болезнь; 6 генваря открылись в нем явные признаки близкой смерти, к ужасу столицы. Народ любил Феодора как ангела земного, озаренного лучами святости, и приписывал действию его ревностных молитв благосостояние отечества; любил с умилением, как последнего царя Мономаховой крови, – и когда в отверстых храмах еще с надеждою просил бога об исцелении государя доброго, тогда патриарх, вельможи, сановники, уже не имея надежды, с искренним сокрушением сердца предстояли одру болящего, в ожидании последнего действия Феодоровой самодержавной власти: завещания о судьбе России сиротеющей. Но как в течение жизни, так и при конце ее Феодор не имел иной воли, кроме Борисовой; и в сей великий час не изменил своей беспредельной доверенности к наставнику: лишаясь зрения и слуха, еще устремлял темнеющий взор на Годунова и с усилием внимал его шептаниям, чтобы сделать ему удобное. Безмолвствовали бояре: первосвященник Иов дрожащим голосом сказал: «Свет в очах наших меркнет; праведный отходит к богу... Государь! Кому приказываешь царство,

нас, сирых, и свою царицу?» Феодор тихо ответил: «В царстве, в вас и в моей царице волен господь всевышний... Оставляю грамоту духовную». Сие завещание было уже написано: Феодор вручал державу Ирине, а душу свою приказывал великому святителю Иову, двоюродному брату Федору Никитичу Романову-Юрьеву (племяннику царицы Анастасии) и шурина Борису Годунову; то есть избрал их быть главными советниками трона. Он хотел проститься с нежною супругою наедине и говорил с него без земных свидетелей: сия беседа осталась неизвестною. В 11 часов вечера Иов помазал царя елеем, исповедал и приобщил святых тайн. В час утра, 7 генваря, Феодор испустил дух, без судорог и трепета, незаметно, как бы заснув тихо и сладко.

В сию минуту оцепенения, горестию произведенного, явилась царица и пала на тело умершего: ее вынесли в беспамятстве. Тогда, изъявляя и глубокую скорбь и необыкновенную твердость духа, Годунов напомнил боярам, что они, уже не имея царя, должны присягнуть царице: все с ревностию исполнили

сей обряд священный, целуя крест в руках патриарха... Случай дотоле беспремерный: ибо мать Иоаннова, Елена, властвовала только именем сына-младенца; Ирине же отдавали скипетр Мономахов со всеми правами самобытной, неограниченной власти. – На рассвете ударили в большой колокол успенский, извещая народ о преставлении Феодора, и вопль раздался в Москве от палат до хижин: каждый дом, по выражению современника, был *домом плача*. Дворец не мог вместить людей, которые стремились к одру усопшего: и знатные и нищие. Слезы лилися; но и чиновники и граждане, подобно боярам, с живейшим усердием клялись в верности к любимой царице-матери, которая еще спасала Россию от сиротства совершенного. Столица была в отчаянии, но спокойна. Дума послала гонцов в области; велела затворить пути в чужие земли до нового указа и везде строго блюсти тишину.

Тело Феодорово вложили в раку, при самой Ирине, которая ужасала всех исступлением своей неописанной скорби: терзалась, билась; не слушала ни брата, ни патриарха; из

уст ее, обогранных кровию, вырывались слова: «Я вдовица бесчадная... Мною гибнет корень царский!» Ввечеру отнесли гроб в церковь Михаила Архангела патриарх, святители, бояре и народ вместе; не было различия в званиях: общая горесть сравняла их. 8 генваря совершилось погребение, достопамятное не великолепием, но трогательным беспорядком: захлипаясь от слез и рыдания, духовенство прерывало священнодействие; и лики умолкали; в вопле народном никто не мог слышать пения. Уже не плакала – одна Ирина: ее принесли в храм как мертвую. Годунов не осушал глаз, смотря на злосчастную царицу, но давал все повеления. Отверзли могилу для гроба Феодорова, подле Иоаннова: народ громогласно изъявил благодарность усопшему за счастливые дни царствования, с умилением славя личные добродетели сего ангела кротости, наследованные им от незабвенной Анастасии, – именуя его не царем, но отцом чадолюбивым, и в искреннем прискорбии сердца забыв слабость души Феодоровой. – Когда предали тело земле, патриарх, а с ним и все люди, воздев руки на небо, молились, да

спасет господь Россию и, лишив ее пастыря, да не лишит своей милости. – Совершив печальный обряд, роздали богатую казну бедным, церквам и монастырям; отворили темницы, освободили всех узников, даже смертоубийц, чтобы сим действием милосердия увенчать земную славу Феодоровых добродетелей...

Так пресеклось на троне Московском знаменитое варяжское поколение, коему Россия обязана бытием, именем и величием, – от начала столь малого, сквозь ряд веков бурных, сквозь огонь и кровь, достигнув господства над севером Европы и Азии воинственным духом своих властителей и народа, счастьем и промыслом Божиим!..

Скоро узнала печальная столица, что вместе с Ириною вдовствует и трон Мономахов; что венец и скипетр лежат на нем праздно; что Россия, не имея царя, не имеет и царицы!

Пишут, что Феодор набожный, прощаясь с супругою, вопреки своему завещанию тайно велел ей презреть земное величие и посвятить себя богу: может быть, и сама Ирина, вдовица бездетная, в искреннем отчаянии

возненавидела свет, не находя утешения в царской пышности; но гораздо вероятнее, что так хотел Годунов, располагая сердцем и судьбою нежной сестры. Он уже не мог возвыситься в царствование Ирины, властвовав беспредельно и при Феодоре; не мог, в конце пятого десятилетия жизни, еще ждать или откладывать; вручил царство Ирине, чтобы взять его себе, из рук единокровной, как бы правом наследия: занять на троне место *Годуновой*, а не Мономахова венценосного племени, и менее казаться похитителем в глазах народа. Никогда сей лукавый честолюбец не был столь деятелен, явно и скрытно, как в последние дни Феодоровы и в первые – мнимого Иринина державства: явно, чтобы народ не имел и мысли о возможности государственного устройства без радения Борисова; скрытно, чтобы дать вид свободы и любви действию силы, обольщения и коварства. Как бы невидимою рукою обняв Москву, он управлял ее движениями чрез своих слуг бесчисленных; от церкви до синклита, до войска и народа, все внимало и следовало его внушениям, благоприятствуемым, с одной стороны, робо-

стию, а с другой – истинною признательностью к заслугам и милостям Борисовым. Обещали и грозили; шептом и громогласно доказывали, что спасение России нераздельно с властью правителя, – и, приготовив умы или страсти к великому феатральному действию, в девятый день по кончине царя объявили торжественно, что Ирина отказывается от царства и навеки удаляется в монастырь воспринять ангельский образ инокини. Сия весть поразила Москву: святители, дума, сановники, дворяне, граждане собором пали пред венценосною вдовою, плакали неутешно, называли ее материю и заклинали не оставлять их в ужасном сиротстве; но царица, дотоле всегда мягкосердая, не тронулась молением слезным: ответствовала, что воля ее неизменна и что государством будут править бояре, вместе с патриархом, до того времени, когда успеют собраться в Москву все чины Российской державы, чтобы решить судьбу отечества по вдохновению божию. В тот же день Ирина выехала из дворца Кремлевского в Новодевичий монастырь и под именем Александры вступила в сан инокинь. Россия осталась

без главы, а Москва – в тревоге, в волнении...

Где был Годунов и что делал? Заключился в монастыре с сестрою, плакал и молился с нею. Казалось, что он, подобно ей, отвергнул мир, величие, власть, кормило государственное и предал Россию в жертву бурям; но кормчий неусыпно бодрствовал, и Годунов в тесной келии монастырской твердою рукою держал царство!

Сведав о пострижении Ирины, духовенство, чиновники и граждане собрались в Кремле, где государственный дьяк и печатник Василий Щелкалов, представив им вредные следствия безначалия, требовал, чтобы они целовали крест на имя думы боярской. Никто не хотел слышать о том; все кричали: «Не знаем ни князей, ни бояр: знаем только царицу: ей мы дали присягу и другой не дадим никому: она и в черницах мать России». Печатник советовался с вельможами, снова вышел к гражданам и сказал, что царица, оставив свет, уже не занимается делами царства и что народ должен присягнуть боярам, если не хочет видеть государственного разрушения. Единогласным ответом было: «И так

да царствует брат ее!» Никто не дерзнул противоречить, ни безмолвствовать: все восклицали: «Да здравствует отец наш, Борис Феодорович! Он будет преемником матери нашей царицы!» Немедленно *всем собором* пошли в монастырь Новодевичий, где патриарх Иов, говоря именем отечества, заклинал монахиню Александру благословить ее брата на царство, ею презренное из любви к жениху бессмертному, Христу Спасителю, – исполнить тем волю Божию и народную – утишить колебание в душах и в государстве – отереть слезы россиян, бедных, сирых, беспомощных и снова восстановить державу сокрушенную, доколе враги христианства еще не уведали о вдовстве Мономахова престола. Все проливали слезы – и сама царица-инокиня, внимая первосвятителю красноречивому. Иов обратился к Годунову; смиренно предлагал ему корону, называл его свышеизбранным для возобновления царского корени в России, естественным наследником трона после зятя и друга, обязанного всеми успехами своего владычества Борисовой мудрости.

Так совершилось желание властолюбца!..

Но он умел лицемерить: не забылся в радости сердца – и, за семь лет пред тем смело вонзив убийственный нож в гортань св. младенца Димитрия, чтобы похитить корону, с ужасом отринул ее, предлагаемую ему торжественно, единодушно духовенством, синклитом, народом; клялся, что никогда, рожденный верным подданным, не мечтал о сане державном и никогда не дерзнет взять скипетра, освященного рукою усопшего царя-ангела, его отца и благодетеля; говорил, что в России много князей и бояр, коим он, уступая в знатности, уступает и в личных достоинствах; но из признательности к любви народной обещается вместе с ними радеть о государстве еще ревностнее прежнего. На сию речь, заблаговременно сочиненную, патриарх отвечал такую же, и весьма плодovитою, исполненною движений витийства и примеров исторических; обвинял Годунова в излишней скромности, даже в неповиновении воле божией, которая столь явна в общенародной воле; доказывал, что всевышний искони готовил ему и роду его на веки веков державу Владимирова потомства, Феодоровою смер-

тию пресеченного, напоминал о Давиде, царе Иудейском, Феодосии Великом, Маркиане, Михаиле Косноязычном, Василии Македонском, Тиберии и других императорах византийских, неисповедимыми судьбами небесными возведенных на престол из ничтожества; сравнивал их добродетели с Борисовыми; убеждал, требовал, и не мог поколебать его твердости ни в сей день, ни в следующие – ни пред лицом народа, ни без свидетелей, – ни молением, ни угрозами духовными. Годунов решительно отрекся от короны.

Но патриарх и бояре еще не теряли надежды: ждали *великого собора*, коему надлежало быть в Москве чрез шесть недель по смерти Феодора; то есть велели съехаться туда из всех областных городов людям выборным: духовенству, чиновникам воинским и гражданским, купцам, мещанам. Годунов хотел, чтобы не одна столица, но вся Россия призвала его на трон, и взял меры для успеха, всюду посылал ревностных слуг своих и клеветов: сей вид единогласного свободного избрания казался ему нужным – для успокоения ли совети? Или для твердости и безопасности его

властвования? Между тем Борис жил в монастыре, а государством правила дума, советуясь с патриархом в делах важных; но указы писала именем *царицы Александры* и на ее же имя получала донесения воевод земских. Между тем оказывались неповиновение и беспорядок: в Смоленске, Пскове и в иных городах воеводы не слушались ни друг друга, не предписаний думы. Между тем носились слухи о впадении хана крымского в пределы России, и народ говорил в ужасе: «Хан будет под Москвою, а мы без царя и защитника!» Одним словом, все благоприятствовало Годунову, ибо все было им устроено!

В пятницу, 17 февраля, открылась в Кремле дума земская, или государственный собор, где присутствовало, кроме всего знатнейшего духовенства, синклита, двора, не менее пяти-сот чиновников и людей выборных из всех областей, для дела великого, небывалого со времен Рюрика: для назначения венценосца России, где дотоле властвовал непрерывно, уставом наследия, род князей варяжских и где государство существовало государем; где все законные права истекали из его един-

ственного самобытного права: судить и рядить землю по закону совести. Час опасный: кто избирает, тот дает власть и, следовательно, имеет оную: ни уставы, ни примеры не ручались за спокойствие народа в ее столь важном действии, и сейм кремлевский мог уподобиться варшавским: бурному морю страстей, губельных для устройства и силы держав. Но долговременный навык повиновения и хитрость Борисова представили зрелище удивительное: тишину, единомыслие, уветливость во многолюдстве разнообразном, в смеси чинов и званий. Казалось, что все желали одного: как сироты, найти скорее отца – и знали, в ком искать его. Граждане смотрели на дворян, дворяне – на вельмож, вельможи – на патриарха. Известив собор, что Ирина не захотела ни царствовать, ни благословить брата на царство и что Годунов также не принимает венца Мономахова, Иов сказал: «Россия, тоскуя без царя, нетерпеливо ждет его от мудрости собора. Вы, святители, архимандриты, игумены; вы, бояре, дворяне, люди приказные, дети боярские и всех чинов люди царствующего града Москвы и всей земли

русской! Объявите нам мысль свою и дайте совет, кому быть у нас государем. Мы же, свидетели преставления царя и великого князя Феодора Иоанновича, думаем, что нам мимо Бориса Феодоровича не должно искать другого самодержца». Тогда все духовенство, бояре, воинство и народ единогласно ответствовали: «Наш совет и желание то же: немедленно бить челом государю Борису Феодоровичу и мимо его не искать другого властителя для России». Усердие обратилось в восторг, и долго нельзя было ничего слышать, кроме имени Борисова, громогласно повторяемого всем многочисленным собранием. Тут находились князья Рюрикова племени: Шуйские, Сицкие, Воротынский, Ростовские, Телятевские и столь многие иные; но давно лишенные достоинства князей владетельных, давно слуги московских государей наравне с детьми боярскими, они не дерзали мыслить о своем наследственном праве и спорить о короне с тем, кто без имени царского уже тринадцать лет единовластвовал в России: был хотя и потомком мурзы, но братом царицы. Восстановив тишину, вельможи, в честь Годунова, расска-

зали духовенству, чиновникам и гражданам следующие обстоятельства: «Государыня Ирина Феодоровна и знаменитый брат ее с самого первого детства возрастали в палатах великого царя Иоанна Василиевича и питались от стола его. Когда же царь удостоил Ирину быть своею невесткою, с того времени Борис Феодорович жил при нем неотступно, навывая государственной мудрости. Однажды, узнав о недуге сего юного любимца, царь приехал к нему с нами и сказал милостиво: «Борис! Страдаю за тебя как за сына, за сына как за невестку, за невестку как за самого себя», — поднял три перста десницы своей и примолвил: «Се Феодор, Ирина и Борис; ты не раб, а сын мой». В последние часы жизни, всеми оставленный для исповеди, Иоанн удержал Бориса Феодоровича при одре своем, говоря ему: «Для тебя обнажено мое сердце. Тебе приказываю душу, сына, дочь и все царство: блюди или дашь за них ответ богу». Помня сии незабвенные слова, Борис Феодорович хранил яко зеницу ока и юного царя и великое царство». Описав, как правитель своею неусыпною мудрою деятельностью возвысил

отечество, – смирил хана и шведов, обуздал Литву, расширил владения России, умножил число ее царей – данников и слуг; как знаменитейшие венценосцы Европы и Азии изъявляют ей уважение и приязнь – какая тишина внутри государства, милость для войска и для народа, правда в судах, защита для бедных, вдов и сирот, – бояре заключили так: «Мы напомним вам случай достопамятный. Когда царь Феодор, умом и мужеством правителя одержав славнейшую победу над ханом, весело пировал с духовенством и синклитом: тогда, в умилении признательности, сняв с себя золотую *царскую* гривну, он возложил ее на выю своего шурина». А патриарх изъяснил собранию, что царь, исполненный св. духа, сим таинственным действием ознаменовал будущее державство Годунова, искони предопределенное небом. Снова раздались клики: «Да здравствует государь наш Борис Феодорович!» И патриарх воззвал к собору: «Глас народа есть глас божий: буди, что угодно всевышнему!»

В следующий день, февраля 18, в первый час утра, церковь Успения наполнилась

людьми: все, преклонив колена, духовенство, синклит и народ, усердно молили бога, чтобы правитель смягчился и принял венец; молились еще два дни, и февраля 20 Иов, святители, вельможи объявили Годунову, что он избран в цари уже не Москвою, а всею Россиею. Но Годунов вторично ответственвал, что высота и сияние Феодорова трона ужасают его душу; клялся снова, что и в сокровенности сердца не представлялась ему мысль столь дерзостная; видел слезы, слышал убеждения самые трогательные и был непреклонен; выслал *искусителей*, духовенство с синклитом, из монастыря и не велел им возвращаться. Надлежало искать действительнейшего средства: размышляли – и нашли. Святители в общем совете с боярами устави́ли петь 21 февраля во всех церквах *праздничный молебен* и с обрядами торжественными, с святынею веры и отечества, в последний раз испытать силу убеждений и плача над сердцем Борисовым; а тайно, между собою, Иов, архиепископы и епископы условились в следующем: «Если государь Борис Феодорович смилуется над нами, то разрешим его клятву не быть царем

России; если не смилуется, то отлучим его от церкви; там же, в монастыре, сложим с себя святительство, кресты и панагии; оставим иконы чудотворные, запретим службу и пение во святых храмах; предадим народ отчаянию, а царство – гибели, мятежам, кровопролитию, – и виновник сего неисповедимого зла да ответствует пред богом в день Суда страшного!»

В сию ночь не угасали огни в Москве: все готовилось к великому действию – и на рассвете, при звуке всех колоколов, подвиглась столица. Все храмы и дома отворились: духовенство с пением вышло из Кремля; народ в безмолвии теснился на площадях. Патриарх и владыки несли иконы, знаменитые славными воспоминаниями: Владимирскую и Донскую, как святые знамена отечества; за клиром шли синклит, двор, воинство, приказы, выборы городов; за ними устремились и все жители московские, граждане и чернь, жены и дети, к Новодевичьему монастырю, откуда, также с колокольным звоном, вынесли образ Смоленской богородицы навстречу патриарху: за сим образом шел и Годунов, как бы

изумленный столь необыкновенно торжественным церковным ходом; пал ниц пред иконою Владимирскою, обливался слезами и воскликнул: «О мать божия! Что виною твоего подвига? Сохрани, сохрани меня под сению твоего крова!» Обратился к Иову и с видом укоризны сказал ему: «Пастырь великий! Ты дашь ответ богу!» Иов отвечивал: «Сын возлюбленный! Не снейдай себя печалию, но верь провидению! Сей подвиг совершила богоматерь из любви к тебе, да устыдишься!» Он пошел в церковь святой обители с духовенством и людьми знатнейшими; другие стояли в ограде; народ – вне монастыря, занимая все обширное Девичье поле. Собором отпел литургию, патриарх снова, и тщетно, убеждал Бориса не отвергать короны; велел нести иконы и кресты в келий царицы: там со всеми святителями и вельможами преклонил главу до земли... И в то самое мгновение, по данному знаку, все бесчисленное множество людей, в келиях, в ограде, вне монастыря, упало на колена с воплем *неслыханным*: все требовали царя, отца, Бориса! Матери кинули на землю своих грудных младенцев и не слушали их

крика. Искренность побеждала притворство; вдохновение действовало и на равнодушных и на самых лицемеров! Патриарх, рыдая, заклинал царицу долго, неотступно, именем святых икон, которые пред нею стояли, – именем Христа Спасителя, церкви, России дать миллионам православных *государя благонадежного*, ее великого брата... Наконец услышали слово милости: глаза царицы, дотоле нечувствительной, наполнились слезами. Она сказала: «По изволению всесильного бога и пречистыя девы Мария возьмите у меня едиnorodного брата на царство, в утление народного плача. Да исполнится желание ваших сердец, ко счастью России! Благословляю избранного вами и предаю отцу небесному, богоматери, святым угодникам московским и тебе, патриарху, – и вам, святители, – и вам, бояре! Да заступит мое место на престоле!» Все упали к ногам царицы, которая, печально взглянув на смиренного Бориса, дала ему повеление властвовать над Россией». Но он еще изъявлял нехотение; страшился тягостного бремени, возлагаемого на слабые рамена его; просил избавления; говорил сестре, что она

из единого милосердия не должна предавать его в жертву трону; еще вновь клялся, что никогда умом робким не дерзал возноситься до сей высоты, ужасной для смертного; свидетельствовался оком всевидящим и самою Ириною, что желает единственно жить при ней и смотреть на ее лицо ангельское. Царица уже настояла решительно. Тогда Борис как бы в сокрушении духа воскликнул: «Буди же святая воля твоя, господи! Настави меня на путь правый и не вниди в суд с рабом твоим! Повинуюсь тебе, исполняя желание народа». Святители, вельможи упали к ногам его. Осенив животворящим крестом Бориса и царицу, патриарх спешил возвестить дворянам, приказным и всем людям, что господь даровал им царя. Невозможно было изобразить общей радости. Воздев руки на небо, славили бога; плакали, обнимали друг друга. От келий царицыных до всех концов Девичьего поля гремели клики: «Слава! Слава!..» Окруженный вельможами, теснимый, лобзаемый народом, Борис вслед за духовенством пошел в храм Новодевичьей обители, где патриарх Иов, пред иконами Владимирской и Донской, бла-

гословил его на государство Московское и всея России; нарек царем и возгласил ему первое многолетие. Что, по-видимому, могло быть торжественнее, единодушнее, законнее сего наречения? И что благоразумнее? Пременилось только имя царя: власть державная оставалась в руках того, кто уже давно имел оную и властвовал счастливо для целости государства, для внутреннего устройства, для внешней чести и безопасности России. Так казалось; но сей человеческою мудростию наделенный правитель достиг престола злодейством... Казнь небесная угрожала царю-преступнику и царству несчастному.

<Царствование Бориса Годунова>^{*}

<Из главы первой одиннадцатого тома>

Москва встречает царя. Присяга Борису. Соборная грамота. Деятельность Борисова. Торжественный вход в столицу. Знаменитое ополчение. Ханское посольство. Угощение войска. Речь патриарха. Прибавление к грамоте избирательной. Царское венчание... Дела внутренние. Жалованная грамота патриарху. Закон о крестьянах. Питейные дома. Любовь Борисова к просвещению и к иноземцам. Похвальное слово Годунову. Горячность Борисова к сыну. Начало бедствий.

Духовенство, синклит и чины государственных, с хоругвями церкви и отечества, при звуке всех колоколов московских и восклицаниях народа, упоенного радостью, возвратились в Кремль, уже дав самодержца России, но еще оставив его в келий. 26 февраля, в неделю сыропустную, Борис въехал в столицу: встреченный, пред стенами деревянной крепости, всеми гостями московскими с хле-

бом, с кубками серебряными, золотыми, собо-
лями, жемчугом и многими иными *дарами*
царскими, он ласково благодарил их, но не хо-
тел взять ничего, кроме хлеба, сказав, что бо-
гатство в руках народа ему приятнее, нежели
в казне. За гостями встретили царя Иов и все
духовенство; за духовенством – синклит и на-
род. В храме Успения отпев молебен, патри-
арх *вторично* благословил Бориса на государ-
ство, осенив крестом животворящего древа, и
клиросы пели многолетие как царю, так и
всему дому державному: царице Марии Гри-
горьевне, юному сыну их Феодору и дочери
Ксении. Тогда *здравствовали* новому монарху
все россияне; а патриарх, воздев руки на небо,
сказал: «Славим тебя, господи: ибо ты не пре-
зрел нашего моления, услышал вопль и рыда-
ние христиан, преложил их скорбь на весе-
лие и даровал нам царя, коего мы денно и
нощно просили у тебя со слезами!» После ли-
тургии Борис изъявил благодарность к памя-
ти двух главных виновников его величия: в
храме св. Михаила пал ниц пред гробами
Иоанновым и Феодоровым; молился и над
прахом древнейших знаменитых венценос-

цев России: Калиты, Донского, Иоанна III, да будут его небесными пособниками в земных делах царства; зашел во дворец; посетил Иова в обители Чудовской; долго беседовал с ним наедине; сказал ему и всем епископам, что не может до светлого Христова воскресения оставить Ирины в ее скорби, и возвратился в Новодевичий монастырь, предписав думе боярской, с его ведома и разрешения, управлять делами государственными.

Между тем все люди служивые с усердием целовали крест в верности к Борису, одни пред славную Владимирскую иконою девы Марии, другие у гроба святых митрополитов, Петра и Ионы: клялися не изменять царю ни делом, ни словом; не умышлять на жизнь или здравие державного, не вредить ему ни ядовитым зелием, ни чародейством; не думать о возведении на престол бывшего великого князя Тверского, Симеона Бекбулатовича, или сына его; не иметь с ними тайных сношений, ни переписки; доносить о всяких *скопах* и *заговорах* без жалости к друзьям и ближним в сем случае; не уходить в иные земли, в Литву, Германию, Испанию, Фран-

цию или Англию. Сверх того, бояре, чиновники думные и посольские обязывались быть скромными в делах и тайнах государственных, судии – не кривить душою в тяжбах, казначеи – не корыстоваться царским достоянием, дьяки – не лихоимствовать. Послали в области грамоты известительные о счастливом избрании государя, велели читать их всенародно, три дни звонить в колокола и молиться в храмах *сперва* о царице-инокине Александре, а *после* о державном ее брате, семействе его, боярах и воинстве. Патриарх (9 марта) собором устави́л торжественно просить бога, да сподобит царя благословенного возложить на себя венец и порфиру: устави́л еще на веки веков праздновать в России 21 февраля, день Борисова воцарения; наконец, предложил думе земской утвердить данную монарху присягу соборною грамотою, с обязательством для всех чиновников не уклоняться ни от какой службы, не требовать ничего свыше достоинства родов или заслуги, всегда и во всем слушаться *указа царского* и *приговора боярского*, чтобы в делах разрядных и земских не доводить государя до кручины. Все

члены великой думы ответствовали единогласно: «Даем обет положить свои души и головы за царя, царицу и детей их!» Велели писать хартию в таком смысле первым грамотеям России.

Сие дело чрезвычайное не мешало течению обыкновенных дел государственных, которыми занимался Борис с отменною ревностью, и в келиях монастыря и в думе, часто приезжая в Москву. Не знали, когда он находил время для успокоения, для сна и трапезы: беспрестанно видели его в совете с боярами и с дьяками или подле несчастной Ирины, утешающего и скорбящего днем и ночью. Казалось, что Ирина действительно имела нужду в присутствии единственного человека, еще милого ее сердцу: сраженная кончиною супруга, искренно и нежно любимого ею, она тосковала и плакала неутешно до изнурения сил, очевидно угасая и нося уже смерть в груди, истерзанной рыданиями. Святители, вельможи тщетно убеждали царя оставить печальную для него обитель, переселиться с супругою и с детьми в кремлевские палаты, явить себя народу в венце и на троне; Борис

ответствовал: «Не могу разлучиться с великою государынею, моею сестрою злосчастною» – и даже снова, неутомимый в лицемерии, уверял, что не желает быть царем. Но Ирина вторично велела ему исполнить волю народа и божию, приять скипетр и царствовать не в келий, а на престоле Мономаховом. Наконец, апреля 30, подвиглась столица во сретение государю!

Сей день принадлежит к торжественнейшим дням России в ее истории. В час утра духовенство с крестами и с иконами, синклит, двор, приказы, воинство, все граждане ждали царя у каменного мосту, близ церкви св. Николая Зарайского. Борис ехал из Новодевичьего монастыря с своим семейством в великолепной колеснице; увидев хоругви церковные и народ, вышел: поклонился святым иконам; милостиво приветствовал всех, и знатных и незнатных; представил им царицу, давно известную благочестием и добродетелию искреннею, – девятилетнего сына и шестнадцатилетнюю дочь, ангелов красотою. Слыша восклицания народа: «Вы наши государи, мы ваши подданные», Феодор и Ксения вместе с

отцом ласкали чиновников и граждан; так же, как и он, взяв у них хлеб-соль, отвергнули золото, серебро и жемчуг, поднесенные им в дар, и звали всех обедать к царю. Невозбранно теснимый бесчисленною толпою людей, Борис шел за духовенством с супругою и с детьми, как добрый отец семейства и народа, в храм Успения, где патриарх возложил ему на грудь животворящий крест св. Петра митрополита (что было уже началом царского венчания) и в *третий раз* благословил его на великое государство Московское. Отслушав литургию, новый самодержец, провождаемый боярами, обходил все главные церкви кремлевские, везде молился с теплыми слезами, везде слышал радостный клик граждан и, держа за руку своего юного наследника, а другую ведя прелестную Ксению, вступил с супругою в палаты царские. В сей день народ обедал у царя: не знали числа гостям, но все были званые, от патриарха до нищего. Москва не видала такой роскоши и в Иоанново время. — Борис не хотел жить в комнатах, где скончался Феодор: занял ту часть кремлевских палат, где жила Ирина, и велел при-

строить к ним для себя новый дворец деревянный.

Он уже царствовал, но еще без короны и скиптра; еще не мог назваться *царем боговенчаным, помазанником господним*. Надлежало думать, что Борис немедленно возложит на себя венец со всеми торжественными обрядами, которые в глазах народа освящают лицо властителя: сего требовали патриарх и синклит именем России; сего, без сомнения, хотел и Борис, чтобы важным церковным действием утвердить престол за собою и своим родом: но хитрым умом властвуя над движениями сердца, вымыслил новое очарование: вместо скиптра взял меч в десницу и спешил в поле, доказать, что безопасность отечества ему дороже и короны и жизни. Так царствование самое миролюбивое началось ополчением, которое приводило на память восстание россиян для битвы с Мамаем!..

Оградою древней России, в случае ханских впадений, служили, сверх крепостей, засеки в местах, трудных для обхода: близ Перемышля, Лихвина, Белева, Тулы, Боровска, Рязани; государь рассмотрел чертежи их и послал ту-

да особенных воевод с мордвою и стрельцами; устроил еще *плавную*, или судовую, рать на Оке, чтобы тем более вредить неприятелю в битвах на берегах ее. Видели, чего не видали дотол: *полмиллиона войска*, как уверяют, в движении стройном, быстром, с усердием несказанным, с доверенностию беспредельною. Все действовало сильно на воображение людей: и новость царствования, благоприятная для надежды, и высокое мнение о Борисовой, уже долговременными опытами изведанной, мудрости. Исчезло самое местничество: воеводы спрашивали только, где им быть, и шли к своим знаменам, не справляясь с разрядными книгами о службе отцов и дедов: ибо царь объявил, что великий собор бил ему челом предписать боярам и дворянству *службу без мест*. Сия ревность, способствуя нужному повиновению, имела и другое важное следствие: умножила число воинов, и воинов исправных; дворяне, дети боярские выехали в поле на лучших конях, в лучших доспехах, со всеми слугами, годными для ратного дела, к живейшему удовольствию царя, который не знал меры в изъявлениях милости:

ежедневно смотрел полки и дружины, приветствовал начальников и рядовых, угощал обедами, и всякий раз не менее десяти тысяч людей, на серебряных блюдах, под шатрами. Сии истинно царские угощения продолжались шесть недель: ибо слухи о неприятеле вдруг замолкли; разъезды паши уже не встречали его; тишина царствовала на берегах Донца, и стражи, нигде не видя пыли, нигде не слыша конского топота, дремали в безмолвии степей. Ложные ли слухи обманули Бориса, или он притворным легковерием обманул Россию, чтобы явить себя царем не только Москвы, но и всего воинства, воспламенить любовь его к новому самодержцу, в годину опасности предпочитающему бранный шлем венцу Мономахову, и том удвоить блеск своего торжественного воцарения? Хитрость, достойная Бориса и едва ли сомнительная. — Вместо тучи врагов явились в южных пределах России мирные послы Казы-Гиреевы с нашим гонцом: елецкие воеводы 18 июня донесли о том Борису, который наградил вестника деньгами и чином.

Следственно, ополчение беспримерное,

стоив великого иждивения и труда, оказалось напрасным? Уверяли, что оно спасло государство, поразив хана ужасом; что крымцы шли действительно, но, узнав о восстании России, бежали назад. По крайней мере царь хотел впечатлеть ужас в послов ханских, из коих главным был Мурза Алей: они въехали в Россию, как в стан воинский; видели на пути блеск мечей и копий, многолюдные дружины всадников, красиво одетых, исправно вооруженных; в лесах, в засеках слышали оклики и пальбу. Их становили близ Серпухова, в семи верстах от царских шатров, на лугах Оки, где уже несколько дней сходилась рать отовсюду. Там 29 июня еще до рассвета загредело сто пушек, и первые лучи солнца осветили войско несметное, готовое к битве. Велели крымцам, изумленным сею ужасною стрельбою и сим зрелищем грозным, идти к царю сквозь тесные ряды пехоты, вдали окруженной густыми толпами конницы. Введенные в шатер царский, где все блистало оружием и великолепием – где Борис, вместо короны увенчанный золотым шлемом, первенствовал в сонме царевичей и князей не столько богатством

одежды, сколько видом повелительным, — Алей Мурза и товарищи его долго безмолвствовали, не находя слов от удивления и замешательства; наконец сказали, что Казы-Гирей желает вечного союза с Россией, возобновляя договор, заключенный в Феодорово царствование: *будет в воле* Борисовой и готов со всею Ордою идти на врагов Москвы. Послов угостили пышно и вместе с ними отправили наших к хану, для утверждения новой союзной грамоты его присягою.

В сей же день св. Петра и Павла царь простился с войском, дав ему роскошный обед в поле; 50000 гостей пировало на лугах Оки; яства, мед и вино развозили обозами; чиновников дарили бархатами, парчами и камками. Последним словом царя было: «Люблю воинство христианское и надеюсь на его верность». Громкие благословения провождали Бориса далеко по Московской дороге...

...Там новое торжество ожидало Бориса: вся Москва встретила его, как некогда Иоанна, завоевателя Казани, и патриарх в приветственной речи сказал ему: «Богом избранный, богом возлюбленный, великий самодержец!

Мы видим славу твою: ты благодаришь всевышнего! Благодарим его вместе с тобою; но радуйся же и веселися с нами, совершив подвиг бессмертный! Государство, жизнь и достояние людей целы; а лютый враг, преклонив колена, молит о мире! Ты не скрыл, но умножил талант свой в сем случае удивительном, ознаменованном более нежели человеческою мудростию... Здравствуй о господе, царь, любезный небу и народу! От радости плачем и тебе кланяемся». Патриарх, духовенство и народ преклонились до земли. Изъявляя чувствительность и смирение, государь спешил в храм Успения славословить всевышнего и в монастырь Новодевичий, к печальной Ирине. Все дома были украшены зеленью и цветами.

Но Борис еще отложил свое царское венчание до 1 сентября, чтобы совершить сей важный обряд в новое лето, в день общего доброжелательства и надежд, лестных для сердца. Между тем грамота избирательная была написана от имени земской думы, с таким прибавлением: «Всем ослушникам царской воли неблагословение и клятва от церкви, месть и

казнь от синклита и государства, клятва и казнь всякому мятежнику, *раскольнику любопрительному*¹, который дерзнет противоречить деянию соборному и колебать умы людей молвами злыми, кто бы он ни был, священного ли сана или боярского, думного или воинского, гражданин или вельможа: да погибнет и память его вовеки!» Сию грамоту утвердили 1 августа своими подписями и печатями Борис и юный Феодор, Иов, все святители, архимандриты, игумены, протопопы, келари, старцы чиновные, – бояре, окольные, знатные сановники двора, печатник Василий Щелкалов, думные дворяне и дьяки, стольники, дьяки приказов, дворяне, стряпчие и выборные из городов, жильцы, дьяки нижней степени, гости, сотские, числом около пятисот: один список ее был положен в сокровищницу царскую, где лежали государственные уставы прежних венценосцев, а другой – в патриаршую ризницу, в храме Успения. – Казалось, что мудрость человеческая сделала все возможное для твердого союза между государем и государством. Наконец Борис венчался на царство, еще пышнее и

торжественнее Феодора, ибо приял утварь Мономахову из рук вселенского патриарха. Народ благоговел в безмолвии; но когда царь, осененный десницею первосвятителя, в порыве живого чувства как бы забыв устав церковный, среди литургии воззвал громогласно: «Отче, великий патриарх Иов! Бог мне свидетель, что в моем царстве не будет ни сирого, ни бедного» – и, тряся верх своей рубашки, примолвил: «Отдам и сию последнюю народу», тогда единодушный восторг прервал священнодействие: слышны были только клики умиления и благодарности в храме; бояре словословили монарха, народ плакал. Уверяют, что новый венценосец, тронутый знаками общей к нему любви, тогда же произнес и другой важный обет: щадить жизнь и кровь самых преступников и единственно удалять их в пустыни сибирские. Одним словом, никакое царское венчание в России не действовало сильнее Борисова на воображение и чувство людей. – Осыпанный в дверях церковных золотом из рук Мстиславского, Борис в короне, с державою и скиптром спешил в царскую палату занять место варяжских князей на троне

России, чтобы милостями, щедротами и государственными благодеяниями праздновать сей день великий...

В 1599 году Борис, в знак любви к патриарху Иову, возобновил жалованную грамоту, данную Иоанном митрополиту Афанасию, такого содержания, что все люди первосвященника, его монастыри, чиновники, слуги и крестьяне их освобождаются от ведомства царских бояр, наместников, волостелей, тиунов и не судятся ими ни в каких преступлениях, кроме душегубства, завися единственно от суда патриаршего; увольняются также от всяких податей казенных. Сие древнее государственное право нашего духовенства оставалось неизменным и в царствование Василия Шуйского, Михаила и сына его.

Закон об укреплении сельских работников, целью своею благоприятный для владельцев средних или неизбыточных, как мы сказали, имел, однако ж, и для них вредное следствие, частыми побегами крестьян, особенно из селений мелкого дворянства: владельцы искали беглецов, жаловались друг на

друга в их укрывательстве, судились, разорялись. Зло было столь велико, что Борис, не желая совершенно отменить закона благонамеренного, решился объявить его только временным и в 1601 году снова дозволил земледельцам господ малочиновных, детей боярских и других, везде, кроме одного Московского уезда, переходить в известный срок от владельца к владельцу *того же состояния*, но не всем вдруг и не более, как по два вместе; а крестьянам бояр, дворян, знатных дьяков и казенным, святительским, монастырским велел остаться без перехода на означенный 1601 год. Уверяют, что изменение устава древнего и нетвердость нового, возбуждив негодование многих людей, имели влияние и на бедственную судьбу Годунова; но сие любопытное сказание историков XVIII века не основано на известиях современников, которые единогласно хвалят мудрость Бориса в делах государственных.

Хвалили его также за ревность искоренять грубые пороки народа. Несчастливая страсть к крепким напиткам, более или менее свойственная всем народам северным, долгое вре-

мя была осуждаема в России единственно учителями христианства и мнением людей нравственных. Иоанн III и внук его хотели ограничить ее неумеренность законом и наказывали оную, как гражданское преступление. Может быть, не столько для умножения царских доходов, сколько для обуздания невоздержанных Иоанн IV налагал пошлину на варение пива и меда. В Феодорово время существовали в больших городах казенные питейные дома, где продавалось и вино хлебное, неизвестное в Европе до XIV века; но и многие частные люди торговали крепкими напитками, к распространению пьянства: Борис строго запретил сию вольную продажу, объявив, что скорее помилует вора и разбойника, нежели корчемников; убеждал их жить иным способом и честными трудами; обещал дать им земли, если они желают заняться хлебопашеством: но, хотев тем, как пишут, воздержать народ от страсти, равно вредной и гнусной, царь не мог истребить корчемства, и самые казенные питейные дома, наперыв откупаемые за высокую цену, служили местом разврата для людей слабых.

В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже *университеты*, чтобы учить молодых россиян языкам европейским и *наукам*: в 1600 году он посылал в Германию немца Иоанна Крамера, уполномочив его искать там и привезти в Москву профессоров и докторов. Сия мысль обрадовала в Европе многих ревностных друзей просвещения: один из них, учитель прав, именем Товиа Лонциус, писал к Борису (в генваре 1601): «Ваше царское величество хотите быть истинным отцом отечества и заслужить всемирную бессмертную славу. Вы избраны небом совершить дело великое, новое для России: просветить ум Вашего народа несметного и тем возвысить его душу вместе с государственным могуществом, следуя примеру Египта, Греции, Рима и знаменитых держав европейских, цветущих искусствами и науками благородными». Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от сильных возражений духовенства, которое представило царю, что Россия благоденствует в мире единством

закона и языка; что разность языков может произвести и разность в мыслях опасную для церкви; что, во всяком случае, неблагоприятно вверить учение юношества католикам и лютеранам. Но, оставив мысль заводить университеты в России, царь послал 18 молодых боярских людей в Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам иноземным, так же как молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться русскому. Умом естественным поняв великую истину, что народное образование есть сила государственная, и видя несомнительное в оном превосходство других европейцев, он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только лекарей, художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. Так, посланник наш Микулин сказал в Лондоне трем путешествующим баронам немецким, что если они желают из любопытства видеть Россию, то царь с удовольствием примет их и с честью отпустит; но если, любя славу, хотят служить ему умом и мечом в деле воинском, наравне с князьями владетельными, то удивятся его ласке и милости. В 1601 году Борис с отменным благоволением при-

нял в Москве 35 ливонских дворян и граждан, изгнанных из отечества поляками. Они не смели идти во дворец, будучи худо одеты: царь велел сказать им: «Хочу видеть людей, а не платье»; обедал с ними; утешал их и тронул до слез уверением, что будет им вместо отца: дворян сделает князьями, мещан – дворянами; дал каждому, сверх богатых тканей и соболей, пристойное жалованье и поместье, не требуя в возмездие ничего, кроме любви, верности и молитвы о благоденствии его дома. Знатнейший из них, Тизенгаузен, клялся именем всех умереть за Бориса, и сии добрые ливонцы, как увидим, не обманули царя, с ревностью вступив в его немецкую дружину. Вообще благосклонный к людям ума образованного, он чрезвычайно любил своих иноземных медиков, ежедневно виделся с ними, разговаривал о делах государственных, о вере; часто просил их за него молиться и только в удовольствие им согласился на возобновление лютеранской церкви в слободе Яузской. Пастор сей церкви Мартин Бер, коему мы обязаны любопытною историею времен Годунова и следующих, пишет: «Мирно слушая уче-

ние христианское и торжественно славословя всевышнего по обрядам веры своей, немцы московские плакали от радости, что дожили до такого счастья!»

Признательность иноземцев к милостям царя не осталась бесплодною для его славы: муж ученый Фидлер, житель кенигсбергский (брат одного из Борисовых медиков), сочинил ему в 1602 году на латинском языке похвальное слово, которое читала Европа и в коем оратор уподобляет своего героя Нуме, превознося в нем законодательную мудрость, миролюбие и *чистоту нравов*. Сию последнюю хвалу действительно заслуживал Борис, ревностный наблюдатель всех уставов церковных и правил благочиния, трезвый, воздержанный, трудолюбивый, враг забав суетных и пример в жизни семейственной, супруг, родитель нежный, особенно к милому, ненаглядному сыну, которого он любил до слабости, ласкал непрестанно, называл своим влителем, не пускал никуда от себя, воспитывал с отменным старанием, даже учил наукам: любопытным памятником географических сведений сего царевича осталась ланд-

карта России, изданная под его именем в 1614 году немцем Герардом. Готовя в сыне достойного монарха для великой державы и заблаговременно приучая всех любить Феодора, Борис в делах внешних и внутренних давал ему право ходатая, заступника, умирителя; ждал его слова, чтобы оказать милость и снисхождение, действуя и в сем случае, без сомнения, как искусный политик, но еще более как страстный отец, и своим семейственным счастьем доказывая, сколь неизъяснимо слияние добра и зла в сердце человеческом!

Но время приближалось, когда сей мудрый властитель, достойно славимый тогда в Европе за свою разумную политику, любовь к просвещению, ревность быть истинным отцом отечества, – наконец, за благонравие в жизни общественной и семейственной, должен был вкусить горький плод беззакония и сделаться одною из удивительных жертв суда небесного. Предтечами были внутреннее беспокойство Борисова сердца и разные бедственные случаи, коим он еще усиленно противоборствовал твердостью духа, чтобы вдруг оказать себя слабым и как бы беспомощным в

последнем явлении своей судьбы чудесной.

<Глава вторая одиннадцатого тома>

Блестящее властвование Годунова. Молитва о царе. Подозрения Борисовы. Гонения. Голод. Новые здания в Кремле. Разбои. Порочные нравы. Мнимые чудеса. Явление самозванца. Поведение и наружность обманщика. Иезуиты. Свидание Лжедмитрия с королем польским. Письмо к папе. Собрание войска. Договоры Лжедмитрия с Мнишком. Моры, взятые Борисом. Первая измена. Витязь Басманов. Робость Годунова. Общее расположение умов. Великодушие Борисово. Битва. Поляки оставляют самозванца. Честь Басманову. Победа воевод Борисовых. Осада Кром. Письмо самозванца к Борису. Кончина Годунова.

Достигнув цели, возникнув из ничтожности рабской до высоты самодержца, усилиями неумолимыми, хитростию неусыпную, коварством, происками, злодейством, наслаждался ли Годунов в полной мере своим величием, коего алкала душа его, — величием, купленным столь дорогою ценою? Наслаждался ли и чистейшим удовольствием души, благодворя подданным и тем заслуживая

любовь отечества? По крайней мере недолго.

Первые два года сего царствования казались лучшим временем России с XV века или с ее восстановления: она была на вышней степени своего нового могущества, безопасная собственными силами и счастьем внешних обстоятельств, а внутри управляемая с мудрою твердостью и с кротостью необыкновенною. Борис исполнял обет царского венчания и справедливо хотел именоваться отцом народа, уменьшив его тягости; отцом сирых и бедных, изливая на них щедроты беспримерные; другом человечества, не касаясь жизни людей, не обагривая земли русской ни каплею крови и наказывая преступников только ссылкой. Купечество, менее стесняемое в торговле; войско, в мирной тишине осыпаемое наградами; дворяне, приказные люди, знаками милости отличающиеся за ревностную службу; синклит, уважаемый царем деятельным и советолюбивым; духовенство, честимое царем набожным, — одним словом, все государственные состояния могли быть довольны за себя и еще довольнее за отечество, видя, как Борис в Европе и в Азии возвеличил имя Рос-

сии без кровопролития и без тягостного напряжения сил ее; как радеет о благе общем, правосудии, устройстве. Итак, неудивительно, что Россия, по сказанию современников, *любила* своего венценосца, желая забыть убийство Димитрия или сомневаясь в оном!

Но венценосец знал свою тайну и не имел утешения верить любви народной; благотворя России, скоро начал удаляться от россиян; отменил устав времен древних: не хотел в известные дни и часы выходить к народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитные; являлся редко и только в пышности недоступной. Но убегая людей – как бы для того, чтобы лицом монарха не напомнить им лицо бывшего раба Иоаннова, – он хотел невидимо присутствовать в их жилищах или в мыслях и, недовольный обыкновенною молитвою в храмах о государе и государстве, велел искусным книжникам составить особенную для чтения во всей России, во всех домах, на *трапезах* и *вечерах*, *за чашами*, о душевном спасении и телесном здравии «слуги божия, царя, всевышним избранного и превознесенного, само-

держца всей Восточной страны и Северной; о царице и детях их; о благоденствии и тишине отечества и церкви под скиптром единого христианского венценосца в мире, чтобы все иные властители пред ним уклонялись и *рабски служили* ему, величая имя его от моря до моря и до конца вселенныя; чтобы россияне всегда с умилением славили бога за такого монарха, коего ум есть пучина мудрости, а сердце исполнено любви и долготерпения; чтобы все земли трепетали меча нашего, а земля русская непрестанно высилась и расширялась; чтобы юные, цветущие ветви Борисова дому возросли благословением небесным и непрерывно осеняли оную до скончания веков!» То есть святое действие души человеческой, ее таинственное сношение с небом Борис дерзнул осквернить своим тщеславием и лицемерием, заставив народ свидетельствовать пред оком всевидящим о добродетелях убийцы, губителя и хищника!.. Но Годунов, как бы не страшась бога, тем более страшился людей, и еще до ударов судьбы, до измен счастья и подданных, еще спокойный на престоле, искренно славимый, искренно

любимый, уже не знал мира душевного; уже чувствовал, что если путем беззакония можно достигнуть величия, то величие и блаженство, самое земное, не одно знаменуют.

Сие внутреннее беспокойство души, неизбежное для преступника, обнаружилось в царю несчастными действиями подозрения, которое, тревожа его, скоро встревожило и Россию. Мы видели, что он, касаясь рукою венца Мономахова, уже мечтал о тайных ковах против себя, яде, чародействе: ибо, естественно, думал, что и другие, подобные ему, могли иметь жажду к верховной власти, лицемерие и дерзость. Нескромно открыв боязнь свою и взяв с россиян клятву постыдную, Борис столь же естественно не доверял ей: хотел быть на страже неусыпной, все видеть и слышать, чтобы предупредить злые умыслы; восстановил для того бедственную Иоаннову систему доносов и вверил судьбу граждан, дворянства, вельмож сонму гнусных изветников.

Первою знаменитою жертвою подозрения и доносов был тот, с кем Годунов жил некогда душа в душу, кто охотно делил с ним милость Иоаннову и страдал за него при Феодоре, —

свойственник царицы Марии Бельский. Спасенный Годуновым от злобы народной во время московского мятежа, но оставленный надолго в честной ссылке, — снова призванный ко двору, но без всякого отличия, и в самое царствование Бориса удостоенный только второстепенного думного сана, сей главный любимец Грозного, считая себя благодетелем Годунова, мог быть или казаться недовольным, следственно виновным в глазах царя, имея еще и другую, важнейшую, вину за собою: он знал лучше иных глубину Борисова сердца! В 1600 году царь послал его в дикую степь строить новую крепость Борисов на берегу Донца Северского, без сомнения не в знак милости; но Бельский, стыдясь представлять лицо уничиженного, ехал в отдаленные пустыни как на знатнейшее воеводство, с необыкновенною пышностью, с богатою казною и множеством слуг; велел заложить город своим, а не царским людям; ежедневно угощал стрельцов и казаков, давал им одежду и деньги, не требуя ничего от государя. Следствием было то, что новую крепость построили скорее и лучше всех других крепостей; что

делатели не скучали работою, любя, славя начальника; а царю донесли, что начальник, милостию прельстив воинов, думает объявить себя независимым и говорит: «Борис – царь в Москве, а я – царь в Борисове!» Сию клевету, основанную, вероятно, на тщеславии и каком-нибудь неосторожном слове Бельского, приняли за истину (ибо Годунов желал избавиться от старинного беспокойного друга) – и решили, что он достоин смерти; но царь, хвалясь милосердием, велел только взять у него имение и выщипать ему всю длинную, густую бороду, избрав шотландского хирурга Габриеля для совершения такой новой казни. Бельский снес позор и, заточенный в один из низовых городов, дожил там до случая отмстить неблагодарному хотя в могиле. Умный, опытный в делах государственных, сей преемник Малюты Скуратова был ненавистен россиянам страшными воспоминаниями своих дней счастливых, а иноземцам – своею жестокою к ним неприязнию, которою он мог гневить и Бориса, их ревностного покровителя. Мало жалели о старом, безродном временщике; но его опала предшествовала другой,

гораздо чувствительнейшей для знатных родов и для всего отечества.

Память добродетельной Анастасии и свойство Романовых-Юрьевых с царским домом Мономаховой крови были для них правом на общее уважение и самую любовь народа. Боярин Никита Романович, достойный сей любви и личными благородными качествами, оставил 5 сыновей: Феодора, Александра, Михаила, Ивана и Василия, в последний час жизни молив Годунова быть им вместо отца. Честя их наружно – дав старшим, Феодору и Александру, боярство, Михаилу – сан окольничего, и женив своего ближнего, Ивана Ивановича Годунова, на их меньшей сестре Ирине, – Борис внутренно опасался Романовых, как совместников для его юного сына: ибо носилась молва, что Феодор за несколько времени до кончины мыслил объявить старшего из них наследником государства: молва, вероятно, несправедливая; но они, будучи единокровными Анастасии и двоюродными братьями Феодора, казались народу ближайшими к престолу. Сего было достаточно для злобы Борисовой, усиленной наказами родственни-

ков царских; но гонение требовало предлога. Если не для успокоения совести, то для мнимой безопасности гонителя, чтобы личиною закона прикрыть злодейство, как иногда поступал Грозный и сам Борис, избавляя себя от ненавистных ему людей в Феодорово время. Надежнейшими изветниками считались тогда рабы: желая ободрить их в сем предательстве, царь не устыдился явно наградить одного из слуг боярина, князя Федора Шестунова, за ложный донос на господина в недоброхотстве к венценосцу. Шестунова еще не тронули, но всенародно, на площади, *сказали* клеветнику *милостивое слово государево*, дали вольность, чин и поместье. Между тем шептали слугам Романовых, что их за такое же усердие ждет еще важнейшая милость царская; и главный клеветник нового тиранства, новый Малюта Скуратов, вельможа Семен Годунов изобрел способ уличить невинных в злодействе, надеясь на общее легковерие и невежество: подкупил казначея Романовых, дал ему мешки, наполненные кореньями, велел спрятать в кладовой у боярина Александра Никитича и донести на своих господ,

что они, тайно занимаясь составом яда, умышляют на жизнь венценосца. Вдруг сделалась в Москве тревога: синклит и все знатные чиновники спешат к патриарху; посылают окольниково Михаила Салтыкова для обыска в кладовой у боярина Александра; находят там мешки, несут к Иову и в присутствии Романовых высыпают коренья, будто бы волшебные, изготовленные для отравления царя. Все в ужасе – и вельможи, усердные, подобно римским сенаторам Тибериева или Неронова времени, с воплем кидаются на мнимых злодеев, как дикие звери на агнцев, – грозно требуют ответа и не слушают его в шуме. Отдают Романовых под крепкую стражу и велят судить, как судит беззаконие.

Сие дело – одно из гнуснейших Борисова ожесточения и бесстыдства. Не только Романовым, но и всем их ближним надлежало погибнуть, чтобы не осталось мстителей на земле за невинных страдальцев. Взяли князей Черкасских, Шестуновых, Репниных, Карповых, Сицких; знатнейшего из последних, князя Ивана Васильевича, наместника астраханского, привезли в Москву скованного с женою

и сыном. Допрашивали, ужасали пыткой, особенно Романовых; мучили, терзали слуг их безжалостно и бесполезно: никто не утешил тирана клеветою на самого себя или на других; верные рабы умирали в муках, свидетельствуя единственно о невинности господ своих пред царем и богом. Но судии не дерзали сомневаться в истине преступления, столь грубо вымышленного, и прославили неслыханное милосердие царя, когда он велел им осудить Романовых со всеми их ближними единственно на заточение, как уличенных в *измене* и в злодейском намерении известить государя средствами волшебства. В июне 1601 года исполнился *приговор боярский*: Феодора Никитича Романова (будущего знаменитого иерарха), постриженного и названного Филаретом, сослали в Сийскую Антониеву обитель; супругу его, Ксению Ивановну, также постриженную и названную Марфою, – в один из Заонежских погостов; тещу Феодорову, дворянку *Шестову*, – в Чебоксары, в Никольский девичий монастырь; Александра Никитича – в Усолье-Луду, к Белому морю; третьего Романова, Михаила, – в Великую

Пермь, в Ныробскую волость; четвертого, Ивана, – в Пелым; пятого, Василья, – в Яренск; зятя их, князя Бориса Черкасского, с женою и с детьми ее брата, Феодора Никитича, с шестилетним Михаилом (будущим царем!) и с юною дочерью, – на Белоозеро; сына Борисова, князя Ивана, в Малмыж на Вятку; князя Ивана Васильевича Сицкого – в Кожеозерский монастырь; а жену его – в пустыню Сумского острога; других Сицких, Федора и Владимира Шестуновых, Карповых и князей Репниных – в темницы разных городов: одного же из последних, воеводу яренского, будто бы за расхищение царского достояния, – в Уфу. Вотчины и поместья опальных роздали другим; имение движимое и дома взяли в казну.

Но гонение не кончилось ссылкой и лишением собственности: не веря усердию или строгости местных начальников, послали с несчастными московских приставов, коим надлежало смотреть за ними неусыпно, давать им нужное для жизни и доносить царю о каждом их слове значительном. Никто не смел взглянуть на оглашенных *изменников*, ни ходить близ уединенных домов, где они

жили, вне городов и селений, вдали от больших дорог; некоторые – в землянках, и даже скованные. В монастырь Сийский не пускали богомольцев, чтобы кто-нибудь из них не доставил письма Феодору Никитичу, иноку невольному, но ревностному в благочестии: коварный пристав, с умыслом заговаривая ему о дворе, семействе и друзьях его, доносил Царю, что Филарет не находит между боярами и вельможами ни одного весьма умного, способного к делам государственным, кроме опального Богдана Бельского, и считает себя жертвою их злобных наветов; что хотя занимается единственно спасением души, но тоскует о жене и детях, не зная, где они без него сиротствуют, и моля бога о скором конце их бедственной жизни (бог не услышал сей молитвы, ко счастью России!). Донесли также царю, что Василий Романов, отягченный болезнию и цепями, не хотел однажды славить милосердия Борисова, сказав приставу: «Истинная добродетель не знает тщеславия». Но Борис, как бы желая доказать узнику истину своего милосердия, велел снять с него цепи, объявить за них царский гнев приставу, из-

лишно ревностному в угнетении опальных, – перевезти недужного Василия в Пелым, к брату Ивану Никитичу, лишенному движения в руке и ноге от удара, и дать им печальное утешение страдать вместе. Василий от долговременной болезни скончался (15 февраля 1602) под молитвою брата и великодушного раба, который, верно служив господину в чести, служил ему и в оковах с усердием нежного сына. Александр и Михайло Никитичи также недолго жили в темнице, быв жертвою горести или насильственной смерти, как пишут: первого схоронили в Луде, второго – в семи верстах от Чердыня, близ села Ныроба, в месте пустынном, где над могилою выросли два кедра. Доныне в церкви Ныробской хранятся Михайловы тяжкие оковы, и старцы еще рассказывают там о великодушном терпении, о чудесной силе и крепости сего мужа, о любви к нему всех жителей, коих дети приходили к его темнице играть на свирелях и сквозь отверстия землянки подавали узнику все лучшее, что имели, для утоления голода и жажды: любовь, за которую их гнали при Годунове и наградили в царствование Романовых

милостивою, обельною грамотою. – Если верить летописцу, то Борис, велев удавить в монастыре князя Ивана Сицкого с женою, хотел уморить голодом и недужного Ивана Романова; но бумаги приказные свидетельствуют, что последний имел весьма не бедное содержание, ежедневно два или три блюда, мясо, рыбу, белый хлеб и что у пристава его было 90 (450 нынешних серебряных) рублей в казне для доставления ему нужного. Скоро участь опальных смягчилась, от политики лицаря (ибо народ жалел об них) или от ходатайства зятя Романовых, крайчего Ивана Ивановича Годунова. В марте 1602 царь *милостиво указал* Ивану Романову (оставляя его под надзором, но уже без имени злодея) ехать в Уфу *на службу*, оттуда в Нижний-Новгород и, наконец, в Москву, вместе с племянником, князем Иваном Черкасским; Сицких послал воеводствовать в города низовские (освободил ли Шестуновых и Репниных, неизвестно); а княгине Черкасской Марфе Никитишне, овдовевшей на Белоозере, велел жить с невесткою, сестрою и детьми Феодора Никитича, в отчине Романовых, Юрьевского уезда, в село

Клине, где, лишенный отца и матери, но блю-
домый провидением, дожил семилетний от-
рок Михаил, грядущий венценосец России, до
гибели Борисова племени. Царь хотел изъ-
явить милость и Филарету: позволил ему сто-
ять в церкви на крылосе, взять к себе чернца
в келию для услуг и беседы; приказал всем до-
вольствоваться своего *изменника* (еще так на-
зывая сего мужа непорочного в совести) и для
богомольцев отворить монастырь Сийский,
но не пускать их к опальному иноку; прика-
зал, наконец (в 1605 году), посвятить Филаре-
та в иеромонахи и в архимандриты, чтобы
тем более удалить его от мира!

Не одни Романовы были страшилищем
для Борисова воображения. Он запретил кня-
зьям Мстиславскому и Василию Шуйскому
жениться, думая, что их дети, по древней
знатности своего рода, могли бы также состя-
заться с его сыном о престоле. Между тем,
устраняя будущие мнимые опасности для
юного Феодора, робкий губитель трепетал на-
стоящих: волнуемый подозрениями, непре-
станно боясь тайных злодеев и равно боясь
заслужить народную ненависть мучитель-

ством, гнал и миловал: сослал воеводу, князя Владимира Бахтеярова-Ростовского, и простил его; удалил от дел знаменитого дьяка Щелкалова, но без явной опалы; несколько раз удалял и Шуйских и снова приближал к себе: ласкал их и в то же время грозил немилостию всякому, кто имел обхождение с ними. Не было торжественных казней, но морили несчастных в темницах, пытали по доносам. Сонмы изветников, если не всегда награждаемых, то всегда свободных от наказания за ложь и клевету, стремились к царским палатам из домов боярских и хижин, из монастырей и церквей: слуги доносили на господ, иноки, попы, дьячки, просвирицы – на людей всякого звания, – самые жены – на мужей, самые дети – на отцов, к ужасу человечества! «И в диких ордах (прибавляет летописец) не бывает столь великого зла: господа не смели глядеть на рабов своих, ни ближние искренно говорить между собою; а когда говорили, то взаимно обязывались страшною клятвою не изменять скромности». Одним словом, сие печальное время Борисова царствования, уступая Иоаннову в кровопийстве, не уступа-

ло ему в беззаконии и разврате: наследство, гибельное для будущего! Но великодушие еще действовало в россиянах (оно пережило Иоанна и Годунова, чтобы спасти отечество): жалели о невинных страдальцах и мерзли постыдными милостями венценосца к доносителям; другие боялись за себя, за ближних – и скоро неудовольствие сделалось общим. Еще многие славили Бориса: приверженники, льстецы, изветники, утучняемые стяжанием опальных; еще знатное духовенство, как уверяют, хранило в душе усердие к венценосцу, который осыпал святителей знаками благоволения: но глас отечества уже не слышался в хвале частной, корыстолюбивой, и молчание народа, служа для царя явною укоризною, возвестило важную перемену в сердцах россиян: *они уже не любили Бориса!*

Так говорит летописец современный, беспристрастный и сам знаменитый в нашей истории своею государственною доблестью: келарь Палицын. Народы всегда благодарны: оставляя небу судить тайну Борисова сердца, россияне искренно славил царя, когда он под личиною добродетели казался им отцом

народа; но, признав в нем тирана, естественно возненавидели его и за настоящее и за минувшее: в чем, может быть, хотели сомневаться, в том снова удостоверились, и кровь Димитриева явнее означилась для них на порфире губителя невинных; вспомнили судьбу Углича и других жертв мстительного властолюбия Годунова; безмолвствовали, но тем сильнее чувствовали в присутствии изветников – и тем сильнее говорили в святых местах, недоступных для услужников тиранства, коего время бывает и царством клеветы и царством ненарушимой скромности: там, в тихих беседах дружества, неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его не только душегубством, гонением людей знаменитых, грабежом их достояния, алчностью к прибытку незаконному, корыстолюбивым введением откупов, размножением казенных домов питейных, порчею нравов, но и пристрастием к иноземным, новым обычаям (из коих брадобритие особенно соблазняло усердных староверов), даже наклоностью к армейской и к латинской ереси! Как любовь, так и ненависть редко бывают до-

вольны истинною: первая – в хвале, последняя – в осуждении. Годунову ставили в вину и самую ревность его к просвещению!

В сие время общей нелюбви к Борису он имел случай доказать свою чувствительность к народному бедствию, заботливость, щедрость необыкновенную; но и тем уже не мог тронуть сердец, к нему остывших. – Среди естественного обилия и богатства земли плодотворной, населенной хлебопашцами трудолюбивыми; среди благословений долговременного мира и в царствование деятельное, предусмотрительное, пала на миллионы людей казнь страшная: весною, в 1601 году, небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили в течение десяти недель непрестанно, так что жители сельские пришли в ужас: не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать; а 15 августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым. Еще в житницах и в гумнах находилось немало старого хлеба; но земледельцы, к несчастью, засеяли поля новым, гнилым, тощим и не видали всходов ни осенью, ни весною: все истлело и смешалось с землею. Между тем запасы изо-

шли, и поля уже остались незасеянными. Тогда началось бедствие, и вопль голодных встревожил царя. Не только гумна в селах, но и рынки в столице опустели, и четверть ржи возвысилась ценою от 12 и 15 денег до трех (15 нынешних серебряных) рублей. Борис велел отворить царские житницы в Москве и в других городах; убедил духовенство и вельмож продавать хлебные свои запасы также низкою ценою; отворил и казну: в четырех оградах, сделанных близ деревянной стены московской, лежали кучи серебра для бедных; ежедневно, в час утра, каждому давали две московки, деньгу или копейку, – но голод свирепствовал: ибо хитрые корыстолюбцы обманом скупали дешевый хлеб в житницах казенных, святительских, боярских, чтобы возвышать его цену и торговать им с прибытком бессовестным; бедные, получая в день копейку серебряную, не могли питаться. Самое благодеяние обратилось во зло для столицы: из всех ближних и дальних мест земледельцы с женами и детьми стремились толпами в Москву за царскою милостынею, умножая тем число нищих. Казна раздавала в день

несколько тысяч рублей, и бесполезно: голод усиливался и наконец достиг крайности столь ужасной, что нельзя без трепета читать ее достоверного описания в преданиях современников. «Свидетельствуюсь истиною и богом, – пишет один из них, – что я собственными глазами видел в Москве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту, щипали траву и питались ею; у мертвых находили во рту сено». Мясо лошадиное казалось лакомством: ели собак, кошек, стерво², всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей: оставляли семейства и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства: давили, резали сонных для ужасной пищи! Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках! Матери глодали трупы своих младенцев!.. Злодеев казнили, жгли, кидали в воду; но преступления не уменьшались... И в сие время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать его еще дороже!.. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались

полумертвые, падали, издыхали на площадях. Москва заразилась бы смрадом гниющих тел, если бы царь не велел, на свое иждивение, хоронить их, истощая казну и для мертвых. Приставы ездили в Москве из улицы в улицу, подбирали мертвецов, обмывали, завертывали в белые саваны, обували в красные башмаки или коты и сотнями возили за город в три скудельницы, где в два года и четыре месяца было схоронено 127 000 трупов, кроме погребенных людьми христоробивыми у церквей приходских. Пишут, что в одной Москве умерло тогда 500000 человек, а в селах и в других областях еще несравненно более, от голода и холода: ибо зимою нищие толпами замерзали на дорогах. Пища неестественная также производила болезни и мор, особенно в Смоленском уезде, куда царь в одно время послал 20 000 рублей для бедных, не оставив ни одного города в России без вспоможения и если не спасая многих, то везде уменьшая число жертв, так что сокровищница московская, полная от благополучного Феодорова царствования, казалась неистоцимою. И все иные возможные меры были им приняты: он

не только в ближних городах скупал, ценою им определенною, волею и неволею, все хлебные запасы у богатых, но послал и в самые дальние, изобильнейшие места освидетельствовать гумна, где еще нашлись огромные скирды, в течение полувека неприкосновенные и поросшие деревьями: велел немедленно молотить и везти хлеб как в Москву, так и в другие области. В доставлении встречались неминуемые, едва одолимые трудности: во многих местах на пути не было ни подвод, ни корму; ямщики и все жители сельские разбежались. Обозы шли Россиею, как бы пустынею африканскою, под мечами и копьями воинов, опасаясь нападения голодных, которые не только вне селений, но и в Москве, на улицах и рынках, силою отнимали съестное. – Наконец деятельность верховной власти устранила все препятствия, и в 1603 году мало-помалу исчезли все знаменья ужаснейшего из зол: снова явилось обилие, и такое, что четверть хлеба упала ценою от трех рублей до 10 копеек, к восхищению народа и к отчаянию корыстолюбцев, еще богатых тайными запасами ржи и пшеницы! – Памятником бывшей бес-

примерной дороговизны осталась навсегда, как сказано в летописях, ею введенная новая мера четверика: ибо до 1601 года хлеб продавали в России единственно *оковами*, бочками или *кадями*, четвертями и осьминами.

Бедствие прекратилось, но следы его не могли быть скоро изглажены: заметно уменьшилось число людей в России и достояние многих; оскудела, без сомнения, и казна, хотя Годунов, великодушно расточая оную для спасения народного, не только не убавил своей обыкновенной пышности царской, но еще более нежели когда-нибудь хотел блистать оною, чтобы закрыть тем действие гнева небесного, особенно для послов иноземных, окружая их на пути, от границы до Москвы, призраками изобилия и роскоши: везде являлись люди, богато или красиво одетые; везде рынки, полные товаров, мяса и хлеба, и ни единого нищего там, где за версту в сторону могилы наполнялись жертвами голода. В сие то время Борис столь пышно угощал своего нареченного зятя, герцога датского, – и в сие же время украшал древний Кремль новыми зданиями: в 1600 году воздвигнув огромную

колокольню Ивана Великого, пристроил в 1601 и 1602 годах, на месте сломанного деревянного дворца Иоаннова, две большие каменные палаты к Золотой и Грановитой, Столовую и Панихидную, чтобы доставить тем работу и пропитание людям бедным, соединяя с милостию пользу и во дни плача думая о велелепии! Однако ж не московские летописцы, а только чужеземные историки упрекают Бориса гордостью неуклонною и в общем бедствии, суетою, тщеславием, рассказывая, что он запретил тогда россиянам купить весьма умеренною ценою знатное количество ржи у немцев в Иване-городе, стыдясь питать народ свой чужим хлебом. Известие, конечно, несправедливое: ибо наши государственные бумаги, свидетельствуя о приходе туда немецких кораблей с хлебом в 1602 году, не упоминают о таком жестоком запрете. Борис, оказав в сем несчастье столько деятельности и столько щедрости, чтобы удостоверить Россию в любви истинно отеческой царя к подданным, не мог. явно жертвовать их спасением тщеславию безумному.

Но Борис не обольстил россиян своими

благоденствиями: ибо мысль, для него страшная, господствовала в душах – мысль, что небо за беззакония царя казнит царство. «Изливая на бедных щедроты, – говорят летописцы, – он в золотой чаше подавал им кровь невинных, да пьют во здравие; питал их милостынею богопротивною, расхитив имение вельмож честных и древние сокровища царские осквернив добычею грабежа». – Россия не благоденствовала в новом изобилии; не имела времени успокоиться; открылось новое бедствие, в коем современники непосредственно винули Бориса.

Еще Иоанн IV, желая населить литовскую Украину, землю Северскую, людьми, годными к ратному делу, не мешал в ней укрываться и спокойно жить преступникам, которые уходили туда от казни: ибо думал, что они в случае войны могут быть надежными защитниками границы. Борис, любя следовать многим государственным мыслям Иоанновым, последовал и сей, весьма ложной и весьма несчастной: ибо незнаемо изготовил тем многочисленную дружину злодеев в услугу врагам отечества и собственным. «Великий

разум и жестокость Грозного, – по словам летописца, – не давали двинуться змиям; а кроткий, набожный Феодор связывал их своею молитвою»; но Борис увидел зло и еще увеличил его другими плодами своего мудрования, несогласного с вечными уставами правды. Издревле бояре наши окружали себя толпами слуг, вольных и крепостных; издревле также любили кабалить первых: закон, изданный в Феодорово время, единственно в угодность знатному дворянству, об укреплении всех людей, служащих господам не менее шести месяцев, совершенно прекратил род вольных слуг в нашем отечестве и наполнил дома боярские рабами, коими сделались тогда, в противность Иоаннову судебнику, даже и многие люди воинские, благородные, от нищеты, но без стыда служив богачам именитым: закон, недостойный сего имени своею явною несправедливостию! Еще мало: к его действию присоединилось и насилие: знатные и случайные бессовестно укрепляли и не слуг, а всякого беззащитного, кто им нравился художеством, рукодельем, ловкостию или красотою. Но, в дешевое время охотно умножав

свою челядь, дворяне во время голода начали распускать ее: воля обратилась в казнь и мучительство! Люди, еще совестные, выгоняли слуг из дому по крайней мере с отпускными; а злые – без всякого письменного вида, с намерением клепать их в бегстве и в сносе, чтобы ябедою суда разорять тех, которые могли бы из человеколюбия дать им у себя дело и пищу: ужас разврата обыкновенного в години бедствий! Несчастные гибли или разбойничали, вместе со многими людьми вельмож ссыльных, Романовых и других, осужденными вести жизнь бродяг (ибо никто не смел принять слуг опального), – вместе с украинскими беглецами, ходившими из гнезда своего на добычу и внутрь России. Явились шайки на дорогах; завелись пристани в местах глухих и лесистых; грабили, убивали под самую Москву. Не боялись и сыскных дружин воинских: злодеи смело пускались на сечу с ними, имея атаманом Хлопка, или Косолапа, удальца редкого. Государь должен был действовать с усилием немаловажным и в мирное время отрядить целое войско против разбойника! Главный воевода, окольный Иван

Федорович Басманов, едва выступив в поле, уже встретил Хлопка, врага презрительного, но злого, который, соединив свои шайки, дерзнул близ Москвы спорить с ним о победе. Упорная битва, бесславная и жестокая, решилась смертью Басманова: видя его падающего с коня, воины кинулись на разбойников, не жалели себя и наконец одолели их остервенение; большую часть истребили и взяли в плен атамана, изнемогшего от тяжелых ран, — злодея, коего необыкновенная храбрость достойна была лучшего побуждения и лучшей цели! Удивленный дерзостью сего опасного скопища, Борис искал, кажется, тайных соумышленников или наставников Хлопка между людьми значительнейшими, зная, что в его шайках находились слуги господ опальных, и подозревая, что они могли быть вооружены местию против гонителя Романовых. Нарядили следствие; допрашивали, пытали взятых разбойников; но, по-видимому, ничего не узнали, кроме их собственных злодеяний. Хлопко, вероятно, умер от ран или в муках: всех других перевешали, и Борис единственно в сем случае уклонился от своего че-

ловеколюбивого обета не казнить никого смертью. – Еще многие из товарищей Хлопковых спаслись бегством в Украину, где воеводы, по указу государеву, их ловили и вешали, но не могли истребить гнезда злодейского, которое ждало нового, гораздо опаснейшего атамана, чтобы дать ему передовую дружину на пути к столице!

Так готовилась Россия к ужаснейшему из явлений в своей истории; готовилась долго: неистовым тиранством двадцати четырех лет Иоанновых, адскою игрою Борисова властолюбия, бедствиями свирепого голода и всеместных разбоев, ожесточением сердец, развратом народа – всем, что предшествует испровержению государств, осужденных провидением на гибель или на мучительное возрождение.

Если, как пишут очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях; если долговременный голод не смирил, не исправил их, но еще умножил пороки между ими: распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданию ближних; если и самое лучшее дворянство и самое духовенство заражалось общею

язвою разврата, слабая в усердии к отечеству от беззаконий царя, уже вообще ненавистно: то нужны ли были иные чудесные знамения для устрашения России? Ибо сии же летописцы, следуя древнему обыкновению суеверия, рассказывают, что «нередко восходили тогда две и три луны, два и три солнца вместе; столпы огненные, ночью пылая на тверди, в своих быстрых движениях представляли битву воинств и красным цветом озаряли землю; от бурь и вихрей падали колокольни и башни; женщины и животные производили на свет множество уродов; рыбы во глубине вод и дичь в лесах исчезали или, употребляемые в пищу, не имели вкуса; алчные псы и волки, везде бегая станицами, пожирали людей и друг друга; звери и птицы невиданные явились; орлы парили над Москвою; в улицах, у самого дворца, ловили руками лисиц черных; летом (в 1604 году) в светлый полдень воссияла на небе комета, и мудрый старец, за несколько лет пред тем вызванный Борисом из Германии, объявил дьяку государственному (Власьеву), что царству угрожает великая опасность». Оставим суеверие пред-

кам; его мнимые ужасы не столь разнообразны, как действительные в истории народов.

В сие время скончалась Ирина, в келий Новодевичьего монастыря, около шести лет не выйдя из своего добровольного заключения никуда, кроме церкви, пристроенной к ее смиренному жилищу. Жена знаменитая и душевными качествами и судьбою необыкновенною; без отца, без матери, в печальном сиротстве взысканная удивительным счастьем; воспитанная, любимая Иоанном – и добродетельная; первая *державная царица* России и в юных летах монахиня; чистая сердцем пред богом, но омраченная в истории союзом с злым властолюбцем, коему она указала путь к престолу, хотя и невинно, будучи ослеплена любовью к нему и блеском его наружных добродетелей, не зная его тайных преступлений или не веря оным. Мог ли Борис открыть свою темную душу сердцу, преданному святой набожности? Он делил с нежною сестрою только добрые чувства: с нею радовался торжеству отечества и скорбел о случаях, бедственных для оногo; поверял ей, может быть, свое великое намерение просветить Россию,

жаловался на злую неблагодарность, на злые умыслы, призраки его беспокойной совести, и на горестную необходимость карать вельмож-изменников; лицемерив пред сестрою в добре, не лицемерил, может быть, только в изъявлениях скорби о кончине ее: Ирина не мешала ему державствовать и служила ангелом-хранителем, всеми любимая как истинная мать народа и в келий. Погребли инокиню с великолепием царским в девичьем Вознесенском монастыре, близ гроба Иоанновой дочери Марии – и никогда не раздавалось столько милостыни, как в сей день печали; бедные во всех городах российских благословили щедрость Борисову. – Ирина была счастлива, смежив глаза навеки: ибо не видала гибели всего, что еще любила в жизни.

Настало время явной казни для того, кто не верил правосудию божественному в земном мире, надеясь, может быть, смиренным покаянием спасти свою душу от ада (как надеялся Иоанн) и делами достохвальными загладить для людей память своих беззаконий. Не там, где Борис стерегся опасности, незапная опасность явилась; не потомки Рюрико-

вы, не князя и вельможи, им гонимые, – не дети и друзья их, вооруженные местию, умыслили свергнуть его с царства: сие дело умыслил и совершил презренный бродяга, именем младенца, давно лежавшего в могиле... Как бы действием сверхъестественным, тень Дмитриева вышла из гроба, чтобы ужасом поразить, обезумить убийцу и привести в смятение всю Россию. Начинаем повесть, равно истинную и невероятную.

Бедный сын боярский, галичанин Юрий Отрепьев, в юности лишась отца, именем Богдана-Якова, стрелецкого сотника, зарезанного в Москве пьяным литвином, служил в доме у Романовых и князя Бориса Черкасского; знал грамоте; оказывал много ума, но мало благоразумия; скучал низким состоянием и решился искать удовольствия беспечной праздности в сане инока, следуя примеру деда, Замятин-Отрепьева, который уже давно монашествовал в обители Чудовской. Постриженный вятским игуменом Трифоном и названный Григорием, сей юный чернец скитался из места в место; жил несколько времени в Суздале, в обители св. Евфимия, в галицкой Иоанна

Предтечи и в других; наконец, в Чудове монастыре, в келий у деда, под началом. Там патриарх Иов узнал его, посвятил в диаконы и взял к себе для книжного дела: ибо Григорий умел не только хорошо списывать, но даже и сочинять каноны святым лучше многих старых книжников того времени. Пользуясь милостию Иова, он часто ездил с ним и во дворец: видел пышность царскую и пленялся ею; изъяснял необыкновенное любопытство; с жадностию слушал людей разумных, особенно когда в искренних, тайных беседах произносилось имя Димитрия царевича; везде, где мог, выведывал обстоятельства его судьбы несчастной и записывал на хартии. Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым иноком: мысль, что смелый самозванец может воспользоваться легковерием россиян, умиляемых памятью Димитрия, и в честь небесного правосудия казнить святоубийцу! Семя пало на землю плодоносную: юный диакон с прилежанием читал российские летописи и нескромно, хотя и в шутку, говаривал иногда чудовским монахам: «Знаете ли, что я

буду царем на Москве?» Одни смеялись; другие плевали ему в глаза, как вралю дерзкому. Сии или подобные речи дошли до Ростовского митрополита Ионы, который объявил патриарху и самому царю, что «недостойный инок Григорий хочет быть сосудом дьявольским»: добродушный патриарх не уважил митрополитова извета; но царь велел дьяку своему Смирному-Васильеву отправить безумца Григория в Соловки или в Белозерские пустыни, будто бы за ересь, на вечное покаяние. Смирной сказал о том другому дьяку, Евфимьеву; Евфимьев же, будучи свойственником Отрепьевых, умолил его не спешить в исполнении царского указа и дал способ опальному дьякону спастись бегством (в феврале 1602 года) вместе с двумя иноками чудовскими, священником Варлаамом и крылошанином Мисаилом Повадиным. Не думали гнаться за ними и не известили царя, как уверяют, о сем побеге, коего следствия оказались столь важными.

Бродяги-иноки были тогда явлением обыкновенным; всякая обитель служила для них гостиницею: во всякой находили они покой и довольствие, а на путь – запас и благослове-

ние. Григорий и товарищи его свободно достигли Новагорода Северского, где архимандрит Спасской обители принял их весьма дружелюбно и дал им слугу с лошадьми, чтобы ехать в Путивль; но беглецы, отослав провожатого, спешили в Киев, и Спасский архимандрит нашел в келий, где жил Григорий, следующую записку: «Я царевич Димитрий, сын Иоаннов, и не забуду, твоей ласки, когда сяду на престол отца моего». Архимандрит ужаснулся, не знал, что делать; решился молчать.

Так в первый раз открылся самозванец еще в пределах России; так беглый диакон вздумал грубою ложью низвергнуть великого монарха и сесть на его престоле, в державе, где венценосец считался земным богом, — где народ еще никогда не изменял царям и где присяга, данная государю *избранному*, для верных подданных была не менее священной! Чем, кроме действия непостижимой судьбы, кроме воли провидения, можем объяснить не только успех, но самую мысль такого предприятия? Оно казалось безумием; но безумец избрал надежнейший путь к цели:

Литву!

Там древняя, естественная ненависть к России всегда усердно благопритствовала нашим изменникам, от князей Шемякина, Верейского, Боровского и Тверского до Курбского и Головина: туда устремился и самозванец, не прямою дорогою, а мимо Стародуба, к Луевым горам, сквозь темные леса и дебри, где служил ему путеводителем новый спутник его, инок *Днепра* монастыря Пимен, и где, вышедши наконец из российских владений близ литовского селения Слободки, он принес усердную благодарность небу за счастливое избежание всех опасностей. В Киеве, снискав милость знаменитого воеводы князя Василия Константиновича Острожского, Григорий жил в Печерском монастыре, а после в Никольском и в Дермане; везде священнодействовал как диакон, но вел жизнь соблазнительную, презирая устав воздержаний и целомудрия; хвалился свободою мнений, любил толковать о законе с иноверцами и был даже в тесной связи с анабаптистами. Между тем безумная мысль не усыпала в голове прошлеца: он распустил темную молву о спасении и

тайном убежище Димитрия в Литве; свел знакомство с другим отчаянным бродягою, иноком Крыпецкого монастыря Леонидом: уговорил его назваться своим именем, то есть Григорием Отрепьевым, а сам, скинув с себя одежду монашескую, явился мирянином, чтобы удобнее приобрести навыки и знания, нужные ему для ослепления людей. Среди густых камышей днепровских гнездились тогда шайки удалых запорожцев, бдительных стражей и дерзких грабителей литовского княжества: у них, как пишут, расстрига Отрепьев несколько времени учился владеть мечом и конем, в шайке Герасима Евангелика, старшины именитого; узнал и полюбил опасность; добыл первой воинской опытности и корысти. Но скоро увидели прошлеца на ином феатре: в мирной школе городка Волынского, Гащи, за польскою и латинскою грамматикою: ибо мнимому царевичу надобно было действовать не только оружием, но и словом. Из школы он перешел в службу к князю Адаму Вишневецкому, который жил в Брагине со всею пышностию богатого вельможи. Тут самозванец приступил к делу – и если ис-

кал надежного, лучшего пособника в предприятии равно дерзком и нелепом, то не обманулся в выборе: ибо Вишневецкий, сильный при дворе и в государственной думе многочисленными друзьями и прислужниками, соединял в себе надменность с умом слабым и легковерием младенца. Новый слуга знаменитого пана вел себя скромно; убегал всяких низких забав, ревностно участвовал только в воинских, и с отменною ловкостию. Имея наружность некрасивую – рост средний, грудь широкую, волосы рыжеватые, лицо круглое, белое, но совсем непривлекательное, глаза голубые без огня, взор тусклый, нос широкий, бородавку под правым глазом, также на лбу и одну руку короче другой, – Отрепьев заменял сию невыгоду живостию и смелостию ума, красноречием, осанкою благородною. Заслужив внимание и доброе расположение господина, хитрый обманщик притворился больным, требовал духовника и сказал ему тихо: «Умираю. Предай мое тело земле с честью, как хоронят детей царских. Не объявлю своей тайны до гроба; когда же закрою глаза навеки, ты найдешь у меня под ложем свиток и

все узнаешь; но другим не сказывай. Бог судил мне умереть в злосчастьи». Духовник был иезуит: он спешил известить князя Вишневецкого о сей тайне, а любопытный князь спешил узнать ее: обыскал постелю мнимо умирающего; нашел бумагу, заблаговременно изготовленную, и прочитал в ней, что слуга его есть царевич Димитрий, спасенный от убиения своим верным медиком; что злодеи, присланные в Углич, умертвили одного сына иерейского вместо Димитрия, коего укрыли добрые вельможи и дьяки Щелкаловы, а после выпроводили в Литву, исполняя наказ Иоаннов, данный им на сей случай. Вишневецкий изумился: еще хотел сомневаться, но уже не мог, когда хитрец, вина нескромность духовника, раскрыл свою грудь, показал золотой драгоценными камнями осыпанный крест (вероятно, где-нибудь украденный) и с слезами объявил, что сия святыня дана ему крестным отцом, князем Иваном Мстиславским.

Вельможа литовский был в восхищении. Какая слава представлялась для него возможною! Бывшего слугу своего увидеть на троне

московском! Он не щадил ничего, чтобы поднять мнимого Димитрия с одра смертного, и, в краткое время его притворного выздоровления изготовив ему великолепное жилище, пышную услугу, богатые одежды, успел во всей Литве разгласить о чудесном спасении Иоаннова сына. Брат князя Адама Константин Вишневецкий и тесть сего последнего воевода сендомирский Юрий Мнишек взяли особенное участие в судьбе столь знаменитого изгнанника, как они думали, веря свитку, золотому кресту обманщика и свидетельству двух слуг: обличенного вора, беглеца Петровского и другого, Мнишкова холопа, который в Иоанново время был нашим пленником и будто бы видал Димитрия (младенца двух или трех лет) в Угличе: первый уверял, что царевич действительно имел приметы самозванца (дотоле никому не известные): бородавки на лице и короткую руку. Вишневецкие донесли Сигизмунду, что у них истинный наследник Феодоров; а Сигизмунд отвечал, что желает его видеть, уже быв извещен о сем любопытном явлении другими, не менее ревностными доброхотами самозванца:

папским нунцием Рангони и пронырливыми иезуитами, которые тогда царствовали в Польше, управляя совестью малодушного Сигизмунда, и легко вразумили его в важные следствия такого случая.

В самом деле, что могло казаться счастливее для Литвы и Рима? Чего нельзя было им требовать от благодарности Лжедмитрия, содействуя ему в приобретении царства, которое всегда грозило Литве и всегда отвергало духовную власть Рима? В опасном неприятеле Сигизмунд мог найти друга и союзника, а папа – усердного сына в непреклонном послушнике. Сим изъясняется легковерие короля и нунция: думали не об истине, но единственно о пользе; одно бедствие, одно смятение и междоусобие России уже пленяло воображение наших врагов естественных; и если робкий Сигизмунд еще колебался, то ревностные иезуиты победили его нерешимость, представив ему способ, обольстительный для душ слабых: действовать не открыто, не прямо, а под личиною мирного соседа ввергнуть пламя войны в Россию. – Уже Рангони находился в тесной связи с самозванцем, и дея-

тельные иезуиты служили посредниками между ими; уже с обеих сторон изъяснились и заключили договор: Лжедмитрий письменно обязался за себя и за Россию пристать к латинской церкви, а Рангони – быть его ходатаем не только в Польше и в Риме, но и во всей Европе; советовал ему спешить к королю и ручался за доброе следствие их свидания.

Вместе с воеводою сендомирским и князем Вишневецким Отрепьев (в 1603 или 1604 году) явился в Кракове, где нунций немедленно посетил его. «Я сам был тому свидетелем, – пишет секретарь королевский Чилли, *веря мно- мому царевичу*, – я видел, как нунций обнимал и ласкал Дмитрия, беседуя с ним о России и говоря, что ему должно торжественно объявить себя католиком для успеха в своем деле. Дмитрий с видом сердечного умиления клялся в непрременном исполнении данного им обета и вторично подтвердил сию клятву в доме у нунция, в присутствии многих вельмож. Угостив царевича пышным обедом, Рангони повез его во дворец. Сигизмунд, обыкновенно важный и величавый, принял Дмитрия в кабинете стоя и с ласковою улыб-

кою. Димитрий поцеловал у него руку, рассказал ему всю свою историю и заключил так: «Государь! Вспомни, что ты сам родился в узах и спасен единственно провидением. Державный изгнанник требует от тебя сожаления и помощи». Чиновник королевский дал знак царевичу, чтобы он вышел в другую комнату, где воевода сендомирский и все мы ждали его. Король остался наедине с нунцием и чрез несколько минут снова призвал Димитрия. Положив руку на сердце, смиренный царевич более вздохами, нежели словами, убеждал Сигизмунда быть милостивым. Тогда король с веселым видом, приподняв свою шляпу, сказал: «Да поможет вам бог, московский князь Димитрий! а мы, выслушав и рассмотрев все ваши свидетельства, несомненно видим в вас Иоаннова сына и в доказательство нашего искреннего благоволения определяем вам ежегодно 40000 злотых (54000 нынешних рублей серебряных) на содержание и всякие издержки. Сверх того, вы, как истинный друг республики, вольны сноситься с нашими панами и пользоваться их усердным вспоможением». Сия речь столь восхити-

ла Димитрия, что он не мог сказать ни единого слова: нунций благодарил короля, привез царевича в дом к воеводе сендомирскому и, снова обняв его, советовал ему действовать немедленно, чтобы скорее достигнуть цели: отнять державу у Годунова и навеки утвердить в России веру католическую с иезуитами». Прежде всего надлежало самому Лжедмитрию принять сию веру: чего неотменно хотел Рангони; но условились не оглашать того до времени, боясь закоренелой ненависти россиян к латинской церкви. Действие совершилось в доме краковских иезуитов. Расстрига шел к ним тайно, с каким-то вельможею польским, в бедном рубище, закрывая лицо свое, чтобы никто не узнал его; выбрал одного из них себе в духовники, исповедался, отрекся от нашей церкви и, как новый ревностный сын западной, принял тело Христово с миропомазанием от римского нунция. Так сказано в «Письмах иезуитского общества», которое славilo *будущие* великие добродетели мнимого Димитрия, надеясь усердием его подчинить Риму *все неизмеримые страны Востока!* – Тогда Отрепьев, следуя наставлени-

ям нунция, собственною рукою написал красноречивое латинское письмо к папе, чтобы иметь в нем искреннего покровителя, — и Климент VIII не замедлил удостоверить его в своей готовности вспомогать ему всею духовною властью апостольского наместника.

Должно отдать справедливость уму расстриги: предав себя иезуитам, он выбрал действительнейшее средство одушевить ревностию беспечного Сигизмунда, который, вопреки чести, совести, народному праву и мнению многих знатных вельмож, решился быть сподвижником бродяги. Славный друг Баториев гетман Замоиский был еще жив: король писал к нему о своем важном предприятии, говоря, что республика, доставив Димитрию корону, будет располагать силами Московской державы, легко обуздает турков, хана и шведов, возьмет? Эстонию и всю Ливонию, откроет путь для своей торговли в Персию и в Индию; но что сие великое намерение, требуя тайны и скорости, не может быть предложено сейму, дабы Годунов не имел времени изготавиться к обороне. Тщетно старец Замоиский, пан Жолкевский, князь Острожский и

другие вельможи благоразумные удерживали короля, не советуя ему легкомысленно вдаваться в опасность такой войны, особенно без ведома чинов государственных и с малыми силами; тщетно знаменитый пан Збаражский доказывал, что мнимый Димитрий есть, без сомнения, обманщик. Убежденный иезуитами, но не дерзая самовластно нарушить двадцатилетнего перемирия, заключенного между им и Борисом, король велел Мнишку и Вишневецким поднять знамя против Годунова именем Иоаннова сына и составить рать из вольницы; определил ей на жалованье доходы сендомирского воеводства; внушал дворянам, что слава и богатство ожидают их в России, и, торжественно возложив с своей груди золотую цепь на расстригу, отпустил его с двумя иезуитами из Кракова в Галицию, где, близ Львова и Самбора, в маетностях вельможи Мнишка, под распущенными знаменами уже толпилась шляхта и чернь, чтобы идти на Москву.

Главою и первым ревнителем сего подвига сделался старец Мнишек, коему старость не мешала быть ни честолюбивым, ни легко-

мысленным до безрассудности. Он имел юную дочь-прелестницу Марину, подобно ему честолюбивую и ветреную: Лжедимитрий, гостя у него в Самборе, объявил себя, искренно или притворно, страстным ее любовником и вскружил ей голову именем царевича; а гордый воевода с радостью благословил сию взаимную склонность в надежде видеть Россию у ног своей дочери, как наследственную собственность его потомства. Чтобы утвердить сию лестную надежду и хитро воспользоваться еще неверными обстоятельствами жениха, Мнишек предложил ему условия, без малейшего сомнения принятые расстригою, который дал на себя следующее обязательство (писанное 25 мая 1604, собственною рукою воеводы сендомирского): «Мы, Димитрий *Иванович*, божиею милостию *царевич* великой России, Углицкий, Дмитровский и проч., князь от колена предков своих, и всех государств Московских государь и наследник, по уставу небесному и примеру монархов христианских избрали себе достойную супругу, вельможную панну Марину, дочь ясновельможного пана Юрия Мнишка,

кого считаем отцом своим, испытав его честность и любовь к нам, но отложили бракосочетание до нашего воцарения: тогда – в чем клянемся именем св. троицы и прямым словом царским – женюсь на панне Марине, обзываясь 1) выдать немедленно миллион золотых (1350000 нынешних серебряных рублей) на уплату его долгов и на ее путешествие до Москвы, сверх драгоценностей, которые пришлем ей из нашей казны московской; 2) торжественным посольством известить о сем деле короля Сигизмунда и просить его благосклонного согласия на оное; 3) будущей супруге нашей уступить два великие государства, Новгород и Псков, со всеми уездами и пригородами, с людьми думными, дворянами, детьми боярскими и с духовенством, так, чтобы она могла судить и рядить в них самовластно, определять наместников, раздавать вотчины и поместья своим людям служивым, заводить школы, строить монастыри и церкви латинской веры, свободно исповедуя сию веру, которую и мы сами приняли с твердым намерением ввести оную во всем государстве Московском. Если же – от чего боже сохрани –

Россия воспротивится нашим мыслям и мы не исполним своего обязательства в течение года, то панна Марина вольна развестися со мною или взять терпение еще на год», и проч. Сего не довольно: в восторге благодарности Лжедимитрий другою грамотою (писанною 12 июня 1604) отдал Мнишку в наследственное владение княжества Смоленское и Северское, кроме некоторых уездов, назначенных им в дар королю Сигизмунду и республике в залог вечного, ненарушимого мира между ею и Московскою державою... Так беглый диакон, чудесное орудие гнева небесного, под именем царя российского готовился предать Россию с ее величием и православием в добычу иезуитам и ляхам! Но способы его еще не ответствовали важности замысла.

Ополчалась в самом деле не рать, а сволочь на Россию: весьма немногие знатные дворяне, в угодность королю малоуважаемому или прельщаясь мыслию храбровать за изгнанника царевича, явились в Самборе и Львове: стремились туда бродяги, голодные и полунагие, требуя оружия не для победы, но для грабежа, или жалованья, которое щедро

выдавал Мнишек в надежде на будущее: на богатое вено Марины³ и доходы Смоленского княжества. Расстрига и друзья его чувствовали нужду в иных, лучших сподвижниках и должны были, естественно, искать их в самой России. Достоинно замечания, что некоторые из московских беглецов, детей боярских, исполненных ненависти к Годунову, укрываясь тогда в Литве, не хотели быть участниками сего предприятия, ибо видели обман и гнушались злодейством: пишут, что один из них, Яков Пыхачев, даже всенародно и пред лицом короля, свидетельствовал о сем грубом обмане, вместе с товарищем расстригиным иноком Варлаамом, встревоженным совестью; что им не верили и прислали обоих, скованных, к воеводе Мнишку в Самбор, где Варлаама заключили в темницу, а Пыхачева, обвиняемого в намерении умертвить Лжедмитрия, казнили. Другие беглецы, менее совестные, дворянин Иван Борошин с десятью или пятнадцатью клеветами, пали к ногам мнимого царевича и составили его первую дружину русскую; скоро нашлася гораздо сильнейшая. Зная свойство мятежных донских ка-

заков, — зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбои, — Лжедмитрий послал на Дон литвина Свирского с грамотою; писал, что он сын первого царя белого, коему сии вольные христианские витязи присягнули в верности; звал их на дело славное: свергнуть раба и злодея с престола Иоаннова. Два атамана, Андрей Корела и Михайло Нежакож, спешили видеть Лжедмитрия; видели его, честимого Сигизмундом, вельможными панами, и возвратились к товарищам с удостоверением, что их зовет истинный царевич. Удальцы донские сели на коней, чтобы присоединиться к толпам самозванца. Между тем усердный слуга его, пан Михайло Ратомский, остерский староста, волновал нашу Украину чрез своих лазутчиков и двух монахов русских, вероятно Мисаила и Леонида, из коих последний, сняв на себя имя Григория Отрепьева, мог свидетельствовать, что оно не принадлежит самозванцу. В городах, в селах и на дорогах подкидывали грамоты от Лжедмитрия к россиянам с вестью, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить; а

бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнездясь в земле Северной, обрадовались: наступало их время. Кто бежал в Галицию к самозванцу, кто в Киев, где Ратомский также выставил знамя для собрания вольницы: он поднял и казаков запорожских, прельщенных мыслию вести бывшего ученика своего на царство Московское. — Столько движения, столько гласных происшествий могло ли утаиться от Годунова?

Еще прежде нежели самозванец открылся Вишневецким, слух, распущенный им в Литве о Димитрии, сделался, вероятно, известным Борису. В январе 1604 года нарвский сновник Тирфельд писал с гонцом к абовскому градоначальнику, что мнимоубитый сын Иоаннов живет у казаков: гонца задержали в Иванегороде, и письмо его доставили царю. В то же время пришли и вести из Литвы и подметные грамоты Лжедимитриевы от наших воевод украинских; в то же время на берегах Волги донские казаки разбили окольного Семена Годунова, посланного в Астрахань, и, захватив несколько стрельцов, отпустили их в Москву с таким наказом: «Объявите Бо-

рису, что мы скоро будем к нему с царевичем Димитрием!» Один бог видел, что происходило в душе Годунова, когда он услышал сие роковое имя! – но чем более устранился, тем более хотел казаться бесстрашным. Не сомневаясь в убиении истинного сына Иоаннова, он изъяснял для себя столь дерзкую ложь умыслом своих тайных врагов и, велев лазутчикам узнать в Литве, кто сей самозванец, искал заговора в России: подозревал бояр; призвал в Москву царицу-инокиню, мать Димитриеву, и ездил к ней в Девичий монастырь с патриархом, воображая, как вероятно, что она могла быть участницею предполагаемого кова, и надеясь лестию или угрозами выведать ее тайну; но царица-инокиня, равно как и бояре, ничего не знала, с удивлением и, может быть, не без внутреннего удовольствия слыша о Лжедимитрии, который не заменял сына для матери, но страшил его убийцу. Сведав наконец, что самозванец есть расстрига Отрепьев и что дьяк Смирной не исполнил царского указа сослать его в пустыню Беломорскую, Борис усилием притворства не оказал гнева, ибо хотел уверить россиян в маловажности

сего случая: Смирной трепетал, ждал гибели и был казнен, но после и будто бы за другую вину: за расхищение государственного достояния. Удвоив заставы на литовской границе, чтобы перехватывать вести о самозванце, однако ж чувствуя невозможность скрыть его явление от России и боясь молчанием усилить вредные толки, Годунов обнародовал историю беглеца чудовского, вместе с допросами монаха Пимена, Венедикта – чернца Смоленского и мещанина-ярославца, иконника Степана: первый объявлял, что он сам вывел бродягу Григория в Литву, но не хотел идти с ним далее и возвратился; второй и третий свидетельствовали, что они знали Отрепьева диаконом в Киеве и вором между запорожцами; что сей негодяй, богоотступник, черно книжник, с умыслу князей Вишневецких и самого короля, дерзает в Литве называться Димитрием. В то же время царь послал *от имени бояр* дядю расстригина, Смирного-Отрепьева, к Сигизмундовым вельможам, чтобы в их присутствии изобличить племянника; послал и к донским казакам дворянина Хрущова вывести их из бедственного заблужде-

ния. Но грамоты и слова не действовали: вельможи королевские не хотели показать Лжедмитрия Смирному-Отрепьеву и сухо ответствовали, что им нет дела до мнимого царевича российского; а казаки схватили Хрущова, оковали и привезли к самозванцу. Уже расстрига (15 августа) двинулся с своими дружинами к берегам днепровским и стоял (17 того же месяца) в Сокольниках: Хрущев, представленный ему в цепях, взглянул на него... залился слезами и пал на колена, воскликнув: «Вижу Иоанна в лице твоём: я твой слуга навеки!» С него сняли оковы; и сей первый чиновный изменник, ослепленный страхом или корыстию, в знак усердия донес своему новому государю, мешая истину с ложью, что «народ изъявляет в России любовь к Дмитрию; что самые знатные люди, меньший Булгаков и другие, пили у себя с гостями чашу за его здоровье и были, по доносу слуг, осуждены на казнь; что Борис умертвил и сестру, вдовствующую царицу Ирину, которая всегда видела в нем монарха беззаконного; что он, не смея явно ополчаться против Дмитрия, сводит полки в Ливнах, будто бы на случай хан-

ского впадения; что главные воеводы их, Петр Шереметев и Михаиле Салтыков, встретясь с ним, Хрущевым, в искренней беседе сказали: «Нас ожидает не Крымская, а совсем иная война, – но трудно поднять руку на государя природного»; что Борис нездоров, едва ходит от слабости в ногах и думает тайно выслать казну московскую в Астрахань и в Персию». Годунов, без сомнения, не убил Ирины и не думал искать убежища в Персии; еще не видал дотоле измены в россиянах и не казнил ни одного человека за явную приверженность к самозванцу; с жадностию слушая ласутчиков, доносителей, клеветников, воздерживал себя от тиранства для своей безопасности в таких обстоятельствах и, терзаемый подозрениями еще неосновательными, хотел знаками великодушной доверенности тронуть бояр и чиновников: но действительно медлил двинуть значительную рать прямо к литовским пределам, в доказательство ли бесстрашия, боясь ли сильным ополчением дать народу мысль о важности неприятеля, избегая ли войны с Польшею до самой крайней необходимости? Сия необходимость была

уже очевидна: король Сигизмунд вооружал на Бориса не только самозванца, но и крымских разбойников, убеждая хана вступить вместе с Лжедмитрием в Россию. Борис знал все и еще послал в Варшаву, лично к королю, дворянина Огарева усювестить его представлением, сколь унижительно для венценосца христианского быть союзником подлого обманщика; вторично объявлял, кто сей мнимый царевич, и спрашивал, чего Сигизмунд желает: мира или войны с Россиею? Сигизмунд хотел лукавствовать и, подобно своим вельможам, отвечал, что не стоит за Лжедмитрия и не мыслит нарушать перемирия; что некоторые ляхи самовольно помогают сему бродяге, *ушедшему* в Галицию, и будут наказаны, как мятежники. «Мы хотели обмануть бога (пишет современник, один из знатных ляхов), уверяя бессовестно, что король и республика не участвуют в Димитриевом предприятии». Уже самозванец начал действовать, а царь велел патриарху Иову еще писать к духовенству литовскому и польскому, чтобы оно для блага обеих держав старалось удалить кровопролитие за богоотступни-

ка расстригу; все наши епископы скрепили патриаршую грамоту своими печатями, клятвенно свидетельствуя, что они все знали Отрепьева монахом. Такую же грамоту написал Иов и к киевскому воеводе, князю Василию Острожскому, напоминая ему, что он сам знал сего беглеца диаконом, и заклиная его быть достойным сыном церкви: обличить расстригу, схватить и прислать в Москву. Но гонцы патриарховы не возвратились: их задержали в Литве, и не ответствовали Иову ни духовенство, ни князь Острожский: ибо самозванец действовал уже с блестящим успехом.

Сие грозное ополчение, которое шло низвергнуть Годунова, состояло едва ли из 1500 воинов исправных, всадников и пеших, кроме сволочи, без устройства и почти без оружия. Главными предводителями были сам Лжедмитрий (сопровождаемый двумя иезуитами), юный Мнишек (сын воеводы сендомирского), Дворжицкий, Фредро и Неборский; каждый из них имел свою особенную дружину и хоругвь; а старец Мнишек первенствовал в их думе. Они соединились близ Киева с двумя тысячами донских казаков, приведен-

ных Свирским с толпами вольницы, киевской и северской, ополченной Ратомским, и 16 октября вступили в Россию... Тогда единственно Борис начал решительно готовиться к обороне: послал надежных воевод в украинские крепости с головами стрелецкими; а знатных бояр, князя Дмитрия Шуйского, Ивана Годунова и Михаила Глебовича Салтыкова – в Брянск, чтобы собрать там многочисленное полевое войско. Еще Борис мог стыдиться страха, видя против себя толпы ляхов, нестройной вольницы и казаков, предводимые беглым расстригою; но сей человек назывался именем, ужасным для Бориса и любезным для России, Лжедмитрий шел с мечом и с манифестом: объявлял россиянам, что он, невидимою десницею всевышнего устраненный от ножа Борисова и долго сокрываемый в неизвестности, сею же рукою изведен на фатр мира под знаменами сильного, храброго войска и спешит в Москву взять наследие своих предков, венец и скипетр Владимиров; напоминал всем чиновникам и гражданам присягу, данную ими Иоанну; убеждал их оставить хищника Бориса и служить госуда-

рю законному; обещал мир, тишину, благоденствие, коих они не могли иметь в царствование злодея богопротивного. Вместе с тем воевода сендомирский именем короля и вельможных панов обнародовал, что они, убежденные доказательствами очевидными, несомненно признали Димитрия истинным великим князем московским, дали ему рать и готовы дать еще сильнейшую для восшествия на престол отца его. Сей манифест довершил действие прежних подметных грамот Лжедимитрия в Украине, где не только сподвижники Хлопковы и слуги опальных бояр, ненавистники Годунова, – не только низкая чернь, но и многие люди воинские поверили самозванцу, не узнавая беглого диакона в союзнике короля Сигизмунда, окруженном знатными ляхами; в витязе ловком, искусном владеть мечом и конем; в военачальнике бодром и бесстрашном: ибо Лжедимитрий был всегда впереди, презирал опасность и взором спокойным искал, казалось, не врагов, а друзей в России, Несчастия Годунова времени, надежда на лучшее, любовь к чрезвычайному и золото, рассыпаемое Мнишком и Вишневец-

ким, также способствовали легковерию народному. Тщетно градоначальники Борисовы хотели мешать распространению листов самозванцевых, опровергали и жгли их: листы ходили из рук в руки, готовя измену. Начались тайные сношения между самозванцем и городами украинскими, где лазутчики его действовали с величайшею ревностью, обольщая умы и страсти людей, – доказывая, что присяга, данная Годунову, не имеет силы: ибо обманутый народ, присягая ему, считал сына Иоаннова мертвым; что сам Борис знает сию истину, обезумел в ужасе и не противится мирному вступлению царевича в Россию. Самые чиновники колебались или в оцепенении ждали дальнейших происшествий; самые воеводы, видя общее движение в пользу Лжедмитрия, опасались, кажется, употребить строгость и не изъявили должного усердия. Составились заговоры, и мятеж вспыхнул.

Отрепьев на левом берегу Днепра разделил свое войско: послал часть его к Белугороду, а сам шел вверх Десны, вслед за рассыпною дружиною переметчиков, которые слу-

жили ему верными путеводителями, зная места и людей. Едва поставив ногу на русскую землю (18 октября), в слободе Шляхетской, он сведал о своем первом успехе: жители и воины Моравска отложились от Бориса; связали, выдали воевод своих Лжедимитрию; встретили его с хлебом и солью. Чувствуя важность начала в таком предприятии, умный прошлец вел себя с отменною ловкостью: торжественно славил бога; изъявлял милость и величавость; не укорял воевод моравских в верности к Борису, жалея только об их заблуждении, и дал им свободу; жаловал, ласкал изменников, граждан, воинов, видом и разговором не без искусства представляя лицо державного, так что от литовского рубежа до самых внутренних областей России с неизмеримою быстротою промчалась добрая слава об Лжедимитрии, – и знаменитая столица древних Ольговичей не усомнилась следовать примеру Моравска. 26 октября покорился самозванцу Чернигов, где ратники и граждане также встретили его с хлебом и солью, выдав ему воевод, из коих главный, князь Иван Андреевич Татев, внутренне ненавидя Бориса,

как второй Хрущов бесстыдно вступил в службу к обманщику. Там хранилась значительная казна: Лжедмитрий, разделив ее между своими воинами, усилил тем их ревность; умножил и число, присоединив к ним 300 стрельцов, изменников и жителей, ополченных усердием к нему или духом буйным. Взяв из Черниговской крепости 12 пушек, самозванец оставил в ней начальником ляха и спешил к Новгороду Северскому. Он надеялся быть везде завоевателем без кровопролития, и действительно, на берегах Десны, Свины и Снова видел единственно коленопреклонение народа и слышал радостный клик: «Да здравствует государь наш Димитрий!»

Но вести не было из Новагорода: жители не высылали ко Лжедмитрию ни призывных грамот, ни воевод связанных: там бодрствовал один человек, решительный, смелый – и еще верный! Сей витязь был Петр Федорович Басманов, брат убитого разбойниками (в 1604 году) Ивана Басманова, дотоле известный только необычайною судьбою отца и деда, которые, всем жертвуя Иоанновой милости, свою гибель доказали небесное пра-

восудие; наследовав их дух царедворческий, он соединял в себе великие способности ума и даже некоторые благородные качества сердца с совестью уклонною, нестрогою, будучи готов на добро и зло для первенства между людьми. Борис видел в юном Басманове только достоинства; вывел его, вместе с братом, из родовой опалы на степень знатности, в 1601 году дав ему сан окольного, и вместе с боярином, князем Никитою Романовичем Трубецким, послал было спасти Чернигов; но они за 15 верст до сего города сведения, что там уже самозванец, и заключились в Новгороде. Тогда узнали Басманова! Великая опасность поставила его выше боярина Трубецкого: приняв начальство в городе, где все колебалось от внушений измены или страха, он истинною и грозою обуздал предательство: сам уверенный в обмане, уверил в нем и других; сам не боясь смерти, устрашал мятежников казнию; сжег предместьи и с пятисотною дружиною стрельцов московских заперся в крепости, волею или неволею взяв к себе и знатнейших жителей. 11 ноября Лжедмитрий подступил к Новгороду: тут россияне

приветствовали его в первый раз ядрами и пулями! Он требовал переговоров: Басманов с зажженным фитилем стоял на стене и слушал клеветы самозванца, ляха Бучинского, который сказал, что царь и великий князь Димитрий готов быть отцом воинов и жителей, если ему сдадутся, или, в случае упорства, не оставит живым ни грудного младенца в Новгороде. «Великий князь и царь в Москве, – ответствовал Басманов, – а ваш Димитрий разбойник, сядет на кол вместе с вами». Отрепьев посылал и российских изменников уговаривать Басманова, но бесполезно; хотел взять крепость смелым приступом и был отражен; хотел огнем разрушить ее стены, но не успел и в том; лишился многих людей и видел бедствие пред собою: стан его уныл; Басманов давал время войску Борисову ополчиться и пример неробости иным градоначальникам.

Но добрые вести утешили самозванца. В крепком Путивле начальствовали знатный окольный Михайло Салтыков и князь Василий Рубец-Мосальский; сей последний, как воин не без достоинства, как гражданин без

чести и правил, с дьяком Сутуповым объявил себя за мнимого царевича; сам возмутил граждан и ратников; сам связал Салтыкова и (18 ноября), предав сие важное место расстриге, сделался с того времени любимцем его и советником. Не менее важный Рыльск, волость Комарницкая, или Севская, Борисов, Белгород, Волуйки, Оскол, Воронеж, Кромы, Ливны, Елец (где находился и ревностна действовал тогда монах Леонид под именем Григория Отрепьева) также поддались самозванцу. Вся южная Россия кипела бунтом; везде вязали чиновников, едва ли искренне верных Борису, и представляли Лжедмитрию, который немедленно освобождал их и с милостию принимал к себе в службу. Рать его умножалась новыми толпами изменников. Перехватив казну, тайно везенную московскими купцами в медовых бочках к начальникам северских городов, он послал знатную часть ее в Литву, к князю Вишневецкому и пану Рожинскому, чтобы набирать там новые дружины сподвижников; а сам еще стоял под Новым-городом, стрелял из больших пушек, разрушал стены. Басманов не слабел духом и му-

жествовал в счастливых вылазках; но видя разрушение крепости и зная, что войско Борисово идет спасти ее, он хитро заключил перемирие с самозванцем, будто бы в ожидании вестей из Москвы и, во всяком случае, обязываясь сдаться ему чрез две недели. Уже самозванец считал Новгород своим и Басманова пленником.

Сии быстрые успехи обольщения поразили Годунова и всю Россию. Царь увидел, вероятно, свою ошибку – и сделал другую; увидел, что ему надлежало бы не обманывать людей знаками лицемерного презрения к расстриге, но готовым сильным войском отразить его от нашей границы и не впускать в Северскую землю, где еще жил старый дух литовский и где скопище злодеев, беглецов, слуг опальных, естественно, ожидало мятежа как счастья; где народ и самые люди воинские, удивленные беспрепятственным входом самозванца в Россию, могли, веря внушению его лазутчиков, думать, что Годунов действительно не смеет противиться истинному Иоаннову сыну. Новое доказательство, сколь ум обманчив в раздоре с совестью и как хитрость,

чуждая добродетели, запутывается в сетях собственных! Еще Борис мог бы исправить сию ошибку: сесть на бранного коня и самолично вести россиян против злодея. Присутствие венценосца, его великодушная смелость и доверенность, без сомнения, имели бы действие. Не рожденный героем, Годунов, однако ж, с юных лет знал войну; умел силою души своей оживлять доблесть в сердцах и спасти Москву от хана, будучи только правителем. За него были святость венца и присяги, навык повиновения, воспоминание многих государственных благодеяний – и Россия на поле чести не предала бы царя расстриге. Но, смятенный ужасом, Борис не дерзал идти навстречу к Димитриевой тени: подозревал бояр и вручил им судьбу свою, назвав главным воеводою Мстиславского, добросовестного, лично мужественного, но более знатного, нежели искусного предводителя; велел строго людям ратным, всем без исключения, спешить в Брянск, а сам как бы укрывался в столице!

Одним словом, суд божий гремел над державным преступником. Никто из россиян до

1604 года не сомневался в убиении Димитрия, который возрастал на глазах всего Углича и коего видел весь Углич мертвого, в течение пяти дней орошав его тело слезами: следовательно, россияне не могли благоразумно верить воскресению царевича; но они – *не любили Бориса!* Сие несчастное расположение готовило их быть жертвою обмана. Сам Борис ослабил свидетельство истины, казнив важнейших очевидцев Димитриевой смерти и явно ложными показаниями затмив ее страшные обстоятельства. Еще многие знали верно сию истину в Угличе, в Пельиме; но там жила в сердцах ненависть к тирану. Всех громгласнее, как пишут, свидетельствовал в столице князь Василий Шуйский, торжественно, на лобном месте, о несомнительной смерти царевича, им виденного во гробе и в могиле. То же писал и патриарх во все концы России, ссылаясь и на мать Димитриеву, которая сама погребала сына. Но бессовестность Шуйского была еще в свежей памяти; знали и слепую преданность Иова к Годунову; слышали только имя царицы-инокини: никто не видался, никто не говорил с нею, снова заключенною

в пустыне Выксинской. Еще не имев примера в истории самозванцев и не понимая столь дерзкого обмана; любя древнее племя царей и с жадностью слушая тайные рассказы о мнимых добродетелях Лжедмитрия, россияне тайно же передавали друг другу мысль, что бог действительно каким-нибудь чудом, достойным его правосудия, мог спасти Иоаннова сына для казни ненавистного хищника и тирана. По крайней мере сомневались и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Расстрига с своими ляхами уже господствовал в наших пределах, а воины отечества уклонялись от службы, шли неохотно в Брянск под знамена, и тем неохотнее, чем более слышали об успехах Лжедмитрия, думая, что сам бог помогает ему. Так нелюбовь к государю рождает нечувствительность и к государственной чести!

В сей опасности, уже явной, Борис прибегнул к двум средствам: к церкви и к строгости. Он велел иерархам петь вечную память Дмитрию в храмах, а расстригу с его клеветами, настоящими и будущими, клясть всенародно, на амвонах и торжищах, как злого ере-

тика, умышляющего не только похитить царство, но и ввести в нем латинскую веру: следовательно, Борис уже знал или угадывал обет, данный Лжедмитрием иезуитам и легату папскому. Хотя народ, видев слабость и потворство святителей в исследовании Димитриева убиения, не мог иметь к ним беспредельной доверенности; но ужас анафемы должен был тронуть совесть людей набожных и вселить в них омерзение к человеку, отверженному церковью и преданному ею суду божию. Второе средство также не осталось бесплодным. Издав указ, чтобы с каждых двухсот четвертей земли обработанной выходил ратник в поле с конем, доспехом и запасом, – следовательно, убавив до половины число воинов, определенное уставом Иоанновым, – Борис требовал скорости; писал, что владельцы богатые живут в домах, не заботясь о гибели царства и церкви; грозил жестокою казнию ленивым и беспечным, не упоминая о злонамеренных, и действительно велел наказывать ослушных без пощады: лишением имения, темницею и кнутом; велел, чтобы и все слуги патриаршие, святительские и мона-

стырские, годные для ратного дела, спешили к войску под опасением тяжкого гнева царского в случае медленности. «Бывали времена, – сказано в сем определении государственного совета, – когда и самые иноки, священники, диаконы вооружались для спасения отечества, не жалея своей крови; но мы не хотим того: оставляем их в храмах, да молятся о государе и государстве». Сии меры угрозы и наказания недель в шесть соединили до пятидесяти тысяч всадников в Брянске, вместо полумиллиона, в 1598 году ополченного призывным словом царя, *коего любила Россия!*

Но Борис еще оказал тогда великодушие. Шведский король, враг Сигизмундов, услышав о самозванце и вероломстве ляхов, предлагал царю союз и войско вспомогательное. Царь ответствовал, что Россия не требует вспоможения иноземцев; что она при Иоанне в одно время воевала с султаном, Литвою, Швециею, Крымом и не должна бояться мятежника презренного. Борис знал, что в случае верности россиян горсть шведов ему не нужна, а в случае неверности – бесполезна, ибо не могла бы спасти его.

Грозный час опыта наступал: нельзя было медлить, ибо самозванец ежедневно усиливался и распространял свои мирные завоевания. Бояре, князя Федор Иванович Мстиславский, Андрей Телятевский, Дмитрий Шуйский, Василий Голицын, Михайло Салтыков, окольные князь Михайло Кашин, Иван Иванович Годунов, Василий Морозов выступили из Брянска, чтобы пресечь успехи измены и спасти Новгородскую крепость, которая одна противилась расстриге уже среди подвластной ему страны. — Не только Годунов с мучительным волнением души следовал мыслями за московскими знаменами, но и вся Россия сильно тревожилась в ожидании, чем судьба решит столь важную прю между Борисом и ложным или неложным Димитрием: ибо не было общего удостоверения ни в войске, ни в государстве. Мысль поднять руку на действительного сына Иоаннова или предаться дерзкому обманщику, клятому церкви, равно ужасала сердца благородные. Многие, и самые благороднейшие из россиян, не любя Бориса, но гнушаясь изменою, хотели соблюсти данную ему присягу; другие, следуя

единственно внушению страстей, только желали или не желали перемены царя и не заботились об истине, о долге верноподданного; а многие не имели точного образа мыслей, готовясь думать, как велит случай. Если бы в сие время открылась проницанию наблюдателя и самая внутренность душ, то он, может быть, еще не решил бы для себя вопроса о вероятной удаче или неудаче самозванцева дела: столь расположение умов было отчасти несогласно, отчасти неясно и нерешительно! Войско шло, повинувшись царской власти; но колебалось сомнением, толками, взаимным недоверием.

Приближаясь к Трубчевску, где уже славилось имя Димитриево, воеводы Борисовы писали к сендомирскому, чтобы он немедленно вышел из России, мирной с Литвою, оставив злодея расстригу на казнь, им заслуженную. Мнишек не ответственвал, в надежде, что войско Борисово не обнажит меча: так думал самозванец; так говорили ему изменники, сносясь с своими единомышленниками в полках московских. 18 декабря на берегу Десны, верстах в шести от стана Лжедимитриево, была

перестрелка между отрядами того и другого войска; а на третий день легкая сшибка. Ни с которой стороны не изъявляли пылкой ревности: самозванец ждал, кажется, чтобы рать Борисова, следуя примеру городов, связала и выдала ему своих начальников; а Мстиславский, чтобы неприятель ушел без битвы, как слабейший, едва ли имея и 12 000 воинов. Но не видали ни измены, ни бегства; перешло к Лжедимитрию только три человека из детей боярских. Оставив Новгород и свой укрепленный стан, он выстроился на равнине, весьма неблагоприятной для войска малочисленно-го; оказывал спокойствие и бодрость; говорил речь к сподвижникам, стараясь воспламенить их мужество; молился велегласно, воздев руки на небо, и дерзнул, как уверяют, громко произнести следующие слова: «Все-вышний! Ты зришь глубину моего сердца. Если обнажаю меч неправедно и незаконно, то сокруши меня небесным громом (увидим 17 мая 1606 года!)... Когда же я прав и чист душою, дай силу неодолимую руке моей в битве! А ты, мать божия, буди покровом нашего воинства!» 21 декабря началось дело, сперва

не жаркое; но вдруг конница польская с воплем устремилась на правое крыло россиян, где предводительствовали князья Дмитрий Шуйский и Михайло Кашин: оно дрогнуло и в бегстве опрокинуло средину войска, где стоял Мстиславский; изумленный такою робостию и таким беспорядком, он удерживал мечом своих и неприятелей; бился в свалке; облился кровию и с пятнадцатью ранами упал на землю: дружина стрельцов едва спасла его от плена. Час был решительный: если бы Лжедмитрий общим нападением подкрепил удар смелых ляхов, то вся рать московская, как пишут очевидцы, представила бы зрелище срамного бегства; но он дал ей время опомниться: 700 немецких всадников, верных Борису, удержали стремление неприятельских, и левое крыло наше уцелело. Тогда же Басманов вышел из крепости, чтобы действовать в тылу у самозванца, который, слыша выстрелы позади себя и видя свой укрепленный стан в пламени, прекратил битву. Обе стороны вдруг отступили, Лжедмитрий хвалясь победою и четырьмя тысячами убитых неприятелей, а Борисовы воеводы от стыда

безмолвствуя, хотя и взяв несколько пленников. Чтобы менее стыдиться, россияне выдумали басню: уверяли, что ляхи испугали их коней, нарядясь в медвежьи шубы наыворот; иноземцы же, свидетели сего малодушного бегства, пишут, что россияне не имели, казалось, ни мечей, ни рук, имея единственно ноги!

Однако ж мнимый победитель не веселился. Сия битва странная доказала не то, чего хотелось самозванцу: россияне сражались с ним худо, без усердия, но сражались; бежали, но от него, а не к нему. Он знал, что без их общего предательства ни ляхи, ни казаки не свергнут Бориса, и страшился быть между двумя огнями, двумя верными воеводами Мстиславским и Басмановым, который, видя отступление первого, снова заключился в крепости, готовый умереть в ее развалинах. На другой день присоединилось к Лжедмитрию 4000 запорожцев, и войско Борисово удалилось к Стародубу Северскому, но для того, чтобы ожидать там других, свежих полков из Брянска, и могло чрез несколько дней возвратиться к Новугороду, обороняемому столь

усильно. Ревность наемников и союзников ослабела: ляхи надеялись вести своего царя в Москву без кровопролития; увидели, что надобно ратоборствовать; не любили ни зимних походов, ни зимних осад – и как легкомысленно начали, так легкомысленно и кончили: объявили, что идут назад, будто бы исполняя указ Сигизмундов не воевать с Россией, в случае если она будет стоять за царя Годунова. Тщетно убеждал их Лжедмитрий не терять надежды: осталось не более четырехсот удальцов польских; все другие бежали во свояси, а с ними и горестный Мнишек. Думая, что все погибло, и княжество Смоленское для него и царство для Марины, сей ветреный старец еще дружественно простился с женихом ее и смело обещал ему возвратиться с сильнейшею ратюю. Но самозванец, едва ли уже веря нареченному тестю, еще верил счастью; с обрядами священными предав на поле сражения тела убитых, своих и неприятелей, и сняв осаду Новагорода, расположился станом в Комарницкой волости, занял Севский острог, спешил вооружать кого мог: граждан и земледельцев. Рать Борисова не да-

да ему времени.

Смятение воевод московских было столь велико, что они даже медлили известить царя о битве: узнав от других все ее печальные обстоятельства, Борис (1 января) послал князя Василия Шуйского к войску быть вторым предводителем оною, а чашника Вельяминова – к раненому Мстиславскому ударить ему челом за кровь, пролиянную им из усердия к святому отечеству, и сказать именем государя: «Когда ты, совершив знаменитую службу, увидишь образ спасов, богоматери, чудотворцев московских и наши царские очи: тогда пожалуем тебя свыше твоего чаяния. Ныне шлем к тебе искусного врача, да будешь здрав и снова на коне ратном». Всем иным воеводам царь велел объявить свое неудовольствие за их преступное молчание, но войско уверить в милости. Чтобы блестящею наградою мужества оживить доблесть в сердцах россиян, Борис, искренно довольный одним Басмановым, призвал его к себе, выслал знатнейших государственных сановников навстречу к герою и собственные великолепные сани для торжественного въезда в Москву со

всею царскою пышностию; дал ему из своих рук тяжелое золотое блюдо, насыпанное червонцами, и 2000 рублей, множество серебряных сосудов из казны кремлевской, доходное поместье и сан боярина думного. Столица и Россия обратили взор на сего нового вельможу, ознаменованного вдруг и славою подвига и милостию царскою; превозносили его необыкновенные достоинства – и любимец государев сделался любимцем народным, первым человеком своего времени в общем мнении. Но столь блестящая награда одного была укоризною для многих и, естественно, рождала негодование зависти между знатными. Если бы царь осмелился презреть устав боярского старейшинства и дать главное воеводство Басманову, то, может быть, спас бы свой дом от гибели и Россию от бедствий: чего судьба не хотела! Призвав Басманова в Москву, вероятно, с намерением пользоваться его советами в думе, царь отнял лучшего воеводу у рати и сделал, кажется, новую ошибку, избрав Шуйского в начальники. Сей князь, подобно Мстиславскому, мог не робеть смерти в битвах, но не имел ни ума, ни души вождя ис-

тинного, решительного и смелого; уверенный в самозванстве бродяги, не думал предать ему отечества, но, угождая Борису как царедворец льстивый, помнил свои опалы: видел, может быть не без тайного удовольствия, муку его тиранского сердца и, желая спасти честь России, зложелательствовал царю.

Шуйский, провождаемый множеством чиновных стольников стряпчих, нашел войско близ Стародуба, в лесах, между засеками, где оно, усиленное новыми дружинами, как бы таилось от неприятеля, в бездействии, в унынии, с предводителем недужным; другая, запасная, рать под начальством Федора Шереметева собиралась близ Кром, так что Борис имел в поле не менее осьмидесяти тысяч воинов. Мстиславский, еще изнемогая от ран, и Шуйский немедленно двинулись к Севску, где Лжедимитрий не хотел ждать их: смелый отчаянием, вышел из города и встретился с ними в Добрыничах. Силы были несоразмерны: у него 15000 конных и пеших; у воевод Борисовых – 60 или 70 тысяч. Узнав, что полки наши теснятся в деревне, он хотел ночью зазечь ее и врасплох нагрянуть на сонных: та-

мошние жители взялись подвести его к селению незаметно; но стражи увидели сие движение: сделалась тревога, и неприятель удалился. Ждали рассвета (21 генваря). Самозванец молился, говорил речь к своим, как и в день новгородской битвы; разделил войско на три части: для первого удара взял себе 400 ляхов и 2000 россиян всадников, которые все отличались белою одеждою сверх лат, чтобы знать друг друга в сече; за ними должны были идти 8000 казаков, также всадников, и 4000 пеших воинов с пушками. Утром началась сильная пальба. Россияне, столь многочисленные не шли вперед, с обеих сторон примыкая к селению, где стояла их пехота. Оглядев устройство московских воевод, Лжедмитрий сел на борзого, карего аргамака, держа в руке обнаженный меч, и повел свою конницу долиною, чтобы стремительным нападением разрезать войско Борисово между селением и правым крылом. Мстиславский, слабый и томный, был на коне: угадал мысль неприятеля и двинул сие крыло, с иноземною дружиною, к нему навстречу. Тут расстрига, как истинный витязь, оказал смелость

необыкновенную: сильным ударом смял россиян и погнал их; сломил и дружину иноземную, несмотря на ее мужественное, блестящее сопротивление, и кинулся на пехоту московскую, которая стояла пред деревнею с огнестрельным снарядом – и не трогалась, как бы в оцепенении; ждала и вдруг залпом из сорока пушек, из десяти или двенадцати тысяч ружей поразила неприятеля: множество всадников и коней пало, кто уцелел, бежал назад в беспамятстве страха – и сам Лжедмитрий. Уже казаки его неслись было во всю прыть довершить легкую победу своего героя; но видя, что она не их, обратили тыл, сперва запорожцы, а после и донцы, и пехота. 5000 россиян и немцы, с кликом: «Hilf Gott» (*помоги бог*), гнали, разили бегущих на пространстве осьми верст, убили тысяч шесть, взяли немало и пленников, 15 знамен, 13 пушек; наконец истребили бы всех до единого, если бы воеводы, как пишут, не велели им остановиться, думая, вероятно, что все кончено и что сам Лжедмитрий убит. С сею счастливою вестью прискакал в Москву сановник Шеин и нашел царя, молящегося в лавре св. Сергия...

Борис затрепетал от радости; велел петь благодарственные молебны, звонить в колокола и представить народу трофеи: знамена, трубы и бубны самозванцевы; дал гонцу сан окольникового, послал с любимым стольником, князем Мезецким, золотые медали воеводам, а войску – 80 000 рублей, и писал к первым, что ждет от них вести о конце мятежа, будучи готов отдать верным слугам и последнюю свою рубашку; в особенности благодарил усердных иноземцев и двух их предводителей, Вальтера Розена, ливонского дворянина, и француза. Якова Маржерета; наконец, изъявлял живейшее удовольствие, что победа стоила нам не дорого: ибо мы лишились в битве только пятисот россиян и двадцати пяти немцев.

Но самозванец был жив: победители, безвременно веселясь и торжествуя, упустили его: он на раненом коне ускакал в Севск и в ту же ночь бежал далее, в город Рыльск, с немногими ляхами, с князем Татовым и с другими изменниками. В следующий день явились к нему рассеянные запорожцы: самозванец не впустил их в город, как малодушных

трусов или предателей, так что они с досадою и стыдом ушли восвояси. Не видя для себя безопасности и в Рыльске, Лжедмитрий искал ее в Путивле, лучше укрепленном и ближайшем к границе; а воеводы Борисовы все еще стояли в Добрыничах, занимаясь казнями: вешали пленников (кроме литовских, пана Тишкевича и других, посланных в Москву); мучили, расстреливали земледельцев, жителей Комарницкой волости, за их измену, безжалостно и безрассудно, усиливая тем остервенение мятежников, ненависть к царю и доброе расположение к обманщику, который миловал и самых усердных слуг своего неприятеля. Сия жестокость, вместе с оплошностью воевод, спасли злодея. Уже лишенный всей надежды, разбитый наголову, почти истребленный, с горстию беглецов унылых, он хотел тайно уйти из Путивля в Литву: изменники отчаянные удержали его, сказав: «Мы всем тебе жертвовали, а ты думаешь только о жизни постыдной и предаешь нас мести Годунова; но еще можем спастися, выдав тебя живого Борису!» Они предложили ему все, что имели: жизнь и достояние; обод-

рили его; ручались за множество своих единомышленников и в полках Борисовых и в государстве. Не менее ревности оказали и казаки донские: их снова пришло к самозванцу 4000 в Путивль, другие засели в городах и клялися оборонять их до последнего издыхания. Лжедмитрий волею и неволею остался; послал князя Татева к Сигизмунду требовать немедленного вспоможения; укреплял Путивль и, следуя совету изменников, издал новый манифест, рассказывая в нем свою вымышленную историю о Дмитриевом спасении, свидетельствуясь именем людей умерших, особенно даром князя Ивана Мстиславского, крестом драгоценным, и прибавляя, что он (Дмитрий) тайно воспитывался в Белоруссии, а после тайно же был с канцлером Сапегою в Москве, где видел хищника Годунова, сидящего на престоле Иоанновом. Сей второй манифест, удовлетворяя любопытству баснями, дотоле неизвестными, умножил число друзей самозванца, хотя и разбитого. Говорили, что россияне шли на него только принужденно, с неизъяснимою боязнию, внушаемою чем-то сверхъестественным, без со-

мнения небом; что они победили случайно и не устояли бы без слепого остервенения немцев; что провидение, очевидно, хотело спасти сего витязя и в самой несчастной битве; что он и в самой крайности не оставлен богом, не оставлен верными слугами, которые, признав в нем истинного Димитрия, еще готовы жертвовать ему собою, женами, детьми и, конечно, не могли бы иметь столь великого усердия к обманщику. Такие разглашения сильно действовали на легковерных, и многие люди, особенно из Комарницкой волости, где свирепствовала месть Борисова, стекались в Путивль, требуя оружия и чести умереть за Димитрия.

Между тем воеводы царские, – сведав, что самозванец не истреблен, – тронулись с места, приступили к Рыльску и, не обещая никому помилования, хотели, чтобы город сдался без условия. Там начальствовали злые изменники, князь Григорий Долгорукий-Роща и Яков Змеев: видя пред собою виселицу, они велели сказать Мстиславскому: «Служим царю Димитрию» – и залпом из всех пушек доказали свою непреклонность. Воеводы стояли

две недели под городом, хвалились не вовремя человеколюбием, жалели крови и решились дать отдохновение войску, действительно утружденному зимним походом; отступили в Комарницкую волость и донесли царю, что будут ждать там весны в покойных станях. Но Борис, после кратковременной радости встревоженный известиями о спасении Лжедмитрия и новых прельщениях измены, досадуя на Мстиславского и всех его сподвижников, послал к ним в острог Радогостский окольникового Петра Шереметева и думного дьяка Власьева с дружиною московских дворян и с гневным словом: укорял их в нерадении, винил в упущении самозванца из рук, в бесполезности победы и произвел всеобщее негодование в войске. Жаловались на жестокость и несправедливость царя те, которые дотоле верно исполняли присягу, обагрились кровию в битвах, изнемогли от трудов ратных; еще более жаловались зломысленники, чтобы усиливать нелюбовь к царю, – и могли хвалиться успехом: ибо с сего времени, по известию летописца, многие чиновники воинские видимо склонялись к самозванцу, и же-

лание *избыть* Бориса овладело сердца́ми. Измена возникала, но еще не дозрела до мятежа; еще наблюдалось, хотя и неохотно, повиновение законное. Следуя строгому предписанию государеву, Мстиславский и Шуйский снова вывели войско в поле, чтобы удивить Россию ничтожностью своих, действий: оставили Лжедмитрия на свободе в Путивле, соединились с запасною ратию Федора Шереметева, уже две или три недели теснившего Кромь, и вместе с ним в великий пост начали осаждать сию крепость. Дело невероятное: тысяч восемьдесят или более ратников, имея множество стенобитных орудий, без успеха приступало к деревянному городку, ибо в нем, сверх жителей, сидело 600 мужественных донцов с храбрым атаманом Корелою! Осаждающие ночью сожгли город, заняли пепелище и вал; но казаки сильною, меткою стрельбою не допускали их до острога, и боярин Михаиле Глебович Салтыков, или малодушный, или уже предатель, не сказав ни слова главным воеводам, велел рати отступить в тот час, когда ей должно было устремиться на последнюю ограду изменников.

Мстиславский и Шуйский не дерзнули наказать виновного, уже видя худое расположение в сподвижниках, – и с сего дня, в надежде взять крепость голодом, только стреляли из пушек, не вредя осажденным, которые выкопали себе землянки и под защитою вала укрывались в них безопасно; иногда же выпалзывали из своих нор и делали смелые вылазки. Между тем войско, стоя на снегу и в сырости, было жертвою повальной болезни: смертоносного мыта⁴. Сие бедствие еще оказало достохвальную заботливость царя, призвавшего в стан лекарства и все нужное для спасения болящих, но умножило нерадивость осады, так что в белый день 100 возов хлеба и 500 казаков Лжедмитриевых из Путивля могли пройти в обожженные Кромы.

Досадуя на замедление воинских действий, Борис хотел иным способом, как пишут современники, избавить себя и Россию от злодея. Три инок, знавшие Отрепьева диаконом, явились в Путивле (8 марта) с грамотами от государя и патриарха к тамошним жителям: первый обещал им великие милости, если они выдадут ему самозванца, живого

или мертвого; второй грозил страшным действием церковной анафемы. Сих монахов схватили и привели к Лжедмитрию, который употребил хитрость: вместо его в царском одеянии на троне сидел поляк Иваницкий и, представляя лицо самозванца, спросил у них: «Знаете ли меня?» Монахи сказали: «Нет; знаем только, что ты, во всяком случае, не Димитрий». Их стали пытаться: двое терпели и молчали; а третий спас себя объявлением, что у них есть яд, коим они, исполняя волю Борисову, хотели уморить лжецаревича, и что некоторые из ближних его людей в заговоре с ними. Яд действительно нашелся в сапоге у младшего из сих иноков, и самозванец, открыв двух изменников между своими любимцами, предал их в жертву народной мести. Уверяют, что он, хвалясь явным небесным к нему благоволением, писал тогда к патриарху и к самому царю: укорял Иова злоупотреблением церковной власти в пользу хищника, а Бориса убеждал мирно оставить престол и свет, заключиться в монастыре и жить для спасения души, обещая ему свою царскую милость. Такое письмо, если дей-

ствительно писанное и доставленное Годунову, было, конечно, новым искушением для его твердости!

Душа сего властолюбца жила тогда ужасом и притворством. Обманутый победою в ее следствиях, Борис страдал, видя бездействие войска, нерадивость, неспособность или зломыслие воевод и боясь сменить их, чтобы не избрать худших; страдал, внимая молве народной, благоприятной для самозванца, и не имея силы унять ее ни снисходительными убеждениями, ни клятвою святительскою, ни казнию: ибо в сие время уже резали языки нескромным. Доносы ежедневно умножались, и Годунов страшился жестокостию ускорить общую измену: еще был самодержцем, но чувствовал оцепенение власти в руке своей и с престола, еще окруженного льстивыми рабами, видел открытую для себя бездну! Дума и двор не изменялись наружно: в первой текли дела, как обыкновенно; второй блистал пышностию, как и дотоле. Сердца были закрыты: одни таили страх, другие – злорадство; а всех более должен был принуждать себя Годунов, чтобы унынием и расслаблением

духа не предвестить своей гибели, – и, может быть, только в глазах верной супруги обнаруживал сердце: казал ей кровавые, глубокие раны его, чтобы облегчать себя свободным стенанием. Он не имел утешения чистейшего: не мог предаться в волю святого провидения, служа только идолу властолюбия: хотел еще наслаждаться и плодом Димитриева убийства и дерзнул бы, конечно, на злодеяние новое, чтобы не лишиться приобретенного злодейством. В таком ли расположении души утешается смертный верою и надеждою небесною? Храмы были отверсты: Годунов молился – богу, неумолимому для тех, которые не знают ни добродетели, ни раскаяния! Но есть предел мукам – в брэнности нашего естества земного.

Борису исполнилось 53 года от рождения: в самых цветущих летах мужества он имел недуги, особенно жестокую подагру, и легко мог, уже стареясь, истощить свои телесные силы душевным страданием. Борис 13 апреля, в час утра, судил и рядил с вельможами в думе, принимал знатных иноземцев, обедал с ними в Золотой палате и, едва встав из-за сто-

ла, почувствовал дурноту: кровь хлынула у него из носу, ушей и рта; лилась рекою; врачи, столь им любимые, не могли остановить ее. Он терял память, но успел благословить сына на государство Российское, воспринять ангельский образ с именем Боголепа и чрез два часа испустил дух в той же храмине, где пировал с боярами и с иноземцами...

К сожалению, потомство не знает ничего более о сей кончине, разительной для сердца. Кто не хотел бы видеть и слышать Годунова в последние минуты *такой* жизни – читать в его взорах и в душе, смятенной незапным наступлением вечности? Пред ним были трон, венец и могила; супруга, дети, ближние, уже обреченные жертвы судьбы; рабы неблагодарные, уже с готовою изменою в сердце; пред ним и святое знамение христианства: образ того, кто не отвергает, может быть, и позднего раскаяния!.. Молчание современников, подобно непроницаемой завесе, сокрыло от нас зрелище столь важное, столь нравоучительное, дозволяя действовать одному воображению.

Уверяют, что Годунов был самоубийцею, в

отчаянии лишив себя жизни ядом; но обстоятельства и род его смерти подтверждают ли истину сего известия? И сей нежный отец семейства, сей человек, сильный духом, мог ли, спасаясь ядом от бедствия, малодушно оставить жену и детей на гибель почти несомнительную? И торжество самозванца было ли верно, когда войско еще не изменяло царю делом; еще стояло, хотя и без усердия, под его знаменами? Только смерть Борисова решила успех обмана; только изменники, явные и тайные, могли желать, могли *ускорить* ее — но всего вероятнее, что удар, а не яд прекратил бурные дни Борисовы, к истинной скорби отечества: ибо сия безвременная кончина была небесною казнию для России еще более, нежели для Годунова: он умер по крайней мере на троне, не в узах пред беглым диаконом, как бы еще в воздаяние за государственные его благодеяния; Россия же, лишенная в нем царя умного и попечительного, сделалась добычею злодейства на многие лета.

Но имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, в течение столетий было и будет произносимо с омерзением, во славу

нравственного неуклонного правосудия. Потомство видит лобное место, обгаренное кровию невинных, св. Димитрия, издыхающего под ножом убийц, героя псковского в петле, столь многих вельмож в мрачных темницах и келиях; видит гнусную мзду, рукою венценосца предлагаемую клеветникам-доносителям; видит систему коварства, обманов, лицемерия пред людьми и богом... Везде личину добродетели, и где добродетель? В правде ли судов Борисовых, в щедрости, в любви к гражданскому образованию, в ревности к величию России, в политике мирной и здоровой? Но сей яркий для ума блеск хладен для сердца, удостоверенного, что Борис не усомнился бы ни в каком случае действовать вопреки своим мудрым государственным правилам, если бы властолюбие потребовало от него такой перемены. Он *не был*, но *бывал* тираном; не безумствовал, но злодействовал, подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия почти неслыхан-

ного – предал в добычу ляхам и бродягам, вызвал на феатр сонм мстителей и самозванцев истреблением древнего племени царского? Не он ли, наконец, более всех содействовал уничтожению престола, воссев на нем святоубийцею?

Комментарии

Поэзия*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1792, сентябрь. Печатается по последнему прижизненному изданию – «Московский журнал», 2-е изд., 1803, ч. VII.

(1) *Эдемский сад – рай.*

(2) *Среди пучин и бездн, с невиннейшим семейством (когда погибло все)...* – По библейской легенде, в результате дождя, шедшего сорок дней и сорок ночей, погибло человечество; спасся лишь «праведник» Ной с женой и тремя сыновьями в специально построенном ковчеге.

(3) *Так царственный поэт...* – то есть древнееврейский царь Давид, который, по библейскому преданию, писал песни и псалмы, составившие одну из книг Ветхого завета.

(4) *Так Августов поэт, так пастырь Мантуанский...* – то есть Вергилий (I в. до н. э.), римский поэт эпохи императора Августа, уроженец Мантуи.

(5) *Когда гиганты, род надменный и безумный...* – В греческой мифологии гиганты – сы-

новья богини земли Геи, восставшие против богов и поверженные в борьбе Зевсом Громовержцем.

(6) *Астреин друг.* – В греческой мифологии Астрея – богиня справедливости.

(7) *...Прометей тек к огненному Фебу.* – В греческой мифологии Прометей – титан, похитивший для блага людей огонь у Феба – бога солнца и покровителя искусств. Зевс наказал Прометея, приковав его к скале, где коршун беспрестанно клевал ему печень; позже Геркулес освободил его.

«Я в бедности на свет родился...»*

Стихотворение включено в ту часть «Писем русского путешественника» (письмо от 28 августа 1789 года), которая была напечатана в «Московском журнале», 1792, январь. Печатается по последней редакции Собр. соч. Н. М. Карамзина, 1820.

Выздоровление*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, февраль. Печатается по изданию «Мои безделки», 1794, ч. II.

Осень*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, октябрь.

Граф Гваринос*

Староиспанский романс XVI века о графе Гвариносе, убежавшем из мавританского плена, был распространен в европейской литературе. В 1789 году Карамзин перевел романс с немецкого языка. Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1792, июнь.

Веселый час*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, сентябрь, под названием «Песня веселых».

Раиса*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, ноябрь.

Кладбище*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1792, август, под названием «Моги-

ла». Это вольный перевод стихотворения немецкого поэта Л. Козегартена (1758–1818) – «Des Grabes Furchtbarkeit und Lieblichkeit» («Ужасы и прелести могилы»).

К милости*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1792, май.

13 апреля 1792 года Екатерина подписала указ об аресте крупнейшего русского просветителя Николая Новикова. 22 апреля он был арестован у себя в имении Авдотино и, больной, в сопровождении большого конвоя, доставлен в Москву, где и началось следствие. Указом от 1 мая Екатерина повелела московскому главнокомандующему Прозоровскому предать Новикова суду. Карамзин немедленно написал данное стихотворение, в котором призывал императрицу «проявить милость» к Новикову.

(1) *Тифон* – в греческой мифологии великан, отец чудовищ, враждебных человеку.

К соловью*

Впервые опубликовано в альманахе «Аг-

лая», 1794, ч. I.

(1) *Я остался сиротою...* – Стихотворение навеяно смертью друга Карамзина А. А. Петрова.

Смерть Орфеева*

СМЕРТЬ ОРФЕЕВА

Впервые опубликовано в альманахе «Аг-лая», 1795, ч. II.

(1) Стр. 33. *Ярость фурий иступленных... прекратила жизнь...* – В греческой мифологии Орфей – поэт и музыкант, увлекавший всех своими песнями и игрой на лире. После смерти своей жены Эвридики спустился в подземное царство, чтобы вернуть ее на землю. Это сделать ему не удалось. Убит вакханками, которые были разгневаны на Орфея за его равнодушие ко всем женщинам после смерти Эвридики.

(2) *Филомела* – в греческой мифологии афинская царевна, превращенная богами, спасавшими ее от преследований мужа сестры, в соловья. В поэзии Филомела – соловей.

Послание к Дмитриеву*

Впервые опубликовано в сборнике произведений Карамзина «Мои безделки», 1794, ч. II.

В 1793 году поэт и друг Карамзина И. И. Дмитриев написал «Стансы» «К Н. М. Карамзину». В апреле 1794 года Карамзин ответил «Посланием». В письме к другу он сообщал: «Живу в деревне... Пять строк твоих заставили меня вздохнуть. Ты, конечно, согласишься искренности сего вздоха... Я написал эпистолу в сто восемьдесят шесть стихов». В стихотворном ответе Карамзин использует заключительные строки «Стансов»:

*Было время, что играли
Здесь под тенью мы густой –
Вы цветете... мы увяли!
Дайте старости покой.*

(1) *Олимпийская чаша* – в греческой мифологии боги, жившие на Олимпе, пили из чаши напиток (нектар), который сохранял им вечную юность и бессмертие.

(2) *Сатурн... тигра с агнцем помирит.* – В римской мифологии Сатурн – отец Юпитера. В его царствование был «золотой век», то есть век счастья, мира и справедливости.

Послание к Александру Алексеевичу Плещееву*

Впервые опубликовано в сборнике «Аониды», 1796, кн. I.

(1) *Япетов сын* – сын титана Япета Прометей, похитивший для людей огонь с неба.

(2) *Смельчак, Америку открывший... цепями сам окован был.* – Х. Колумб (1451–1506), известный мореплаватель, итальянец по происхождению, находившийся на испанской службе; после открытия островов Америки (1492–1498) – Кубы, Гаити и др., как вице-король новых земель, возглавил истребительную войну против индейцев; в 1500 году испанский король назначил нового правителя, который арестовал Колумба, заковал его в цепи и отправил в Испанию; позже Колумб был освобожден и совершил еще одно путешествие к берегам Южной Америки.

Илья Муромец*

Неоконченная богатырская сказка, писалась в 1794 году, впервые опубликована в сборнике «Аглая», 1795, ч. II.

(1) *Не хочу с поэтом Греции... с храбрым правнуком Юпитера.* – Поэт древней Греции Гомер воспел в эпической поэме «Илиада» героическую борьбу жителей города Трои (Илиона) с греками. В поэме Гомер рассказал и о вражде между царем Агамемноном и греческим героем Ахиллесом, по преданию – правнуком Зевса (Юпитера – в римск. миф.)

(2) *...или, следуя Вергилию... к злочным берегам Италии.* – Римский поэт Вергилий в поэме «Энеида» рассказал историю героя Троянской войны Энея – сына Афродиты (богини любви и красоты), который, убежав из Трои, прибыл в Италию, где наследовал престол царя Латина.

(3) *...чтобы бог Сатурн мог любезного родителя превратить в уродо жалкого.* – Сатурн (римск. миф., он же Кронос – греч. миф.) – сын Урана, бога неба, по просьбе матери – богини земли Геи, оскотил отца.

(4) *...чтобы Леды были – курицы...* – Леда в греческой мифологии – возлюбленная Зевса, который являлся к ней в образе лебедя. Дочь Леды и Зевса – Елена, родившаяся из яйца, была женой спартанского царя Менелая, по-

хищена Парисом; сын Леды и Зевса – Поллукс.

(5) ...*лезут на вершину Пиндову*... – Пинд – горная цепь в Греции; одна из ее вершин – гора Парнас, где, согласно мифу, обитали Аполлон и музы. И Пинд и Парнас в стихах употреблялись для обозначения поэзии.

(6) *Протей* – в греческой мифологии морское божество, старец, меняющий свой образ и превращающийся по желанию в различных животных.

К самому себе*

Впервые опубликовано в сборнике «Аг-лая», 1795, ч. II.

Выбор жениха*

Впервые опубликовано в поэтическом альманахе Карамзина «Аониды», 1798–1799, кн. III.

К бедному поэту*

Впервые опубликовано в альманахе «Аониды», 1797, кн. II.

(1) *Ганимед* – в греческой мифологии прекрасный юноша, похищенный Зевсом и став-

ший его виночерпием.

К неверной*

Впервые опубликовано в сборнике «Аониды», 1797, кн. II. Стихотворение носит автобиографический характер: видимо, оно, как и другое стихотворение – «К верной», посвящено П. Ю. Гагариной.

(1) *Киприда* – одно из имен Афродиты, данное ей по острову Кипру, который считался ее родиной и был центром ее культа.

(2) *Цирцеи* – здесь – коварные красавицы. Цирцея (греч. миф.) – волшебница, владевшая островом Эя, куда был занесен Одиссей.

К верной*

Впервые опубликовано в альманахе «Аониды», 1797, кн. II.

(1) *Темно; можно только догадываться.* – В первой публикации Карамзин, чтобы скрыть адресат стихотворения, написал, что оно является «переводом с французского».

Тацит*

Впервые опубликовано в альманахе «Ао-

ниды», 1797, кн. II.

Меланхолия*

Подражание поэме Делиля «L'Imagination» («Воображение»). Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 1.

Берег*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 19.

<О Шекспире и его трагедии «Юлий Цезарь»>*

Предисловие к трагедии Шекспира «Юлий Цезарь», переведенной Карамзиным в 1786 году, впервые опубликовано в 1787 году при отдельном издании трагедии. При написании предисловия Карамзин воспользовался некоторыми характеристиками Шекспира, данными во французском издании переводчиками трагедии. На это издание Карамзин ссылается в предисловии.

(1) *...Волтер силился доказать, что Шекспир был весьма средственный автор... – Отношение Вольтера к Шекспиру, с творчеством*

которого он познакомился во время пребывания в Англии (1726–1729), было сложным и противоречивым: как сторонник классицизма, он обвинял английского драматурга в «незнании правил», в отказе от жанровой регламентации (отчего в его пьесах трагическое смешивается с комическим), в грубости. В то же время Вольтер отмечал мощный талант Шекспира, называя его гением («гений, но гений дикий и варварский»), пропагандировал его творчество во Франции, переводил сцены из «Юлия Цезаря» и под влиянием этой трагедии написал свою трагедию «Брут». Впервые о Шекспире Вольтер заговорил в своих «Философских письмах» (1734).

«Эмилия Галотти»*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, январь.

(1) *Первый перевод ее напечатан в Петербурге, а второй, по которому она представляется, здесь, в Москве.* – Первый перевод вышел в 1784 году. Переводчик скрыл свое имя за инициалами П. А.; второй, сделанный Карамзиным, вышел в 1788 году в университет-

ской типографии Новикова.

(2) *Есть еще другой Виргинии в свете...* – В финале «Эмилии Галотти» нашла отзвук римская легенда о центурионе из плебеев Виргинии, убившем свою дочь Виргинию, чтобы спасти ее от посягательств тирана Аппия Клавдия.

О сравнении древней, а особенно греческой, с немецкою и новейшею литературою*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, февраль.

Философа Рафаила Гитлоде странствования...*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, март.

(1) *...весьма темного в русском переводе.* – Имя переводчика неизвестно.

Гольдониевы записки, заключающие в себе историю его жизни и театра*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, май.

«Генриада»*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, май. Перевод поэмы Вольтера сделан князем Голицыным.

(1) *...первый* (перевод «Генриады». – Г. М.), *вышедший за несколько лет перед сим...* – Имеется в виду «Генриада» в переводе Я. Б. Княжнина, вышедшая в Петербурге в 1777 году.

«Неистовый Роланд»*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, июнь.

(1) *...тот, конечно, пожелает, чтобы г. переводчик выдал и следующие части...* – Переводчик Петр Молчанов в 1791 году издал только первую часть поэмы; в 1793 году вышли еще две части.

«Сид»*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, июль.

Карамзин дает высокую оценку «русскому Сиду», то есть трагедии Корнеля, переведен-

ной белыми стихами Я. Б. Княжниным; изда-
на в Петербурге в 1779 году.

**«Опыт нынешнего естественного, граж-
данского и политического состояния Швей-
царии...»***

Впервые опубликовано в «Московском
журнале», 1791, август.

(1) *...русские читатели могут... досадо-
вать на господина переводчика...* – «Опыт» пе-
ревел В. Раевский.

**Достопамятная жизнь девицы Клариссы
Гарлов***

Впервые опубликовано в «Московском
журнале», 1791, октябрь.

(1) *Сия первая часть переведена с француз-
ского...* – Роман был переведен двумя перевод-
чиками – Н. Осиновым и П. Кильдюшевским.

(2) *...переводчик хотел здесь последовать
моде, введенной в русский слог «големыми
претолковниками NN...»* – Карамзин упрекает
переводчиков в чрезмерном и неуместном
использовании церковнославянизмов. Под
издевательски названными «големыми (то

есть великими) претолковниками» Карамзин, видимо, понимает переводчиков 80-х годов, злоупотреблявших славянизмами (Захаров, Пахомов, Якимов и др.).

От издателя к читателям*

Письмо Карамзина к читателям впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, ноябрь.

Жизнь Вениамина Франклина, им самим описанная для сына его*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1791, декабрь.

(1) *Франклин... не зная ничего, кроме... бедного типографского ремесла...* – Сын бедного ремесленника, Франклин начал с десятилетнего возраста работать в мастерской отца, а затем в разных типографиях Бостона и Филадельфии.

(2) *...смирил гордость британцев, даровал вольность почти всей Америке и великими открытиями обогатил науки!* – Карамзин ценит Франклина за политическую и научную деятельность. Его слова – вариант известной

надписи на бюсте Франклина, которую приводит Рейналь в своей книге «La Révolution de l'Amérique» и повторяет в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790) Радищев: «Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из рук царей».

<О Стерне>*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1792, февраль.

Эта заметка является примечанием Карамзина к переводу отрывка из романа Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди».

(1) *Сколько раз читал я «Лефевра»!* – Имеется в виду трогательная история поручика Лефевра и его маленького сына, которого после смерти отца взял на воспитание старый сэр Тоби, рассказанная в романе Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди».

<О Калидасе и его драме «Саконтала»>*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1792, май.

Это предисловие Карамзин предпослал переведенному им отрывку из «Саконталы» Ка-

лидаса.

Драматические начертания древней северной мифологии*

Впервые опубликовано в «Московском журнале», 1792, май.

Заключение*

Последнее обращение к читателям «Московского журнала», напечатано в декабрьской книжке за 1792 год. Обещание издавать альманах «Аглая» Карамзин выполнил, правда, с запозданием – вместо весны 1793 года («может быть, с букетом первых весенних цветов положу я первую книжку «Аглаи» на олтарь граций») первая часть «Аглаи» вышла в апреле 1794 года.

Что нужно автору?*

Статья написана весной 1793 года, впервые опубликована в альманахе «Аглая», 1794, ч. I.

Нечто о науках, искусствах и просвещении*

Статья написана зимой – весной 1793 года,

впервые опубликована в альманахе «Аглая», 1794, ч. I

(1) *Фарос* – маяк.

(2) *Эфоры* – в древней Спарте избранные представители народного собрания, наблюдавшие за действиями администрации.

(3) *Сын Софронисков* – греческий философ Сократ, сын малоизвестного скульптора Софрониска.

(4) *...или какой-нибудь абдерит...* – Абдерит – житель города Абдера, греческой колонии. Абдера считалась захолустным городком, с отсталой, по сравнению с древнегреческой, культурой. Отсюда нарицательное «абдерит» – смешной провинциал, небольшой культуры человек.

(5) *Моголовы сокровища*. – Великий Могол – титул государей тюркской династии (основанной султаном Бабуром), властвовавшей в Индии около трех столетий; моголы обладали огромным богатством.

(6) *...но дух твой живет в «Эмиле», но сердце твое живет в «Элоизе»...* – Имеются в виду романы Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762) и «Юлия или Новая Элоиза» (1761).

(7) *Тогда поверишь, что ночь и тьма есть жилище грей, горгон и гарпий.* – Речь идет о мифологических чудовищах.

(8) *Палладиум* – защита, оплот (от имени богини Афины Паллады, защищавшей, по верованию древних греков, безопасность их городов).

(9) *Энфинемата, барбара, целарент, феррио...* – различные формы силлогизмов в схоластической логике.

(10) *...и там, где возвышаются теперь кровавые эшафоты...* – Видимо, подразумевается Франция, где в январе 1793 года казнили короля Людовика XVI.

(11) *Долина Темпейская* – долина в Греции, между горами Оссоною и Олимпом, орошаемая рекою Пенеем. Ее красоту неоднократно воспевали древнегреческие поэты.

<О богатстве языка>*

Впервые опубликовано в газете «Московские ведомости» (№ 90 за 1795 год), где Карамзин вел в течение всего этого года отдел «Смесь».

<«Находить в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону»>*

Статья эта в виде предисловия открывала вторую книжку альманаха «Аониды» (1797). В предисловии к первому тому «Аонид» Карамзин так определил задачи альманаха: «Почти на всех европейских языках ежегодно издается собрание новых мелких стихотворений под именем «Календаря муз» («Almanach des Muses»), мне хотелось выдать и на русском нечто подобное для любителей поэзии: вот первый опыт под названием «Аониды» (другое имя муз)».

(1) ...похоже на странное существо, описанное Горацием в начале эпистолы к Пизонам. – «Послание» – это изложение общих правил поэзии. Ср. начальные строки «Послания» в переводе А. Мерзлякова (1826):

*Когда маляр, в жару, потя над
картиной,
Напишет женский лик на шее лошадиной,
Все тело перьями и шерстью распестрит
И части всех родов в урода поме-*

стит, –
Начав красавицы чудесное творе-
нье,
Окончит рыбою, себе на прослав-
ленье...

(2) *Бомбаст* – напыщенность.

Несколько слов о русской литературе*

Статья дается в переводе с французского Е. Г. Эткинда. Опубликовано в журнале «Spectateur du Nord» («Северный зритель») в 1797 году (октябрь).

В письме Дмитриеву от 16 ноября 1797 года Карамзин сообщал: «Издатель французского «Северного зрителя» требовал от меня чего-нибудь. Я послал к нему *Un mot sur la littérature russe*».

(1) *Есть у нас песни и романсы, сложенные два-три века тому назад, где мы находим самое трогательное, самое простодушное выражение любви, дружбы и пр.* – Далее Карамзин несколько необычно излагает содержание народных песен. Характер такого изложения Карамзин объяснил в письме Дмитриеву: «Мне казалось, так надобно было писать о

русской литературе для иностранцев, слегка, без дальних подробностей, с оборотом à la française. Означенные мною картины и чувства из русских песен не совсем выдумка; есть à peu près – чего и довольно».

(2) *...года два назад в наших архивах обнаружили фрагмент поэмы, озаглавленной «Слово о полку Игореве»...* – В начале 90-х годов граф Мусин-Пушкин приобрел сборник рукописных произведений древнерусской литературы, в числе которых был обнаружен список «Слова о полку Игореве». Первое сообщение об открытии «Слова» было сделано Херасковым в примечании к 16-й песне второго издания его поэмы «Владимир», вышедшей в самом начале 1797 года. В конце 1800 года «Слово» было впервые опубликовано.

(3) *«Письма русского путешественника» в пяти частях. Москва, 1797 год.* – Из этой статьи мы узнаем о намерении Карамзина издать в 1797 году «Письма» в пяти частях, то есть с включением пятой части, посвященной Франции, как то видно из последующего конспективного изложения ее содержания. «Письма» действительно вышли в 1797 году,

но в четырех частях. Причина исключения пятой части неизвестна.

(4) *Наши соотечественники давно путешествуют по чужим странам, но до сих пор никто из них не делал этого с пером в руке. Автору сих писем первому явилась эта мысль...* – Заявление неточное. В 1777–1778 годах по Франции путешествовал именно «с пером в руках» Фонвизин. Свои впечатления о поездке он передавал в письмах, адресованных сестре и П. И. Панину. Позже Фонвизин собирался эти письма под заглавием «Записки первого путешествия» опубликовать в собрании своих сочинений, о чем сообщил в объявлении, напечатанном в мае 1788 года в «Санкт-Петербургских ведомостях». Письма Фонвизина к П. И. Панину ходили в списках. Два из них в 1798 году были опубликованы в «Санкт-Петербургском журнале». Возможно, правда, что к 1797 году Карамзин еще не знал о письмах Фонвизина из Франции.

(5) См. «Тристрама Шенди». – Имеется в виду роман Л. Стерна «Жизнь и Мнения Тристрама Шенди»; с 1760 по 1767 год вышло семь частей; роман остался незавершенным:

В 1768 году Стерн умер.

(6) *Прочтите одно замечание в «Эмиле», и книга выпадет у вас из рук.* – «Замечание» это Карамзин не указал. Возможно, речь идет о тех страницах романа, где говорится об обстоятельствах, которые, по Руссо, могут привести к торжеству анархии в государстве. (См. Ж.-Ж. Руссо. Избранные сочинения в трех томах, т. I. М. – Л., Гослитиздат, 1961, стр. 688–689.)

(7) *Последнее письмо отправлено из Кронштадта.* – Пятая в шестая – последние части «Писем» – вышли только в 1801 году. Текст заключительного письма из Кронштадта был резко изменен Карамзиным.

Пантеон российских авторов*

28 марта 1800 года Карамзин в письме Дмитриеву сообщил о начале работы над «Пантеоном»: «Я пишу теперь notiцы к портретам русских авторов». В 1802 году в издании П. Бекетова вышли четыре тетради «Пантеона». Позже для собрания сочинений Карамзин дополнил «Пантеон» некоторыми новыми характеристиками писателей. Одним из главных источников был «Опыт историче-

ского словаря о российских писателях» Н. Новикова, изданный в 1772 году. В тексте сохраняются даты жизни и смерти писателей, сообщенные Карамзиным; в указателе они уточнены по новейшим источникам.

БОЯН

(1) Стр. 156. *За несколько лет перед сим... нашлось древнее русское сочинение.* – Речь идет о «Слове о полку Игореве». См. прим. к статье «Несколько слов о русской литературе», стр. 533.

(2) *Знатоки наших древностей утверждают...* – Первое издание «Слова о полку Игореве» было осуществлено в 1800 году учеными-специалистами – А. Ф. Малиновским а Н. Н. Бантыш-Каменским.

МАТВЕЕВ АРТЕМОН СЕРГЕЕВИЧ

(3) См. «Письма» его (Матвеева. – Г. М.), изданные Новиковым. – Н. И. Новиков, собрав документы об Артемоне Матвееве, издал их в 1776 году отдельной книгой: «История о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева, состоящая из челобитен, писанных им к царю и патриарху, также из писем к разным особам, с приобщен-

нием объяснения о причинах его заточения и о возвращении из оногo». Книга посвящена графу П. А. Румянцеву, богатейшим собранием рукописей которого пользовался Новиков.

КНЯЗЬ ХИЛКОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

(4) ...сочинил «Ядро российской истории»... – Подлинным автором «Ядра» был секретарь Хилкова А. И. Мавкиев. «Ядро» писалось по распоряжению Петра I и было закончено в 1715 году, но издано только в 1770 году историком Миллером, который по небрежности приписал авторство князю А. Я. Хилкову.

ТАТИЩЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ

(5) ...вместо истории оставил нам только материалы ее... – В. Н. Татищев – автор многочисленных исторических сочинений и научных публикаций исторических документов (с предисловиями и комментариями). Главный его труд – «История российская с самых древнейших времен» (четыре книги выходили с 1768 по 1784 год, пятая была напечатана только в 1848 году) – серьезное историческое сочинение, интересное не только богатством фактов и материалов, но и попыткой объяснить исторические явления не вмешательством

божественного провидения и не подвигами отдельных людей, а общественным устройством. Карамзин повторяет распространенную в то время несправедливую оценку «Истории российской» Татищева.

КЛИМОВСКИЙ СЕМЕН

(6) *Казак и стихотворец.* – Популярные песни Климовского привлекли к их автору внимание драматурга А. А. Шаховского, который написал в 1812 году оперу-водевиль «Козак-стихотворец», пользовавшуюся шумным успехом у зрителя.

КРАШЕНИННИКОВ СТЕПАН (ПЕТРОВИЧ)

(7) *Его перевод Квинта Курция...* – В 1750–1751 годах вышла книга «История о Александре Великом, царе Македонском, писанная Квинтом Курцием», в переводе с латинского С. Крашенинникова. Перевод Крашенинникова пользовался успехом и многократно переиздавался; в 1800–1801 году вышло четвертое издание.

БАРКОВ ИВАН

Новиков свидетельствует, что Барков «сочинил также «Краткую российскую историю» от Рюрика до времен Петра Великого, но она

не напечатана; также сочинил он описание жизни князя Антиоха Кантемира и на сатиры его примечания». Первое издание сатир Кантемира со статьей и примечаниями Баркова вышло в 1762 году.

ЭМИН ФЕДОР (АЛЕКСАНДРОВИЧ)

(8) См. «Опыт исторического словаря». – Речь идет об «Опыте исторического словаря о российских писателях», изданном Новиковым в 1772 году.

(9) Сочинив «Мирамонда», «Фемистокла», «Эрнеста и Доравру», «Описание турецкой империи», «Путь к спасению»... – Полное название романов Ф. Эмина: «Непостоянная fortuna, или Похождения Мирамонда» (1763), «Приключения Фемистокла и разные политические, гражданские, философские и военные его с сыном своим разговоры, постоянная жизнь и жестокость фортуны, его гонящей» (1763); «Письма Эрнеста и Доравры» (четыре части с 1766 по 1768); историческое сочинение «Краткое описание древнейшего состояния Отоманской Порты» (1769) и богословское – «Путь ко спасению, или Разные набожные размышления, в которых заключается

нужнейшая часть богословия» (1770).

МАЙКОВ ВАСИЛИЙ (ИВАНОВИЧ)

(10) *Екатерине Великой угодно было познакомиться Дидерота с русскими авторами и пригласить их к обеду.* – П. А. Вяземский в своей книге о Фонвизине указывает, что обед для петербургских литераторов, на который пригласили и Дидро, был дан Г. Г. Орловым.

ПОПОВ МИХАЙЛО (ИВАНОВИЧ)

(11) *...изданы вместе под именем «Досугов».* – Издание называется «Досути, или Собрание сочинений и переводов Михаила Попова», чч. I, II, 1772.

(12) *...сочинил описание славянского богослужения...* – Стремясь популярной античной мифологии противопоставить славянскую мифологию, Попов в 1768 году издал «Краткое описание древнего славянского языческого баснословия». Источником этой книги были сказки, песни, обычаи народа. Многие имена богов сочинил сам Попов. Писатель открыто заявлял о мнимо-историческом характере своей мифологии и предупреждал, что его «сочинение сделано больше для увеселения читателей, нежели для важных исторических

справок; и больше для стихотворцев, чем для историков». Карамзин неточно цитирует названные книги Попова – вместо «Краткое описание древнего славянского языческого баснословия» пишет: «описание славянского богослужения».

Письмо к издателю*

Предисловие к журналу «Вестник Европы», написано в форме письма читателя к издателю; появилось в январском номере журнала за 1802 год.

(1) *...издавать журнал... в такое время...* – Речь идет о начале царствования Александра I, ознаменованном рядом либеральных акций.

(2) *«Милорд Георг»*. – Речь идет о романе Матвея Комарова, писателя XVIII века, «Повесть о приключении английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики Луизы с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезии». Первое издание романа вышло в Петербурге в 1782 году, в последующем, ввиду широкой по-

пулярности у читателя, появились многократные его переиздания.

О книжной торговле и любви ко чтению в России*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 9.

(1) *Господин Новиков был в Москве главным распространителем книжной торговли,* – Карамзин дает высокую, исторически справедливую характеристику трудам крупнейшего русского просветителя Новикова, подвергнувшегося гонениям при Екатерине. Несомненно, Карамзин стремился не только к тому, чтобы напомнить новым поколениям о заслугах Новикова, но и хотел ободрить больного писателя, помочь ему вновь вернуться к книгоиздательскому делу. Знаменательно, что Новиков в 1805 году, воспользовавшись удобным случаем – сдачей в очередную аренду Университетской типографии, активно выступил на торгах, предложил наибольшую сумму, и типографию оставили за ним. Однако директор университета совершенно неожиданно отказался передать типографию

Новикову.

(2) *Кто пленяется «Никанором, злосчастным дворянином»...* – Речь идет о романе Матвея Комарова «Несчастный Никанор, или Приключения российского дворянина». Первая часть вышла в 1775 году; в 1787–1789 годах роман вышел в трех частях.

(3) *...новая планета Пиаци будет описана еще обстоятельнее, нежели в «Петербургских ведомостях»!* – В 1801 году (январь – февраль) итальянский астроном Пиаци открыл первую малую планету Цереру. В январе 1802 года, когда планета вновь оказалась в сфере видимости, ее обнаружили, согласно опубликованным Пиаци расчетам, другие астрономы, что и привело к официальному признанию открытия итальянского ученого. В № 25 (28 марта 1802 года) «Санкт-Петербургские ведомости» дали специальное приложение – «Известие о новой планете», подписанное инициалами С.Р. В «Известии» на двух страницах подробно рассказывалось о том, как на основании расчетов была обнаружена новая планета.

Мысли об уединении*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 10.

(1) *Антидот* – противоядие.

(2) *Жан-Жак Руссо оставил город, чтобы в густых тенях парка размышлять об изменениях человека в гражданской жизни, и слог его в сем творении имеет свежесть природы.*

– В начале 60-х годов, после отъезда из Парижа, Руссо гостил в поместье герцога Люксембургского в Монморанси и в имении принца Конти. В долине Монморанси написан роман «Эмиль, или О воспитании» (1762), на последних страницах которого конспективно излагалось содержание социологического трактата Руссо «Общественный договор» (написанного тогда же). Карамзин, видимо, имеет в виду этот роман.

Отчего в России мало авторских талантов?*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 14.

Пантеон русских авторов*

Авторецензия на изданный П. Бекетовым «Пантеон российских авторов» (Карамзин неточно воспроизводит название альбома). Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 20.

(1) *...а четвертый... мы еще ожидаем.* – В изданном Бекетовым «Пантеоне» Карамзин в статье о Кантемире иначе характеризовал четвертую эпоху развития русского слога: «А четвертую с нашего времени, с которой образуется приятность слога, называемая французами *elegance*». Изменение характеристики четвертой эпохи (в «Пантеоне» она уже «началась с нашего времени», а в рецензии – она еще только «ожидается») связано с выработкой Карамзиным в 1802–1803 годах новой эстетической программы (подробно см. об этом во вступительной статье). В собрании сочинений 1820 года Карамзин отбросил и последние слова фразы («называемая французами *élégance*»).

О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 24

(1) Мысль задавать художникам предметы из отечественной истории достойна вашего патриотизма... – Речь идет о графе Строганове, президенте Академии художеств. По его предложению было сделано дополнение к уставу Академии (утверждено 22 октября 1802 года), в котором рекомендовалось предлагать воспитанникам темы из отечественной истории. «Сообразуясь с истинною и благороднейшею целию искусств, которая состоит в том, чтоб сделать добродетель ощутительною, предать бессмертию славу великих людей, заслуживших благодарность отечества, и воспламенить сердца и разумы к последованию по стезям соотчичей наших, соизволяем, чтобы по собственному избранию и назначению нашему того из великих мужей российских, который заслуживает честь сию предпочтительно, или такого знаменитого происшествия, которое имело влияние на благо государства, Академия художеств задавала ежегодно программы для живописи и скульптуры». Карамзин поспешил предло-

жить первые «предметы» – события и характеры, которыми могла бы воспользоваться Академия.

(2) *...басня о смерти Олеговой.* – В последующем на этот сюжет Пушкин написал историческую балладу «Песнь о вещем Олеге» (1822). Возможно, что рассказ Карамзина послужил источником пушкинской исторической баллады.

(3) *В Нижнем Новгороде глаза мои ищут статуи Минина...* – Призыв Карамзина был услышан: в 1803–1804 годах общественность потребовала создания памятника Минину и Пожарскому; был объявлен сбор средств; крупный скульптор И. П. Мартос в 1804 году приступил к работе над памятником Минину и Пожарскому. Большая модель памятника была показана публике в 1815 году, и в 1818 состоялось открытие памятника в Москве, на Красной площади. В Нижнем Новгороде памятник Минину был поставлен в 1815 году.

О Богдановиче и его сочинениях*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1803, № 9. Статья посвящена памяти И. Ф.

Богдановича, умершего в январе 1803 года.

(1) ...как сказал любезный переводчик Гревой «Элегии»... – Элегию «Сельское кладбище» в переводе юного Жуковского Карамзин напечатал в «Вестнике Европы» в 1802 году.

(2) В 1763 году... издавал журнал... «Невинное упражнение». – В автобиографии Богданович указывает, что он не был издателем, а только «употреблен был к соучаствованию» в журнале, выходившем в свет «под покровительством Е. Р. Дашковой».

(3) ...сия поэма, приписанная... – то есть посвященная.

(4) ...выдавал 16 месяцев журнал под титулом «Петербургского вестника»... – Карамзин ошибся: издателем «Санкт-Петербургского вестника» (1778–1781) был Г. Л. Брайко. И. Ф. Богданович издавал другой журнал – «Собрание новостей», действительно выходивший шестнадцать месяцев – с сентября 1775 по декабрь 1776 года включительно.

(5) Это напоминает один из славнейших стихов в *Lutrin*... – то есть в поэме французского поэта XVII века Буало – «Налой».

(6) Исполняя также волю сей монархини,

он издал «Русские пословицы»... – Богданович издал «Русские пословицы» в 1785 году. Исполнение воли Екатерины определило и принцип подбора пословиц и характер их переработки. Богданович располагал пословицы по рубрикам со специальными заглавиями, которые подчеркивали политический смысл подобранных пословиц. Так, например: «Глава вторая. В ней означается, что служба государю направляется не иным образом, как когда подданный в обязанностях своих сохраняет верность, твердость и истинное любочестие». Дальше шли рубрики: «служба государю», «почтение к вышним», «мужество в повиновении к вышним» и т. д. Богданович при этом исправлял пословицы, переделывал их, нередко искажая их смысл. Иногда пословицы, нужные для той или иной рубрики, он сочинял сам.

Известие о Марфе Посаднице, взятое из жития св. Зосимы*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1803, № 12.

(1) *И без сказки, напечатанной в «Вестнике*

Европы», все мы знали, что Марфа Посадница была чрезвычайная, редкая женщина... – Речь идет о повести самого Карамзина «Марфа Посадница», напечатанной в первых номерах «Вестника Европы» за 1803 год.

(2) При Елисавете родилась и торжествовала наша поэзия. – Елизавета царствовала с 1741 по 1761 год; в это двадцатилетие, развернулось поэтическое дарование Ломоносова, Сумарокова, Хераскова.

Записка о Н. И. Новикове*

«Записка» написана в 1818 году, после смерти Новикова; обращаясь к Александру, Карамзин просил о помощи семье просветителя, разоренной Екатериной II. «Записка» впервые опубликована в книге «Неизданные сочинения и переписка Н. М. Карамзина», ч. I, 1862.

(1) Новиков вел переписку с прусскими теософами... – Утверждение не подтверждается фактами. Во время следствия Новиков с полным основанием отверг это обвинение, указав, что «с берлинскими братьями переписку имел профессор Шварц, а из нас каждый на-

писал только по совету профессора Шварца по принятии в орден по одному благодарительному письму к Вельнеру, да, помнится, я одно такое же письмо писал к Тедену» (Н. И. Новиков. Избранные сочинения, М.-Л., Гослитиздат, 1951, стр. 617).

Речь, произнесенная на торжественном собрании императорской Российской академии 5 декабря 1818 года*

Карамзин произнес речь в связи с избранием его членом Российской академии 5 декабря 1818 года. Впервые она была опубликована в журнале «Сын отечества» за 1819 год, № 51.

(1) *Полный словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу... феноменов...* – Российская академия, созданная в 1783 году, начала свою работу 21 октября. Уже на втором заседании, 28 октября, было принято решение об издании «Российского толкового словаря». Для составления «Правил и порядка» словаря был создан «отряд» из числа писателей и ученых – Фонвизина, Леонтьева, Разумовского и Лепехина. На следующем заседании, 11

ноября, Фонвизин представил академии составленное им «Начертание для составления толкового словаря». «Начертание» было принято. По программе, составленной Фонвизиним, академия подготовила «Словарь Академии Российской» в шести частях, который был издан в Петербурге в 1789–1794 годах. О нем и говорит Карамзин. Второе издание словаря – «по азбучному порядку расположенное, вновь пересмотренное, исправленное и пополненное» – начало выходить с 1806 года. К 1812 году было издано три части. Остальные три тома выходили с 1814 по 1822 год.

(2) ...*Академия предложила и систему правил для составления речи...* – Карамзин говорит о «Грамматике российской, сочиненной Академией Российской», изданной в 1802 году; в 1809 году вышло второе ее издание.

Мелодор к Филалету*

Филалет к Мелодору*

Переписка Мелодора и Филалета впервые опубликована в альманахе Карамзина «Аглая», ч. 2-я, 1795 год. Написаны письма в конце 1793 – начале 1794 года. Об идейном содер-

жании философских писем Мелодора и Филалета см. во вступительной статье. *Филалет* – по-гречески – «любитель истины». *Мелодор* – по-гречески – «даритель песен», то есть поэт.

(1) *...на развалинах Илиона...* – Илион, или Троя, – город на малоазиатском берегу Эгейского моря, разрушенный греками в ходе Троянской войны. Разрушение и сожжение Трои описано в поэме Гомера «Илиада».

(2) *Фивы* – крупный город Египта, располагавшийся на берегах Нила, разрушен в 88 году до н. э.

(3) *...восклицали: «Человек велик духом своим!..»* – Провозглашая внесловную ценность человека Ж.-Ж. Руссо утверждал: «Человек велик своим чувством».

(4) *Век просвещения! Я не узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя – среди убийств и разрушения не узнаю тебя!..* – Имеются в виду события французской революции 1792–1793 годов, которыми начинался ее новый период. Представители народа – якобинцы, во главе с Робеспьером, повели решительную борьбу с контрреволюционерами. Якобинский этап французской революции и

осуждает Карамзин.

(5) *Свирепая война опустошает Европу...* – В апреле 1792 года Австрия начала войну против Франции. С января 1793 года на стороне Австрии выступили Англия, Пруссия и многие другие страны Европы. Созданная могучая коалиция монархических государств стремилась раздавить революцию во Франции.

(6) *...сера и селитра истощатся в недрах земли, и громы умолкнут...* – Из селитры и серы делали в те времена взрывчатые вещества.

(7) *Эоны.* – Зонами в религиозно-философских учениях древности называли «светлые силы» духовной жизни человека.

(8) *...злословие язвит... Питиаса: Демон внимает клевете и с презрением отвергает ее.* – Имеется в виду легенда о Финтии (Карамзин передает имя Phintias – как Питиас) и Демоне, двух гражданах из Сиракуз, прославившихся верностью в дружбе.

Всеобщее обозрение*

Впервые опубликовано в «Вестнике Евро-

пы», 1802, № 1.

(1) *...ужасы десятилетней войны.* – Имеется в виду французская революция и войны, которые вела Франция в Европе и Африке.

(2) *...сколько раз в течение сей войны республика по всем вероятностям разума должна была погибнуть?* – Здесь и дальше Карамзин рассказывает о неоднократных попытках коалиции монархических государств осуществить интервенцию во Франции и раздавить республику.

(3) *...самым тем средством, которое хотел употребить Павел I, то есть закрыв для нее все свои гавани.* – В декабре 1800 года Россия совместно с Данией, Швецией и Пруссией подписала договор о «Втором вооруженном нейтралитете» (первый был подписан Екатериной в 1780 году, во время борьбы американской республики с Англией за свою независимость), тем самым закрепив право северных держав вступать в торговые взаимоотношения со всеми странами, отвергая претензию Англии объявить блокаду торговым портам враждебных ей государств.

(4) *Желаем, чтобы Амьенский конгресс был*

в истории славнее всех Утрехтских и Ахенских конгрессов... – В первые десятилетия XVIII века шла война за испанское наследство, завершившаяся миром, который был закреплён рядом договоров Утрехтского конгресса. На конгрессе, состоявшемся 11 апреля 1713 года, Франция подписала договор со своими противниками (Англией, Пруссией, Испанией и др.), который запрещал раздел Испании. В 1748 году в Ахене был заключён мир после войны за австрийское наследство, в котором участвовали Франция, Англия, Испания, Австрия, Пруссия и Голландия. 27 марта 1802 года в Амьене Франция и Англия заключили договор о мире, который завершал войну второй коалиции против Франции. Желание Карамзина, чтобы Амьенский конгресс принёс мир в Европу, не сбылось – 22 мая 1803 года война между Францией и Англией вспыхнула с новой силой.

Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 12.

(1) *Российский дворянин дает нужную землю крестьянам своим... За то он требует от них половины рабочих дней в неделе...* – Данное суждение красноречиво свидетельствует о приверженности Карамзина к интересам своего класса, о его помещичьем либерализме – требует «только» трехдневной барщины!

(2) *...когда будем иметь полное, методическое собрание гражданских законов, ясно и мудро написанных?* – Речь идет о работе Комиссии по составлению законов, программу которой определил Александр специальным рескриптом. Комиссия работала под руководством П. В. Завадовского.

(3) *Указы отца отечества, императрицы Анны, Елисаветы, особливо Екатерины Великой решат все важнейшие вопросы о людях и вещах в порядке гражданском...* – Считая в настоящих условиях самодержавие благотворительным, а крепостное право необходимым, Карамзин, естественно, не ждал от Комиссии издания принципиально новых законов, которые меняли бы политический и социальный уклад России, он полагал, что нужна только философическая метода для располо-

жения предметов».

О похитителях*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 15.

Падение Швейцарии*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 20.

О любви и отечеству и народной гордости*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1802, № 4.

(1) *Римская империя узнала, что есть славяне, ибо они пришли и разбили ее легионы.* – Ссылаясь на летописи византийские, Карамзин в «Истории государства Российского» сообщал, что «со времен Юстиниановых, с 527 году... начинают славяне действовать против Империи... Ни сарматы, ни готфы, ни самые гуны не были для империи ужаснее славян. Иллирия, Фракия, Греция, Херсонес – все страны от залива Ионического до Константинополя были их жертвою. Ни легионы римские,

почти всегда обращаемые в бегство, ни великая стена Анастасиева, сооруженная для защиты Цареграда от варваров, не могли удерживать славян, храбрых и жестоких» (т, I, стр. 20–21).

(2) *Сии славные республиканцы... бежали в Италии от первого взмаха штыков русских.* – Речь идет о разгроме французских войск в Италии в мае и июне 1799 года. Русской армией командовал Суворов.

Письмо сельского жителя*

Впервые опубликовано в «Вестнике Европы», 1803, № 17. В ряде статей, напечатанных в 1802 году в «Вестнике Европы», Карамзин развивал свои излюбленные мысли о необходимости дворянам-помещикам переехать из города, где они живут расточительно, в деревню и там исполнять долг свой перед крестьянами, быть их защитниками и т. д. Это «Письмо», напечатанное в конце 1803 года от имени сельского жителя (в журнале оно было подписано именем Луки Еремеева), должно было как бы свидетельствовать, что призывы издателя журнала услышаны, что помещики

стали понимать свой долг, что в деревне начало сказываться благотворное следствие крепостного права – все крестьяне трудятся, они богаты и счастливы, и все это только благодаря заботам своего помещика.

(1) *...ученье в школе опыта и фериуля...* – Фериуля (греч.) – прут, розга; школа фериуля – в переносном смысле – надзор, тяжелый режим. Карамзин имеет в виду переносное значение – школа жизни, тяжелых испытаний и опыта.

(2) *Иностранцы путешественники, видя в России... лень крестьянина... приписывают ее так называемому рабству... Но смею уверить их, что такая философия никогда не входила в голову нашим земледельцам; они ленивы от природы...* – Помещичья ограниченность Карамзина, заставлявшая его доказывать благотворность для крестьян крепостной зависимости от землевладельца, привела его к ложному обвинению народа в природной лени.

<Царствование Иоанна IV>*

В 1818 году вышли из печати первые во-

семь томов «Истории государства Российского». Девятый том вышел из печати в 1821 году, десятый и одиннадцатый – в 1824 году; неоконченный двенадцатый том вышел после смерти писателя. В ближайшее десятилетие появилось несколько изданий «Истории», в 1842–1843 годах вышло уже пятое ее издание.

Бурный расцвет исторической науки XIX века ослабил интерес к «Истории» Карамзина – она не переиздавалась долго, около ста лет, и теперь стала недоступной широкому читателю. Полное издание многотомной «Истории», снабженной специальным научным комментарием, дело будущего. Вот почему при подготовке настоящих Избранных сочинений Карамзина решено было включить в них некоторые главы «Истории», и прежде всего – описание царствований Иоанна IV, Федора Иоанновича и Бориса Годунова. Как известно, именно эти разделы «Истории» Карамзина оказали огромное влияние на несколько поколений русских писателей. К сожалению, тип и объем настоящего издания не позволил включить полный текст этих

разделов (они занимают четыре тома), и пришлось описания трех царствований давать со значительными сокращениями. По тем же причинам опущены ценные, но носящие специальный характер, примечания Карамзина. Главы печатаются по первому изданию «Истории». Царствование Иоанна IV – т. VIII (1818) и т. IX (1821), царствование Феодора Иоанновича и Бориса Годунова – т. X (1824) и т. XI (1824).

Из главы третьей восьмого тома

(1) *Крест, бармы, венец* – знаки царского достоинства. Бармы – оплечья; делались из золота, серебра или дорогих материй, украшенных драгоценными камнями. Крест, бармы и венец надевались в особо торжественных случаях.

В следующих, опускаемых в настоящем издании (четвертой и пятой), главах VIII тома рассказывается о царствовании Иоанна IV с 1548 по 1560 год; главные события этого периода – дела казанские: подготовка к походу на Казань, штурм города и падение Казанского царства; дела ливонские: взятие Нарвы, Дерпта и других городов; покорение царства Аст-

раханского; прибытие английских кораблей на север России. Внутренняя политика характеризуется «обузданием местничества», «намерением просветить Россию».

Из главы второй девятого тома

(2) ...предложил устав опричнины. – Введение опричнины диктовалось классовыми интересами дворянства, стремившегося укрепить свои экономические и политические позиции; опричнина усиливала централизованное государство. Введя в 1565 году опричнину, Иван Грозный разделил Россию на две части – опричнину (центральные и наиболее важные части государства) и земщину, куда входили окраинные области. Из опричнины в земщину выселялось боярство; их земли передавались опричникам. В опричнине был создан новый административный аппарат и войско. После 1572 года порядок опричнины был распространен и на земщину.

Из главы пятой девятого тома

(3) Так кончилась война трехлетняя, не столь кровопролитная, сколь несчастная для России, менее славная для Батория, чем постыдная для Иоанна... – В начале пятой гла-

вы, нами опущенной, речь шла о войне с Польшей и Швецией. Благодаря героической обороне Пскова план Батория рухнул. Шведы, пользуясь бездействием русских воевод, перешли в наступление и взяли Нарву. Испуганный событиями Иоанн IV поспешил предложить мир потерпевшему поражение Баторию, отказавшись от Ливонии, на завоевание которой ушло более двух десятилетий.

Из главы седьмой девятого тома

(4) ...двадцать четыре года сносила губителя... – Царствование Иоанна IV продолжалось 37 лет. Карамзин имеет в виду шесть эпох «мучительства», которые длились с 1560 года до смерти Грозного в 1584 году.

(5) ...как греки в Фермопилах за отечество... – При Фермопилах (горном проходе из Северной Греции в Среднюю) в 420 году до н. э. греки под командованием спартанского царя Леонида держали героическую оборону против многочисленной персидской армии.

<Царствование Феодора Иоанновича>*

Из главы первой десятого тома

(1) ...говорит римский историк... – Тацит

(55 – ок. 120) в своих исторических сочинениях обличал режим императоров Калигулы, Нерона и др.

Из главы второй десятого тома

(2) ...лики многолетствовали... – то есть хоры, провозглашавшие здравицу («Многие лета») царю и патриарху... племенами агарянскими... – то есть турками.

Из главы третьей десятого тома

(3) ...крестьяне искони имели... свободу... в назначенный законом срок переходить с места на место... – Действительно, указом, записанным в своде законов – «Судебнике» 1550 года, крестьянам раз в год в течение двух недель – неделю до Юрьева дня (26 ноября) и неделю после – разрешали уходить от одного землевладельца к другому по своему выбору. Борис Годунов уничтожил это право крестьян (Юрьев день) и тем самым повел решительную политику на окончательное закрепощение крестьянства.

<Царствование Бориса Годунова>*

Из главы второй одиннадцатого тома

(1) Любопрительный – любящий вступать в

споры, пререкания.

(2) *Стерво* – падаль, трупы животных.

(3) *...богатое вено Марины...* – то есть богатое приданое.

(4) *Смертоносный мыт.* – Карамзин рассказывает о повальной эпидемии под Кронами в царствование Годунова по Никоновской летописи, где она называется «мыть», то есть понос.

Примечания

Песни божественных арфистов звучат с силой
одухотворяющей. *Клопшток (нем.) – Ред.*

[^^^]

2

Сочинитель говорит только о тех поэтах, которые наиболее трогали и занимали его душу в то время, как сия пиеса была сочиняема.

[^^^]

Сам Шекспир сказал:

The cloud capp'd towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherits, shall dissolve,
And, like the baseless fabric of a vision,
Leave not a wreck behind.

Какая священная меланхолия вдохнула в него сии стихи?

(Для сравнения своего перевода стихов Шекспира из пьесы-сказки «Буря» Карамзин приводит их в оригинале. – *Ред.*)

[^^^]

4

Сии стихи прибавлены после.

[^^^]

5

Я читал об этом в одном немецком журнале.

[^^^]

Индейское растение.

[^^^]

день св. Иоанна гишпанцы усыпали улицы
галгантом и миртами.

[^^^]

8

Известно из мифологии, что Иксион, желая обнять Юнону, обнял облако и дым.

[^^^]

9

Они в подземном мире льют беспрестанно воду в худой сосуд.

[^^^]

Смотри Шекспирову трагедию «Отелло».

[^^^]

Древние поэты говорили, что золотая Фебова стрела приносит смерть человеку.

[^^^]

12

Сии стихи писаны в самом деле под тению ив.

[^^^]

Десять тысяч! Читатель может сомневаться в верности счета; но один из древних же авторов пишет, что их было точно десять тысяч.

[^^^]

Многие пустынные, как известно, сходили с ума в уединении.

[^^^]

Вот начало безделки, которая занимала нынешним летом уединенные часы мои. Продолжение остается до другого времени, конца еще нет, – может быть, и не будет. В рассуждении меры скажу, что она совершенно русская. Почти все наши старинные песни сочинены такими стихами.

[^^^]

Говорят, человечество старо; я этому верю; и все же его приходится развлекать, как ребенка. *Лафонтен (франц.). – Ред.*

[^^^]

То есть обер-дурака.

[^^^]

Темно; можно только догадываться.¹

[^^^]

В мыслях.

[^^^]

Shakespeare. Traduit de l'Anglois, dédié au Roi. Paris, 1776, t. II, p. 384. (Шекспир. Перевод с английского, посвященный королю. Париж, 1776, т. II, стр. 384, (франц.). – *Ред.*)

[^^^]

Публика к удовольствию своему опять видит
ее на театре.

[^^^]

¹ Из «Allgemeiner deutscher Bibliothek» («Всеобщей немецкой библиотеки» (нем.). – *Ред.*), второй части девяносто первого тома.

[^^^]

«О сохранившихся гомеровских гимнах»
(лат.). – *Ред.*

[^^^]

Minnesinger – старинные немецкие или швабские поэты, сочинявшие по большей части любовные песни.

[^^^]

Сей цех существует еще и ныне в Ниренберге, в Стразбурге и в других городах Верхней Германии и состоит из учителей и из учеников. Должность их есть та, чтобы петь песни в своих торжественных собраниях.

[^^^]

Я видел «Сида» на парижском театре и помню, что сие место трагедии сделало во мне приятное впечатление. Сен-Фаль, молодой человек, имеющий все нужные для актера дарования, играл ролю Сида. В самую ту секунду, когда Химена сказала: «Sors vainqueur d'un combat dont Chimène est le prix» (Кто тот победитель, кому наградой будет Химена? *(франц.)* – *Ред.*), лицо его переменилось; после печального уныния изобразилась на нем живейшая радость; глаза его наполнились огнем; вынув меч и подняв руку свою, произнес он голосом героя, уверенного в своей победе, сей стих: «Est-il quelque ennemi qu'à présent je ne dompte?» (Найдется ли враг, которого я не смогу победить? *(франц.)*. – *Ред.*)

[^^^]

А успокоить в ней неотжитую боль

Помогут смена дней, твой меч и твой король.

(Перевод с французского М. Лозинского. —
Ред.)

[^^^]

Одну сочинил Диамант, а другую г. де Кастро.

[^^^]

Течение времени не раз узаконяло

То, в чем преступное нам виделось начало.

*(Перевод с французского М. Лозинского. –
Ред.)*

[^^^]

То есть: «Хотите ли, чтобы я как мизантроп прямо сказал вам свое мнение о пиесе и ваших примечаниях? Мне кажется, что пиеса от начала до конца холодна и неинтересна; что она есть не что иное, как разговор в пяти актах, писанный то высоким, то низким, то старинным слогом; что сия холодность есть великий недостаток почти всех наших театральнх пиес и что, кроме некоторых сцен в «Сиде», пятого действия в «Родогюне» и четвертого в «Ираклии», нигде нет (а особливо в Корнеле) сего ужаса, сей жалости, которые составляют душу трагедии. Итак, по моему мнению, все сии пиесы лучше для чтения, нежели для представления. Потому-то ныне почти никого не бывает в театре, когда играют Корнелевы трагедии; и очень немного, когда Расиновы представляют».

[^^^]

Надлежало бы примолвить, с какого языка *переведено* сие сочинение. Можно, кажется, без ошибки сказать, что оно переведено с французского; но на что заставляя читателей угадывать? – Некоторые из наших писцов, или писателей, или переводчиков – или как кому угодно будет назвать их – поступают еще непростительнейшим образом. Даря публику разными пиесами, не сказывают они, что сии пиесы переведены с иностранных языков. Добродушный читатель принимает их за русские сочинения и часто дивится, как автор, умеющий так хорошо мыслить, так худо и неправильно изъясняется. Самая гражданская честность обязывает нас не присвоивать себе ничего чужого: ни делами, ни словами, ни *молчанием*.

[^^^]

На английском языке оно опубликовано в 1789, а французский перевод оно вышло в 1790 году.

[^^^]

Сии примечания напечатаны при первом издании Коксовых писем на французском языке.

[^^^]

Здесь надлежало бы сказать не *обнаружить*,
а *узнать* или *угадать*.

[^^^]

Лучше бы было в сем смысле сказать по-русски *обрабатываются*.

[^^^]

О ландшафте (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

Пишется по-французски Genthod, а выговаривается *Жанту*.

[^^^]

Беспокойства, начавшиеся в вашей семье
(франц.). – Ред.

[^^^]

Подлиннике в рассуждении русского перевода.

[^^^]

Защитник и покровитель невинных, благодетель Каласовой фамилии, благодетель всех фернейских жителей имел, конечно, не злое сердце.

[^^^]

Пусть музы, искусства, философия переходят
от народа к народу и услаждают жизнь! Сен-
Ламбер (франц.), – Ред.

[^^^]

Discours sur la question, proposée par l'Académie de Dijon, si le rétablissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les mœurs? (Рассуждение о вопросе, предложенном академией города Дижона, способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов (франц.). – Пред.).

[^^^]

Новая пьеса одного неизвестного немецкого автора, которая нечаянно попала в мои руки и в которой бедные науки страдают ужасным образом, заставила меня прочесть со вниманием «Discours» de J.-J. («Рассуждение» Жан-Жака *(франц.)*. – *Ред.*). – Примечания мои неважны, но они по крайней мере не выписаны ни из Готье, ни из Лаборда, ни из Мену, которых я или совсем не читал, или совсем забыл. – Что же принадлежит до господина немецкого анонимуса, то он, кроме злобы, тупоумия и несносного готтедского слога, ничем похвалиться не может; на такие сочинения нет ответа.

[^^^]

Познание сих двух предметов ведет нас к чувствованию всевечного творческого разума.

[^^^]

Знать вещь есть не чувствовать только, но отличать ее от других вещей, представлять ее в связи с другими.

[^^^]

Известный Декартов силлогизм.

[^^^]

Например, всякое прилагательное имя есть отвлечение. Времена глаголов, местоимения – все сие требует утонченных действий разума.

[^^^]

Я думаю, что первое поэтическое творение было не что иное, как изливание томно-горестного сердца; то есть, что первая поэзия была элегическая. Человек веселящийся бывает столько занят предметом своего веселья, своей радости, что не может заняться описанием своих чувств; он наслаждается и ни о чем более не думает. Напротив того, горестный друг, горестный любовник, потеряв милую половину души своей, любит думать и говорить о своей печали, изливать, описывать свои чувства; избирает всю природу в поверенные грусти своей; ему кажется, что журчащая речка и шумящее дерево соболезнают о его утрате; состояние души его есть уже, так сказать, поэзия; он хочет облегчить свое сердце и облегчает его – слезами и песнию. – Все веселые стихотворения произошли в позднейшие времена, когда человек стал описывать не только свои, но и других людей чувства; не только настоящее но и прошедшее; не только действительное, но и возможное или вероятное.

[^^^]

Он был еще жив, когда я писал сии примечания.

[^^^]

См. «Essai analitique sur l'Ame», par Bonnet, и «Traité des Sensations», par Condillac («Аналитические рассуждения о Душе» Боннета и «Трактат об ощущениях» Кондильяка (франц.). – *Ред.*).

[^^^]

Я открываю летописи: об этом веке повсюду нахожу я сожаления; и все, кто мне изображает его, скорбят о том, что родились слишком поздно (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

Vb. Lévite d'Ephraïm (Библия, книга левита
Эфраима (*Франц.*), – *Ред.*

[^^^]

Известно, что Афинский Тимон был великий мизантроп. «Я люблю тебя, – сказал он Альцибиаду, – за то, что ты сделаешь довольно зла своему отечеству».

[^^^]

Все, что Руссо говорит в своем «Discours» («Рассуждении» (франц.). – *Ред.*), взято из «Essais» de Montaigne («Опытов» Монтеня (франц.). – *Ред.*), главы XXIV, «Du Pedantisme» («О педантизме» (франц.). – *Ред.*). Жан-Жак любил Монтеня.

[^^^]

Сей поэт Фалес жил прежде мудреца Фалеса,
или Талеса.

[^^^]

Арети происходит от *Арис*. Сим именем, как известно, называется по-гречески Марс.

[^^^]

Говорят еще, что упражнение в науках или в искусствах расслабляет телесные силы, нужные воину; но разве ученый или художник непременно должен морить себя в кабинете? Соблюдая умеренность в трудах своих, он может служить отечеству рукою и грудью не хуже других граждан. Впрочем, не атлетовы силы, но любовь к отечеству делает воинов непобедимыми.

[^^^]

Но чем же в бедной земле будет награжден писатель или художник? Похвалою, одобрением, удовольствием своих сограждан: вот то, что истинному артисту всего милее, всего дороже! – Музы не умеют считать денег и бегут от железных сундуков, на которых гремят замки и запоры. Там, где любят их чистым сердцем; где умеют чувствовать красоту их – там они всем довольны, довольны бедною хижиною и ключевою водою. В другое место не заманишь их и славным бриллиантом португальской королевы.

[^^^]

Во всяком случае, где мы удаляемся от мудрого плана природы, от ее цели, обыкновенно чувствуем в душе своей некоторую тоску, неудовольствие, неприятность. Сие противное чувство говорит нам: «Ты оставил путь, предписанный тебе натурою: обратись на него!» Кто не повинуется сему гласу, тот вечно будет несчастлив. – Напротив того, всегда, когда действуем сообразно с нашим определением или с волею великого творца, чувствуем некоторое тихое удовольствие, радость. Сие чувство говорит нам: «Ты идешь путем, предписанным тебе натурою: не совращайся с оного!»

[^^^]

Вот главная причина роскоши! Следственно, науки, будучи врагами праздности, суть враги и сей самой роскоши, которая питается праздностию.

[^^^]

Многие из них читал я в «Немецком музее».

[^^^]

Один из моих знакомых был у него в гостях.

[^^^]

Я не говорю уже о неисправности рифм, хотя для совершенства стихов требуется, чтобы и рифмы были правильны.

[^^^]

К издателю прислано было сочинение под титулом: «Конец миров»; оно показалось ему слишком ужасно для «Аонид».

[^^^]

Но если в нашем столь цивилизованном народе имеются еще некоторые варвары и некоторые невежи, которые осмеливаются осуждать такие почтенные занятия, то можно быть уверенным, что они бы также принимали в них участие, если бы обладали для этого способностями. Я совершенно убежден в том, что когда человек не культивирует свой талант, то это значит, что он его не имеет; не бывает такого человека, который бы не писал стихи, если он родился поэтом, и не сочинял бы музыку, если он родился музыкантом (франц.). – Ред.

[^^^]

Даем это сочинение, равно как и письмо, в том виде, в каком получили его: читатели смогут судить, до какой степени литература в России владеет нашим языком. Мы глубоко сожалеем о невозможности назвать выдающегося писателя, от которого письмо это получено; но мы должны уважать запрет, предписанный нам его скромностью. (Прим. изд. «Зрителя». – *Ред.*)

[^^^]

См. «Тристрама Шенди».⁵ (Прим. изд. «Зрителья». – *Ред.*)

[^^^]

См. «Сентиментальное путешествие» Стерна.

[^^^]

Из некоторых мест «Слова о полку Игореве» можно заключить, что Боян жил при князе полоцком Всеславе I.

[^^^]

Но не сочинял их.

[^^^]

См. «Письма» его, изданные Новиковым.³

[^^^]

См. «Келейные письма» Димитрия.

[^^^]

«L'abbé Venuti, – пишет Монтеस्कье к аббату Гуаско, – m'a fait part de l'affliction que vous a causée la mort, de votre ami le Prince Cantemir, et du projet, que vous avez formé de faire un voyage dans nos Provinces méridionales. Vous trouverez partout des amis pour remplacer celui, que vous avez perdu; mais, la Russie ne remplacera pas si aisément un ambassadeur du mérite du Prince Cantemir». (Аббат Венути поведал мне о скорби, которую причинила Вам смерть Вашего друга, князя Кантемира, а также о Вашем намерении совершить поездку по нашим южным провинциям. Повсюду Вы найдете друзей, которые заменят Вам того, кого Вы потеряли; но России не так-то легко будет заменить посла столь больших достоинств, каким был князь Кантемир (франц.). – Ред.)

[^^^]

См. «Опыт исторического словаря».⁹

[^^^]

Екатерине Великой угодно было познакомить Дидерота с русскими авторами и пригласить их к обеду.¹⁰

[^^^]

Критика легка, искусство трудно (*франц.*). –
Ред.

[^^^]

Может быть, глупейший из русских романов.

[^^^]

Комедия окончена (*итал.*). – *Ред.*

[^^^]

Ах, дорогой мой, вы, кажется, отморозили нос? (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

Как сочинителя единственных сказок.

[^^^]

Это было до его крещения. Святая религия еще не действовала в нем своею благодатию.

[^^^]

Слово техническое, которого смысл едва ли можно выразить мгновением.

[^^^]

Нестор не говорит о том. Даже и генуэзцев еще не было тогда в Тавриде.

[^^^]

С величайшею благодарностию автор воспользовался известиями, доставленными ему почтенным братом творца «Душеньки», Иваном Федоровичем Богдановичем, но прибавил к ним и некоторые анекдоты, слышанные им от людей, которые были коротко знакомы с покойником.

[^^^]

Это слышал я от самого бессмертного творца
«Россияды».

[^^^]

Поэтическое имя Ипполита приятнее ушам
без отчества.

[^^^]

В «Полезном увеселении».

[^^^]

«Благодетельницы фамилии Богдановичей, – прибавляет И. Ф. Б. в своих известиях, – ибо и брат его обязан ей своим воспитанием». – Мы должны были сохранить сие изъявление благородной признательности.

[^^^]

Под титулом: «Невинное упражнение».

[^^^]

После: *не знал*, должно сказать как – то есть:
не знал, как употреблять во зло.

[^^^]

Лучший стих в поэме.

[^^^]

Всем известна Дрезденская картинная галерея.

[^^^]

Тот из мужчин супругом станет ей,
 Кто самый доблестный, и сильный, и пре-
 красный,
 Без стрел твоих, без помощи твоей,
 Тебе, Амуру, неподвластный.
 От их любви живой и страстной
 Родится заново все сильный Купидон,
 Которым будешь ты, о сын мой, превзой-
 ден.

Поберегись же: надо сделать так,
 Чтоб несмотря на все родни ее старанья,
 Увел ее уродина, чужак,
 Чтоб ведать ей одни скитанья,
 Побои, брань и нареканья,
 Чтоб тщетно плакала и мучилась она,
 Униженная, – нам с тобою не страшна.
 (В настоящей статье все стихотворные пе-
 реводы с французского принадлежат Н. Рыко-
 вой. – *Ред.*)

Без стрел твоих, без помощи твоей (*франц.*). –
Ред.

[^^^]

Тот зеркала хрусталь Венере подставляет
(франц.). – Ред.

[^^^]

Сиренам – громче петь, – Фетиды приказанье
(франц.). – Ред.

[^^^]

А ветры задержать стараются дыханье.

Один зефир шалит, забывши всякий страх:

Играет только он в Венериных кудрях,

Покров с нее сорвать старается порою.

Волна ревнивая стремится за волною,

Чтоб лаской губ своих, что влажны и чи-

сты,

Коснуться нежных ног богини красоты

(франц.). – Ред.

[^^^]

Посадите меня в повозку без возницы и проводника, и пусть лошади сами везут меня, куда им вздумается: случай сам их направит в надлежащее место. *(Перевод с французского А. Смирнова. – Ред.)*

[^^^]

Да, без любви уборы и венцы
Надоедят и не спасут от скуки.
К чему тогда фонтаны и дворцы?
Всех их милей огонь любовной муки.
Для юных – высшее блаженство в нем:
Люби, люби – нет смысла в остальном
(франц.). – Ред.

[^^^]

Она подолгу замирала на месте, похожая на самую прекрасную статую этого дворца. *(Перевод с французского А. Смирнова. – Ред.)*

[^^^]

А что ж Амур? Над хаосом летя,
И превзойдя уменьем и сноровкой
Всех мудрецов, чудесное дитя
Сумбур его распутывает ловко (*франц.*). –
Ред.

[^^^]

А это значит, что я либо бог, либо демон. Если ты считаешь, что я демон, ты должна находить меня отвратительным, а если бог, ты должна перестать любить меня или по крайней мере перестать любить меня с прежним пылом, ибо редко бывает, что богов любят так же страстно, как людей. *(Перевод с французского А. Смирнова. – Ред.)*

[^^^]

Скука не употребляется у нас во множественном числе.

[^^^]

Ему тогда было с небольшим 30 лет.

[^^^]

Другое чудо, описанное в житии сего угодника, заставляет думать, что князь Иван Васильевич *не простил* тогда знатных новгородцев, как говорят наши летописи. Св. Зосима, взглянув на шесть главных чиновников, вместе с ним обедавших у Марфы, увидел их, сидящих без голов. Автор жития прибавляет, что сии шесть чиновников были после казни московским князем.

[^^^]

С нею приехали из Италии многие ученые греки, которые остались в России.

[^^^]

Патриотическая история рано или поздно
воздаст ему по делам его. К счастью, он был
не русский!

[^^^]

То есть друг людей.

[^^^]

Ненавистники наук.

[^^^]

Квинт Курций пишет, что Александр Великий нашел гроб Сарданапалов с сею надписью.

[^^^]

Мне плохо там, где я нахожусь, а я хочу, чтобы мне было хорошо (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

Без французских новостей она не вздумала бы переменить своего правления и не раздражила бы России варшавским кровопролитием: следственно, Польша была также жертвою французской революции.

[^^^]

Бёрнонвиля.

[^^^]

Все погубло! (*лат.*). – Ред.

[^^^]

Не говорю здесь о завоеваниях ее в Индии, которые не имели связи с французскою войною.

[^^^]

Таким образом, самый худой французский перевод Ломоносова од и разных мест из Сумарокова заслужил внимание и похвалу иностранных журналистов.

[^^^]

Прелестный, обольстительный, излияние,
воспарения (*франц.*), – *Ред.*

[^^^]

Слова летописца: «Устави же царь Борис в России и пошину имати со всяких товаров, и мыты, и перевозки, и пиво продавати из казны».

[^^^]

См. Герберштейна, Гваньини, Олеария. – Место, где они жили (за Москвою-рекою), прозвалось *Налейками*, от слова *налей*, которое часто употреблялось ими.

[^^^]